ISSN 0130-6545

7.1996

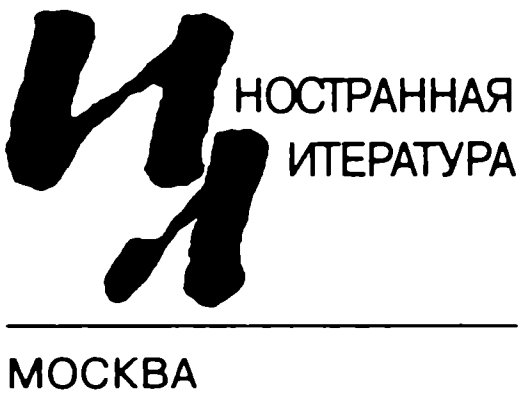
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МИШЕЛЬ РИО
Архипелаг

ЙОРГОС СЕФЕРИС
Стихи

ПИТЕР УСТИНОВ
Старик и мистер Смит



МОСКВА

ческих наук, переводчик с венгерского. В его переводе изданы романы «Пядь земли» Пала Сабо, «Вина» и «Милосердие» Ласло Немета; «Старомодная история» Магды Сабо, «Пророк на час» Шандора Шомоди-Тота, повесть «Тяжелый день» Дёрдя Конрада («ИЛ», 1991, № 4). В «ИЛ» напечатаны также воспоминания Шандора Мараи «Дневники» (1993, № 12), фрагменты книги Ивана Манди «Кино Жамбоки» (1995, № 4) и др.

СЕРЕДА ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1951 г.) — литературовед и переводчик. Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводе издавались повести венгерских писателей П.Надаша, Ш.Раффаи, М.Мункачи, пьесы Д.Шпиро. В «ИЛ» печатались переводы новелл и эссе Петера Эстерхази (1992, № 4), рассказ А.Бодора «Музей природных редкостей, округ Синистра» (1993, № 9), фрагменты книги «Записки синего чулка» П.Эстерхази («ИЛ», 1995, № 6), статьи.

БОГАТЫРЕНКО ЕЛЕНА ДАНИЛОВНА — переводчик с французского и английского языков. В «ИЛ» в ее переводе печатались главы из книги Д.Каплана и А.Дабро «Якудза» (1994, № 8), книга Милоша Формана «Круговорот. Воспоминания» и статья Франсуазы Саган «Катрин Денёв — белокурый надлом» (1995, № 4).

■

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

7 июль 1996

СОДЕРЖАНИЕ

МИШЕЛЬ РИО — Архипелаг (*Роман. Перевод с французского Ю. Яхниной*) 5

ЙОРГОС СЕФЕРИС — Три тайные поэмы (*Перевод с новогреческого Е.И. Светличной и М.Л. Гаспарова. Вступление М. Гаспарова*). ИВ БОНФУА — Под октябрьским солнцем (*Эссе. Перевод с французского Бориса Дубина*) 50

ПИТЕР УСТИНОВ — Старик и мистер Смит (*Притча. Перевод с английского Григория Чхартишвили*) 65

ГЮНТЕР ГРАСС — Собачьи годы (*Роман. Окончание. Перевод с немецкого М. Рудницкого*) 146

Литературное наследие

ПОЛЬ ВЕРЛЕН — Поздние мысли (К 100-летию со дня смерти). (*Стихи. Перевод с французского и вступление Анатолия Гелескула*). РУБЕН ДАРИО — Поль Верлен (*Перевод с испанского Натальи Малиновской*). АНДРЕ МОРУА — Поль Верлен. Калибан, который был Ариэлем (*Перевод с французского Мориса Ваксмахера*)..... 195

Документальная проза

ДЖЕЙМС ДЖ.БОЙЛ — Секты-убийцы (*Главы из книги. Перевод с английского Н. Усовой и Е. Богатыренко*)..... 208

Критика и публицистика

Венгры и Европа. К 1100-летию Венгрии.

ЮРИЙ ГУСЕВ — Заинтересованный взгляд со стороны. ЛАСЛО НЕМЕТ — Венгры и Европа (*Фрагменты книги. Перевод с венгерского Ю. Гусева*). ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ — Ни о чем, обо всем (*Перевод с венгерского В. Середы*) 262

Галерея «*ИЛ*»

ТАТЬЯНА ВОРОНКИНА — Венгерские «наивные» художники 279

У книжной витрины 282

Авторы этого номера 286

© «Иностранная литература», 1996

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 18 400 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 000 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

МИШЕЛЬ РИО

Архипелаг

РОМАН

Перевод с французского Ю.ЯХНИНОЙ

Принц Джон:
О мама! Мама! Моя милая мама!

Сэр Печальный Советник
(иначе именуемый Пересмешник):
Государь! Перестаньте сосать палец! Это невыносимо!

— Вас хочет видеть мадам Гамильтон, — сказал директор.

Я оторопело воззрился на него, потом перевел взгляд на Алана Стюарта, удивленного не меньше моего. Директор и сам, казалось, слегка озадачен, как если бы привычный миропорядок нарушило небывалое, тревожное событие.

— У нее дома, сейчас?

— Само собой, поспешите же.

И повернувшись кругом, он торопливо зашагал к главному входу в колледж.

— Похоже, бедняга Рантен утратил эксклюзивность своей привилегии, — промолвил Алан, провожая глазами маленькую чопорную фигуру, удалявшуюся через парадный двор. — Привилегия, конечно, лакейская, но люди такого сорта весьма ревниво оберегают мелкие утехи рабства, которые льстят их тщеславию.

Никто из учеников никогда не вступал в непосредственное общение с хозяйкой Hamilton School. Уединившись в своих владениях, своего рода hortus conclusus[1], расположенных у внешней ограды колледжа в северо-восточной части парка, за густым пологом высоких деревьев, Александра Гамильтон никогда, во всяком случае пока длился учебный год, не переступала границ территории, отведенной школе, — четкого и незыблемого рубежа, который она проложила между общественной жизнью колледжа и своим нежеланием быть навязчивой, а может быть, равнодушием. Не считая обслуги, трех женщин, одна из которых жила в ее доме, единственным членом нашего сообщества, допущенным в это своеобразное святилище, был как раз директор колледжа — в последнюю пятницу каждого месяца его приглашали к обеду, во время которого он делал свой отчет и, в случае необходимости, получал инструкции. И вот теперь мы смотрели ему вслед, а он во фраке, с папкой под мышкой, походкой столь подчеркнуто непринужденной, что она выдавала его озабоченность, удалялся по главной аллее, которая вела к северным воротам ограды и от которой, чуть отступя, ответвлялась дорожка в частные владения Александры Гамильтон.

---

[1] Огороженный участок (*лат.*). (*Здесь и далее — прим.перев.*)

© Seuil, 1987

Роман Мишеля Рио «Архипелаг», так же как другой его роман «Неверный шаг», в ближайшее время выйдет в издательстве «ВАГРИУС».

Шесть с лишком лет назад поступив в Hamilton School, я заканчивал теперь последний год обучения. Громадное здание колледжа в стиле Тюдоров было при королеве Елизавете построено на северо-востоке Джерси[1] предком нынешней владелицы. Из верноподданнического рвения, чтобы угодить не приказу, а небрежно оброненному пожеланию государыни, он на свои собственные деньги основал учебное заведение, призванное укрепить англофильские и франкофобские чувства детей именитых граждан архипелага, чем заслужил от Ее всемилостивейшего и прижимистейшего величества одобрительную улыбку— венец жизни, прожитой при дворе. Влачивший более или менее жалкое существование в течение двух веков колледж расцвел в эпоху Французской революции, сделавшись как в учебном, так и в политическом смысле оживленным очагом эмиграции. Именно в эту эпоху здесь утвердился принцип двуязычия, поскольку английский преподавательский состав пополнился по меньшей мере равным числом учителей, привезенных с континента в пожитках изгнанных дворян. Этот принцип сохранился и в дальнейшем, все предметы преподавались на двух языках, и по мере того как в XIX веке партийные соображения были мало-помалу вытеснены педагогическими задачами, за Hamilton School утвердилась слава первоклассного учебного заведения, которая в XX веке стала уже всемирной. Преподавательский состав подбирался на основе двояких жестких требований: соискатель должен был хорошо знать свой предмет и быть талантливым педагогом, причем оценивали его, исходя не из некой зыбкой психоадминистративной нормы, а из его личных качеств — способности ясно излагать материал, поддерживать в учениках постоянный интерес к занятиям и чутко откликаться на все новое, умея увлечь молодежь. Ни строгость отбора, ни обязательство постоянно жить в Джерси не отпугивали многочисленных претендентов, поскольку платили в Hamilton School раз в пять больше, чем в других учебных заведениях подобного рода, как частных, так и общественных. Круг учеников, ограниченный тремястами индивидуумами мужского пола в возрасте от десяти до восемнадцати лет, представлял все уголки земного шара, где английский и французский были государственными языками, где в силу политической или экономической зависимости они играли первенствующую роль или — реже — где сказывалось их культурное обаяние. Каждый ученик, вышедший из Hamilton School, каково бы ни было его происхождение, в принципе мог выдержать любые экзамены за полный курс среднего образования и поступить в любой университет или другую высшую школу во всех странах бытования этих двух языков. Молодой француз мог ничтоже сумняшеся записаться в Гарвард или в Оксфорд, новозеландец — продолжать учение в Сорбонне, успех им был обеспечен. Ученики также проходили двойной отбор. Первый, совершенно произвольный, был отбором чисто денежным. Годичная плата за обучение составляла чудовищную сумму. Лично я не раз пытался разгадать экономическую тайну моего пребывания в колледже, поскольку мать воспитывала меня одна и наше материальное положение не выходило за пределы среднего достатка. От всех моих расспросов на эту тему мать неизменно уклонялась. Я знал, что она была подругой детства Александры Гамильтон — может быть, в силу этого я пользовался каким-то особым статусом. Однако щепетильная гордость матери опровергала подобную гипотезу, и в конце концов я пришел к выводу, что непомерные расходы по моему образованию взял на себя единственный родственник матери, эксцентричный дядя-миллионер, заядлый холостяк, который обожал племянницу. Происходя из франко-британской семьи, он уже много лет трудился над любопытным, чтобы не сказать безумным, проектом—сравнительной двуязычной англо-французской энциклопедией с двумя редакционными группами, каждая из которых не только не имела понятия о параллельной и по сути идентичной работе другой

[1] Один из Нормандских островов в Ла-Манше, принадлежащих Великобритании.

редакции, но даже не подозревала о существовании последней. Принимая во внимание происхождение дяди и его манию, школа, подобная Hamilton School, должна была представлять в его глазах громадный экспериментальный интерес, и он, несомненно, всячески поддержал намерение матери отдать меня туда. Критерием второго отбора, более оправданным, были личные достоинства ученика. Второгодников в Hamilton School не держали. Если ученик по той или иной причине не мог достичь определенного уровня или на нем удержаться, его отправляли домой, будь он хоть отпрыском самого премьер-министра Великобритании. К классическим предметам, которые преподаются во всех средних учебных заведениях, в последние три года добавлялись кое-какие университетские дисциплины. Особое внимание уделялось тому, чтобы ученики получили достаточные навыки в спорте, в физическом труде и в области искусств — этим занятиям отводилась значительная часть дня. Словом, homo hamiltonis должен был в равной и существенной степени стать homo sapiens, faber u ludens[1], иными словами, *человеком порядочным,* или *джентльменом.* Когда в начале пятидесятых годов Александра Гамильтон унаследовала от своего отца это заведение вместе с его искушенным и компетентным директором, французом по имени Рантен, слава колледжа достигла своего апогея. Александра Гамильтон доверила директору бразды правления этой частью полученного наследства, а сама уединилась в своих владениях, которые покидала только для того, чтобы совершить какие-то неведомые далекие путешествия.

Так вот, представляя себе, что сейчас материализуется миф, уже много лет будораживший коллективное сознание нашей популяции, а также индивидуальную фантазию известного числа особей, образ, в некотором роде вобравший в себя все потенциальные возможности невозможного и потому предоставлявший широкий простор самому разнузданному воображению, я пришел в некоторое возбуждение, в котором смешались робость, любопытство и растерянность, всегда предшествующая внезапному переходу от мечты к действительности, непременно чреватому либо восторгом, либо разочарованием.

— Замолви ей за меня словечко, старина, — бросил мне вслед Алан. — Скажи ей, что в моих похотливых мечтах я отвожу ей роль сексуальной рабыни. Может, она придет мне на помощь? Не забудь подчеркнуть, что мои мечты похотливы, — добавил он.

Я обернулся. Он смотрел на меня — его высокая, элегантная, сутуловатая фигура, восемнадцать лет тянувшаяся вверх, теперь уже, казалось, источала некоторую изысканную усталость, порожденную бременем плоти и жизни; над яркой зеленью глаз реяли каштановые волосы, красивое лицо оживляла чуть заметная ироническая улыбка. От всех повадок Алана и от его облика исходило редкостное обаяние, под которое, едва он поступил в колледж, немедля подпали все обитатели Hamilton School; смягчая неслыханную вольность его поведения и дерзкие речи, это обаяние не раз спасало голову Алана от дисциплинарной гильотины. Он держался отчужденно и не без высокомерия. Мы оба учились в выпускном классе. Я был двумя годами моложе его и кое в чем наверняка казался ему инфантильным, но со мной он установил необычные для него короткие отношения. В распределении ролей между нами существовало известное равновесие. Его ранняя зрелость, тем более при нашей разнице в возрасте, иногда тяготила меня и даже подавляла. В большинстве спортивных дисциплин мы состязались на равных. В научных дисциплинах он не без досады почти всегда вынужден был уступать мне первенство. Но в общем он был лидером, а я маргиналом, что как бы уравнивало нас, превращая наши отношения в некий добровольный союз популярности и одиночества, и это избавляло меня от унизительности рабства, а его от унизительности снисхождения.

---

[1] Человек разумный, созидающий и играющий (*лат.*).

Пройдя по двору, я ступил на аллею, ведущую к северному порталу. На архипелаге царствовала весна, Джерси овевал легкий восточный ветер с континента, ровный, тихий и прохладный; он очистил небо от облаков и так выгладил зыбь Ла-Манша, что море напоминало спокойное озеро. Ветер, стлавшийся над морем в своем безмятежном странствии между Котантеном и островом, смешав испарения земли, воды и растений, пробужденных к работе лучами солнца, которые беспрепятственно струились в незамутненном эфире, составил этот запах перегноя с добавлением йода и соли и, помаявшись в замкнутом пространстве низины Розеля, теперь рассеивал его по владениям Hamilton School, утвердившимся на своем лесистом плато. Справа от меня столетние дубы парка, занимавшего всю восточную часть имения, небрежно шелестели кончиками своих ветвей, уже покрывшихся почками из-за необычно ранней жары. Деревья были посажены в безупречном порядке, так, чтобы каждому хватало пространства и света и оно могло свободно развиваться, за ними всегда заботливо ухаживали, благодаря чему, а также постоянному умеренному климату дубы разрослись, достигнув редкой высоты и мощи. Слева, по западной половине владения, вокруг спортивных сооружений: стадиона, площадки для крикета, теннисных кортов и громадного здания, в котором размещались гимнастический зал, бассейн и два зимних теннисных корта, — тянулись обширные лужайки, своего рода идеальный образец английского газона. В северо-западном углу, у ограды, высилось еще одно, трехэтажное здание, поделенное на квартиры и предназначенное для персонала, — здесь обитали все служащие колледжа, кроме преподавателей, которые жили вне стен Hamilton School в различных островных приходах, чаще всего в Сент-Хельере, кроме административных работников, которые жили в самом колледже в более просторных и роскошных квартирах, и библиотекаря Леонарда Уайльда, который то ли из мизантропии, то ли потому, что не желал удаляться от своих драгоценных книг, предпочел устроиться на отшибе, в небольшой квартирке, прилегающей к читальному залу. Прямо передо мной, там, где центральная аллея, выбегая за ограду, продолжалась дорогой, спускавшейся к Розелю, распахнутые створки громадных ворот открывали узкую перспективу восточной части бухты Баули Бей — молодая зелень смешивалась там с нагромождением скал, уходящих вниз к синей глади моря. Эту гладь дробили иногда мимолетные солнечные блики, косые вспышки которых подчеркивали смягченный очерк волны, уплощенной восточным ветром. Остальной обзор был ограничен каменной оградой трехметровой высоты и длиной в тысячу восемьсот метров, которую только в двух местах прорезали ворота — они обеспечивали на севере и на юге связь между аллеями, обслуживавшими все части имения, и дорожной сетью Джерси.

Не дойдя до северных ворот, я свернул с центральной аллеи направо и среди затеняющих свет вековых дубов пошел по дорожке, ведущей к обиталищу Александры Гамильтон. Вскоре я оказался у стены, построенной относительно недавно, которая, соединяя две стороны старой ограды, отгораживала в северо-восточном углу общего парка частный парк почти квадратной формы и размером около гектара. Я вошел в калитку. Припертый к ограде старинный трехэтажный загородный дом, построенный еще, вероятно, в XVIII веке, был великолепно отреставрирован. Из-за ограды Hamilton School я не раз разглядывал его северный, совершенно глухой фасад, не оставлявший надежды увидеть за ним хотя бы промелькнувшую тень. Зато южный фасад, как и торцовые стены, был прорезан множеством окон, аллея перед ним раздваивалась, ее главная ветвь упиралась в ступени, которые поднимались к широкой двустворчатой двери, а боковая дорожка, более узкая, огибала юго-восточный угол дома и вела, очевидно, к какому-то служебному входу. Здание окружали лужайки, обрамленные аллеями и занимавшие приблизительно треть территории, больше половины которой, засаженной дубами, было как две капли воды похоже на общий парк, часть которого она и

составляла до того, как ее отгородили внутренней стеной.

Со все возрастающим смятением я не шевелясь постоял наверху каменной лестницы, потом, решившись, постучал в дверь тяжелым бронзовым молотком. Вскоре одна из створок открылась и в проеме показалась женщина. В строгой одежде, сочетавшей только серый и белый цвета и не лишенной пуританской элегантности, она была на вид лет пятидесяти. Худощавая, высокая и прямая фигура, узкое лицо с правильными, чуть заостренными возрастом жестковатыми чертами наводили на мысль о засушенных цветах, былая красота которых проглядывает сквозь увядшую застылость смерти. Я сразу сообразил, что это она живет в доме Александры Гамильтон. Женщина больше смахивала на домоправительницу или компаньонку, чем на горничную. Но она несомненно исполняла все эти три обязанности. Я поздоровался и назвал себя. Она едва заметно кивнула и посторонилась. Я вступил в полутемный холл, обшитый дубовыми панелями, а она зашагала впереди меня к лестнице, тоже дубовой, которая вела наверх. Остановились мы на втором этаже перед громадной дверью справа — единственным отверстием в центре высокой стены. В левой стене было две двери меньшего размера. Очень широкий коридор, слабо освещенный только одним окном над подъездом южного фасада прямо против лестницы, своим видом, размерами и расположением очень напоминал нижний холл.

Моя проводница постучала, вошла и объявила о моем приходе.

— Спасибо, мадемуазель Элиот, — с некоторой усталостью произнес мелодичный голос.

Впустив меня в комнату, мадемуазель Элиот бесшумно затворила за собой дверь. Комната была такая просторная, что вначале я не заметил Александры Гамильтон. Это была библиотека площадью гораздо больше ста квадратных метров, освещенная шестью высокими окнами — четыре выходили на запад, два на юг, и в них щедрым потоком вливался свет, приятно неожиданный после сумрачного коридора. Стены были совершенно скрыты книжными полками, в рамке которых выделялись оконные и дверные проемы и которые были сплошь заставлены десятками тысяч томов. Обернувшись направо, я увидел в глубине зала массивный письменный стол и за ним женщину. Я подошел к ней ближе. И в ту же минуту смутно разочаровался — наверно, то было обмануто свойственное отрочеству романтическое ожидание, биологически неизбежная глупость, едва припорошенная рационалистическим и чопорным воспитанием, которое не допускает проявлений восторженных чувств, ожидание, которое подсознательно готовило меня к встрече с Гиневрой или Балкис, красавицей, укрытой от недостойных ее лицезреть людских глаз. Я думал, что буду ослеплен, и поскольку этого не случилось, не понял, что подпал под действие скрытых чар, которые овладевали мной медленно и неотвратимо. Александра Гамильтон обладала тем особым обаянием, которое довольно удачно определил Готье, сказавший об одной из своих героинь, что она не притягивала взоры, но удерживала их. Правильные черты на заре сорокалетнего расцвета, спокойная властность в сочетании с какой-то неопределимой скукой во взгляде, нежная бледность кожи, обузданная роскошь волос, элегантная до обманчивой строгости одежда, изысканный покрой и складки которой скрывали линии тела лишь отчасти, тем более их подчеркивая, небрежная грация поз, учтивое внимание, казалось начисто лишенное подлинного интереса, — все в ней являло сдержанную и вызывающую смесь мечтательного достоинства и дремлющей чувственности. Эта колдовская смесь пламени и пепла породила во мне волнение, причины которого я еще не успел уяснить, но которое проявилось в том, что, не отдавая себе в этом отчета, я разглядывал ее так, что меня можно было бы обвинить в глупости или в дерзости.

Я поздоровался, она предложила мне сесть. Потом, поглядев на меня, сказала по-французски:

— Глаза у вас не такие, как у матери. А в остальном вы очень на нее похожи.

Она улыбнулась, продолжая меня разглядывать. Такое начало разговора отнюдь не рассеяло моего смущения, наоборот, оно повергло меня в полное замешательство. Я стоял молча, неловко, ожидая продолжения. Немного погодя она как будто осознала гнет нависшего молчания и заметила собственную рассеянность.

— Мы говорили с вашей матерью по телефону. Она сообщила мне, что весь апрель не будет в Париже, вы, несомненно, уже об этом знаете. Ее беспокоит, что вам придется провести пасхальные каникулы в одиночестве, это ей не по душе.

Она сделала паузу. В этот раз она говорила по-английски, и я пытался угадать, случайно это или при встрече с учеником-французом она желала мимоходом убедиться, насколько хорошо поставлено обучение в ее школе. Я уже хотел было ответить, что вопрос улажен и я принял приглашение Алана Стюарта провести каникулы у него в Лондоне, а потом в его родовом поместье в Шотландии, о чем я пока еще никого не уведомил. Но потом я подумал, что навряд ли она пожелала встретиться со мной — дело совершенно небывалое — только для того, чтобы сообщить мне о смутной тревоге моей матери, которую едва ли следовало принимать всерьез. Надо полагать, Александра Гамильтон хотела мне что-то предложить — любопытно было узнать что; но я наверняка не узнал бы этого, если бы сразу поведал ей о моей договоренности с Аланом. Поэтому я промолчал. Заключив по моему молчанию, что у меня нет определенного мнения на сей счет, она продолжала:

— Я предложила вашей матери вот что: вы можете остаться до конца каникул в Hamilton School. Поскольку почти все обитатели колледжа разъедутся и его помещения будут закрыты, вам лучше перебраться из вашей комнаты в комнату для гостей на верхнем этаже этого дома. Если молодому человеку вашего возраста мое общество не покажется слишком строгим, обедать и ужинать мы сможем вместе. Если не ошибаюсь, через несколько дней вам минет семнадцать? И как раз во время каникул. По-моему, это обстоятельство особенно огорчает вашу мать. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить ее в этом случае. Вы сможете пользоваться яхтой, а также бассейном и гимнастическим залом. Библиотека будет открыта, потому что мсье Уайльд, как всегда, отказывается покидать стены колледжа. Что вы скажете на мое предложение?

Она говорила любезным, но безучастным тоном. Я чувствовал, что ничего не значу, как бы даже не существую в ее глазах, она делала все это из дружбы к моей матери, чье присутствие так остро ощущалось в продолжение нашей беседы — в этой маленькой импровизированной пьесе реально участвовали только две эти женщины, а я выступал в роли обыкновенного статиста, лица без речей, то есть по сути лишнего. Я уже не был ребенком, который мог бы ее растрогать, но еще и не настолько мужчиной, чтобы ее заинтересовать, короче, во мне не было ничего, что могло бы привлечь ее внимание. Банальная, но нестерпимая ущербность отрочества. Уязвленное тщеславие, мучительная неловкость, чувство вины перед Аланом — все должно было подтолкнуть меня к тому, чтобы ответить ей отказом, сообщив о моих прежних планах, и, однако, я сказал без колебаний:

— Я вам очень признателен, мадам. С удовольствием принимаю ваше предложение.

— Вот и отлично. Я сейчас же предупрежу вашу матушку. Послезавтра утром все разъедутся на каникулы. В тот же день вы переберетесь сюда, и мы встретимся за обедом.

Она встала. Я последовал ее примеру. Она была очень высокого роста, и тут я увидел, какая она красавица. Вдруг она дружески взяла меня под локоть. Я с удивлением на нее уставился, но в ее лице ничто не изменилось — оно выражало все ту же отчужденную учтивость, то же любезное безразличие. Так она проводила меня до дверей. Я спустился по лестнице, вышел из дома и снова очутился в

парке. Там я понемногу успокоился, но при этом был недоволен собой, ведь я вел себя как бессловесный дурак, продемонстрировавший своим решением, сожалеть о котором я, однако, не мог, полное отсутствие духовной независимости. Потом это чувство вытеснила мысль, что мне предстоит видеть ее каждый день. Я сознавал, что в охватившей меня душевной смуте главную роль играет вожделение. Но глубинной причины этой смуты я понять не мог, а стало быть, не мог понять, что́ размывало контуры этого вожделения и весьма усложняло картину, окрашивая сладострастные образы чем-то нежным, щемящим, что, наоборот, едва ли не отрицало, а может, возвышало плоть и было на самом деле не чем иным, как пугливой влюбленностью. В Александре Гамильтон воплотился вдруг с какой-то даже грубой прямотой, неоспоримо для моих чувств, но вопреки моему разуму, парадокс, который давно уже преследовал меня в моих мечтах, но с реальностью которого я не хотел мириться, — я еще не признавал, но в силу подмены ролей уже допускал возможность сосуществования в одном лице матери и женщины, а также неизбежность причинно-следственных отношений между безоговорочным запретом и безудержным желанием.

Подойдя к зданию колледжа, я увидел Алана, который все еще стоял во дворе, окруженный тремя или четырьмя почитателями, которым он, судя по всему, с обычным своим небрежным юмором преподносил очередной дерзкий урок жизни. Заметив меня, он бросил их на полуслове и подошел ко мне.

— Ну что, старичок, красота дамы соответствует тайне, ее окутывающей?

— Да.

Все еще под обаянием встречи и заранее смущенный предстоящей необходимостью признаться Алану, что наши планы рухнули, я ответил без малейшего намека на иронию или шутку. Наступило молчание, которое Алан прервал самым добродушным тоном. Но я видел, что он заинтригован.

— У твоих описаний есть по крайней мере одно достоинство — краткость. Что ей от тебя понадобилось?

— Она предложила мне провести пасхальные каникулы здесь, в ее доме.

— Судя по твоему задумчивому и смущенному виду, ты с радостью принял предложение.

— Да.

Алан секунду помолчал, потом на его лице появилась улыбка, которую я хорошо знал, но отнюдь не любил.

— Обычно ты лучше контролируешь свои реакции. Полагаю, ты намерен забраться к ней в постель? Что ж, первый опыт с мифом — такое может поколебать и более устойчивый ум, чем у тебя.

— По-моему, это ты занимаешься мифотворчеством.

— Стало быть, ни малейших амбиций? Три недели безмолвного созерцания недоступной красоты... Ну и скука! Но что там ни говори, она оказала тебе большую честь. Такого рода честь способна ослепить человека заурядного, напрочь лишив его чувства собственного достоинства.

У меня нет привычки с христианским смирением сносить обиды от кого бы то ни было, и я реагировал с тем большей живостью, что чувствовал себя виноватым.

— Алан Стюарт, твои оскорбления полностью избавляют меня от укоров совести, спасибо тебе за это. Неотъемлемое право всякого человека, в том числе и заурядного, — менять свои решения. Я не обязан перед тобой отчитываться и прошу не вмешиваться в мои дела. А поскольку ты сомневаешься в моей способности к самоконтролю и в моем чувстве собственного достоинства, спроси самого себя: кто из нас сейчас более сентиментален и более смешон?

На мгновение он растерялся, но тут же овладел собой и сказал самым любезным тоном:

— Так тебя мучила совесть, старина? Я в отчаянии. И разочарован. Я уважаю любые поступки, лишь бы они были продиктованы ясно выраженной волей. В твоем вялом решении есть что-то противноватое. И все это так пошло...

— Пошлый, банальный, заурядный, вульгарный — эти слова не сходят у тебя с языка. Слишком мудреную роль ты иногда берешь на себя, милый Алан. Твои обычные зрители это проглотят. Но я, хотя, может, и не отличаюсь устойчивостью ума, питаю некоторую слабость к оттенкам. Чтобы иллюзия стала правдоподобной, ей следует придать хоть каплю достоверности. Твое навязчивое стремление быть не таким, как все, твоя чрезмерная любовь к эффектам размывают твою личность. На свой лад ты раб нормы или, наоборот, того, что ей прямо противоположно. Ты существуешь в отрицании, а отсюда недалеко до небытия.

— Вот уж откровения ни к селу ни к городу. Избавь меня от самодовольных рассуждений молокососа, рядящегося в тогу мудреца. Нет ничего занудnее тщеславных вундеркиндов, еще не выпутавшихся из пеленок. Они позволяют себе судить обо всем и свой писк принимают за изречения оракула. В твоих словах выспренности больше, чем проницательности. Ты путаешь норму со скукой. Я чураюсь именно скуки. А ты наводишь на меня скуку, старина. Глубочайшую скуку. Стало быть, ты поймешь, почему я удаляюсь.

Он повернулся и ушел. Мне хотелось окликнуть его, я был убежден, что в нашей перепалке роковую роль сыграла риторика агрессии, что моя обвинительная речь, в которой, преувеличив некоторые склонности Алана, я поставил под сомнение самую его личность, совершенно несправедлива, что у нашей ссоры нет никаких серьезных причин, хотя меня и удивляло, что он так болезненно воспринял мое решение, — я не понимал, как глубоко он им уязвлен. Но я удержался и не окликнул его из гордости и потому, что сам стал жертвой свойственной нашему возрасту черты, которую вменил в вину Алану: неспособности пренебречь оболочкой, пусть даже совершенно показной, а может, как раз именно потому, что она деланная и обманчивая, во имя сути без прикрас.

Целый день Алан со мной не разговаривал, а вечером после ужина мы в том же состоянии духа встретились в клубе выпускных классов — он играл в карты, всячески, на мой взгляд даже несколько слишком, подчеркивая свое хорошее настроение, а я, одиноко расположившись в удобном кресле, без особого успеха пытался уследить за причудливыми похождениями Нестора Бурмы[1], усердным читателем которых я обыкновенно был. В клубе, размещенном на первом этаже колледжа, находились курилка и бар, где подавали безалкогольные напитки. Мечтой всех учеников младших классов было переступить однажды порог этого освященного дистанцией заповедника, этого своеобразного мирского храма, где можно было держаться с небрежной раскованностью, непринужденной элегантностью и свободой обхождения, которые здесь открыто поощрялись, и тем самым подтверждать, что ты достиг высшей стадии ученичества, предвосхищающей твое приобщение к миру взрослых. Кое-кто из нас доходил в этой пародийной роли, не столько предосудительной, сколько смешной, до вершин нелепости. Алана, который здесь, как, впрочем, и повсюду, играл первую скрипку, никогда не прельщали подобные дурачества, возможно потому, что его зрелость, действительная, а не мнимая, уберегала его от такой наивности; более того, Алан и другим мешал насладиться этой иллюзией, потому что все боялись его едкой иронии, которой он пользовался щедро, ни для кого не делая исключения и вынуждая окружающих соблюдать почтительность и осторожность.

Как раз в этот вечер один из учеников, по имени Орас Пюппе, разыгрывал этакого мужчину с опытом. Он пользовался в колледже известным авторитетом, не потому что отличался незаурядными умственными способностями — хоть он

[1] Нестор Бурма — частный сыщик, персонаж детективных романов французского писателя Лео Малле.

и был самым старшим из учеников, он не без труда удерживался на уровне требований колледжа, и преподаватели уже не раз заговаривали об его отчислении, — а из-за довольно шумной самоуверенности, не столько осмысленного, сколько громогласного краснобайства, неслыханно развитой мускулатуры, которая в его собственных глазах являла собой nec plus ultra[1] мужского обаяния, щегольской одежды, более дорогой и крикливой, нежели элегантной, и репутации погубителя женских сердец, которую он тщательно поддерживал; она зиждилась на его уснащенных подробностями рассказах, но подлинность ее внушала по меньшей мере сомнения. Добавим к этому, что семья Ораса была несметно богата и всячески стремилась это подчеркнуть, в частности снабжая его карманными деньгами, сумма которых ослепляла самых простодушных, а наиболее трезвым казалась неприличной и вызывала презрение. Стоя возле бара в окружении своих обычных слушателей, Орас с напускным безразличием, но достаточно громко для того, чтобы никто из нас не упустил ни слова из его речи, излагал свое приключение с замужней женщиной — на то, что она замужняя, он в особенности упирал, считая, по-видимому, это обстоятельство самой пикантной приправой всей историйки, излагал с обилием подробностей, делавших честь если не богатству, то дотошности его воображения. Прихвостни Ораса слушали его с упоением, остальные волей-неволей — кто равнодушно, кто раздраженно, но почти все с чувством неловкости. Вдруг Алан отложил в сторону карты, встал и подошел к пустомеле.

— Орас Пюппе, — сказал он с невозмутимым спокойствием, — отвратительное повествование о твоих жалких подвигах мешает мне играть в карты. До сих пор люди более или менее достойные (заметим в скобках, таких здесь немного) были настолько снисходительны, что терпели безвкусицу, составляющую самую суть твоего существования. Но ты злоупотребляешь их благодушием. Из чувства элементарной благодарности тебе следовало бы стараться быть как можно более незаметным. Ты же не просто продолжаешь существовать, что, по-моему, само по себе неприлично, ты еще и разглагольствуешь. Ты кстати и некстати испускаешь звуки, которые заменяют тебе голос. Содержание этого гула, на мой взгляд, заслуживает кое-каких комментариев. Твои родители, наверняка разбогатевшие лавочники, не внушили тебе, что по отношению к женщине, какой бы она ни была и что бы ни делала, порядочный человек в присутствии третьих лиц подчиняется категорическому императиву сохранения тайны. По твоей озадаченной физиономии я вижу, что ты не имеешь понятия о значении слова «порядочный», которое я упомянул. Если бы в твоем лепете проявлялось хотя бы не лишенное красочности воображение, наклонность, пусть даже ничтожная, к извращению. Но куда там. Чувственности в тебе не больше, чем в высохшем пне. То, как ты повествуешь о своих успехах, неважно, подлинные они или мнимые, свидетельствует о том, что эротика была и остается для тебя недоступной. Совершенно очевидно, что главное для тебя не наслаждение, а страх обнаружить свою мужскую неполноценность. Ты думаешь не о том, как вкусить упоительную радость игры плоти и духа, а как придать хотя бы некоторую отверделость никчемному привеску, болтающемуся у тебя между ног. Случай почти классический. Чем громче слова, тем сильнее страх, а дела, если уж они имеют место, ничтожнее. Никогда не пробудить тебе ни в одной женщине, да и в самом себе, подлинную жажду наслаждения. В крайнем случае ты сгодишься для воспроизводства себе подобных. Ты во всех отношениях животное.

Ответом на эту длинную оскорбительную речь было мертвое молчание. Алан вообще любил прибегать к сарказму, но никогда еще его ирония не достигала такой жестокой проницательности, такой убийственной отточенности в желании унизить. Под его показным спокойствием чувствовалось холодное бешенство, не-

---

[1] Высшую степень (*лат.*).

объяснимое и совершенно несоразмерное ни с внешним поводом, вызвавшим эту злобную вспышку, ни с ничтожностью самой жертвы. Все ждали реакции Ораса Пюппе. На мой взгляд, всякая попытка с его стороны дать словесный отпор Алану была бы смешной, ему оставалось одно — умереть или ответить кулаком. Он ответил кулаком. Орас отличался недюжинной силой, которой весьма кичился, но в движениях был так же медлителен, как в словах, что и дало возможность Алану закончить свою убийственную речь. Зато под небрежной повадкой Алана крылась необычайная подвижность и ловкость, а под худощавой стройностью — железная мускулатура. Я не раз испытал это на себе, когда во время уроков, отведенных спортивной борьбе и военному искусству, мы вступали с ним в единоборство. Алан легко уклонился от удара и тут же нанес ответный. Его кулак угодил прямо в лицо противнику, тот пошатнулся. Второй удар по тому же месту оказался еще более сокрушительным. Орас рухнул, несколько мгновений провалялся на полу, потом со стоном попытался встать. Алан, уже не владевший собой, явно ждал, пока тот встанет, чтобы ударить снова. Я бросился к нему, схватил за руку и оттащил назад с криком: «Ты с ума сошел! Убить его хочешь?» Он поглядел на меня ненавидящим взглядом. Потом, сделав над собой громадное усилие, перевел дух. Коротким движением вырвал у меня руку. И не торопясь вышел из клуба. Тем временем Орасу удалось наконец встать. Лицо его распухло. Нос и губы кровоточили. Никто, даже самые раболепные его прислужники, не сделал к нему ни шагу. Пережитое им двойное унижение разом ввергло его в одиночество. Он стоял потерянный, жалкий, не зная, что делать, что сказать, вымаливая хоть один дружелюбный взгляд, и, вытирая тыльной стороной ладони кровь, только размазывал ее по лицу. До сих пор болван Орас был мне просто безразличен, но это зрелище меня возмутило. Я подошел и протянул ему носовой платок.

— Не три. Промокни губы платком и держи его у носа. Медпункт, наверно, еще открыт. Я тебя провожу.

В коридоре по пути в медпункт Орас, которого все еще пошатывало, заплакал. Я догадывался, почему он плачет: не потому, что болят рассеченные губы, даже не потому, что его публично унизили, а потому, что его предали те, кого он считал друзьями, — неизбывная порода бездушных прихвостней, стадо почитателей сиюминутного успеха и внешних атрибутов, которых, быть может, оправдывает смутный страх перед их собственным ничтожеством. Орас несомненно впервые в жизни оказался в одиночестве, вдали от пустопорожнего льстивого шума, на котором зиждилось его самосознание, и он плакал в темноте как ребенок.

У входа в медпункт я позвонил, и мы вступили в просторную и удобную приемную. Немного погодя раздался стук высоких каблучков, и дверь, ведущая из приемной в медкабинет, открылась. До этой минуты я видел новую медсестру, мадемуазель Аткинс, только издали, во дворе или в парке, потому что с тех пор, как она сменила почтенную Дороти Фирмен, престарелого дракона, несколько месяцев назад отправленного в отставку manu militari[1], несмотря на его громкие протесты, у меня не было нужды обращаться за медицинской помощью. Мадемуазель Аткинс казалась мне хорошенькой, что, кстати, подтверждали все ее пациенты. Кроме того, говорили, что она веселая, с юмором, приветливая и охотно поддерживает в отношениях с самыми старшими и наиболее представительными учениками атмосферу чисто словесного и ни к чему не обязывающего флирта. Некоторые сумасброды по наивности принимали это исключительно на свой счет и даже немного задирали нос. Со времени появления мадемуазель Аткинс статистика неопасных заболеваний тревожно возросла, причем рецидивы носили хронический, а эпидемия чисто локальный характер. Короче говоря, мадемуазель Аткинс пользовалась популярностью, что неудивительно в местах скопления под-

[1] С применением силы, насильно (*лат.*).

ростков, где самой заурядной юбке заранее обеспечена всеобщая благосклонность. Но когда я увидел медсестру в дверном проеме, она вовсе не показалась мне заурядной. И я понял, что искусительной ролью, какую она играла в коллективном сознании учеников Hamilton School, она обязана отнюдь не только тому, что других женщин вокруг нас нет или они далеко. Мадемуазель Аткинс было лет двадцать пять, и она была восхитительна. В отличие от Александры Гамильтон, в ее образе не было ничего погибельного и недоступного, и к более или менее выраженным простодушно похотливым мечтам, которые она неизбежно порождала в неокрепших умах общавшихся с ней мальчишек, всегда примешивалась искренняя симпатия. Если я и был немного взволнован, то отнюдь не оробел. Едва взглянув на своего будущего пациента, она стала разглядывать меня с настойчивостью, которая в конце концов показалась мне странной.

— Поверьте, мадемуазель, это не я привел его в такое состояние, — сказал я.

— Вы меня неправильно поняли, — ответила она с улыбкой. — Так что же с ним такое случилось?

— Он наступил в клубе на шнурок собственного ботинка, упал и ударился об угол бара.

— Очень неловко с его стороны, тем более что ботинки у него без шнурков. Но все бывает! Очевидно, он перебрал отвара ромашки, который вам подают в этом злачном месте.

— Очевидно.

— Входите же.

— Нет, я пойду.

— Почему? Поболтайте со мной. Вы же видите, ваш приятель говорить не может.

И в самом деле, вопреки своему обыкновению, Орас не произнес ни звука, сосредоточенно пытаясь скрыть слезы в присутствии женщины. Впрочем, если бы он и захотел говорить, ему это вряд ли удалось бы: губы его заметно распухли и, наверно, сильно болели. Мадемуазель Аткинс отступила в глубь комнаты, и мы вошли. Здесь, как в любом врачебном кабинете, было очень жарко. Уложив Ораса на высокую, обтянутую кожей кушетку, мадемуазель Аткинс поставила возле стеклянного столика перед ней табурет. Я сел на стул. Сестра вышла в заднюю комнату, оставив дверь открытой. Я машинально проводил женщину взглядом. И вздрогнул, увидев кое-что в соседней комнате. Прямо против двери на плечиках висели юбка, блузка и жакет. Медсестра возвратилась с целой охапкой пузырьков, коробочек и пакетов хирургической ваты, которые разместила на столике. Ее белый, до колена халат с короткими рукавами перестал быть для меня обычной униформой. Сев на табурет у изголовья Ораса, мадемуазель Аткинс закинула ногу на ногу. От этого движения халат, две нижние пуговицы которого были расстегнуты, распахнулся и ниспадающие по бедрам полы высоко обнажили ее ноги — на них упал резкий свет лампы, направленной на кушетку. Сестра стала протирать и обрабатывать лицо Ораса удивительно мягкими и точными движениями. Вдруг она приостановилась, окинула взглядом свои длинные обнаженные ноги и тут же откровенно посмотрела на меня — при этом на ее лице не выразилось никаких чувств. Потом она снова принялась за дело. Своей позы она, однако, не изменила. Ошеломленный, я не знал, должен ли включиться в игру и, уже не стесняясь, разглядывать ее, или мне надо извиниться и выйти. Я остался, потому что игра мне нравилась, мне было любопытно, и еще я боялся показаться смешным, но при этом никак не решался показать свое соучастие и, всячески стараясь придать своему взгляду выражение учтивой скромности, на деле исподтишка на нее косился. Кончив возиться с Орасом, мадемуазель Аткинс встала и подошла к столу.

— Через несколько дней никаких следов не останется, — сказала она ему,

начиная писать. — Я освобожу вас от ближайших уроков не столько по медицинским показаниям, сколько чтобы пощадить ваше самолюбие. Послезавтра вы уедете на каникулы, так что пропу́стите вы немного. Объясните родителям, что такого рода обхождение не предусмотрено обычной педагогической системой колледжа. И придумайте более правдоподобное объяснение, чем история со шнурками.

Она протянула Орасу подписанную ею справку об освобождении от занятий. Он с трудом пролепетал невнятное «спасибо» и направился к двери. Я шагнул было за ним.

— Задержитесь на минуту, пожалуйста, — попросила мадемуазель Аткинс. — Мне надо с вами поговорить.

Хотя меня охватила легкая паника, я не сделал попытки уклониться. Орас схватил мою руку и пылко ее пожал. Жест был несколько театрален, и я невольно подумал, какими впечатлительными становятся в некоторых обстоятельствах такие вот бахвалы. Впрочем, мое отношение к Орасу теперь изменилось, ведь он успел почувствовать, что такое бремя отверженности и одиночества. Орас вышел.

— Вы лучший друг Алана Стюарта, — сказала мне медсестра. — Я часто видела вас вдвоем.

— Вы знакомы с Аланом?

— Да. Он зашел в медпункт вскоре после моего приезда в колледж. Мы... симпатизируем друг другу. Он не говорил вам об этом?

— Нет.

— А мне он подробно рассказывал о вас. Очень подробно.

— Я не знал, что ему так часто приходится обращаться за медицинской помощью.

Она рассмеялась.

— Он вас очень уважает. Это меня заинтриговало. Он ведь обычно так подчеркнуто равнодушен ко всему. И даже пресыщен. Своих сверстников он презирает. Мне было трудно представить, что его может заинтересовать кто-то моложе его. Алан и в самом деле пробудил во мне любопытство. Нынче вечером я воспользовалась случаем, чтобы с вами познакомиться.

Я бросился в воду вниз головой.

— Вы сочтете меня наглецом, но мне показалось, что вы приступили к делу довольно... странным манером.

— Вы проницательны.

— Не подчеркивайте так явно мою неопытность или глупость.

— Я не хотела вас обидеть.

— Оставаясь в рамках предложенной мне роли идиота, разрешите вас спросить: зачем вы это сделали?

— Может, мне просто захотелось.

— А может, потому что я друг Алана Стюарта?

— Может быть.

— Это для вас так важно?

— Не делайте вид, будто не понимаете того, что поняли с первых же слов. Алан мой любовник. Он уверял меня, что не прочь, чтобы я вас соблазнила.

С минуту я глядел на нее, потом с усилием выдавил:

— Из привязанности к господину Стюарту вам не стоит поощрять его гнусности или им подчиняться.

— Привязанность? Какой же вы простачок! Между Аланом и мной нет никакой привязанности. Одно только наслаждение. Что до его гнусностей, как вы их назвали, они отчасти и мои. Окажите мне любезность, поверив, что я отличаюсь некоторой независимостью во вкусах.

— Извините, но мне не хотелось бы быть просто марионеткой в балаганчике извращений Алана Стюарта.

— Быть марионеткой иногда не так уж неприятно, — с улыбкой сказала она, — если кукловод талантлив. Но не будьте таким недоверчивым. Алан вас любит. Мне кажется, вы его единственный друг. Поймите,— продолжала она после небольшой паузы, — я веду себя так по многим причинам. Но главная и самая очевидная — меня к вам тянет. Правда, то, как вас описал Алан, и ваши с ним отношения заранее настроили меня в вашу пользу. Но прежде это были только слова. А теперь вы здесь. И меня к вам тянет. Я не подозревала, что разбудить во мне желание может ребенок.

Ни одна из знакомых мне девушек-сверстниц, с которыми, впрочем скорее всего в силу общепринятых норм, я поддерживал вполне невинные отношения, никогда не изъяснялась со мной так напрямую. Я был тем более взволнован, что это говорила взрослая женщина. Но чтобы не впасть в столбняк, который сразу показал бы ей, сколь нов для меня этот опыт, я ухватился за слово, задевшее мое самолюбие.

— В ваших последних словах есть какая-то материнская двусмысленность. Очевидно, для вас граница, отделяющая ребенка от взрослого, проходит между семнадцатью и восемнадцатью годами?

— До чего же вы обидчивы. Вам прекрасно известно, что у Алана нет возраста. Вы соответствуете своему, во всяком случае в некоторых отношениях. Двусмысленность была только в словах, но отнюдь не в мыслях. Но даже если бы так? Что в этом дурного?

Меня удивило совпадение между этим вопросом и утренними событиями; случайность это, подумал я, или Алан рассказал ей о нашей стычке и о том, чем она была вызвана. Как бы то ни было, разговор принимал тягостный для меня оборот, надо было положить ему конец. И я тупо сказал с развязностью, настолько наигранной, что тут же сам себя проклял:

— Мне нравятся ваши ноги.

И покраснел. Второй раз за день в сходных обстоятельствах, хотя и по разным причинам, я почувствовал себя смешным и уязвимым — ненавижу отрочество. Но мадемуазель Аткинс не выказала ни удивления, ни иронии. Она посмотрела на меня, казалось ожидая продолжения. Я не знал, что делать. Я восхищался тем, как легко она лавирует в хитросплетениях искренности и игры, как свободна она от гнета самолюбия — свобода эта надежнее всего гарантировала от боязни попасть в смешное положение. Тем сильнее ненавидел я собственную неискушенность, из-за которой я считал свое поведение глупым, не зная, в чем себя винить — то ли в неуместной сдержанности, то ли в натужной дерзости. Не умея сделать подлинный выбор, я прибег к иллюзорному — то есть к бегству. И вышел из медпункта.

В задумчивости я поднялся к себе на четвертый этаж, где были расположены комнаты учеников. За день на меня обрушилось слишком много событий, они почти физически меня придавили, бремя тревоги, казалось, мешает мне свободно дышать, стесняет движения. Я был заворожен влюбленностью в женщину, которая почти не обратила на меня внимания, а по отношению к другой испытывал властное желание, родившееся в той зыбкой атмосфере, в которой слово, упоительно переплетая притворство с подлинным вожделением, приобрело в моих глазах совершенно новую власть. И в откровении этом проглядывала бездна. И, однако, обе эти женщины в каком-то смысле оставались образами выдуманными, в самой их плоти, приблизиться к которой мне мешала недосказанность и робость и которую оживляла сценография воображения, стремящаяся разжижить точное воспоминание о фактах, — в самой их плоти было что-то бестелесное. Но они приводили меня к образу более осязаемому, более реальному и весомому — к образу Алана. Они были связаны с ним ходом мысли, усугублявшей предательство и развращенность обидой и печалью.

Я встретил его в бесконечом коридоре четвертого этажа. С полотенцем через плечо он шел к душевым. Я остановился, не зная, как себя вести, — я раздирался между надеждой загладить нашу размолвку и логикой, которую диктует нежелание идти на попятный, механизмом разрушения. А к Алану, казалось, вернулась его обычная безмятежная небрежность, которая наводила на мысль, что, вопреки его поведению в клубе, ничто не может задеть его глубоко и надолго. Спокойствие Алана меня взбесило. Вдобавок роль любовника мадемуазель Аткинс, изменив образ, рисовавшийся мне до сих пор, окончательно превратила его во взрослого и напрочь отрезала от меня, еще связанного с детством, в котором я барахтался, словно мы внезапно очутились по разные стороны рва, олицетворяющего начальный искус таинственного и страшного воспитания чувств.

Алан тоже остановился, посмотрел на меня, покачав головой, и сказал:

— Эта милейшая мадам Гамильтон...

И, рассмеявшись дружелюбным, без тени иронии, мальчишеским смехом, который совершенно сбил меня с толку, скрылся в душевой.

На другой день Алан вновь стал вести себя со мной как обычно, словно из его памяти стерлось все, что произошло накануне. Я не чувствовал той же непринужденности и держался с ним довольно сдержанно, чего он не мог не заметить, хотя никак этого не показывал. Вечером в колледже был традиционный праздник, отмечавшийся раз в году. Происходило это в клубе, где нам разрешали оставаться до полуночи. По установившемуся обычаю, мы имели право пригласить на праздник служащих колледжа, избираемых vox populi[1]. Эта свобода предоставлялась только выпускным классам, а преподавателям и прочим сотрудникам давала возможность самым непосредственным, если не самым жестоким, образом убедиться в степени своей популярности. Эта традиция, пародия на перевернутую власть, характерная только для обществ со строгой иерархией и по духу своему напоминающая то раскрепощение от зажимов, что свойственно карнавалу и празднику шутов, установилась в Hamilton School довольно давно, так что никто не решался ее пересмотреть, хотя она была чревата публичным унижением и демагогией. В этот вечер среди приглашенных оказались мадемуазель Аткинс и директор Рантен. Рантена, по крайней мере на моей памяти, приглашали всегда. Его ценили все, потому что за его холодностью, подчеркнутой заботой о соблюдении приличий и, пожалуй, даже условностей сразу чувствовался живой ум, незаурядное чувство юмора и подлинная широта, умерявшая строгую приверженность дисциплине. Единодушно приглашенная медсестра присутствовала на церемонии впервые. Около десяти часов мы организовали — еще одна традиция — матч комнатного регби, в котором команда преподавателей играла против команды учеников. Правила игры были просты: каждая команда из пяти игроков должна была, не бросая мяч и не роняя его (мяч заменяла подушка, как можно более упругая), коснуться им стены, изображавшей ворота противника, и защищать от его посягательств свою стену на противоположной стороне зала. Играли «в цивильном», с той только разницей, что можно было сбросить куртку и полагалось снять обувь. В остальном правила были довольно свободные и с правилами обычного регби совпадали только в смысле ограничения и допущения силовых приемов. Вся клубная мебель, на которую могли взгромоздиться зрители, в два счета была сдвинута к свободным стенам. Преподаватели сгрудились в одном углу, ученики — в другом, чтобы выделить пятерых игроков, которые будут представлять их команду. Я был избран игроком ученической команды, Алан стал ее капитаном. Мадемуазель Аткинс укрылась позади стойки бара, на которой устроился Рантен, чтобы судить и комментировать схватку.

— Господа, — начал он, — почтенное собрание ждет от вас решительной и

---

[1] Голос народа (*лат*).

учтивой игры, свободной от кастовых и корпоративных предрассудков. И поскольку традиция, которую, если мне позволено высказать мое личное мнение, я чту с оговоркой, ибо она меня слегка коробит, так вот, поскольку традиция премудро, хотя и не без доли извращенности, навязывает нам раскрепощающие силовые приемы, в процессе игры подвергая опасности наши души, а это дело серьезное, пожелаем, чтобы сей *катарсис* стал не привычным выплеском наших дурных страстей, а проявлением нашего юмора и великодушия, как на мускульном, так и на философском уровне. Пусть эта встреча уподобится диалогу Зенона с Сократом. Скажите сами себе, что, как бы ужасно ни было унижение, которое приносит проигрыш, образцовый стоик способен перенести его с твердостью, правда, лишь в том случае, если исповедуемая им доктрина поднимает его на такую немыслимую высоту над всеми человеческими слабостями, что само это допущение, увы, вызывает, по крайней мере у меня, недоверчивый смех.

Он бросил нам подушку, и потасовка началась. Силы участников были почти равными. Преподаватели были более увесистыми и опытными, но мы компенсировали их преимущество пылом и проворством. Разбушевавшийся Алан был особенно в ударе. Я тоже недурно справлялся со своей ролью. Трое же наших товарищей по команде бесновались так, словно от этого зависела сама их жизнь. Рантен комментировал перипетии игры спокойно и с юмором, но громовым голосом, который ошеломлял в человеке сложения скорее тщедушного и к тому же ни при каких обстоятельствах не прибегавшего к повышенным тонам. Оставаясь невозмутимым, он гремел так, что перекрывал гул выкриков и свистков. После первого тайма счет был 3:3. Одежда висела на нас клочьями. В перерыве мадемуазель Аткинс обработала некоторые царапины. Игра возобновилась с удвоенным неистовством. Равный счет сохранялся почти до самого конца. За несколько секунд до завершения матча мне посчастливилось, освободившись от опеки противника и оказавшись в выгодной позиции, принять «мяч» из рук Алана, которому удалось сделать длинный и ловкий пас как раз тогда, когда сам он рухнул под тяжестью двух нападающих. Вытянув руки, вцепившись в подушку, я прыгнул как мог высоко, чтобы избежать лобовой атаки защитника, который, пытаясь обхватить меня руками, растянулся во весь рост, а я перемахнул через него прямо к стене противника и под шквал аплодисментов врезался в нее, на мгновение обалдев от удара. Рантен объявил об окончании матча, торжественно назвав нас победителями.

— Теперь,— продолжал он среди начавшего стихать шума, — капитану выигравшей команды должен быть вручен трофей победы. Вручает награду и пожимает руку победителю обычно судья. Но поскольку сегодня вечером мы имеем удовольствие видеть среди нас мадемуазель Аткинс, я буду рад передоверить ей мои полномочия. Полагаю, это не сочтут слишком серьезным отступлением от принятого обычая, а герой дня, признаю это с трезвым смирением, от подобной замены не прогадает.

— С вашего позволения, мсье, я тоже хотел бы передоверить свою привилегию капитана самому молодому и достойному из нас, — заявил Алан, указывая на меня.

— Не возражаю, мсье Стюарт.

Я с некоторым смущением подошел к медсестре, которой Рантен передал приз. Это было некое гончарное изделие, невероятно нелепое, перегруженное гротескными орнаментальными украшениями и раскрашенное кричащими красками. Изготовленное специально к этому случаю в мастерской скульптуры и лепки, оно свидетельствовало о необузданном разгуле саркастической фантазии. Несколько таких шедевров нарочито дурного вкуса были выставлены как в учительском, так и в ученическом клубе. Мадемуазель Аткинс протянула мне трофей. Я зажал его под мышкой, ожидая традиционного рукопожатия. Но она, шагнув ко мне,

ласково поцеловала меня в обе щеки. Это была мимолетная ласка, легкое прикосновение губ. Воцарилось молчание. Его прервал Рантен.

— Право слово,— заявил он, — если уж нарушать традицию, не будем останавливаться на полпути, даже если это нарушение сродни убийству.

И он засмеялся, что было совершенно необычно. Его замечание было встречено оглушительной овацией. Я бросил взгляд на Алана. Он аплодировал, поглядывая на меня с дружелюбной иронией.

Около часа ночи, когда я уже уложил в чемодан почти все необходимое для моего переселения в дом Александры Гамильон, в дверь моей комнаты постучали. Это был Алан.

— Пошли, — сказал он.

— Куда?

— Увидишь.

Я в недоумении следовал за ним по коридорам и лестницам, погруженным в сумрак, который рассеивало только тусклое свечение ночников. Мы вышли в парк и двинулись по главной аллее, по которой я шел накануне, до пересечения дорожек неподалеку от северных ворот. Справа в кромешной тьме среди дубов терялась аллея, которая вела к частным владениям Александры Гамильтон. Алан свернул налево к большому флигелю для персонала, куда мы вскоре и пришли. Здесь царило безмолвие. Прямоугольники света, просачивавшегося из четырех окон верхнего этажа, оттеняли сплошную черноту фасада. Алан без колебаний вошел. Я последовал за ним до верхней площадки широкой лестницы, потом по коридору, где только редкие ночники источали неяркий желтый свет, с трудом отражавший натиск тьмы. Алан постучал в какую-то дверь. Открыла нам мадемуазель Аткинс.

Два часа спустя мы с Аланом молча сидели бок о бок на скамейке в парке. Мои мысли, осаждаемые еще свежими в памяти мощными и смачными видениями, взбудораженно блуждали, успокаиваясь по временам, когда их невольно отвлекало созерцание ночи. Проникавший сквозь деревья неутихающий восточный ветер обдувал своим ласковым и свежим дыханием прогалины парка, контуры которого очерчивала высокая полная луна, выявлявшая все разнообразие тончайших оттенков черного и белого, все изыски светотеней. Колледж, который с одной стороны обводила темная масса деревьев, а с другой — молочные плоскости лужаек, являл взору гладкую блеклость своей крыши, отражавшей небесные огни, и сумрачную поверхность фасада, на котором едва заметно выделялись более темные очертания дверных и оконных проемов. Отдаленно и ровно шумел истомленный прибой, непрерывно накатывающий на песчаный берег. Но умиротворение реального мира вновь нарушали грозовые мечты.

Эти мечты были сотканы из отвращения и страсти, из утраченных иллюзий и начатков нового знания. Я преодолел ров, обнаружившийся между мной и Аланом, но преодолел без робких предосторожностей, сопровождающих обычное посвящение, без глупой и отрадной, даже если она иллюзорна, восторженности чувств. Все совершилось с изощренным распутством и варварской грубостью, и я не знал, смогу ли выдержать теперь шок отдачи. Сначала Алан в своем самообладании и сдержанности показался мне чудовищем, чем-то вроде хладнокровного Дьявола, который по своей прихоти распоряжается собственным телом и духом, сама смелость слов и жестов которого в какой-то мере запланирована и у которого рассчитано все — вплоть до нарастающего сладострастия и изобретательности воображения. Но потом он стал казаться мне скромником на фоне того, что говорила и выкрикивала женщина, какие позы она принимала. Вся мощь непристойности и наслаждения исходила от нее, Алан же из манипулятора незаметно превращался всего лишь в инструмент. Это безоглядное самозабвение, готовность унизиться, откровенное, даже подчеркнутое желание проституировать себя, вы-

ставить напоказ бездны, в которых я видел тайное тайных всякого существа, пробудили во мне такое сладострастие и такой ужас, какие не рисовались мне в полете самого разнузданного воображения. Больше, чем красота тела и непристойность поз женщины, меня потрясли ее слова — именно они были в моих глазах самым большим бесстыдством, величайшей, необратимой дерзостью, почти самоубийственной в переходе границ запретного. Осязаемо, с опустошительной непреложностью ощутил я новую для себя силу слова, которую она уже дала мне почувствовать раньше, но этот первый опыт показался мне теперь безобидным. Я еще не осознавал, чем обернется для меня этот переворот, не знал, что со мной будет. Знал только, что мне надо стать другим, чтобы от этого опыта в моей душе не угнездилось надолго ощущение мерзости.

Ход моих мыслей прервал Алан.

— Ты на меня сердишься?

— Не знаю. Не думаю.

— Согласен, все произошло несколько грубовато. Но попробуем взглянуть на дело с положительной стороны. Не говоря уж о том, что ты получил наслаждение — это выражалось явно и даже весьма красноречиво, — подобное приобщение к предмету в дальнейшем избавит тебя от потери времени и от многих ошибок и огорчений.

— Ты, очевидно, ждешь от меня вечной благодарности?

— Не злись, — сказал он смеясь. — Ты прав. Мои побуждения не имели ничего общего с альтруизмом, и даже если от случившегося у тебя останется некоторое недоверие ко мне, а может, и досада, я не стану прибегать к худшему из извинений — что, мол, намерения у меня были добрые. Для меня это тоже был своего рода опыт, правда не столь впечатляющий, как для тебя. По причине искушенности и преднамеренности. Но, впрочем, не только поэтому. Мадемуазель Аткинс — женщина чрезвычайно интересная, но ей чего-то не хватает, а может, у нее в чем-то перебор.

— После того, что произошло, любые критические замечания по ее адресу кажутся мне неуместными и даже низкими.

— Речь не о том. Я просто стараюсь определить ее роль в мире моего сексуального воображения. Недостает ей сознания вины, перебор же у нее здоровой на свой лад морали, а это подозрительно и умеряет наслаждение. Она, наверно, из любой ситуации выйдет умиротворенной и незапятнанной. Ей незнаком стыд. А поиск наслаждений, который не знает подлинных препятствий, недорого стоит, ибо не оплачен пикантным чувством унижения или острым сознанием вины. К тому же между нами нет любовных чувств, а это заметно понижает ставку в такого рода опыте.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть сознание вины? Но это же просто смешно. Ты всегда уверял меня, что тобой движет единственный принцип — борьба со скукой.

— Ты склонен меня окарикатуривать. Впрочем, это справедливо — я пожинаю то, что посеял. Но по существу ты прав. Самого по себе чувства вины у меня нет. Не вижу в нем никакого смысла. Зато оно пленяет меня в женщине, поскольку неизбежно усугубляет ее наслаждение, а стало быть, и мое. Чувство вины в ней тем сильней, чем глубже разрыв между ее внешней благопристойностью и тайной склонностью к пороку. Этот-то разрыв только и важен, когда он преодолен. Тогда из преграды он становится усилителем энергии, высеченной из столкновения крайностей, он сводит на нет слепую тиранию конформизма и пресность разнузданной свободы. И воплощает сладость греха, наслаждение, порожденное непристойностью. — Он рассмеялся. — Странно, однако, что я, наследник пуританского протестантизма, меркантильного, лишенного воображения, объясняю такого рода вещи человеку, сформированному католицизмом. Умение извлечь

максимальное наслаждение из греха — это, кажется, по вашей части, не так ли?

— Тебе следовало бы получше распорядиться наследием прагматизма. На мой взгляд, твои рассуждения довольно абстрактны. Что, например, ты понимаешь под «столкновением крайностей»?

— Это как в религии. Бог и Дьявол, взятые по отдельности, тусклы и бесплодны. Но вместе они составляют самую плодотворную пару, какую когда-либо изобрело человечество. Это своего рода братство или супружеский союз между возвышенным и гнусным. Для меня этот принцип являет собой источник, из которого наслаждение черпает свою энергию и насыщенность и который особенно усиливает женскую притягательность. Для меня образ женщины воплощает самую суть возвышенного — ум, любовь, красоту, недоступность богини и святость матери... И все возможные варианты гнусности: похабство, развращенность, рабскую покорность, наконец, проституцию. Две крайности этих наборов выражены образом матери и шлюхи. Поскольку здесь разрыв максимален, то и грех, непристойность, а стало быть, и наслаждение тоже.

Слова Алана, которые грубо и прямолинейно вернули меня к чему-то глубинному и тайному во мне самом, что я ощутил во время свидания с Александрой Гамильтон, не имея, впрочем, желания в это вникнуть, ввергли меня в страшное смятение. Я сделал отчаянную попытку направить разговор в другое русло.

— Ты уже дважды упомянул любовь. В твоих устах это слово звучит довольно странно.

Обернувшись ко мне, он вперил в меня взгляд. Его лицо, освещенное холодным и резким ночным светом, было прекрасно идеальной и зловещей красотой замечтавшегося падшего ангела, печального демона.

— Ты и в самом деле плохо меня знаешь, если полагаешь, что я не способен любить. В моих глазах только любовь и имеет цену.

Он помолчал, точно не зная, решиться или нет.

— В Англии есть женщина, которую я люблю, — заговорил он наконец. — Люблю страстно. Ей тридцать восемь лет. Она красива, умна, великодушна, богата, уважаема. И ничем не занята. Она, как и я, самым своим нутром познала скуку. Восемнадцати лет она вышла замуж за глупца, который по сей день с грехом пополам играет роль ее мужа. Она тоже любит меня. Но по-другому, по крайней мере с виду. Мне хотелось бы, чтобы ты стал ее любовником. Отдав ее тебе, я на свой лад сам стал бы ее обладателем. Извращенное наслаждение? Что ж, пусть. Но цену ему может придать только страсть. Столкновение крайностей. Теперь ты понимаешь, почему я так резко реагировал, когда ты сообщил мне, что отказываешься от наших каникулярных планов. Но мне хотелось, чтобы хоть что-то все-таки произошло, хотелось испытать нечто, что как-то перекликалось бы с моим намерением. Отсюда эта сцена с мадемуазель Аткинс. Но она меня не любит. И я ее не люблю. Она не поддается наслаждению, а сама его ищет. Это была всего лишь пародия, волнующая, но все-таки пародия. Просто лекарство от меланхолии.

Совершенно растерянный, я почувствовал вдруг прилив любви к нему, но не знал, как ее выразить. И не нашел ничего, кроме дурацкой фразы:

— А твоя... любовница знала о твоих желаниях и намерениях?

— Любовница? С чего ты взял, что она моя любовница? Обычно ты более сообразителен. Неужели ты подумал, что мои слова — просто философические умствования или что я любитель ночных излияний? Женщина, которую я люблю, не любовница мне и вряд ли когда-нибудь ею станет. Это леди Стюарт, моя мать.

Он порывисто встал и зашагал по аллее, ведущей к дверям колледжа.

Всю ночь я не смыкал глаз. В темноте передо мной непрерывно мелькал образ женщины, отдающейся без всякой оглядки. Речь ее была смесью стыда и вы-

зова, торжества и покорности. У нее было лицо Александры Гамильтон.

С чемоданом в руке я следовал за мадемуазель Элиот, которая твердым шагом, с достоинством поднималась по лестнице. На третьем этаже мы углубились в широкий коридор, который, как и коридоры нижних этажей, пересекал все здание с севера на юг. Но только в отличие от первого этажа здесь было две двери в правой стене, а в левой — одна двустворчатая. Тут мадемуазель Элиот в первый раз обратилась ко мне:

— Комнаты для гостей расположены в западной части этажа. Их три. Можете выбрать ту, которая вам больше подойдет.

— Уверяю вас, мне все равно.

— Моя обязанность, мсье, — холодно возразила она, — выполнять распоряжения мадам.

Она открыла первую дверь справа, ближе к лестнице, и посторонилась, пропуская меня. Комната была просторная, продолговатой формы, с одним окном.

— Это северная комната. Здесь довольно темно. Ее единственное преимущество в том, что отсюда можно прямо попасть в ванную, общую для всех трех комнат. Следуйте за мной, пожалуйста.

Мадемуазель Элиот подвела меня ко второй двери. Дверь открывалась в небольшой коридор, перпендикулярный к главному и ведущий к роскошной ванной и к двум другим комнатам, которые домоправительница лаконично охарактеризовала как «западную» и «южную». Первая из них, расположенная посредине, была шире остальных, но в длину укорочена ванной комнатой, отделявшей ее от главного коридора, и очень пропорциональна. Вторая, в точности такая, как северная, была самой светлой. Три окна — два по фасаду, через которые потоком лился дневной свет, и одно по торцу, как и окна остальных комнат, обращенное на запад, — позволяли наслаждаться солнцем почти с утра до вечера, к тому же отсюда все имение было видно как на ладони.

— С вашего разрешения, я выбрал бы южную комнату,— сказал я домоправительнице.

— Хорошо. Я позову горничную, чтобы она приготовила постель и разобрала ваш чемодан.

— Благодарю вас, в этом нет нужды. Я способен сам застелить постель и развесить в шкафу одежду

— Таково распоряжение мадам.

Ее взгляд из холодного стал откровенно враждебным. Я вдруг разозлился.

— Вы это уже говорили, мадемуазель.

На мгновение она опешила от моей дерзости, но лицо ее сразу же вновь изобразило ледяное высокомерие. Всегда ли она ведет себя так, подумал я; может, люди нанесли ей какую-то непоправимую обиду, и сдержанное достоинство домоправительницы отягчено озлобленностью на весь мир, а может, по какой-то неведомой причине ей несносно мое присутствие.

— Как вам угодно, — сказала она. — Обед ровно в час дня. Дверь в столовую из холла на первом этаже слева от входа.

Она мне кивнула и вышла. Я слышал, как, миновав коридор, она открыла двустворчатую дверь как раз против двери в маленький коридор, и решил, что ее комнаты расположены в восточной части этажа. Такое соседство отнюдь меня не прельщало. Я презирал эту помесь высокомерия с уничижением, услужливости с тайной властью, эту затаенную спесь раболепия.

Пытаясь забыть о домоправительнице, я начал устраиваться. Комната была скупо обставлена старинной красивой и удобной мебелью. Я открыл окна и залюбовался обступавшими дом и закрывавшими весь горизонт дубами парка; их верхние ветви, уже тронутые нежной зеленью, нависали над крышей. Первый их

ряд был совсем близко, его отделяли от здания только небольшие лужайки и аллеи. Я вдыхал свежий, прохладный воздух, контрастировавший с проникновенным теплом солнечных лучей, струившихся с безоблачного неба. Мало-помалу я поддался вкрадчивой истоме, впав в задумчивость, которая питалась отнюдь не умиротворенностью окружающего мира, не великолепием пейзажа, дышащего безмятежным торжеством весны, а наоборот, борениями души, на которую неотступными волнами накатывали тревога и смятение. С Аланом до его отъезда я больше не увиделся. А я хотел бы сказать ему, что его последние слова глубоко меня растрогали, хотя и напугали, и приблизили меня к нему, очертив вдруг в моих глазах другой образ, более сумрачный, более глубокий, достойный большего интереса и привязанности. Я смутно опасался, как бы поразительное открытие, заменившее лицо личностью и возвестившее зарю новой для нас общности мыслей и чувств, ставка в которой была куда богаче и опаснее прежней, не стало одновременно концом наших отношений. Этот порыв сбросить под покровом ночи маску, скрывавшую под элегантной мишурой равнодушия и высокомерной светскости безысходное одиночество, быть может, был последней роскошью, завершением, неизбежным тупиком, потому что водворить на место маску, ставшую теперь смешной, Алан не мог, но не мог и обойтись без нее, кроме как в этот критический, а стало быть, мимолетный миг. Но тут мне вдруг пришла в голову мысль, что эта маска, быть может, существовала только в моем воображении, которое зиждилось на успокоительной и жалкой логике, на поверхностном представлении о том, что совместимо, а что нет, и в том, что я определял в Алане как мнимое и подлинное, на самом деле по-разному проявлялась свобода, которой я сам был почти лишен. По сути дела не было ни малейших оснований считать, что Алан не таков, каким кажется, его великодушие и надменность, цинизм и любовь, извращенность и душевная смута, успех у окружающих и одиночество могли быть в равной мере подлинны. Понял я и еще кое-что. Алан не боялся ни других, ни самого себя, каким он был. А я полон страхов: я боюсь наслаждения, испытанного с мадемуазель Аткинс, боюсь равнодушия Александры Гамильтон, боюсь оказаться уязвленным и смешным, боюсь того, что можно желать собственную мать и осмелиться говорить об этом вслух, не страшась самоистребления. Я вдруг понял разом, что приписываю Алану маску, которую ношу сам.

Очнувшись от своего пессимистического отупения, я обнаружил, что уже час. Я хотел бы остаться один, не ходить на обед, чтобы не показываться Александре Гамильтон в таком состоянии духа. Мне вообще хотелось очутиться где-нибудь за тридевять земель. И, однако, я спустился на первый этаж и постучал в дверь, указанную мадемуазель Элиот. При звуках голоса Александры Гамильтон я вздрогнул. Сделав над собой усилие, я вошел, стараясь изобразить вежливую и равнодушную мину. Комната была огромная, роскошно обставленная и залитая перекрестными лучами света из четырех окон, два смотрели на юг, два — на восток. Посредине стоял массивный стол. В дальнем его конце сидела Александра Гамильтон; увидев, что справа от нее накрыт еще только один прибор, я понял, что домоправительница с нами не обедает. В ответ на мое приветствие хозяйка улыбнулась и предложила мне сесть. Она показалась мне еще красивее, чем когда я увидел ее впервые. Подавала нам женщина средних лет, кругленькая, скромная и приветливая, — очевидно, сама повариха. Обед этот стал для меня пыткой. Я старался тщательно соблюдать за столом все правила хорошего тона, которые весьма приблизительно соблюдались в свободной атмосфере, царившей в нашей школьной столовой, и из страха выдать сумятицу мыслей и чувств как можно реже обращался к хозяйке, которая притягивала мой взгляд как магнит. Однако, несмотря на свое смущение, я наслаждался ее присутствием. Я сохранил достаточно здравого смысла, чтобы не пытаться блеснуть — это могло бы ее раздосадовать или, что еще хуже, насмешить, и на ее довольно безобидные вопросы о моей

учебе, о моих ближайших и дальних планах, вызванные простой учтивостью, отвечал скупо и скромно. Казалось, трапеза была для нее не актом светского общения, а банальным способом утолить голод, и обед длился недолго. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Она попросила подать кофе в гостиную, куда вела высокая и широкая дверь прямо из столовой. Обе комнаты были одинаковой величины и занимали всю западную половину первого этажа. Я начинал представлять себе внутреннее устройство дома, архитектура которого была проста и обеспечивала хозяйке удобную возможность, сочетая комнаты, которыми пользовались вместе гости, хозяева и прислуга, с ее личными апартаментами, оберечь таким образом свою независимость и уединение. Это устройство довольно точно отражало принцип планировки всей усадьбы. На первом этаже по одну сторону холла располагались гостиная и столовая, по другую — кухня и служебные помещения. На втором этаже — библиотека и наверняка квартира Александры Гамильтон, на третьем — комнаты для гостей и квартира домоправительницы.

Гостиная, отличавшаяся изысканной роскошью, была темнее столовой, потому что находилась в северо-западном углу здания. Северная стена была сплошной, и свет проникал сюда из двух окон, выходящих на запад. Мы сели за низкий столик и стали пить кофе почти в полном молчании. Александра Гамильтон о чем-то задумалась. Мне хотелось знать, о чем — о чем-то совершенно постороннем или все-таки о том, как бы придать немного более личный характер разговору, который до сей минуты едва теплился и всю безнадежную бесцветность которого она не могла не ощущать.

— Боюсь, вам со мной будет скучно, — наконец произнесла она. — Я предупреждала вас, что мое общество, наверно, покажется вам слишком строгим.

— Вовсе нет, мадам, уверяю вас, — ответил я с пылом несколько большим, чем требовали обстоятельства.

Она улыбнулась.

— Вы, наверно, считаете, что должны быть снисходительны к старой подруге вашей матушки. А как она поживает? Мы с ней давно не виделись. Рассказывала она вам обо мне?

— Очень часто, мадам, — сказал я, слегка покривив душой. — Я знаю, что вы знакомы с детства, с тех пор как она приезжала на каникулы к своим британским родственникам. И что она вместе с вами завершала свое образование в Оксфорде, куда ее во время войны послал дядя.

— С тех пор мы не встречались. Я задним числом узнала о ее замужестве, о вашем рождении и о том, что она уехала в Африку. Я надеялась увидеться с ней, когда она вернется во Францию, тем более что она написала мне о своем намерении отдать вас в Hamilton School. Но с вами приехал ваш двоюродный дед. А с нею мы только несколько раз обменялись письмами да коротко говорили по телефону. Мне очень жаль.

— Ей тоже, мадам, — ответил я с дурацким усердием.

— В самом деле?

Она снова улыбнулась, посмотрев на меня так, точно лишь сейчас обнаружила, что я существую. Но это открытие, которым я был обязан своей преувеличенной любезности, было окрашено иронией — тон разговору задавала она. Я снова проклял свою наивность. Она встала, я последовал ее примеру.

— Не удивляйтесь, что сегодня вечером мы не увидимся, — сказал она. — Я допоздна работаю в библиотеке, куда мне подают легкий ужин. Вы можете поужинать в любое удобное для вас время от восьми до девяти. Вам надо только сообщить на кухню, что вы пришли. Кроме того, вы уже знаете, что можете пользоваться нашими яхтами, стоящими в Розеле, гимнастическим залом и библиотекой колледжа. Я предупрежу мсье Уайльда. Это мизантроп, который не выносит одиночества. Несмотря на свои повадки, он будет очень рад вашему приходу.

Она проводила меня до холла и скрылась на лестнице. Я вышел из дома, миновал отведенную хозяевам часть парка и медленно, в смущении побрел по центральной аллее, не зная что думать о таком неуклюжем начале наших взаимоотношений. Я продолжал мечтать, хотя и понимал, что все дальнейшие обеды будут как две капли воды походить на этот, первый, что нет никаких причин для того, чтобы учтивое и официальное обхождение со мной Александры Гамильтон когда-нибудь переменилось, что мы привыкнем все реже обмениваться репликами и парадоксальное любопытство, возбуждаемое стараниями установить нейтральный тон, со временем поблекнет, спокойная скука вытеснит мало-помалу двусмысленное стеснение, и я из докучного стану тускло-привычным. И, однако, мне не пришло в голову пересмотреть свое решение, я знал: мое здешнее пребывание пройдет под знаком неудовлетворенности и инерции, ущемляя мою тягу к перемене мест и к приключениям, но оно будет оправдано в моих глазах безнадежной целью — ежедневным повторением этой неловкой встречи.

Мной уже начала овладевать праздность. Я собрался было дойти до Розельского порта, но потом, передумав, решил заглянуть в библиотеку. И направил свой путь к колледжу. Я пересек двор, открыл массивную дверь и вошел в библиотеку, занимавшую бóльшую часть первого этажа. Это был громадный зал, около двух тысяч квадратных метров, с лепным потолком и галереей, тянувшейся вокруг на уровне середины стен, а сами стены восьмиметровой высоты были сплошь заставлены книгами, выстроившимися на полках резного дуба, частью потемневших от времени и долгого служения, частью более новых, но в точности таких же, как их старшие собратья. Библиотека, вначале небольшая, в XIX веке вдвое, а в XX в четыре раза расширила свое помещение, поглотив соседние комнаты. Это развитие можно было проследить по лепнине, ограничивавшей четырехугольные, не похожие друг на друга участки потолка; декоративная роскошь, в которой чувствовалось желание придать каждой комнате, в прошлом не зависящей от других, во всем, вплоть до архитектурных деталей, своеобразный облик в соответствии с ее назначением, красноречиво свидетельствовала о богатстве и щедрости заказчика. Высокие, как деревья, массивные, почти черные деревянные столбы, перегруженные орнаментом и напоминавшие каменные колонны римского ордера, пародией на которые они смотрелись (фантазия обновителя XIX века, в точности повторенная в следующем столетии при вторичном расширении), заменив прежние опорные стены, поддерживали несущие балки. Паркет, стыки которого указывали, где в свое время проходили исчезнувшие стены, являл взору геометрию, в точности совпадающую с той, что можно было наблюдать на потолке, но был на всех участках уложен одинаковым узором и заставлен пюпитрами с сиденьями при них; эта старомодная мебель была, однако, снабжена маленькими индивидуальными вертящимися лампами — единственной видимой уступкой современности в этом разношерстном музее; в его глухом покое, который присущ всем храмам знания, отягченного грузом минувших эпох, было что-то погребальное. Фонд библиотеки, постоянно пополнявшийся новыми изданиями, насчитывал более ста тысяч томов — солидная цифра для частной библиотеки, — а также бесчисленные комплекты научных и литературных журналов. Существовал также особый фонд, которым ученики могли пользоваться только в виде исключения и в котором хранились неоценимые для библиофила сокровища. Я очень любил библиотеку, которую часто посещал с тех пор, как поступил в колледж, и все же зал меня подавлял.

Я сразу заметил библиотекаря Леонарда Уайльда — он сидел за письменным столом на возвышавшемся над залом помосте в стратегической позиции у самого выхода. Библиотекарь поднял голову и уставился на меня. Я мог подойти прямо к полке, взять любую книгу и устроиться за пюпитром. Иметь дело с Уайльдом и его картотекой приходилось лишь в том случае, если ты брал книгу на дом.

Но мы были вдвоем, и, несмотря на огромные размеры зала, трудно было не обратить друг на друга внимание. К тому же, не говоря уж о требованиях обычной вежливости, я считал своим долгом представиться и поблагодарить его, потому что в принципе у него тоже были каникулы и он имел полное право запереть библиотеку — запретить ему это не могла бы и сама Александра Гамильтон. Я остановился у помоста. Уайльд искоса изучал меня своим проницательным взглядом, похожий на птицу, которая не может смотреть прямо и отворачивает голову, чтобы воззриться на тебя с высоты своего насеста. Диковинная птица был этот Леонард Уайльд. До сих пор я общался с ним только тогда, когда того требовали мои занятия, и, посещая эти шесть лет библиотеку почти ежедневно, едва ли обменялся с ним десятком фраз. Но я знал о нем по рассказам. Он появился в колледже вскоре после приезда Александры Гамильтон, и библиотека, которой несколько веков коллегиально управляли директор и преподаватели, практически стала его личной собственностью, что вначале вызвало немало кислых замечаний, а кое-кто даже открыто возмущался. Рантен изложил предмет тяжбы новой хозяйке учебного заведения, считая, что она распорядилась так по молодости лет и неопытности, он сослался на традицию, на то, что необходимо щадить самолюбие людей и найти компромиссное решение, но ответ был сухим и категорическим: «нет». Из него заключили, что Уайльд пользуется непонятным покровительством сей таинственной и недоступной Дианы. Впрочем, то был единственный случай, когда Александра Гамильтон проявила свою власть. Перед лицом этой непреклонной твердости недовольные уступили и, не без досады и горечи, привыкли проникать на прежнюю коллективную территорию с тягостным чувством, что они браконьерствуют в заповедных лесах. К тому же им пришлось признать высочайшую компетентность Уайльда. Он усовершенствовал и привел в порядок все старые каталожные ящики и завел новые. Вдобавок он начал составлять предметный указатель — титаническая работа для одного человека. Он не только без раздумий мог ответить, есть ли в библиотеке труд, о котором его спрашивали, он почти всегда был знаком с его содержанием, о каком бы предмете ни шла речь. Эта грандиозная, энциклопедическая, почти противоестественная культура вызывала смешанное чувство почтения и подозрительности, потому что немногим преподавателям хватало чувства юмора, чтобы оценить дилетанта, который лучше их был осведомлен если не в основах их предмета, то по крайней мере в истории вопроса вплоть до новейших времен. С другой стороны, как раз в тот год, когда Уайльд вступил в должность, скромный бюджет библиотеки внезапно заметно увеличился, и фонды, три с половиной столетия пополнявшиеся довольно скупо, за десять лет выросли почти вдвое, отчего и потребовалось построить галерею. Уайльд же создал особый фонд, чтобы сохранить самые редкие и ценные издания, которые при длительном и слишком частом пользовании могли быть безвозвратно погублены, — причем библиотекарь тотчас вновь вводил эти книги в обращение, покупая по возможности более новые, менее ценные их переиздания или просто те же самые издания, но в лучшем состоянии. Кроме того, он необычайно расширил отдел периодики, который до него был довольно убог.

Эта нечеловеческая продуктивность, эта пугающая ученость в сочетании с замашками аристократа и ироническим, едким, на грани цинизма умом создали Уайльду репутацию грозного оригинала и, отпугнув как самых великодушных, так и самых неустрашимых, образовали вокруг него полосу отчуждения. Им восхищались, но его не любили. Он внушал всем, даже самому Рантену, который, восхваляя его вслух, бежал от него как от чумы, смутный страх. Единственным исключением из этого правила казался Алан. Он прилюдно вступал с Уайльдом в шумные словесные перепалки — истинное наслаждение для ценителей агрессивной риторики. Я подозревал, что эти стычки доставляют глубокое удовлетворение обоим. Какие чувства — тайную симпатию или ненависть — питает к Алану

Уайльд, определить было невозможно. То немногое, что я слышал от Алана, наводило меня на мысль, что сам он относится к этой диковинной личности с уважением, хотя Уайльд и раздражает его сверх всякой допустимой и мыслимой меры. Их дуэли напоминали схватку карающего ангела с апокалиптическим зверем. То изящный безжалостный Меркурий спорил с Молохом.

Дело в том, что не только по своей духовной сути, но и по своей внешней оболочке Уайльд был единственным в своем роде чудищем. Это был Винчи с наружностью Калибана, Квазимодо, лишенный горба и наделенный гениальностью. Его уродство, зачаровывающее и отталкивающее, было пропорционально его интеллекту как по масштабу, так и по силе воздействия на окружающих. Он наверняка страдал от этого, но виду не показывал, и, по-моему, его страдание проявлялось косвенно в двух тенденциях, довольно полно выражавших его характер: он будто нарочно подчеркивал свою отталкивающую внешность упорной неряшливостью в одежде, в этих местах воспринимавшейся почти как вызов, а свои неслыханные познания, которые могли бы стать источником плодотворных и щедрых отношений с людьми, превратил в настоящее оборонительное оружие, в ощетиненную колючками преграду между собой и другими. И, однако, он нуждался в общении, может быть, просто потому, что таким образом мог упражнять свое красноречие — дар, на котором, хоть он и пользовался им как мечом или молотом, зиждилось его самосознание. Все это я уже подозревал и прежде; хотя мне ни разу не пришлось всерьез с ним общаться, меня всегда интересовала эта личность, за которой я пристально наблюдал, а теперь мою мысль подтвердили последние слова Александры Гамильтон: «Это мизантроп, который не выносит одиночества». Кстати, услышав это замечание, я вновь задумался над вопросом, который задавали себе все окружающие: что за загадочные отношения связывают красавицу и чудовище? Внешний вид Уайльда и определявшаяся им его нелюдимость имели, как уже сказано, конкретное следствие: он редко покидал пределы библиотеки и никогда — пределы Hamilton School, поэтому я надеялся, что чтением сумею как-нибудь развеять скуку, которую не могло не вызвать мое затворничество и характер dea abscondita[1] — той, что была его причиной.

Стоя у подножия возвышения, я поклонился Леонарду Уайльду.

— Подойдите, юноша, подойдите, — сказал он, продолжая созерцать меня своим взглядом василиска.

Я поднялся по ступенькам к его столу. Библиотекарь встал и очутился прямо передо мной. Я был выше его по крайней мере на целую голову. Его туловище производило впечатление какого-то сгустка силы. Руки и ноги у него были короткие и толстые. Громадная голова почти без шеи, казалось, сидела прямо на неимоверного размаха плечах. Дряблые щеки, огромный безгубый рот рептилии, временами открывавший щербатые, вкривь и вкось торчащие зубы, пожелтелые от табака; смехотворно короткий нос картошкой, да вдобавок косящие глаза — один светлый и острый, как серо-голубой стальной клинок, другой темнее, замутненный не то каким-то врожденным бельмом, не то ранней катарактой; асимметричные уши со вздутыми мочками, мощный выпуклый лоб, осененный буйными зарослями седых косм, — все это вместе образовывало такую уродливо несообразную, но, с другой стороны, такую необыкновенно выразительную внешность, что трудно было отвести от него взгляд. И в этом хаосе неожиданно обнаруживались два совершенства: кисти рук с длинными тонкими пальцами, которым могла бы позавидовать женщина, и замечательный голос, глубокий, теплый, идеально поставленный, едва ли не потрясавший своей музыкальностью, который как нельзя лучше обслуживал сокровища ума Уайльда и неиссякаемые запасы его обольстительного и едкого красноречия. На библиотекаре был видавший виды

---

[1] Богиня, таящаяся от дневного света (*лат*).

серый костюм. Лоснящиеся на коленях брюки были ему велики и закручивались спиралью на его коротких ножках. Пиджак, блестевший на потертых местах, с локтями, где уже проглядывала основа ткани и вот-вот должны были появиться дыры, с карманами, оттопыренными Бог весть каким содержимым, казалось, снят с огородного пугала. Жилет с оборванными пуговицами местами пузырился, открывая сероватую мятую рубашку, которая в далекие времена своего великолепия была, очевидно, белой; уголки ее воротничка топорщились над гранатового цвета галстуком, прожженным во многих местах сигаретой. Самый обнищавший и наименее требовательный по части щегольства старьевщик не дал бы за это одеяние ни гроша. Однако на всей этой ветоши не было ни пылинки, она не источала того удушающего прогорклого запаха, который обычно исходит от одежды, слишком долго облекавшей грязное тело, с которым она под конец образует тошнотворную амальгаму. Уайльд, который с вызывающим упорством старался вырядиться как пария, демонстрируя отчаянное стремление следовать девизу «чем хуже, тем лучше», был педантично чистоплотен.

Я знал, что месяц назад ему исполнилось шестьдесят лет — по этому случаю Рантен вручил ему вполне официально, хотя и без свидетелей, поскольку библиотекарь терпеть не мог какие бы то ни были публичные церемонии, коллективные мероприятия и даже простое скопление людей, два поистине роскошных подарка: гравированную инкунабулу от всего колледжа, а от Александры Гамильтон офорт Рембрандта, который хранился в ее семье триста лет. Этот подарок свидетельствовал о глубокой привязанности молодой женщины к стареющему бирюку. Рантен рассказывал потом, что Уайльд взял инкунабулу и офорт, долго молча смотрел на них, и вдруг по его неподвижному лицу заструились слезы. Потом он забился в свою берлогу. Наутро оба предмета были выставлены в особом фонде с двумя табличками — одна содержала исторические сведения о них, на другой, характера более личного, стояло: «Леонард Уайльд решительно благодарит всех, кто этими подарками засвидетельствовал ему свою симпатию по случаю печального события — наступления старости. Считая, однако, аморальным наслаждаться этими сокровищами в одиночку и лишать широкую публику возможности удовлетворить свой к ним интерес, он преподносит их в дар библиотеке Hamilton School».

Слегка склонив голову набок, Уайльд с минуту всматривался в мое лицо. Я с притворным спокойствием старался выдержать его взгляд, снова, в который раз, смущенный проницательностью этих глаз и зачарованный его уродством.

— Итак, — заговорил он наконец, — вы приняли несуразное приглашение мадам Гамильтон. Меня удивляет, что интересный молодой человек, которому метрополии Европы могли предложить набор разнообразных удовольствий, предпочел разыгрывать анахорета. Что побудило вас заживо похоронить себя здесь?

Этот вопрос, полный иронического подтекста и пробудивший во мне неприятное воспоминание о первой реакции Алана, рассердил меня; я понял, что в будущем ничего хорошего от наших отношений ждать не приходится. Но в то же время моя робость исчезла, сменившись некоторой даже воинственностью. Хватит мне уже выступать в роли этакой белой вороны только оттого, что я оказался гостем Александры Гамильтон.

— Вы хотите, мсье, чтобы я ответил вам формально или искренне?

Что-то вроде улыбки приподняло уголки узкой, словно прорезанной бритвой трещины, которая заменяла Уайльду рот.

— Меня вполне устроил бы формальный ответ. Но я избавлю вас от неблагодарных усилий по его поиску. Переменим тему.

Он взял со стола стопку каталожных карточек.

— До сих пор наши отношения отличались сдержанностью и граничащей со скупостью экономией слов. Но я знаю вас лучше, чем вы полагаете. Видите эти

карточки? Они извлечены из общей картотеки, которую я составил для моего личного удобства на основе библиотечных формуляров. К этому разделу каталога под названием «Читатели» имею доступ я один — рубрикаторами в нем служат имена всех абонентов, сопровожденные списком книг, которые они брали для прочтения с тех пор, как я вступил в должность. Это мой способ общения с людьми. Возможность познакомиться с ними, не имея нужды выносить их бестолковую и пошлую болтовню. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты, мог бы заметить я, переиначив известную поговорку. Карточки, которые лежат передо мной, касаются вас. За шесть лет и несколько месяцев вы тысячу шестьдесят два раза брали книги для прочтения. Это много. Вы посрамляете преподавательский состав, что не может меня не радовать. Вы в одно и то же время проявляете эклектизм и постоянство. История, физика, биология — для того, кто изучает философию, набор уместный и оправданный. Эта триада должна определять наше мировоззрение. Умствования допустимы лишь потом. Нет ничего хуже профессиональных мыслителей и их общих идей. В наши дни они уже даже не несут собственного вздора, а комментируют вздор, накопившийся за минувшие века. Эрудиты беспредметности. Наследники пустоты. Ну и хватит о них. Из художественной литературы — современных авторов считанное число. Одобряю вас. В них нет той археологической глубины, которую придает вымыслу дистанция времени. Литературная иллюзия может представить некоторый интерес, когда она обрастает сроком давности. Это задумчивый лик Истории. Утверждать, что вчерашнее произведение остается злободневным, — я не говорю сейчас об удовольствии, какое доставляет чтение, оно может сохраняться, — намерение благое, но неблагодарное. Если произведение талантливо, значит, этот тезис ошибочен; если тезис верен, стало быть, произведение бездарно, ибо только банальности выдерживают испытание временем. Что до мира сегодняшних чувств, то что такого могут нам сообщить нынешние убогие профессиональные мечтатели, чего бы мы не нафантазировали сами в своих убогих мечтах? Вижу также, что многие книги были возвращены вами сразу после того, как вы их взяли. По-видимому, вы не в восторге от трудов по социальной психологии и морали — они с приметной быстротой возвращаются в лоно библиотеки. Я упоминал о постоянстве. Вы по нескольку раз брали одни и те же произведения, некоторые из них с отменной регулярностью: по шесть раз «Дон Кихота», сонеты Шекспира, «Тристрама Шенди», «Последний день заключенного», «Клода Ге», «Отверженных», «Человека, который смеется», «Бувара и Пекюше», «Воспитание чувств», «Тайфун», «Сердце тьмы» и «Портрет художника в юности»; восемь раз «Жака Фаталиста», «Новеллы» Эдгара По во французском переводе Бодлера; двенадцать раз «Капитана Фракасса» и «Саламбо», восемнадцать раз — «Тружеников моря». Таким образом, если не ошибаюсь, девятнадцать названий взяты сто пятьдесят раз. Похоже, у вас страсть к романам Виктора Гюго, а ваша неукротимая приверженность к «Труженикам моря» меня заинтриговала. От этого выбора веет глубокой иронией и пессимизмом, да еще меланхолической тягой к одинокой свободе высот или бездн. Мечта о логике и логика мечты. Вы не так далеки от навязчивой идеи, без которой невозможно что-либо осуществить. Видите, ответ на мой вопрос о вашем пребывании у мадам Гамильтон уже имелся в моей картотеке, а стало быть, вопрос носил чисто риторический характер, что вы и заподозрили, если судить по вашей вполне оправданной наглости.

Меня покорила не столько убедительность его наблюдений или оригинальность их метода, сколько тембр и переливы его голоса. При последнем его замечании я вновь насторожился. Если оно и не носило более интимного характера, то во всяком случае задевало меня больнее, и в нем мне почудилось едва ли не лукавство, потому что основывалось оно в большей мере на красоте Александры Гамильтон и ее власти вообще, нежели на личных культурных или иных пристра-

стиях спутников, испытывающих силу ее притяжения. Впрочем, Уайльд косвенно признался в своей подтасовке, отметив мою немудрящую проницательность в отношении смысла его вопроса.

Уайльд оборвал этот диалог, или скорее монолог, так же неожиданно, как начал, спросив меня, не хочу ли я взять какие-нибудь книги. Я выбрал Апулея, Де Квинси и Марка Блока. Тщательно заполнив формуляры, которым предстояло обогатить исследования Уайльда, касающиеся читателей библиотеки, я взял с полок книги и вышел, простившись с библиотекарем. Он уже снова сидел в своей обычной позе, молча углубившись в работу, и едва ответил на мой поклон.

Вернувшись к себе, я устроился на широкой кровати и открыл «Золотого осла». Но я никак не мог сосредоточиться — битый час я рассеянно листал книгу, то и дело предаваясь своим неотступным мечтам, и вдруг почувствовал яростное желание двигаться. Взяв купальные трусы и полотенце, я решительно зашагал к спортивному корпусу, расположенному в противоположной части имения, в юго-западной его стороне, а стало быть, если следовать лабиринту аллей, а не идти напрямик через парк и лужайки, примерно в километре от дома. Я вошел в громадное здание, миновал гимнастический зал, зал фехтования и боевых искусств, теннисные корты и дошел до бассейна, занимавшего треть всей площади. Косые лучи предвечернего солнца освещали помещение, проникая сквозь высокую стеклянную крышу на подшипниках, которая могла скользить по рельсам над неподвижной частью кровли, так что в теплую солнечную погоду зал оказывался под открытым небом. Стекла широких окон также были раздвижными. Первым делом я увидел темную массу, смутно напоминавшую человеческую фигуру, которая громоздилась на стуле задом наперед, лицом в сторону бассейна. Это был Уайльд. Его прекрасные руки покоились на спинке стула, а громадная голова медленно вращалась, следуя за стремительно перемещавшимся по воде длинным водоворотом. Точеные руки взлетали из этого водоворота, который улегся у края бассейна. Из воды показались голова в купальной шапочке, шея, изящно перерезанная у своего основания черной перепонкой купальника, обнаженные, широкие почти как у мужчины, но при этом очерченные с редкой грацией плечи. Пловчиха повернулась и оказалась лицом к бассейну и ко входу в зал. Я уже понял, что это Александра Гамильтон. Она сразу меня заметила и, несомненно угадав по моему замешательству, что я не знаю, как себя вести, окликнула меня:

— Присоединяйтесь ко мне.

Повернув ко мне свою страшную голову, Уайльд сурово на меня воззрился.

— С вашей стороны, юноша, не слишком милосердно, — произнес он своим благозвучным голосом, — нарушать опрометчивым вторжением гармонию классической картины и законное наслаждение старца, созерцающего купанье Сусанны. Это поступок святотатца. Но может быть, вы без моего ведома читаете поучительные труды и принадлежите к нудному стаду комментаторов-моралистов, которые осуждают радость лицезрения на том основании, что глаза гноятся. Хотя последнее означает, что извращенность взгляда состоит в старческом вырождении его инструмента, а стало быть, вина вуайера не в его намерениях, а в катаракте.

— Уверяю вас, мсье, — ответил я, делая похвальное усилие, чтобы казаться непринужденным, — эта смесь этики с офтальмологией мне совершенно чужда. А что до попытки утаить от вашего бдительного надзора хотя бы одну из прочитанных мною книг, я не осмелился бы посягнуть на это даже в самых дерзких моих помыслах.

Александра Гамильтон рассмеялась. Этот неожиданный очаровательный и звонкий смех застал меня врасплох. Уайльд взглянул на нее, и вдруг его искореженные черты мимолетно изобразили нечто вроде обожания. Потом он выдавил из себя улыбку, адресованную мне. Я пошел к раздевалке, занятый мыслями о

причудливом союзе этой статуи, в мраморе которой открылись вдруг некие свойства плоти, и чудовищного алхимика, который, казалось, содействовал этому превращению. Я думал также, что присутствие библиотекаря избавило меня от паралича, который овладевал мной в присутствии этой женщины, и был ему за это признателен. Быть может, обнаружив, что я в какой-то мере наделен даром речи, Александра Гамильтон была приятно удивлена, и благодаря этому я обрел в ее глазах зачаточное существование.

Я переоделся и вернулся к бассейну. Мое тело, которым обычно я даже тщеславился, сейчас внушало мне какое-то беспокойство, почти неловкость и стыд. Чтобы положить конец этому неприятному ощущению и не углубляться в его анализ, без лишних слов нырнул. И поплыл рядом с Александрой Гамильтон. Я считался недурным пловцом, но она плавала так же быстро, как я, и при этом была более выносливой. Уайльд задумчиво наблюдал за нами. Наши энергичные заплывы, прерываемые короткими паузами, продолжались полчаса, после чего я вылез из воды и начал вытираться. Немного погодя и Александра Гамильтон поднялась по металлической лесенке и ступила на выложенный плитками пол. Быстрым движением сдернув купальную шапочку, она вынула два гребня из волос, которые рассыпались по ее плечам густыми волнистыми прядями. До сих пор я только угадывал очертания ее тела, скрытые одеждой или водой. Теперь же я в первый раз увидел ее с головы до ног, и ее красота — смесь холодного совершенства линий и чувственной роскоши плоти — превзошла все, что воображение могло подсказать мне, чтобы завершить ее портрет. Я взял полотенце, брошенное на стул, и, подойдя к Александре Гамильтон, подал его ей. Я был не в состоянии придать своему взгляду хотя бы видимость скромности и не отводил глаз от ее груди, которую щедро открывал глубокий вырез черного купальника: соски, обрисованные тугой тонкой тканью, заострились от соприкосновения с водой и физических упражнений. Александра Гамильтон повернулась ко мне спиной, я набросил полотенце ей на плечи, на мгновение увидев ее спину, обнаженную до линии бедер. Она с улыбкой поблагодарила меня. Я не мог определить, что выражала эта улыбка — банальную вежливость или легкую иронию по отношению к ослепленному юнцу, который после короткой интермедии снова впал в свойственное его возрасту смущение. Послышался шум отодвигаемого стула и удаляющиеся шаги. Переваливаясь на своих коротких ножках, Уайльд тяжелой поступью направился к двери.

— Леонард! — окликнула Александра Гамильтон с ноткой тревоги в голосе.— Вы уходите?

Услышав, что она называет его по имени, я вздрогнул, хотя это и не было для меня полной неожиданностью. Уайльд остановился и, окинув нас обоих взглядом, с горькой веселостью сказал:

— Дорогая Александра, я возвращаюсь в свою берлогу, вдали от которой я начинаю задыхаться. К тому же есть места, более терпимые к аномалиям внешности. Библиотека может быть кунсткамерой. Спортзал — никогда.

Он переступил порог и скрылся за дверью. С лицом, отуманенным печалью, Александра Гамильтон несколько мгновений смотрела на дверь, за которой исчез библиотекарь.

— Леонард Уайльд, — сказала она усталым голосом, словно обстоятельства против воли вынудили ее объясниться, — был моим учителем с самого детства вплоть до моего отъезда в университет. Мне тоже пора, — добавила она, овладев собой. — Было очень приятно. Вы остаетесь?

— Нет, мадам. Я лучше пойду почитаю у себя в комнате до ужина.

— Ну что ж, тогда пойдем вместе.

Я вышел вместе с ней в раздевалку. Она была предназначена для учеников, и душевые кабинки и вешалки для одежды были общие. Однако, чтобы пощадить

стыдливость и достоинство преподавателей, для них было предусмотрено несколько отдельных кабин. Я заметил, что по привычке повесил одежду в общей части, это меня смутило — я не решался ни раздеться, ни переместиться со своими пожитками в более уединенное место, потому что это казалось мне глуповатым и демонстративным. Александра Гамильтон вошла в кабину. Я торопливо принял душ и оделся. И стал ждать ее, пытаясь воображением проследить каждый ее жест за дверью, к которой был прикован мой взгляд. Стоило сделать всего несколько шагов, открыть дверь, и я стал бы любовником этой женщины или, наоборот, опозорился бы и меня бы высмеяли. Порядок вещей и иерархия отношений, буржуазный здравый смысл, отшлифованный цивилизацией, основы воспитания, потрясенные минувшей ночью, когда образы, события, жесты и слова убедили меня в том, что между мной и невозможным есть лишь одна преграда — мой собственный страх, все исчезло, вытесненное простой очевидностью: близостью тела Александры Гамильтон, которая свела возможность преступить запретную черту к этим нескольким шагам. С пылающей головой стоял я перед дверью. Она открылась. Казалось, вместе с одеждой к Александре Гамильтон вновь вернулась ее холодноватая задумчивая повадка. Только роскошный беспорядок прически хранил следы ее мимолетной раскованности. Бок о бок, в молчании мы дошли до дома. Она простилась со мной на втором этаже, с легкой улыбкой бросив мне только:

— До завтра.

Вечером, наскоро проглотив в одиночестве ужин, я решил прогуляться. На центральной аллее я свернул вправо, вышел из северных ворот и по асфальтированной дороге, в которую за оградой колледжа переходила аллея, зашагал к Розелю. Я шел на восток по направлению к порту и, пройдя несколько сот метров, неподалеку от крепостной стены Кателя оказался у развилки: направо дорога вела к мысу Дю-Ге, налево — к восточной оконечности Баули-Бей. Я пошел налево и, миновав густые низкие заросли, оказался вскоре на высоком скалистом выступе, с которого открывался вид на всю бухту. Прямо передо мной прихотливо изрезанная береговая линия, вся в рифах, которые мало-помалу накрывал набегавший прилив, уходила на запад, теряясь у Бель-Уг-Пуэн в бесконечности моря. Морскую даль освещали последние розовые отсветы исчезнувшего солнца, но над бухтой сгустился сумрак, словно в этом ограниченном пространстве уже настала ночь, и черную гладкую плоскость не освещал ни единый блик пены, ни единый отблеск пустынного неба, на котором то ли уже погасли, то ли еще не вспыхнули огни. Поеживаясь от вечерней прохлады, пронизанной восточным бризом, я рассеянно следил за парящим полетом запоздалых морских птиц. Мое воображение понемногу успокоилось. На смену страстному желанию и горькой тревоге пришла сладость сентиментальной меланхолии.

Когда я очнулся, уже давно стемнело и высоко на сумрачной прозрачности неба появился диск луны, выбелившей очертания побережья и залившей приглушенным свечением неподвижную воду. Я медленно побрел по дороге к дому. Войдя на территорию колледжа, я еще с перекрестка аллей заметил характерный силуэт — временами исчезая под сенью деревьев, он неуклюже перемещался по направлению к дому Александры Гамильтон и вдруг нырнул за ограду ее частного парка. Не раздумывая, с бьющимся сердцем, с головой, будто прожженной каленым железом, я пустился бежать что есть силы и вскоре оказался на территории, прилегающей к дому. Там я вдруг опомнился и, весь дрожа, прислонился к дереву. В моем измученном мозгу проносились картинки чудовищного совокупления, и я с ужасом почувствовал, что, кроме ревности, отвращения и отчаяния, они порождают во мне какое-то странное, гнусное возбуждение. Тут внезапно что-то шевельнулось, и я осторожно, избегая открытой аллеи, залитой резким светом луны, стал продвигаться вперед по темному лабиринту высоких дубов. И увидел, как

Уайльд взял приставную лестницу, лежавшую у подножия ограды, поднял ее так, словно она была легче пушинки, понес к первому ряду деревьев против восточного торца дома и прислонил к стволу. С невероятной ловкостью вскарабкавшись по лестнице, он устроился на ветке метрах в шести от земли. Там он замер в полной неподвижности, повернувшись лицом к дому, ни одно из окон которого с этой стороны не пропускало ни полоски света. Эта нелепая пантомима разыгралась так быстро и казалась настолько нереальной, что на некоторое время я совершенно ошалел. Потом меня охватило безумное и даже какое-то нервическое желание расхохотаться: слишком уж неожиданным был переход от воображаемой мелодрамы к фарсу. Трудно было удержаться от смеха, видя в подобном положении столь выдающийся ум и столь несуразное туловище. Однако эта чисто поверхностная реакция угасла, едва ко мне вернулась способность рассуждать. Я заметил, что Уайльду с его насеста отлично видны сверху вниз окна той части второго этажа, где, по моим расчетам, находились апартаменты Александры Гамильтон. Уверенные движения библиотекаря свидетельствовали о том, что это отнюдь не первый его опыт, и если я на секунду подумал было, что его поступок, продиктованный всепоглощающей ревнивой страстью, могло спровоцировать мое появление в доме, я тут же отверг эту мысль. Вдруг на втором этаже осветились два левых окна, потом два других в центре, наконец, самое последнее справа — оказалось, что ни на одном из них нет занавесок. С того места, где я стоял, мне были хорошо видны часть потолка каждой из комнат и две великолепные люстры. И я тут же сообразил, что в поле зрения Уайльда попадает вся внутренность квартиры, за исключением того, что находится в углу у стен. Александра Гамильтон прошла мимо окна средней комнаты. Немного погодя за ней следом промелькнула мадемуазель Элиот. И все. В волнении, в котором замешательство перемежалось яростью, любопытством и возбуждением, уже напугавшим меня чуть раньше, я целую, как мне казалось, вечность наблюдал поочередно то за ярко освещенными окнами, где больше не появлялось никаких признаков жизни, то за веткой, где сторожила плотная, сжавшаяся в комок масса, неподвижная настолько, что, сливаясь с деревом, казалась каким-то причудливым наростом на нем. Теряя терпение, я несколько раз уже готов был вмешаться, но мысль о том, сколь неуместно совать свой нос во взаимоотношения, которые, объективно говоря, совершенно меня не касались, перспектива сыграть неблагодарную и нудную роль моралиста, некоторая робость, которую мне внушали возраст и не укладывающийся ни в какие рамки характер «злоумышленника», противопоставить которому я мог только предрассудки воспитания, заменявшие мне здравомыслие и опыт, и двойственность моих собственных чувств, в которых переплелись презрение, традиционно вызываемое всякой нескромностью, ревнивая враждебность, порожденная тем, что я считал святотатством, и противоречивая душевная сумятица, в которой я еще не смел угадать наслаждение, — все это меня удержало. Вдруг правое окно потемнело, потом погасли обе люстры, и это погрузило левую часть квартиры в темноту, а среднюю в полумрак. Наверно, у изголовья кровати горит ночник, подумал я, а стало быть, комната посредине — спальня. Но потом в потемках комнаты слева на мгновение вспыхнул и тут же погас свет. Зато все ярче стал освещаться верхний этаж. Значит, мадемуазель Элиот покинула апартаменты Александры Гамильтон и поднялась к себе, что подтверждало мои утренние выкладки насчет того, где расположено ее жилье. На мгновение узкий силуэт домоправительницы обозначился в проеме окна, потом она задернула шторы, полностью поглотившие свет. Так были занавешены все окна третьего этажа. Только ночник на втором этаже все еще освещал фасад своим тусклым свечением. Но вскоре погас и он. Фигура на дереве зашевелилась, Уайльд осторожно спустился по лестнице, которую отнес туда, откуда взял. Потом, держась под навесом деревьев, выстроившихся параллельно аллее, он направился к воротам и скрылся во тьме.

Уснуть я не мог, и в те редкие минуты покоя, которые дарило мне мое воображение, то рисовавшее на основе увиденного, то сочинявшее сцены с участием Александры Гамильтон, где любовь сочеталась с мерзостью, я пытался решить, как я должен себя вести. Проще всего было продолжать держаться как ни в чем не бывало и смириться с обстоятельствами, в которых мне не отводилось ровным счетом никакой роли, то есть смириться с тем, что я не существую. Но я знал, что в этом случае мое пребывание в доме Александры Гамильтон вскоре станет для меня совершенно невыносимым. Конечно, я мог в два счета положить ему конец, уехав в Лондон или в Париж, и, однако, расстаться с этой женщиной казалось мне самым страшным. А стало быть, следовало вмешаться. Можно было поговорить с самим Уайльдом — но это мне претило не только потому, что я испытывал к нему смешанное чувство симпатии, восхищения и страха, но и потому, что, смущаясь и негодуя, я тем не менее уже начал понимать, чем вызван его поступок, и даже его оправдывать. Или поговорить с Александрой Гамильтон, то ли невозмутимо признавшись ей в своей страсти, но такая перспектива меня ужасала, то ли предупредив ее, что она — жертва анонимного вуайера, а это, быть может, устранит хотя бы одну причину моих терзаний. Последнее решение было наименее достойным, и, правдивый по натуре, я не мог не признать, что оно запятнано двойным лицемерием, которым я гнушаюсь: во-первых, недостойно решать свои любовные проблемы с помощью официальных аргументов хорошего воспитания и долга, во-вторых, даже если я не назову имени вуайера, это не введет в заблуждение Александру Гамильтон, а значит, мое сообщение станет чистой воды доносом. И все же мне казалось, что это единственно возможный выход. Недовольный собой, я рассматривал его со всех сторон, и в конце концов мне пришло в голову решение, которое, позволяя мне сохранить пристойное о себе мнение, было, с моей точки зрения, не лишено известной дипломатической ловкости, приправленной некоторым макиавеллизмом влюбленного. На заре я уснул почти спокойным сном.

В этот день за обедом, который начался совершенно так же, как накануне, хотя, быть может, несколько менее тягостно, подтверждая мои опасения, что неловкость, становясь привычной, делается нудной, я внезапно решился.

— Мадам, — сказал я, — я должен сделать вам признание, которое меня тяготит. Я совершил по отношению к вам чудовищную бестактность и, если не расскажу вам о ней, потеряю остатки уважения к себе.

— Такое вступление и впрямь обещает нечто ужасное. Что же такое случилось?

— Я подглядывал за вами вчера вечером из парка через окна вашей квартиры.

Она как будто удивилась, потом задумалась, и на лице ее попеременно отражались озабоченность, смешанная с грустью досада и нерешительность.

— Пожалуй, вам было бы лучше уехать, — наконец сказала она.

Я предвидел возможность такой реакции, самой худшей из всех, но не хотел в нее верить. Жалкая уловка, которую я считал такой удачной, оборачивалась катастрофой. Оставался только один способ повернуть ход событий. Я сам загнал себя в угол.

— Мадам, расстаться с вами теперь для меня невыносимо. Оправдаться мне нечем — разве тем, что я стал жертвой вашего великодушного приглашения. Вы ни о чем дурном не помышляли. Я тоже. Но зло содеяно. Не усугубляйте его, повергая меня в отчаяние.

Эта маленькая речь, в которой с полуслова угадывалось любовное признание, сплав неподдельной искренности, доведшей меня почти до слез, и реминисценций классической культуры, подменявших простоту, какую я мог обрести лишь с опытом, наверно, была слишком литературной для данных обстоятельств.

— Вы ставите меня в трудное положение, — сказала Александра Гамильтон. — Поймите меня. Причина тут не в вашем последнем признании, столь лестном для ровесницы вашей матери и поистине очаровательном в устах такого юного и серьезного мальчика, дело в вашей лжи, в вашей детской уловке, чреватой куда более серьезными последствиями, чем вы могли́ предвидеть. Нет-нет, молчите. Дайте мне договорить. Я хотела избежать объяснений, но поскольку вы остаетесь, чему я очень рада, надо поставить все точки над i. Я заговорила с вами о вашем отъезде не из-за вашей, как вы ее назвали, бестактности, а из-за того, что́ заставило вас, не совершив ее, обвинить себя, прибегнуть к этой неумелой и изящной небылице. Я сразу поняла, что вы обнаружили нечто, не имеющее к вам никакого отношения. И вы хотите, не ставя никого в неловкое положение и, наверно, не столько заботясь о соблюдении приличий, сколько из-за смятения чувств, чтобы я задергивала занавески в моей комнате. Но об этом не может быть и речи. Поскольку ничего более я объяснять не собираюсь, я не прошу вас меня понять. А только смириться. Вы готовы?

— Да, мадам.

Она посмотрела на меня растроганно и в то же время немного насмешливо.

— Если бы я была на несколько лет моложе, я, наверно, бы в вас влюбилась.

— Если бы вы были на несколько лет моложе, мадам, я навряд ли бы в вас влюбился.

Она улыбнулась, встала и, подойдя ко мне, мимолетно коснулась губами моих губ. Потом вышла из столовой, я слышал, как она открыла дверь в библиотеку.

Вечером, предупредив, что не буду ужинать, я долго лежал на постели одетый, раздираемый противоречивыми мыслями. Парк притягивал меня с неодолимой силой, которую я тщетно пытался побороть. В окно я видел, как ночная тьма поглощала на востоке последние проблески сумерек, по мере того как всходила и все ярче наливалась светом полная луна. Наконец я не выдержал, тихо спустился по лестнице, вышел из дома и принялся бродить по опасной зоне парка. Я поступал так упрямо и сознательно, чтобы гость, пожаловавший в эти края, откуда бы он ни явился, не мог бы со мной разминуться, но все же я старался не попадаться на глаза обитательницам дома. Проведя полдня в мучительных размышлениях, я понял, что не смогу просто принять все как есть, однако, памятуя слова Александры Гамильтон, которые хоть и мучили меня, но при этом восхищали и усугубляли мою страсть, и желая поэтому избежать скандала, я тем не менее хотел одним своим присутствием, с виду непреднамеренным и невинным, отпугнуть Уайльда. Но библиотекарь не пришел, а может, заметив меня издали, ретировался. С облегченной душой я уселся у подножия дерева, на которое накануне влезал Уайльд. И вдруг мне в голову пришла порочная мысль, рожденная вожделением и ревностью. Я даже не попытался ее отогнать. Я встал, принес лежавшую у ограды лестницу, прислонил ее к стволу и взобрался на ту самую ветку, с которой подглядывал Уайльд. Через пять окон квартиру было видно почти целиком: слева гостиная, в центре спальня, справа ванная комната. Александра Гамильтон, обнаженная, стояла в ванне. Стояла ко мне лицом. Мадемуазель Элиот, засучив рукава, тщательно намыливала себе руки, потом медленно и нежно проводила ими по телу купальщицы — смесь омовения и ласки. Домоправительница держалась с обычной своей бесстрастностью, но движения ее были как-то особенно выверены и старательны. Левая ладонь мадемуазель Элиот, которая перемещалась по спине Александры Гамильтон, была мне не видна. Верхняя же часть руки, которую я видел, замерла на уровне бедер молодой женщины и вдруг сделала быстрое движение, от которого невозмутимое лицо той передернулось. Правая рука надолго задержалась на груди, скользнула к лобку и там замерла. Выражение лица Александры Гамильтон почти не изменилось. Только левой рукой она уперлась в стену. И вдруг рот ее приоткрылся, казалось, она испустила

протяжный крик и схватилась за руку домоправительницы. Потом она погрузилась в воду и стала смывать с себя мыло. Потом вышла из ванны. Вытерлась. Перешла в спальню, легла в постель и зажгла у изголовья ночник, и пока мадемуазель Элиот тушила в комнатах свет, взяла с ночного столика книгу и стала читать, опершись о широкое изголовье. При свете неяркой лампы было хорошо видно ее лицо в рамке густых рассыпавшихся волос, ее прекрасные плечи и верхняя часть груди, до половины скрытой книгой. Домоправительница вышла через дверь гостиной. В продолжение этой сцены обе женщины не обмолвились ни словом.

Лампа погасла. Как во сне я спустился с лестницы и носом к носу столкнулся с Леонардом Уайльдом. Я почти не удивился, не испугался и не смутился. Потому ли, что даже самую грубую развязку я предпочитал двусмысленности status quo и гнетущему ожиданию, потому ли, что, весь переполненный только что увиденным, я не ощущал ничего, кроме своей порочной, влюбленной тяги к этой женщине, но я решил отнестись к происшествию спокойно, перестать робеть, чувствуя себя виноватым, и даже, если понадобится, отстаивать свое право на совершенный поступок. Я впервые посмотрел прямо в лицо Уайльду, не чувствуя ни малейшего смущения.

— Почему, черт возьми, молодой человек, вы не спите с собственной матерью, чем ходить вокруг да около? — преспокойно спросил Уайльд. — В ваших глазах мадам Гамильтон отведена всего лишь роль метафоры. А в страсти, будь то литература или жизнь, всякие стилистические выверты неуместны и свидетельствуют либо о глупости, вызванной непониманием искусства, либо, чаще всего, об эстетическом или моральном страхе перед неприкрашенной правдой. Предоставьте ущербность риторики мне, ибо я ущербная особь человеческого рода. Судя по вашему характеру, не думаю, что вы способны удовлетвориться изысканным наслаждением глаз, а при вашей внешности у вас, я полагаю, нет необходимости искать убежища в наблюдении, которое в применении к некоторым областям зовется эрудицией, а к некоторым другим — вуайеризмом. Вам больше подходит действовать. К тому же вы получили, публично или в частном порядке, доказательства того, что мадам Гамильтон питает полнейшее безразличие к нашему полу, если вы позволите мне дерзко причислить нас с вами к общей условной категории.

— Это безразличие, — произнес я беззвучно, ненавидя цинизм этого человека, хотя мне не удавалось возненавидеть его самого, — по-моему, умеряется известной терпимостью, по крайней мере по отношению к вам. Доказательство тому — ваш занятный сговор: мадам Гамильтон охотно потакает вашим прихотям.

Он пошатнулся, словно его наотмашь ударили по лицу.

— Наш... сговор?

— Я узнал об этом в силу неизбежности, которая вытекает из случайности. Успокойтесь, мадам Гамильтон не поверяла мне никаких тайн. После того, что произошло, я не сообщу вам ничего нового, если скажу, что вчера застиг вас в сходной ситуации. По причинам, которые вы наверняка проанализируете с большей проницательностью, нежели я сам, в разговоре с мадам Гамильтон я приписал себе ваши заслуги, желая, чтобы она задергивала занавески. Она ни на секунду мне не поверила и вежливо попросила не соваться не в свое дело. Сегодня вечером занавески остались открытыми. Какой, по-вашему, вывод я должен сделать?

Глубоко втянув в себя свежий ночной воздух, он издал не то хрип, не то стон, в котором было что-то звериное. Потом как будто взял себя в руки.

— В самом деле, все ясно как дважды два. С той только разницей, что я не подозревал об этом сговоре. Готов признать, что это свидетельствует об известной доле рассеянности и даже глупости.

И тут я понял, что он потрясен не тем, что я знаю, а тем, что сам он не знал, и мне стало ясно, какой чудовищный промах я совершил. Я неловко попытался его смягчить.

— Неужели в ваших глазах это такая большая разница? Учитывая то, что вы сами сказали о склонностях мадам Гамильтон, ее поведение скорее вам на руку.

— Вы очень любезны, молодой человек. Но если бы вам пришлось испытать на себе неограниченную тиранию уродства, вы бы знали, что самая крошечная свобода — это уже бесценный дар. В преступлении свобода есть, в подачках — нет. Моя внешность неотвратимо отбрасывает меня в ряды отверженных, но по мне более почетно быть вором, чем нищим.

Воцарилось довольно продолжительное молчание.

— Сами того не желая, вы оказали мне услугу, — наконец заговорил он. — Бывают сомнения, которые в конце концов оборачиваются трусостью. Можете оказать мне еще одну услугу? Вы, кажется, недурной мореход. Я хотел бы, чтобы вы доставили меня на Гернси на одной из яхт, принадлежащих колледжу.

— Прямо сейчас?

— Да, прямо сейчас.

— Что вы задумали?

— Вы согласны или нет?

— Хорошо, мсье.

Мы вышли на дорогу к Розелю и направились к этой деревушке извилистой тропинкой, спускавшейся по склону к низине. Шли мы молча. Я замедлял шаг, применяясь к пыхтевшему рядом Уайльду. Время от времени я украдкой на него косился. На его чудовищной физиономии не выражалось никаких чувств, только легкое напряжение от непривычного усилия. Мне хотелось знать, что творится за этим фасадом. Добравшись до деревни, мы пошли по узкой и короткой улочке, которая вела к порту и заканчивалась уходившими в воду мощеными сходнями. Закругленная дамба, которую окаймляли прилепившиеся к холму домишки, по всей своей длине была забрана парапетом, кое-где прерывавшимся проходом к каменным ступеням или приставным лестницам, и на востоке заканчивалась молом, выступавшим в море под прямым углом и загроможденным разноцветными кабинками. Освещенная ровным светом высоких фонарей — островок полусияния, вписанный в бескрайний полумрак ясного неба, — она окружала небольшой водоем, где натягивали швартовы стоявшие бок о бок рыбачьи лодки, парусники и катера, слегка покачиваемые тихой волной прилива, почти уже достигшего своей полноты. Узкая горловина, зажатая между оконечностью мола и нагромождением скал, вела в открытое море. А за ней до линии горизонта на востоке тянулось черное безбрежье воды.

Уайльд остановился.

— Я всегда панически боялся моря, — сказал он. — А ночью оно особенно зловеще. Но все равно. Пошли.

Мы миновали спящие дома и ступили на мол. Там, вынув из кармана ключи, которые Александра Гамильтон предоставила мне, чтобы я в любую минуту мог воспользоваться одной из яхт, принадлежащих колледжу, я открыл дверь просторной кабины, вошел и вынес оттуда маленький запасной мотор с бензиновым баллоном, надувную лодку и весло. Уайльд взял мотор, баллон и весло. Я нес лодку — громоздкую, но невесомую. Мы проделали в обратном направлении вдоль всей дамбы путь, который привел нас к мощеным сходням: я считал, что Уайльду легче будет взобраться в легкую и неустойчивую лодку с широких и гладких сходней, чем спускаться по каменным ступеням или по приставной лестнице. Сняв ботинки, я засучил брюки и, приказав Уайльду сделать то же, спустил на воду лодку осадкой сантиметров в тридцать, на ее носу положил мотор и баллон, а библиотекарю предложил сесть посредине. Он исполнил это без труда, держа ботин-

ки в руке. Он так не вписывался в эту обстановку, что я был почти тронут, хотя, насколько я знал, несоответствие окружающему было едва ли не постоянным свойством его личности. Лодка заметно осела под его тяжестью. Я оттолкнул ее, прыгнул на корму и погреб к середине водоема. Скоро мы причалили к надежной и удобной яхте, которую я присмотрел заранее. Я крепко пришвартовал лодку к паруснику в двух точках по борту, чтобы ее не развернуло, пока я буду производить довольно деликатный маневр — водружать Уайльда на борт. Прыгнув на мостик, я втащил туда снаряжение и протянул руку своему пассажиру. Он сделал вид, что не замечает моей руки. Упираясь одной ногой в борт лодки, которую удерживали швартовы, а коленом другой и ладонями — в планшир, он подтянулся вверх с ловкостью, которую мне уже пришлось однажды наблюдать в других обстоятельствах, но которая снова меня поразила. Яхта, несмотря на свои размеры и остойчивость, накренилась. Я указал Уайльду его место на полукруглой скамье кокпита справа от рулевого, желая использовать его солидный вес при фордевинде, да и при любом другом ветре, потому что идти мы должны были по преимуществу между правым бакштагом и галфвиндом. Уайльд устроился на скамье и стал натягивать на ноги бесформенные куски кожи, служившие ему обувью. Я снова взял связку ключей, отпер каюту и спустился в носовой трюм за чехлом с парусами. Потом закрепил грот на гике, а генуэзский парус внизу штага. Привинтив мотор к транцевой доске, я пришвартовал надувную лодку к бакену. Потом завел мотор, поднял паруса, снялся с якоря, и мы вышли из гавани с плещущимся под бейдевиндом парусом. Немного погодя я лег на левый галс, и восточный бриз задул в паруса сбоку. Обогнув мыс Дю-Ге, некоторое время я шел на север, чтобы уйти подальше от берега и его рифов. Потом, взяв курс на Сарк и Гернси на северо-западе, я развернул парус к штагу и заглушил мотор. Яхта, подгоняемая постоянным ветром с континента, плавно заскользила по спокойной воде к открытому морю.

— Молодой человек, — сказал Уайльд после долгого угрюмого молчания, — я немного озяб, и мои умственные способности притупились. А мне надо поразмыслить. Как по-вашему, можно здесь сварить кофе, и если да, возьмете ли вы на себя труд этим заняться?

— Здесь есть все что нужно, мсье. Сядьте на мое место у штурвала. Следите за компасом и придерживайтесь курса.

Не успел я войти в каюту, как яхта рыскнула и крутанулась. Я обернулся — на кокпите было пусто. Я бросился к штурвалу. Яхта стала приводиться к ветру, я пытался ее удержать, максимально уваливаясь под ветер. Судно мгновенно отреагировало, быстро повернуло на запад, потеряло ветер и продолжало крутиться к югу и юго-востоку, а я тем временем манипулировал почти совсем опавшими парусами, чтобы лечь на левый галс и, ориентируясь по компасу, взять курс, прямо противоположный тому, каким мы шли раньше. Я надеялся, что два движения, в наветренную и подветренную сторону, свели друг друга на нет и я попал в мой собственный кильватерный след. Яхта, почуяв фордевинд, убыстрила ход. До сих пор я думал только о маневре, который занял всего несколько секунд и от которого зависела жизнь и смерть Уайльда. Теперь я вглядывался в море, с отчаянием во всю глотку выкрикивая его имя. Вдруг у носа яхты я заметил всплеск пены, легко различимый на темной и почти незыблемой воде. Это был Уайльд. Он барахтался. Я слегка изменил курс, чтобы пройти под ветром как можно ближе к нему и воспользоваться креном, который сократил бы высоту корпуса над уровнем моря. Когда он оказался совсем рядом, я выпустил штурвал и, перегнувшись через планшир, судорожно вцепился обеими руками в его рубаху. Мне удалось поддерживать голову тонущего над водой. Он кашлял и отплевывался. Яхта, потеряв управление, снова повернула на ветер, мгновение шла на северо-восток при закрепленном поперек ветра парусе, снова повернула на восток, легла в дрейф,

то почти замирая, то делая рывок, когда становилась поперек бриза. Я всеми силами пытался втащить Уайльда на борт. Мне удалось извлечь из воды верхнюю треть его туловища, но, поскольку его вес увеличивался прямо пропорционально извлеченному объему, я вскоре должен был признать себя побежденным. Его ветхозаветная рубаха вдруг зловеще затрещала, и я сразу ослабил усилия. Уайльд и пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь. Впрочем, захоти он, он не смог бы, несмотря на свои неожиданные способности и даже при моем содействии, поднять свою массу на уровень значительно выше собственной головы. Я ограничился тем, что старался поддерживать его так, чтобы он мог свободно дышать, — это требовало от меня не столь большого усилия, — но при этом неотступно думал о том, как мы выкрутимся из этого положения.

— Молодой человек, — преспокойно заявил Уайльд, давая мне почувствовать, что, успев побывать наполовину утопленником, уже совершенно оправился, — прошу вас меня отпустить.

— Нет!

— Не будьте глупцом. Не можем же мы оставаться в этой дурацкой позе, ожидая, пока прихоть течения разобьет нас о берег или погонит в открытое море, так что рано или поздно вам все равно придется сдаться. Впрочем, мне ничего не стоит заставить вас разжать руки.

— Попытайтесь, — сказал я с горькой насмешкой. — Попытайтесь, и я свалюсь за борт, как вы. И тогда смерть невинного молодого человека останется на вашей совести, если таковая у вас есть.

— И если она нетленна, что, по-моему, весьма сомнительно. Я ценю ваш юмор и чувство долга, но поступаете вы неразумно. Вот уже два дня вы непрестанно вмешиваетесь в мою жизнь, готов признать, не столько по злобе, сколько по недомыслию, но согласитесь, что для мало-мальски современного сознания намерения немного значат в сравнении с поступками. В настоящую минуту вы чините препятствия сугубо личному проекту, интимный характер которого должен был бы быть свят для всякого, кто получил хотя бы начатки воспитания, и побудить его рассматривать любую попытку вмешательства в этот проект как полнейшее отсутствие такта. Полагаю, что не совершу нескромности, если попытаюсь узнать, по какой причине вы так рьяно проявляете неделикатность и дурной вкус.

Я ошалело внимал этой речи.

Должно быть, я сплю, подумал я с отчаянием и в то же время едва удерживаясь от приступа нервного смеха. Этот невероятный тип, нырнув среди ночи в воды Ла-Манша, рассуждает так, словно преспокойно сидит за своим письменным столом в Hamilton School. Он или сошел с ума, или сотворен из материи, совершенно неподвластной законам жизни рода человеческого, да и биологии вообще. Сделав над собой великое усилие, чтобы не обругать его, я решил приспособиться к ситуации.

— Причина должна была бы быть очевидной для вашей пресловутой проницательности, — сердито ответил я. — Но, верно, как на грех, в эту минуту вам не может прийти на помощь ваша библиография. Прежде всего, из-за моего, как вы его назвали, недомыслия, я, по-моему, оказался замешан в то, что вы так стыдливо именуете вашим «проектом», и не мог бы скрыть этого обстоятельства от мадам Гамильтон, которая меня никогда бы не простила. Кроме того, вы пассажир на моем судне и прибегли к средству, которое, какова бы ни была моя роль во всей этой истории, налагает на меня безусловную ответственность. Таковы законы моря, и только такой приверженец сухопутья, как вы, может не знать столь элементарных вещей. Наконец, хотите верьте, хотите нет, но я питаю к вам нечто вроде симпатии, наверно нелепой, но реальной. Вот и все.

— Объявляю вам совершенно искренно, без малейшей доли приспособленчества, которое могло бы быть продиктовано обстоятельствами, что вы не имее-

те ни малейшего отношения к сути моего решения. Вы приписываете себе слишком большую роль, а вы лишь по чистой случайности меня к нему подтолкнули. Мадам Гамильтон и в голову не придет подумать другое. Что до ваших так называемых законов моря, они просто смешны. Забудьте о них. В них есть приказной элемент, несовместимый с достоинством свободного волеизъявления. Меня больше трогает ваша симпатия, но, да не оскорбят вас мои слова, она ни на волос не изменяет самый характер моих взаимоотношений с миром. Теперь вы согласны меня выпустить?

— Ни за что!

Эта бредовая беседа вызвала у меня что-то вроде приступа шизофрении, от которого я вдруг очнулся, вновь вернувшись к действительности. И почувствовал, что цепенею, что мои руки и плечи сковывает опасная неподвижность. И тогда мне пришла в голову мысль. Удерживая Уайльда за шиворот одной лишь левой рукой, я с энергией отчаяния поднатужился и правой дотянулся до линя, свернутого бухтой в глубине кокпита. Схватив линь, я кое-как пропустил его под мышки Уайльда, который не оказал никакого сопротивления, без сомнения смущенный твердо изъявленным мной намерением разделить с ним его судьбу, какова бы она ни была. Соединив два конца этого лассо в одной руке, я выпустил воротник Уайльда. Уайльд чуть глубже ушел в воду, но я без труда удержал его, подтянув линь двумя руками. Потом быстро сделал морской узел, чтобы затянуть петлю вокруг его торса, не слишком его сдавливая, а свободный конец линя закрепил за кнехт швартова. Отныне Уайльд был приторочен к корпусу судна, его голова и плечи торчали из воды, и он ни при каких обстоятельствах не мог освободиться.

— А теперь, — сказал я ему, — попытайтесь от меня вырваться.

Он молчал, совершенно безучастный. Встревожившись, я взял в каюте электрический фонарь и посветил ему в лицо.

— Потушите его, — надменно заявил библиотекарь. — Вы меня ослепили.

Успокоенный, я быстро сориентировался. Самой близкой сушей был восточный берег Баули-Бей на юге, причалить к которому, в особенности ночью, было почти невозможно. Стало быть, надо вернуться туда, откуда мы вышли в море, то есть в порт Розель, идя при фордевинде большую часть пути, который должен был стать довольно долгим, принимая во внимание, что погруженное в воду тело Уайльда мешало нашему продвижению и неблаготворно влияло на осадку корабля. О том, чтобы прибегнуть к помощи мотора, не могло быть и речи. Уайльд находился очень близко к корме, и мне не хотелось, чтобы винт искромсал ему ступню или даже всю ногу.

— Вы спасли меня от немедленной смерти, — донесся голос с моря, — чтобы обречь на медленную агонию. Я совершенно окоченел. Что ж, это будет уже не самоубийство, а убийство. Можете быть довольны.

И вдруг неожиданно раздался короткий смешок.

— Все это нелепо, — продолжал голос. — Совершенно нелепо.

И снова раздался смех, на этот раз более звучный и продолжительный. Уайльда охватило непроизвольное веселье, такое заразительное, что я почти тотчас ему поддался. Согнувшись пополам на рулевой скамье, я несколько минут так и сидел, держась за бока. Первым успокоился Уайльд.

— Это немного согревает,— заметил он. — Если не дух, то, во всяком случае, тело.

Я не без труда вновь осознал всю серьезность положения.

— Попытайтесь сбросить обувь и шевелить ступнями, чтобы поддержать циркуляцию крови и чтобы ноги не онемели. И если можете, двигайте руками.

В ответ он занялся странной гимнастикой, отнюдь не соответствовавшей моим наставлениям.

— Чего вы, черт возьми, добиваетесь этим кривляньем?

Но он вскоре протянул мне один ботинок, потом второй.

— Я дорожу своей обувью, — заявил он. — И поскольку, вопреки моей решительно выраженной воле и всякой логике, вы, по-видимому, твердо вознамерились доставить меня на землю, я полагаю, если допустить невероятное и я прибуду туда, сохранив кое-какие признаки жизни, ботинки могут мне пригодиться.

— Делайте что я говорю, и все будет хорошо.

Я пошел к бару в глубине каюты и среди банок с фруктовым соком нашел непочатую бутылку виски. Я откупорил ее и принес Уайльду.

— Время от времени отхлебывайте из нее по глотку.

— Об этом не может быть и речи. У меня священный ужас перед алкоголем.

— Вам придется пить, — сказал я запальчиво, прижав горлышко к его губам. — В случае необходимости я вас заставлю.

Он с явным отвращением отхлебнул из бутылки.

— Двигайте руками и ногами,— прибавил я. — И говорите со мной. Говорите как можно больше. Тогда вы не заснете.

— При вашей внешности робкого романтического подростка, вы самый отъявленный деспот.

— Прекрасно. Оскорбляйте меня сколько хотите. И шевелитесь немного.

Он начал двигать руками и ногами, но без убеждения и с явной неохотой. А я взялся за штурвал, выправил паруса и взял курс на юго-восток к мысу Дю-Ге. Я шел левым галсом, увaливаясь под ветер. Меня подбадривало то, что яхта легко скользила по воде, словно погруженная в воду масса, которую ей приходилось тащить за собой, едва замедляла ее ход и почти не лишала маневренности. Уайльд продолжал бить руками и ногами. Я уселся на правом борту, как можно ближе к Уайльду, правя одной рукой и держа бутылку в другой. Наконец, выдохшись, он замер в неподвижности, повиснув наискосок с ногами, отведенными назад сопротивлением воды.

И вдруг он заговорил. И вновь я задрожал при звуках этого хорошо поставленного, звучного, музыкального голоса, словно рождавшегося из морской пучины.

— Представим себе, — сказал он, — что при мне собрание моих сочинений, вещь вполне возможная, поскольку объем их ничтожен. Допустим, что я держу их на высоте своих глаз, так что они образуют экран между моими глазами и небом. Вполне вероятно, да что я, несомненно, сквозь них я увижу луну. Флобер говорил о «Саламбо», книге, к которой вы, по-видимому, питаете особое пристрастие, что он вырубил лес, чтобы построить хижину. Но достоинство этой хижины по крайней мере в том, что она существует. К тому же я не обменял бы ее на дворец. О себе же у меня сложилось впечатление, что я вырубил не один, а множество лесов, чтобы обнаружить под ними собственную пустыню. Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы методически узнавать, что мое существование не имеет никаких оправданий. С точки зрения философской я не вижу в моей судьбе ничего особенно оригинального. Любой человек, наделенный толикой здравого смысла, должен был бы прийти к такому выводу в личном плане, а затем распространить его на всех. Я анализирую свой случай не под углом зрения телеологии, то есть не в свете непреходящей сущности бытия, сознания или Бога и прочего метафизического вздора, потому что в этом смысле, слава Господу, я вполне нормален, то есть обречен превратиться в ничто, но рассматривая конечную цель в ее прагматическом аспекте — то есть относительно способности действовать. Творить руками или головой — не средство, как это слишком часто утверждали, не приводя ни малейших тому доказательств, но само по себе цель. Я имею в виду, что целью является не свершение, как это лукаво внушает само слово, а путь к нему. И вот в этом отношении, осмелюсь утверждать, мой случай особый. Я накопил

достаточно материала, чтобы в принципе иметь возможность построить некое обширное универсальное здание в энциклопедическом стиле, вобравшее в себя искусство едва ли не всех существующих цехов. И это накопление привело меня к уверенности в одном: я не могу построить ничего. Можете угадать почему?

— Нет, мсье.

— По причине моего уродства, молодой человек. Которое есть самое законченное проявление произвола. Изначальное поражение, которое обусловливает все прочие. Уродство может стимулировать. Мне хотелось бы верить, что посредственность оно толкает на компенсаторную деятельность, а умных приговаривает к немоте и изгнанничеству. Тогда у меня были бы основания считать себя человеком выдающимся. Но на самом деле это не так. Похоже, уродство стимулирует или парализует в зависимости от своей степени. Мне иногда приходит в голову мысль, что неповторимые особенности моей персоны в большей мере определяются чрезмерностью моего уродства, нежели влиянием последнего на мою нравственную личность. Из любви к истине я должен заметить, что вначале я был преисполнен надежд. Я со страстью отдавался учению, простодушно накапливал знания с намерением впоследствии действовать, иначе говоря, с намерением однажды быть вопреки всему и всем. Я не любил себя, но хотел себя уважать. Потом шаг за шагом из ученика я стал наблюдателем, просто тем, кто наблюдает за другими, за их телом и умом. Эстетом, вуайером и эрудитом. И заметил, что громада, именуемая культурой, выйдя из обычных пределов, внушает страх, дает в руки власть и становится щитом. Я воспользовался им. Жалкое удовлетворение, согласен, но реальное.

Время от времени Уайльд поднимал над головой раскрытую ладонь, и я вкладывал в нее бутылку. Отхлебнув несколько глотков, он мне ее возвращал. По мере того как он пил, его речь, не теряя стройности и внятности, становилась более оживленной и в какой-то мере более доверительной. Перед лицом этого спокойствия и безнадежной иронии я не находил слов. Я только чувствовал, что мое уважение и смутная симпатия к этому человеку меняют свой характер и я начинаю искренно его любить. Мне даже пришла мысль, не столько разумная, сколько ребяческая и продиктованная эмоциями, нельзя ли спасти не только его тело, но и душу. Это было все равно что разыгрывать в моральном плане басню о льве и крысе.

— Большинство тех, кто наделен всевластным достоинством — привлекательной внешностью, — продолжал он, — в силу закона естественного равновесия, из-за одного только избытка самонадеянности обладают известной долей глупости, что делает их почти сносными. Я часто ограничивался этой утешительной банальностью. Но по воле злого случая я стал наставником самой красоты, которая проявляла не только незаурядные умственные способности, но еще и поразительное великодушие. Урод находит защиту в мощи ума, приправленного разумной дозой злости. Если его обезоружат, сознание его несчастья усиливается. Александра Гамильтон была триумфом моей педагогики и окончательным подтверждением моей общей беспомощности. Поняв это, я без большого убеждения и только из приверженности к методе дал себе отсрочку, чтобы попытаться что-то совершить, отсрочку, которая истекла бы, когда мне стукнет шестьдесят, и, если до той поры я не найду никакого серьезного оправдания моему существованию, положить конец долгим и мучительным сомнениям. Вот уже месяц я готовлюсь к этому, хотя, признаюсь, не без некоторой нерешительности. И тут вдруг это приглашение. Вы невольно предоставили мне последнее доказательство, которого недоставало, чтобы перейти к делу. Я вас наверняка удивлю, если скажу, что среди всех событий, устранивших мои последние сомнения, самым решающим было не то, что вы застигли меня на дереве, не то, что я обнаружил вас на моем месте, ни даже известие, хотя и сокрушительное, о том, что мадам Гамильтон знала и то

ли из привязанности ко мне, то ли из сострадания терпела мое скромное беспутство, а то, что я увидел вас обоих вместе в бассейне. Я отдал бы всю свою жизнь за право на секунду оказаться на вашем месте, быть с Александрой на равных, если мне позволено так выразиться, в телесном отношении. Я уже сказал, вы оказались простым орудием случая. Но проявили себя как орудие обоюдоострое. Ваше докучное и благородное стремление пойти наперекор моей воле, которую вы только укрепили, поставило нас обоих в затруднительное положение. Величие моей смерти — единственная честь, которая мне оставалась, с точки зрения философской запятнана тщеславием, а с точки зрения драматургической — комизмом. Здесь есть и моя вина. Я избрал этот безнравственный способ покончить счеты с жизнью в ту минуту, когда был настроен агрессивно по отношению к вам. Это была низость, но то, что вы меня спасли, выставляет меня на посмешище. Спасение это совершенно бессмысленно, ибо оно возвращает меня к моим сомнениям. Но то, что я оказался смешным, справедливо, я это признаю. Дайте мне виски.

Я протянул ему бутылку, но он не сделал движения, чтобы ее взять.

— Извините, — сказал он, — но все мои члены онемели. Мне трудно поднять руку.

Я поднес ему бутылку. Он осушил ее до дна. Мы обогнули мыс Дю-Ге. Сменив курс, я под галфвиндом повел яхту прямо на юг. В восточной части порта я сделал поворот на девяносто градусов и, подгоняемый фордевиндом, подошел к горловине бухты. Яхта прошла ее на полном ходу. Начинался отлив, вода стояла только в восточной части бассейна. Я снова повернул и, обогнув мол, подошел прямо к причальному бакену. Потерявшая ветер и заторможенная боковым поворотом яхта замедлила ход. Я ринулся на нос и ухватился за верхушку бакена. Парусник развернулся, ткнул, не повредив ее, рыбачью лодку и замер. Я быстро пришвартовался, убрал паруса, спрыгнул в надувную лодку и подвел ее к правому борту поближе к Уайльду. Библиотекарь, окоченевший и вдребезги пьяный, блаженно улыбался, стуча при этом зубами, что придавало его физиономии еще более диковинный вид. Сколько я ни старался, втащить его в лодку я не смог. Дело кончилось тем, что я привязал его к лодке с помощью того же линя, какой держал его у борта яхты, и с силой погреб по направлению к сходням. Мы оказались там почти мгновенно, потому что отлив существенно сократил расстояние. Освободив Уайльда от пут, я тщетно пытался поставить его на ноги. Он одеревенел с головы до пят. Впрочем, он и без того вряд ли смог бы держаться стоймя или шагать, настолько он был пьян, это проявилось сразу, едва он умолк. Схватив его за запястья, я поволок его вверх по сходням подальше от воды. Он так и остался лежать на спине, бормоча что-то бессвязное и дрожа в ознобе. Я обдумывал, каким образом доставить его в колледж. У меня не лежала душа искать посторонней помощи, я хотел пощадить его гордость и не придавать огласке наше приключение. В особенности не хотелось мне обращаться к Александре Гамильтон — прибегнуть к ней можно было лишь в случае крайности, если положение станет совсем уж безнадежным. И все же я не представлял себе, как обойдусь без машины.

Вдруг наверху, где кончались сходни, я увидел одну из тех длинных двухколесных тележек, на которых перевозили лодки и штормовую бизань. Тележка была свободна. Я решил было еще раз привязать Уайльда, на сей раз к металлическому каркасу тележки, и так доволочить его до Hamilton School. Но это было бы весьма для него неудобно и даже мучительно, а поскольку путь нам предстоял долгий, не только из-за дальности расстояния, но и потому, что подниматься вверх было трудно, я не представлял себе, в каком виде доставлю его к месту назначения. Вполне возможно, расчлененным на части и замороженным. И тут меня осенила мысль. Сев в лодку, я быстро добрался до яхты и взял с койки набитый мхом

матрац. Кроме того, я захватил из каюты все одеяла и спальные мешки, которые там нашел. Вернувшись к сходням, я выгрузил лодку и подкатил тележку к Уайльду. После чего начал его раздевать, что было совсем нелегко, потому что мне противодействовала вся сила инерции его массивного и тяжелого тела. Более того, Уайльд сделал попытку мне помешать. Наконец, совершенно голый, он растянулся на холодном камне. Его уродство, представшее передо мной во всей своей наготе, не вызвало у меня ни малейшего отвращения, наоборот, прилив симпатии, потому что напомнило его беспощадную иронию, обращенную против самого себя.

— Это недостойно, — бормотал он. — Недостойно...

Подхватив Уайльда под мышки, я втащил его на поставленную наклонно тележку, которую предварительно выстлал матрацем и раскрытым спальным мешком. Потом уложил библиотекаря таким образом, чтобы центр его тяжести пришелся примерно на ось колес — так я хотел немного облегчить себе предстоящий путь к Hamilton School. Прикрыв его свободной полой спального мешка, я застегнул молнию, а поверх набросал все оставшиеся постельные принадлежности. По-моему, под ними можно было задохнуться от жары. С помощью линя, так хорошо мне послужившего, я привязал всю эту груду к тележке, опутав ее по всей длине, чтобы ничто не соскользнуло при возможном толчке, но все же не слишком туго, чтобы не причинять лишних неудобств своему пассажиру. Уайльд мало-помалу перестал вздрагивать и стучать зубами. Я дотронулся до его лица. Оно приобретало нормальную температуру. Вдруг библиотекарь уставился на меня проницательным взглядом, казалось вновь обретя все свои умственные способности.

— Дорогой мой мальчик, — произнес он, как бы начиная разговор, — дорогой мой мальчик...

И провалился в сон.

Моля Бога, чтобы мне никого не встретить, я впрягся в длинные оглобли, предварительно развесив на них мокрую одежду Уайльда. Как я и предвидел, поддерживать тележку в горизонтальном положении было нетрудно, но я не без усилий тащил эту своеобразную деревенскую карету «скорой помощи» по каменистому склону, довольно крутому и ухабистому. Зато когда я добрался до асфальтированной дороги, мне сразу стало легко и меня ничуть не испугал отвесный подъем к плато, где была расположена наша территория. Я даже пустился было вверх с ветерком, но мало-помалу умерил свой пыл. В общем, я двигался довольно медленно и чем больше уставал, тем чаще делал остановки, так что потратил два часа, чтобы преодолеть два с половиной километра, отделявшие меня от колледжа. Уайльд сопровождал наше продвижение ритмичным храпом, который сперва меня подбадривал, потом стал забавлять, но когда я выдохся, начал казаться мне чистейшей издевкой. Наконец я въехал в северные ворота, двинулся по центральной аллее и остановился у лестницы главного входа. На мгновение я присел передохнуть на ступеньки. Потом распутал линь, откинул одеяла и довольно бесцеремонно разбудил спящего. Уайльд выпрямился в спальном мешке, весь в поту, но с совершенно ясной головой и даже бодрый. Схватив одно из одеял, он с достоинством задрапировался в него, а спальный мешок спустил к ногам. Потом отправился в колледж, в библиотеку. Я нес за ним его мокрую одежду. Дойдя до своей берлоги, он запер за собой дверь. Потом тут же появился снова в немыслимом халате, доведенном до того же износа, что и прочие его лохмотья. Он протянул мне одеяло, я ему — его рубище.

— Мой дорогой мальчик, — заговорил он тоном, настолько напоминающим тот, что прозвучал из его уст перед тем, как он заснул, что мне показалось, будто он почти не прерывал своей речи, — не знаю, должен ли я вас благодарить или проклинать. Знайте, во всяком случае, что я питаю к вам нежность, какой не ис-

пытывал еще ни к кому, кроме одной особы. Желаю вам провести остаток ночи по возможности приятно. Лично у меня много дел.

— Что вы еще надумали?

— Этот вопрос свидетельствует о том, что вы склонны к навязчивым идеям. Боюсь, что наше ночное приключение приведет к досадной гипертрофии вашего чувства ответственности. Должен вас успокоить. Если я и не отказался полностью от своего «проекта», я решил, по крайней мере, его отсрочить. А теперь не будете ли вы так любезны позволить мне снова взять бразды моей судьбы в собственные руки?

Я не смог удержаться от смеха.

— Спокойной ночи, мсье.

— Спокойной ночи, мой дорогой мальчик.

Я покинул библиотеку и колледж.

Снова погрузив на тележку постельные принадлежности, я с легким сердцем, уже не чувствуя усталости, бегом возвратился в порт. Я хотел замести все следы нашей вылазки.

Час спустя я вернулся в дом Александры Гамильтон. Занималась заря. Я разделся и лег в постель в сумраке своей комнаты, когда первые блики солнца уже позолотили восточный фасад. И тотчас уснул глубоким сном.

Проснувшись, я увидел, что в изножье моей кровати сидит Александра Гамильтон. На ней была длинная шелковая сорочка без рукавов. Волосы растрепаны. Похоже было, что она пришла ко мне прямо из своей спальни. В руке она держала конверт. Пытаясь понять, как давно она здесь сидит, и не зная, как себя вести, я механически произнес: «Здравствуйте, мадам», хотя сама обыденность этого приветствия в создавшейся ситуации была совершенно не к месту. Не отвечая, она протянула мне конверт. Я извлек из него несколько листков, исписанных изящным четким почерком.

«Моя дражайшая Александра!

Ваш юный гость заставил меня пережить самое нелепое и самое философское приключение в моей жизни. Совершив все мыслимые бестактности, унизив меня, что скверно, и открыв мне глаза, что еще хуже, он своим оголтелым упорством помешал мне положить конец моей затянувшейся никчемности и таким образом избегнул дополнительной подлости, которую я по своей извращенности и злобе собирался ему подстроить. Если вы еще не оценили этого юношу, отправляйтесь с ним в открытое море и бросьтесь в воду. Готов поручиться, вы его полюбите.

Короче, нынче ночью я решил отложить на будущее, а может и навсегда, добровольную развязку, о которой, я полагаю, вам кое-что известно. Из этого следует, что я расстаюсь с вами и окунаюсь в жизнь, что само по себе вполне может оказаться просто более изощренной формой самоубийства, но мне представляется способом избегнуть своего рода личной обреченности. В фатум вообще я не верю. В свое время нужно будет, конечно, приспособить мою личную практику к теории. Разлука с вами приводит меня в отчаяние, и, однако, если я намерен продолжать, она представляется мне неизбежной. В моей жизни вы являете собой нечто единственное и лучезарное, и в то же время — мое величайшее страдание. Видеть вас — это одновременно и боль, и лекарство от нее. Но это странное равновесие нарушено. Я должен исчезнуть — умереть или бежать. Смерть меня отвергла, испробую второе средство. Не волнуйтесь, я не собираюсь раствориться в космической бесконечности. С некоторых пор я получаю довольно настойчивые приглашения от библиотек Лондона, Оксфорда и Тринити-колледжа в Дублине. Я выбрал ТКД — во-первых, потому что он находится в достаточном отдалении, во-вторых, потому что ирландцы — народ, пожалуй, наименее чувствительный к уродству. Они придают значение другому — голосу. К тому же жить

под одной крышей с книгами из Келза, Армы и прочих Дарроу[1] мне отнюдь не неприятно. В худшем случае я найду там веревку, чтобы повеситься. В лучшем — быть может, мой бюст когда-нибудь поставят в парадной галерее, что, конечно, создаст для скульптора кое-какие проблемы.

Уже рассветает. Сейчас я положу письмо у вашей двери. Когда вы его прочтете, я буду уже в аэропорту Джерси, откуда первым же рейсом вылечу в Лондон. А оттуда отправлюсь в Дублин. Мы еще увидимся, моя дорогая Александра. Я буду боготворить вас до последнего моего вздоха.

Ваш старый и весьма недостойный наставник

Леонард Уайльд».

Я вложил письмо в конверт и вернул его Александре Гамильтон. Она спросила, найду ли я возможным рассказать ей о событиях минувшей ночи. Я колебался; не из-за Уайльда: поскольку он сам изложил в письме суть нашего приключения и своих переживаний, я считал себя освобожденным от обязанности хранить тайну, но меня смущало, как я расскажу ей о том, что подглядывал за ней, — это мне было сделать гораздо труднее, чем во время нашей прошлой беседы. Но наконец я все же решился и не без стыда изложил все. Александра Гамильтон слушала меня с интересом, какого до сих пор ко мне не проявляла. Когда я окончил свой рассказ, смягчив самые жестокие и мучительные подробности и больше упирая на комическую нелепость некоторых обстоятельств, она долго молчала.

— Леонард Уайльд, — наконец заговорила она, — сыграл в моем воспитании роль куда большую, чем мои родители. Он был для меня своего рода духовным отцом, а это важнее отцовства по крови. Но это был трудный отец, слишком сильный и потому в какой-то мере разрушитель. Он творец одиночества. Вместе со страстью к знанию он внушил мне свою склонность во всем видеть смешное и тем самым некую форму бесплодия. Это то, что принято называть предрасположенностью к неудаче — ее порождает безграничная, но бесцельная требовательность, убийственная для других, но в конечном счете и для самого себя. Мой отъезд в Оксфорд и наша разлука стали для меня настоящим мучением. Я чувствовала, что осиротела. Ваша мать очень помогла мне, и, наверно, я привязалась к ней сильнее, чем ей того хотелось. У меня было несколько любовников. Молодых, учтивых, влюбленных и наверняка блестящих. Я их почти не помню. Между ними и мной всегда стоял ослепительный и уродливый образ Леонарда Уайльда. Поэтому они казались мне пресными. Это же, пожалуй, и было главной причиной того, что я извлекала так мало чувственных наслаждений из связи с ними. Унаследовав этот колледж, я решила уединиться здесь и вызвать сюда моего старого наставника. Я сразу поняла, что его привязанность ко мне стала другой. Когда я заметила, что он за мной подглядывает, я обрадовалась. В этой смеси извращенности и любви в первый раз в жизни проявилось что-то конкретное, что, признаюсь без стыда, дало мне почувствовать наслаждение. Теперь я понимаю, что это лишь обостряло в нем сознание своего уродства и вытекающего из него бессилия. Я должна бы радоваться всему, что произошло, и его внезапному решению. Но я не радуюсь. Никогда в жизни мне еще не было так одиноко.

Я увидел, что она плачет. Во внезапном порыве нежности я положил руку ей на плечо. Она схватила мою руку, отстранила ее, но не выпустила из своей, что несколько смягчило резкость ее порыва. Она посмотрела на меня. Казалось, к ней вдруг сразу вернулось самообладание, и в мгновение ока она стала холодной и прекрасной Александрой Гамильтон — мифом, разжигавшим воображение и порождавшим в душе отчаянную тягу к невозможному. Такого рода метаморфозу я уже наблюдал, но и в этот раз она застигла меня врасплох. После бескорыстного

---

[1] Ирландские города, известные своими уникальными иллюстрированными изданиями Библии и Евангелия.

порыва симпатии, который охватил меня во время ее рассказа, я вновь, с большей остротой, чем прежде, почувствовал двойственную силу желания и тоски.

— По-моему, — сказала она, — окружение взрослых, вступивших на погибельную стезю, принуждает вас играть роль, не подходящую вам по возрасту и едва ли совместимую с вашими мечтаниями.

— Это не имеет значения.

— Вы все еще придерживаетесь со мной учтивых банальностей. Это лишь подчеркивает назойливую бестактность, с какой я поверяю вам свои душевные переливы.

— Они приближают меня к вам, мадам. Я только не знаю, как это выразить. Вы оттолкнули мою руку. Что я могу сказать или сделать?

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Вы сказали мне вчера, что мы ни о чем дурном не помышляли, но зло содеяно. Вы и сейчас так думаете?

— Да.

— Что ж, тогда нам не остается ничего другого, как творить зло с умыслом.

Она встала, спустила к ногам ночную сорочку и, нагая, мгновение стояла передо мной во весь рост, продолжая на меня смотреть. Потом подошла и быстрым движением откинула одеяло, до половины укутывавшее меня. Потом опустилась на колени, склонилась надо мной. Ее густые волосы рассыпались по моим бедрам, и я почувствовал горячее и нежное прикосновение ее губ. Я замер, едва дыша, раздираемый между своего рода священным ужасом перед идеальным образом, вдруг предавшимся непристойности, перед грубым примирением плоти и мечты и вызванным этим желанием не испытанной прежде силы. Вскоре пришло наслаждение. Александра Гамильтон подняла голову. Ее лицо ничего не выражало. Меня пронзило ужасное слово Уайльда — «подачка». Меня словно ожгло. Я привлек ее к себе, она вытянулась на постели рядом со мной. Я повернулся к ней, приподнялся и коснулся рукой ее тела. Она мне не мешала, но смотрела куда-то в пространство, словно не чувствуя моих прикосновений. Когда же моя рука скользнула к низу ее живота и я осторожно и неумело стал повторять движения, которые накануне подсмотрел в окно ее комнаты, она попыталась оттолкнуть мою руку, но я не уступил. Ее плоть, до сей поры безучастная, ожила. Отстраняющее движение руки ослабло, неприметно изменилось, приобрело другой смысл. Я заметил, что она руководит мной. А потом она полностью подчинилась моим желаниям. Мне уже пришлось видеть, как безоглядно она отдается наслаждению, но тогда впечатление было ослаблено тем, что я наблюдал издали, сторонним взглядом, а теперь ее чувственность меня потрясла. И сразу после она встала, подобрала свою сорочку и, ни слова не сказав, нагая вышла в коридор.

А я провел в своей комнате весь день и всю ночь, снова и снова неутоленно воскрешая в памяти каждую секунду этой сцены. Все, чего я бежал и на что надеялся, все, что намечал сон и стирало бодрствующее сознание, слова Алана насчет столкновения крайностей, до сей минуты абстрактные, все, что подсказывала мне дерзость тела, слов, взглядов, затоплявшая рассудок потоком ощущений, тайное тайных желания и запрета, а стало быть, безмерность наслаждения — все материализовалось в эти несколько мгновений, в этих скупых жестах, как некий ожидаемый подземный толчок, подготовленное откровение, чьи последствия, однако, были непредставимы и меня уничтожили. Я оставался у себя, боясь выйти, надеясь на повтор, непрестанно грезя наяву. Приливы страсти чередовались с успокоением, вспышки желания — с мимолетным возвратом печали. А солнце медленно скользило по стенам, неприметно искажались тени, и пришел сумрак. Уснул я поздно ночью. Уснул невыразимо влюбленный.

Проснулся я оттого, что нежная рука по-матерински ласково коснулась моего лица. На постели рядом со мной сидела Александра Гамильтон. Причесанная,

подкрашенная, она была в меховой шубке, накинутой на светлый костюм. Лучи уже высоко стоявшего солнца струились в комнату через окна на юге.

— Настала моя очередь уехать, — сказала она. — Сами того не желая, вы изгнали нас с Леонардом Уайльдом из этих мест, которые были для нас своего рода уютным тупиком. Мне страшно не хватает моего наставника. В его отсутствие Hamilton School кажется мне пустыней, где ожидание становится агонией, а работа — шарлатанством. Я знаю, здесь вы. На короткий упоительный миг вы позволили мне забыть о моем одиночестве. Но не могу же я вечно оставаться в вашей постели. Поэтому я тоже возвращаюсь в мир. Что бы вы ни думали о моем поведении, в доказательство моей любви к вам я оставляю вам адреса моего дома в Лондоне и моего имения в Кенте. Прошу вас только не пытаться искать меня теперь. Подождите, пока все уляжется. Может быть, за это время вы меня забудете. Это было бы лучше всего. В противном случае приезжайте ко мне. Приезжайте как друг, как любовник — по вашему усмотрению. Оставшиеся каникулы вы можете провести в Джерси. Этот дом ваш. Мадам Уилкинсон, кухарка, останется здесь до будущего лета, пока я окончательно не переберусь отсюда. Она позаботится о вас.

Она нежно поцеловала меня и направилась к двери. Потом остановилась в проеме:

— Простите меня.

И исчезла. Через несколько минут я услышал, как от дома отъехала машина.

Весь день я бродил по комнатам, рассматривая ее личные вещи, пытаясь уловить в ее постели и в моей аромат ее тела.

Вечером, несчастный, подавленный настолько, что временами не мог дышать, я взял яхту, ту самую, где диковинным пассажиром у меня был Уайльд, и, желая затеряться в бесконечности воды, зыби и ночи, ушел в открытое море.

Я возвратился.

■

ЙОРГОС СЕФЕРИС

Три тайные поэмы

Перевод с новогреческого ***Е.И. СВЕТЛИЧНОЙ***
и ***М.Л. ГАСПАРОВА***

Мировая литература — понятие условное. Для китайца в центре ее китайская литература, для европейца — европейская литература, все остальное — на расплывающейся периферии. Больше того, и европейская литература — понятие условное. Под ним имеются в виду английская, французская, немецкая литературы, остальные — на периферии, при всем уважении к Достоевскому, Ибсену или Лорке. Йоргос Сеферис был Нобелевским лауреатом 1963 года, его стихи и статьи уважительно переведены на разные языки, о нем есть книги, но их мало кто читает. В лучшем случае о нем помнят: это то ли греческий Элиот, то ли греческий Валери. Считается, что быть вторым Элиотом или вторым Валери легче, чем первым. А Сеферису было труднее.

Вся уважающая себя литература XX века прошла под знаком слова «миф». Слово это греческое. Всякий из нас в детстве узнаёт, что мифы — это красивые древнегреческие сказки. Лишь потом приходит время узнать, что мифы бывают не только греческие и не только красивые. Мифами люди жили до разума и хотят жить теперь, разочаровавшись в разуме. Мифологическая картина современного мира — неподвижного, вечно повторяющегося, в котором человек чувствует себя бессмысленно обреченным, — стала модной в поэзии XX века. Однако новое, мрачное значение слова «миф» и у Ницше, и у Элиота, и у бесчисленных эпигонов всегда выгодно оттеняется памятью об отвергаемом старом, детском, светлом значении. У Сефериса этой выгоды не было: в греческой культуре родной, светлый и гордый смысл слова «миф» сиял слишком ярко, и спорить с ним было тяжело.

Новогреческой поэзии вообще нелегко было утверждаться в Европе. Биографы знают: трудно быть сыном великого отца — сколь бы ты ни был талантлив, тебя невольно будут сравнивать с отцом и недооценивать. А Греция, освободившись из-под турецкой власти в 1820-х гг., чувствовала себя наследницей сразу двух великих культур — античной и византийской. Трудно было не повторять прошлое, а создавать новое. Трудно было, повторяя прошлое, сочетать в памяти языческую древность и христианское средневековье. Трудно было даже найти язык, чтобы сказать то, что хочешь. В современной Греции два языка, очень непохожих, — книжный и разговорный. Заменить друг друга они не могут: один богаче отвлеченными понятиями, другой конкретными. В конечном счете каждому крупному писателю приходится создавать меж этих крайностей свой собственный язык.

Чтобы родилась новая поэзия, понадобилась национальная катастрофа. После первой мировой войны Греция, обрадованная успехом, начала новую войну против разбитой Турции — за «великую Элладу» в границах былой Византии. Но в политике виднее, чем в поэзии, что «былое» — плохая опора. В 1922 г. греческие войска были разгромлены, экспансия захлебнулась, греческие города в Малой Азии были разорены, среди них — Смирна, родной город Сефериса. Поэт остался человеком без родины, пожар Смирны в его стихах слился с пожаром Трои.

Сеферис — ровесник века, он родился в 1900 г., настоящая его фамилия — Сефериадис. Отец его был процветающим профессором и стихотворцем-любителем, сам он учился праву в Афинах и Париже, а с 1926 г. пошел на дипломатическую службу — частое прибежище поэтов, которым неуютно было в своих провинциальных культурах. Он по многу лет за границей — консулом, потом послом: Англия, Албания, Турция, Ливан. В 1941—1945 гг. он в эмиграции с греческим правительством: Египет, Южная Африка. Большой

политический мир XX века оказался еще менее уютен, чем провинциальный культурный мир. Но для Сефериса после Смирны это не было неожиданным. Внутренняя готовность к любым трагедиям уже не покидала его. И новую мировую войну, и две оккупации, и несколько военных диктатур он встретил как неминуемое. Кругом — гибель, и нужно найти в себе силы встретить ее достойно человека. У него есть стихотворение «Последний день», видение острова смерти, в 1939 г. запрещенное цензурой — за полгода до мировой войны и за год до вторжения фашистов в Грецию.

Был пасмурный день. Никто ничего не решал.
Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», — сказал кто-то.
Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними
серое море с лужами света.
Заморосило. Солдаты взяли к ноге.
«Это не грего, это сирокко», — и больше ни о чем ни слова.
Но мы знали: на рассвете нас не будет.
Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,
ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.
Завтра — ничего.

«Этот ветер напомнил весну, — сказала подруга,
шедшая рядом и глядя вдаль, — весну,
средь зимы налетевшую в закрытое море.
Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»

Похоронный марш заплетался под мелким дождем.
Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.
А кто думал, те словно вспоминали летописи
крестовых походов или битвы при Саламине.
И все-таки смерть: как умереть мужчине?
И все-таки каждому своя смерть, своя и больше ничья:
это игра в жизнь.
Гас пасмурный день; никто ничего не решал.
На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,
и женщины наши — рабыни у колодцев, и дети —
в каменоломнях.
Подруга шла рядом, напевая бессвязно:
«весною... летом... рабы...»
Старые учители оставили нас сиротами.
Мимо прошла пара, было слышно:
«Уж темно, я устала, пошли домой,
пошли домой, включим свет».

Рабыни у колодца — это напоминание об «Илиаде», каменоломни — об «Истории» Фукидида. Память прошлого входит в современность совсем не такой, как ее представляют учебники: не гармонической, не величественной, не мраморной. «Статуи» — частый до навязчивости образ в стихах Сефериса и всегда тягостный, гнетущий, враждебный. Это те мифы прошлого, которые уже отжили свое и теперь только мешают нам найти миф, объясняющий нас. «Искать жизни, которая за статуями», — говорит Сеферис о цели своих героев. Речь идет о жизни незастывшей, неомертвевшей, неостановившейся. Только в ней — связь времен греческой культуры; только на нее можно опереться современности в поисках себя — не на временное, хотя бы и прекрасное, а на вечное, хотя бы и страшное. Одно из самых знаменитых стихотворений Сефериса называется «Асинский царь». Асина — глухое местечко в южной Греции, лишь один раз мимоходом упомянутое в «Илиаде». В XX веке оно было раскопано, там нашлись остатки построек микенского времени — догомеровского, почти сказочного, когда царей хоронили с золотыми масками на лицах. Маски остались, а лица истлели, вместо них — пустота. И эта пустота ложится на ищущее сознание бременем хуже любой тяжести.

Поиск «жизни, которая за статуями», поиск смысла в бессмысленном мире становится основным мифом в творчестве Сефериса. Об этом была его поэма 1935 г. — 24 отрывка под заглавием «Мифосказ» (или «Миф-история», «Роман-миф»). Ее герои — то ли аргонавты, то ли спутники Одиссея, то ли беженцы нашего века, то ли сам поэт, бросаемый по миру и видящий себя в зеркалах разных культур. Одиссей в своих скитаниях спускается в царство мертвых, чтобы узнать о своем будущем; таким затянувшимся пребыванием в царстве мертвых представляются Сеферису наши дни. Одиссей вернулся на свою родину — героям Сефериса это не дано, их странствие бесконечно. Им не хватает мужества взглянуть в пустоту. Они умирают «с опущенными глазами»: таким не выйти из сегодняшнего царства мертвых в пугающее будущее.

Сеферис в этом мире чувствовал себя одиночкой среди других одиночек — каждый с опущенными глазами. В литературной жизни Греции он, по существу, не участвовал. Ког-

да его спрашивали, почему он предпочитает дипломатическую службу, а не преподавание или работу в газете, он отвечал: «Служба, связанная со словесностью, была бы для меня непереносима». Первая его публикация была в 1928 г. (перевод из Валери), первый сборник стихов — в 1931 г. в 150 экземплярах; когда в 1940 г. он готовил свой первый однотомник, оказалось, что тот тираж еще не разошелся. Известность к нему пришла после войны, когда трагедия, в которой жили его стихи, стала реальностью для всех. Эти стихи с их «иссушающим отчаянием» — голые, без привычных красивостей, кажущиеся сжатыми, даже когда они длинные, — стали ощущаться как истинный голос современной Греции. Но по-прежнему он говорил: «Я ничей не голос... Некоторые умеют чувствовать себя голосом страны — дай им Бог!» На вопрос «Ваше мировоззрение?» он раздражался: «Я пишу без мировоззрения. Какое мировоззрение было у Гомера?»

«Три тайные поэмы» — последняя книга Сефериса (1966). Первая поэма — о луче прозрения в сущее и вечное, это «свет», «огонь», «кормчий гром», не свершение, а путь. Противоположность этому — мутная река времени, мусорный вихрь, тщета разума, застылость и окаменелость; Грайи (здесь) — это Горгоны с окаменяющим взглядом. Вторая поэма — оглядка на классический миф: кровавая баня, в которой убит Агамемнон, Клитемнестра на сцене, вокруг нее — Эриннии, как три лика подземной Гекаты; но Клитемнестра сильнее их, потому что она нашла в себе силы взглянуть в вечность, в пустоту, почувствовать себя тем морем, которое — «никто» (как бесформенный «морской старик» мифов — Протей, Нерей, Форкий). Это можно только почувствовать и нельзя воплотить и передать: слова не выдерживают света. Третья поэма — искажение и угасание: свет и огонь становятся палящим зноем греческого лета (элиотовское «и нет воды...» буднично знакомо каждому греку), прозренье становится мороком (девушка в коровьей шкуре — это миф о Пасифае), прозревшая Клитемнестра — грязной колдуньей, а в словах поэта: «твой голос, твой, а не тот, который ты любишь» — не голос пустоты. Постижение, свершение можно оставить людям (оно им не поможет), а для себя остается только всесожжение в пустоту: это она обозначена, за неимением лучшего, вечным символом розы. Если дать заглавие каждому отрывку, то расположение этих тем будет выглядеть так. Первая поэма: 1) зима, 2) снег, 3) разум, 4) *свет*, 5) река, 6) ветер, 7) *огонь*. Вторая поэма: 1) солнце, 2) сцена, 3) *действие*, 4) море, 5) *событие*, 6) слово, 7) вечность. Третья поэма: 1) жернова, 2) роза, 3) морок, 4) вихрь, 5) ворожба, 6) нагота, 7) сад, 8) стихи, 9) люди, 10) губы, 11) море, 12) зной, 13) полдень, 14) *всесожжение*.

Через год после «Трех поэм» Сеферис выступал с лекциями в США. В Греции только что произошел переворот «черных полковников», его засыпали вопросами, как он к этому относится, — Сеферис отвечал с разочаровывающей уклончивостью. Он считал себя не вправе критиковать режим, находясь в заграничной безопасности. Но вернувшись, он продиктовал все, что думал, на пленку для британского радио. Выступление кончалось словами: «Я замолкаю. Молю Бога, чтобы у меня никогда больше не было такой необходимости высказаться». У правительства хватило ума сделать вид, что ничего не произошло, что престарелого лауреата можно не принимать всерьез. Но когда в 1971 г. Сеферис умер, похороны этого поэта — элитарного из элитарных — стали многотысячной демонстрацией. Раньше его называли «Сеферис» (писал один критик), после Нобелевской премии его стали называть «поэт», в эти последние годы его называли «наш поэт».

Несколько стихотворений Сефериса были переведены на русский язык, но достоянием русской культуры он еще не стал. А его душевный опыт мог бы быть ей небезразличен. Русская культура сейчас больше обычного нервничает на своем краю европейской периферии и больше обычного склонна хвататься за свое прошлое и молиться на него, как на те сеферисовские «статуи». Здесь и стоит вспомнить поэта, который хотел смотреть не в прошлое (и какое прошлое!), а в вечное, даже если в нем — пустота.

М. ГАСПАРОВ

В зимнем луче

1

Листьями ржавых жестянок
в нищем мозге, взвидевшем конец, —
редкие взблески:
листьями в вихре,
вместе с чайками, обозленными зимой.

Как высвобожденный вздох,
танцовщики застыли деревьями —
большой лес обнаженных деревьев.

2

Белые водоросли в огне —
Грайи, всплывшие без век,
облики былых плясок,
окаменелые пламена.
Снег скрыл мир.

3

Спутники свели меня с ума
теодолитами, секстантами, отвесами
и телескопами, увеличивающими предметы,
которые лучше издали.
Куда ведут нас эти дороги?
Но вставший день,
может быть, еще не угас,
с огоньком в ущелье, как роза,
с невесомым морем под шагом Бога.

4

Ты сказал здесь годы назад:
«Суть моя — свет».
И теперь еще, когда ты склоняешься
на широкие плечи сна
или даже когда твой путь — на дно,
в онемелое лоно моря, —
ты обшариваешь углы, где тьма
стирается и бессилеет,
на ощупь ищешь копье,
предназначенное пронзить твое сердце,
чтоб открыть его свету.

5

Что за мутная река нас умчала?
Мы на дне.
Поток льется над нашей головой,
гнет бессвязный тростник.

Голоса
превратились под каштанами в камешки,
ими бросаются дети.

6

Дуновенье, и еще, и порыв —
в миг, когда ты бросаешь книгу,
рвешь ненужные листки прошлого
или тянешься увидеть на лугу
горделивых кентавров в скачке
или юных амазонок, в поту
каждого изгиба тела
соревнующихся в прыжках и борьбе.

Ветер воскресения на рассвете,
когда думаешь, что солнце взошло.

7

Огонь исцеляется огнем:
не каплями секунд,
а мгновенной вспышкой, —
будто страсть слилась с другой страстью
и они, пронзенные, замерли,
или будто
музыкальный лад, который застыл
там, в средине, как изваяние,

неподвижный.

Этот вздох — не свершенье,
а кормчий гром.

На подмостках

1

Солнце, ты играешь вместе со мной,
и все же это не танец:
такая нагота,
почти кровь
для какого-то злого леса;
и вот —

2

Грянули гонги,
пришли гонцы.
Я их не ждал,
я забыл даже их голоса.
Отдохнувшие, свежеодетые,
в руках корзины, в корзинах плоды.
Я дивился шепотом:
люблю амфитеатры!
Раковина переполнилась по край,
и на сцене померкли огни,
как для славного какого-нибудь убийства.

3

Чего ты ищешь? Лицо твое исковеркано.
Вот ты встала
из постели, где стынут простыни,
и из бани, в которой месть.
Капли скатывались
по плечам и по животу,
под босыми ногами была земля,
срезанная зелень.
Те —
три лица неистовой Гекаты —
увлекали тебя с собой.
Твои очи — две трагические раковины,
на сосцах твоих два вишневых камешка —
театральный, наверное, реквизит.

Те улюлюкали,
ты стояла, вросшая в землю,
жесты их резали воздух.
Рабы вынесли им ножи —
ты стояла, вросшая в землю:
кипарис.
Они вырвали ножи из ножон,
примеряясь, как тебя ударить.
Лишь тогда ты вскрикнула:
«Пусть, кто хочет, придет меня свалить:
разве я не море?»

4

Море: как оно стало таким, море?
Я годами медлил в горах,
слеп от светляков,
а теперь жду на этом берегу
человека, плота, обломка.

Море, как оно осквернилось?
Раз! взрезал его дельфин,
а потом
острые крылья чаек.

Но пресной была волна,
где я плавал и нырял ребенком
и где юношей
я высматривал в камешках узор,
искал ритм,
и Морской Старик мне промолвил:
«Я — твое место:
может быть, я — никто,
но могу я стать, кем ты хочешь».

5

Кто слышал в полдень
свист ножа по точильному камню?
Кто примчал верхом
с факелом в руке и хворостом?
Каждый умывает руки,
чтоб они остыли.
Кто вспорол
женщину, младенца и дом?
Нет виновного: только дым.
Кто бежал
и подковы звенели о каменья?
Вырваны глаза: слепота.
Больше нет свидетелей.

6

Когда вновь ты заговоришь?
Наши речи — дети многих отцов.
Они сеются, и укореняются,
и растут, и вскармливаются кровью.

Как сосны
хранят образ ветра,
когда он промчался и нет его, —
так слова
сохраняют образ человека,
когда он миновал и нет его.
Может быть, это звезды ищут слов,
когда топчут наготу твою ночью:
Лебедь, Стрелец, Скорпион, —
может быть, они.
Но где будешь ты в тот миг,
когда здесь, в театре, настанет свет?

7

И, однако, там, на том берегу,
под черным взором пещеры —
солнце в очах, птицы на плечах —
ты была, ты выстрадала
иную муку — любовь,
иную зарю — предстание,
иное рождение — воскресение;
и, однако, там ты возникла вновь
в неоглядном растяжении времени —
капля за каплею, как смола.
Сталактит. Сталагмит.

Летнее солнцестояние

1

Огромное солнце с одной стороны,
юная луна с другой —
как те груди, далеки в памяти,
а меж них провалом — звездная ночь,
половодье жизни.

Лошади на току
мчатся, распластавшись в поту.
Здесь все проходит:
и эта женщина,
на миг прекрасная в твоих глазах,
гнется, ломится, падает на колени.
Жернова перемалывают все:
в звезды.

Канун самого длинного дня.

2

Каждому видятся виденья,
но никто не хочет признаться
и живет, словно он один.
Большая роза
всегда была здесь рядом
с тобой во сне,

твоя, но неведомая, —
но только теперь, пригубив
крайние ее лепестки,
ты почувствовал плотный вес танцовщика,
падающего в реку времени —
в страшную зыбь.

Не трать дыханья, которым
одарил тебя этот вдох.

3

Но и в этом сне
так легко виденье становится
страшным мороком.
Так рыба, блеснув в волне,
уходит в глубинный ил,
так меняют цвет хамелеоны.
Город стал блудилищем,
сводники и шлюхи
закликают затхлыми прелестями;
девушка, вышедшая из волн,
надевает коровью шкуру,
чтобы даться быку;
поэт
смотрит на кровоточащие статуи,
а толпа швыряет в него дерьмом.
Уходи из этого сна,
как из кожи, иссеченной бичами.

4

В диком мотовстве ветра
вправо, влево, вверх, вниз
кружится мусор.
Смертный пар
цепенит людские тела.
Души
рвутся покинуть плоть,
они жаждут, но нет воды,
они тычутся, как в птичьем клею,
взад, вперед, наугад,
бьются тщетно,
и уже им не поднять крыльев.

Край иссох —
глиняный кувшин.

5

Мир укутан в снотворные простыни.
Ему нечего предложить,
кроме этого конца.
Жаркой ночью
высохшая жрица Гекаты,
груди настежь, на крыше дома
исторгает рукодельное полнолуние,

а две маленькие рабыни, зевая,
в медном размешивают котле
душные зелья:
завтра вволю насытятся любители.

Страсть ее и белила —
как у трагической актрисы,
и уже осыпается гипс.

6

Под лаврами,
под белыми олеандрами,
под колючей скалой,
и стеклянное море у ног, —
вспомни, как хитон на глазах моих
раскрывался, соскальзывая с наготы,
и ложился вокруг лодыжек,
мертвый, —
не так ли упал этот сон
между лаврами мертвых?

7

Серебристый тополь в ограде —
его дыхание отмеряет часы твои
днем и ночью —
водяные часы, полные небом.
Его часы в свете луны
тянут черный след по белой стене.
За оградой несколько сосен,
потом мраморы, и огни,
и люди, изваянные, как люди.
Только черный дрозд
щебечет, прилетая пить,
и порою ты слышишь голос горлицы.

Вся ограда — десять шагов;
можно видеть, как падают лучи
на две красные гвоздики,
на оливу и на малую жимолость.

Будь таким, как есть.
А стихи
не отдай утонуть в густом платане:
вскорми их твоей скалой и почвой.
А лучшие
закопай в нужном месте, чтоб найти.

8

Белый лист бумаги, суровое зеркало
отражает тебя таким, как был.

Белый лист, у него твой голос,
твой,
а не тот, который ты любишь.
Твоя музыка — это жизнь,

которую ты растратил.
Если хочешь, верни ее,
коли сладишь с Безразличным, которое
вновь и вновь
отбрасывает тебя к началу.

Ты странствовал,
видел много солнц, много месяцев,
прикасался к живым и мертвым,
знал мужское горе,
женский стон,
детскую обиду, —
но все познанное — лишь бесплотная груда,
если ты не доверишься этой пустоте.
Может быть, ты найдешь в ней свои утраты:
юный цвет и глуби праведной старости.

То, что отдал ты, — твоя жизнь;
то, что отдал ты, — эта пустота:
белый лист бумаги.

9

Ты рассказывал о том, чего они не видели,
а они смеялись.

Все равно — тебе плыть по темной реке
против течения,
идти по неведомой тропе
упрямо, вплотную,
и искать слова, пустившие корни,
как мозолистая олива, —
пусть смеются, —
и стремиться посеять мир иной
в это душное одиночество,
в руины времени, —
позабудь их.

Морской ветер, рассветная прохлада —
они есть, хоть их и не ищут.

10

В час, когда сбываются сны,
в первом сладком свете зари
я увидел, как раскрываются губы
лепесток за лепестком.

Тонкий серп засветился в небе.
Я боялся, что он их срежет.

11

Это море называется тишь,
корабли и белые паруса,
тяжкий вздох бриза с сосен и Эгейской горы.
Твоя кожа скользит по коже моря
легко и тепло —

мысль неясная и тотчас забытая.
Но в расселинах
черным соком хлынул раненый спрут
в глубину —
где конец, как подумать, прекрасным островам.

12

Набухает зной
в венах воспаленного неба.
Кровь взрывается —
она ищет обретения радости
по ту сторону смерти.

Свет — как пульс,
реже и реже,
и вот-вот остановится совсем.

13

Солнце вот-вот замрет.
Призраки зари
дули в сухие раковины.
Птица пела лишь трижды и трижды.
Ящерица на белом камне,
неподвижная,
смотрит в выжженную траву,
где вьется уж.
Черное крыло резким взрезом метит
синий высокий свод:
вглядись, и он распахнется.

Воскресение в родильных муках.

14

И вот
в плавленом свинце ворожбы —
блеск летнего моря,
обнаженность жизни,
путь, привал, уклон и подъем,
губы и лелеемая кожа —
все хочет сгореть.

Как сосна в полдень,
взбухшая смолой,
рвется родить пламя
и не терпит родильных мук, —

созови детей собрать пепел
и высеять.
Что свершилось, то правильно свершилось.

А чего еще не свершилось,
то должно сгореть
в этом полдне, где солнце пригвождено
в сердце столепестковой розы.

ИВ БОНФУА

ПОД ОКТЯБРЬСКИМ СОЛНЦЕМ

ЭССЕ

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

Читаю долгожданные французские переводы этих чудесных стихов и, на секунду мысленно оторвавшись от них, переношусь в Лондон — воплощенное море в его неустанном движении. Бывая там еще недавно, я всегда радовался, потому что знал: рядом с Марбл Арч есть милый и тихий дом, где я снова увижу Йоргоса и Маро Сеферис. Обычно я добирался туда пешком, на закате, словно пытаясь собрать те сизые, а часто еще и холодные, непогожие дали в одно и принести их в дар солнцу, которое во что бы то ни стало вот-вот проглянет сквозь расступившийся городской вид, поравнявшись с водой. В чуть освещенных комнатах, но от этого их полумрака какой-то по-особому здешний, до предела напряженный, вопреки еще туманящим лицо заботам дня упорно сосредоточенный на единственной мысли Йоргос Сеферис — говорю это не для похвалы, а всего лишь в попытке через игру аналогий, привязывающих нас к вещам, точней очертить душу — был для меня такой чистейшей уместностью, до того безошибочным звуком в дисгармонии будней, что его бы с лихвой хватило, чтобы свет бытия, даже исчезнув за нашим горизонтом, никогда не смеркался. Большой поэт равен себе во всем. Нигде так, как в доме у Сефериса, я не чувствовал желания просто быть, быть рядом, чтобы по доверительному разговору воочию убедиться: достаточно единственного образца верности — и даже, может быть, неважно чему, — чтобы риф, пена, звезда перестали служить обессмысленной декорацией смерти. И опять-таки, лишь из рук Сефериса я как высочайшую честь принимал простое право оставаться собой, полную свободу от опаски и устава, которыми отягощен обычно наш путь.

Но как ни действовало на меня его присутствие, я догадывался, что Йоргос Сеферис и сам чего-то ждет, что и его снедает какое-то сомнение, что он подавлен другим, куда более глубоким и тяжким изгнанничеством, чем необходимость жить в другой стране и другое ремесло. Да, ясностью в вопросах повседневной морали, уравновешенной мудростью, проницательной оценкой событий и людей он — человек солнечной природы. Но есть в нем и что-то охряное, пустынное. Иногда своим внезапным молчанием он наводил на мысль о согнутой под темным бременем фигуре, чей силуэт видишь по ночам на изрытой поверхности Луны. Чтобы яснее представить Сефериса, я вспоминал о средневековых книгах, изображавших распятого Спасителя между Солнцем и Луной, словно растворяя его страдание человека в доверии космическим стихиям, и мысленно воссоединял оба эти начала — дневное и ночное — в своеобразном знаке стойкости и переходности разом. Но этот двойственный знак — не простая причуда ума, он существует въяве: это октябрьское солнце, каким его знает Средиземноморье и помнит Сеферис. Когда два года назад я увидел поэта в его новом афинском доме, на террасе и как раз в октябре, он как бы сливался с этим солнцем в одно, вместе с тем приоткрывая неравнодушному взгляду, что свет несет в себе и нашу прозрачность, и неизбежную черноту. Тогда я вдруг почувствовал, до чего она близка современности, эта пора плодов, которые сама же скоро сорвет. Есть в году такие дни, дни между зрелостью и смертью, когда жизнь разом раскрывается во всем великолепии и обреченности. Она ставит тебя перед противоречием, но и перед образцом, подсказывая, как дать этому образцу развернуться в сердце. Я всегда любил его, это октябрьское солнце, здесь и там, на любом берегу. Позже, читая стихи Сефериса, я почувствовал его опять — увиденное мыслью поэта, приручeнное его словом.

***

В самом деле, чтобы как-то описать эти стихи, нужно, по-моему, целиком сосредоточиться на том напряжении, которое их поддерживает и расшатывает, под-

тачивает и обновляет, на их глубоко затаенном и до боли ощутимом противоречии между присутствием и отсутствием, полнотой и опустошенностью. Я еще раз беру в руки нынешнюю книгу, и передо мной опять все подробности, все чувства, все знаки того, что каждый из нас счел бы *подлинной жизнью*. Я узнаю солнце и побережье Греции с их способностью переполнять чувства и если не вносить в сердце мир, то, по крайней мере, своей неукоснительной очевидностью оставлять далеко позади беспокойные домогательства разума. Только в неисчерпаемой игре тени и света лодка достигает причала. Только подлинным радушием подлинного местожительства остается в памяти дом твоего детства, и «дивные имена» Греции, лишенные на этих страницах всяческой живописности, сливаются с производными от мирры и лимона в небывалые — то ли язык, то ли музыка — фразы, где блаженный зной летнего дня на суше обретает мир и покой у воды, переходящей в ночь. Но всегда, всегда эта полнота воплощенности распахивает свои листья и плоды не здесь, а *вдали*. Да, она с нами, ведь единственная настоящая отдаленность — это неведение, горечь, а подобные изъяны духа Сеферису чужды. Но и во всей физической ощутимости, в самой своей сердцевине — так в гуще какого-нибудь города, среди сияния и гула вдруг на секунду почудится что-то иное, сумерки блеска, может быть, иная заря — радость этой полноты для нас недостижима. Стихи Йоргоса Сефериса написаны подлинными красками, но скрадены туманом. Корабли в них светятся, как на полотнах Лоррена, но всегда отплывают, и ждать их назад напрасно. И даже если они порой возвращаются, то это лишь краткая стоянка, и родной порт не в силах и на минуту продлить сон, мревший над ними в открытом море. Стихи Сефериса гудят от присутствия людей, созданий откровенных и страстных, но еще ближе в них статуи, образы умерших, которые с высоты своих утраченных тайн не оставляют живых в покое: ловящие каждый день люди у Сефериса изглоданы прошлым — не зря здесь царит всеразъедающая соль, — и, лишенным судьбы и голоса, им нечего дать друг другу.

Это все те же эгейские, ионические просторы, место деяний между морем и небом. Но теперь они дышат неудовлетворенностью кругосветного плавания от пристани к пристани, от мифа к мифу, как будто древняя дорога труда и взаимообмена, вдруг обернувшись всего лишь криптограммой развязки, с неизбежностью сведена к валу, раз за разом подрывающему очевидность в глазах сна, под которым опять разверзается черная яма. А еще, и повсюду, здесь присутствует голос самой засухи, камень. И цистерна — излюбленный образ Сефериса, где избыток и недостача кивают друг на друга, — во всем своем таинстве вместилища жизни предстает задремавшей поверхностью воды, созданной скорее для притягивания взгляда, чем для утоления жажды. Сколько разрозненных сокровищ сходится в этой «гулкой» цистерне, связавшей находки Валери с правдой Греции: она и сама никак не успокоится, видя, до чего мало свежести ей досталось от времени, проклятого точно так же копиться за каплей капля, она и сама хотела бы собрать в одно минуты счастья, пусть даже заплатив за них мигом памяти, ношей сожаления. Но разве эта вода — не наше подсознание, и разве ее недосягаемые клады, ее нездешние дали не пытаются на свой лад тоже отрезать нас этими беззвучными муаровыми разводами от нас самих?

Дорогой Йоргос Сеферис, такой чуткий к самому тяжелому — самому подлинному — в каждом из нас! Что означает то «несбыточное», о котором снова и снова говорят ваши неусыпные стихи, в какой последней непримиренности черпают они свое несчастье? Конечно — и прежде всего — в родной истории. Нетрудно узнать в ключевых для вашей жизни поворотах как будто нарочно сложившиеся обрывки драмы о распаде реальности. Не могло пройти без следа ни то лето, проведенное ребенком в Клазоменах, среди рыбаков и винограда, ни жизнь в Смирне, огромном порту, где Европа и Азия, вневременное и календарное, ритуал и рынок перемешивались, обогащая зачарованный ум, ни — позднее — всенародный исход в крови и слезах, навсегда разлучивший со счастливой родиной.

Все дорогое стерли тем летом
Новенькие дома,
Рухнувшие потом под осенним вихрем, —

писал Сеферис. Конечно, это лишь образ. Но образ тем более важный, что новая —

та же и другая — родина, Аттика с ее чересчур настоятельным прошлым и чересчур отягощенным абсурдностями и драмами настоящим могла предложить новоприбывшему юноше только одно: тогдашнюю свою печаль, «муку» — как в один голос говорили все — оставаться греком. Да еще войну. Да еще ту или иную разновидность изгнанья. И Йоргос Сеферис отдал немалую часть жизни тому, чтобы оставаться греком — служить Греции — за пределами страны. Он сам был тем отрезанным от родной гавани скитальцем, которого не раз поминал в стихах.

Но в конце концов не в этом дело. Самые трагические обстоятельства не войдут в стихи, покуда умудренный разум не превратит их из прихоти случая в знак предельности человеческого существования. И судьба грека становится всеобъемлющей мукой лишь для того, кто найдет в себе силы разделить боль каждого из живущих. Как бы там ни было, стихи Йоргоса Сефериса принадлежат Греции, связаны с образами и историей Греции только потому, что говорят о любом из нас. И вот что, по-моему, его слова могут сказать. Прежде всего в этой безупречной природе и бесстрашной архаике с бесчисленными храмами, с невозмутимой гармонией тел всегда чувствовалось обещание жизни среди богов, в ладу с бытием и своей сутью — жизни, способной быть собой благодаря простым мифам, где Единое связывает разрозненное «вечностью оливы». Конечно, эта незапятнанная явь всегда была наваждением новейшей греческой мысли. Но теперь она доживает свое на правах красноречивых и никчемных руин. И когда Сеферис отправился в Пелопоннес на поиски всеми забытого Асинского царя, чья погребальная маска звучит на свету, как пустой кувшин, — «звучит, как морская вода под веслом», — заветное место оказалось таким же пустым, и герой золотого века сумел явиться лишь в сумрачном виде затаившегося нетопыря.

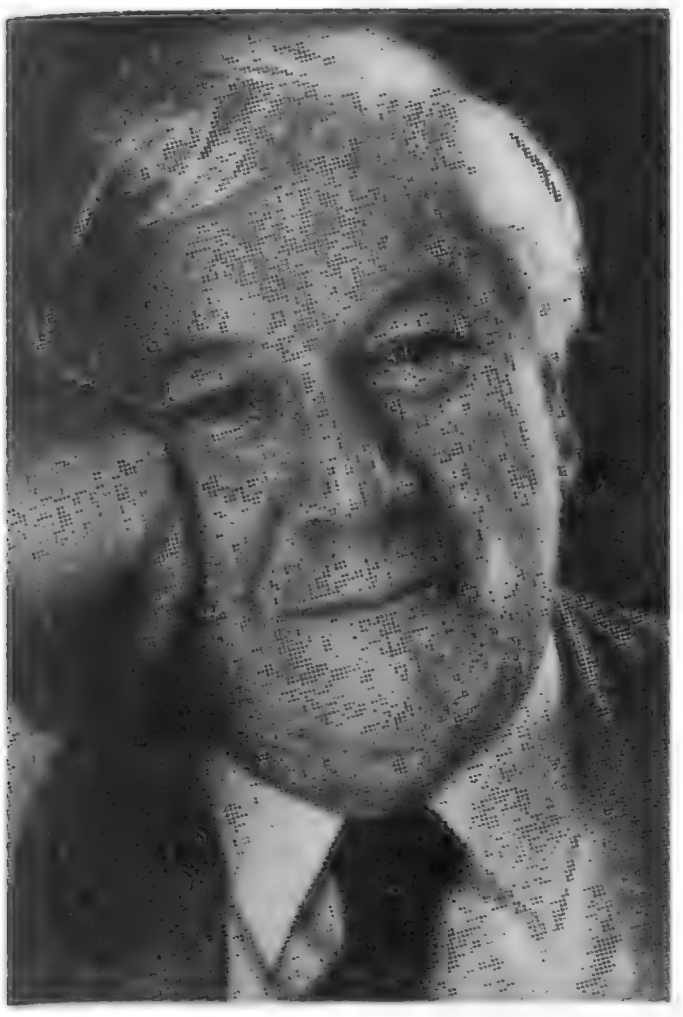
Так ценой этой вечно соблазняющей нас воплощенности стал даже не образ конкретного человека, а человеческий облик вообще. Так единство древних мифов, где человеческую жизнь — саму суть этого общества — воссоздавал и поддерживал обряд, распалось, а каждое отдельное сознание стало вдруг мерой собственного одиночества, собственного небытия и наполнилось тревогой. «Мы погибли!» — кричат уже собранные в «Антологии» надгробные надписи. Одержимая своей смертностью, личность является в мир, чтобы тут же вручить себя Христу, который утвердил на этой непрочности само бытие, чем и вернул человеку надежду, но уже ценой веры в простые блага мира. Отныне и навсегда в этом эллинистическом пространстве, где апостола Иоанна на Патмосе поражает страх, где апостол Павел тоже является в Афины с других берегов, в этой истории-символе, который получит потом имя Византии, душа станет вечно разрываться между привязанностью к себе и любовью к миру. Будет решаться — и не решится. Ее простота навсегда переполнит ее ужасом — под взглядом бесплотного Бога мы, как матросы «Господина Стратиса Моряка», и вправду принадлежим уже не этим дивным берегам, а «открытому морю». Морю в его одиноком исступлении, ведь между нами и абсолютом нет теперь ничего. Таково нагруженное бесконечным смыслом скитальчество современной Греции. И Сеферис, грек между Дионисом и Христом, обогащает этот смысл последними сокровищами языка, вопрошая его с удесятеренной интуицией расколотого удела.

Он — говорю это сегодня с полной убежденностью — сам хотел этого раскола, выбрав изгнание за его сокровенный смысл и уже с первых лет полюбив Лондон за то, что этот город — я всякий раз вижу его при мысли о Сеферисе и глазами Сефериса — это гигантский водоем, где умноженные тысячами гаснущих в пене отражений схлестываются вся необработанность мира и вся безымянность человечества. Сегодня, я убежден, необходимо идти *как можно дальше* — в самые окраинные города, в пропитанные заводской гарью предместья, в случайные, в трижды случайные гостиничные номера, чтобы — да, на пределе риска, да, в такой дали от когда-то сошедшихся в Греции и перезабытых теперь начал — исполнить смысл нашего разорванного существования. И, может быть, возвратиться. Вероятно, и вправду есть еще один, заветный порог, за которым — не открытая чувствам красота, а смерть. Я имею в виду все что угодно, любую мелочь, лишь бы в ней сумели полюбить именно ее и ради нее самой во всей ее физической неповторимости, всмотрелись в нее глазами человека, который, как мы все, наверняка обречен, и во имя того абсолюта, перед которым он, как все мы,

скоротечен. Я имею в виду новое завоевание в одиночку той реальности, которая не распахнется перед слепым порывом расточительства, а сосредоточится в ревностном бдении страсти. Новый взгляд и новую любовь. И конечно же, новый опыт, если чуда не произойдет, новое возведение этажа за этажом на пути к этому свету, в умудренности, покоящейся на несбыточном, чья несбыточность — благо. Именно в этом октябрьском свете поэзии, которая уже не формула, а поступок, не благо, а жажда, Сеферис и нашел свой подлинный масштаб. Для меня лучшее тому свидетельство — его голос, когда он сам, и замечательно, читает свои стихи вслух: глухой, уходящий в глубину, ровный голос; голос, стирающий предмет, чтобы высвободить явь; голос без единой собственнической нотки, как странствие от острова к острову, как григорианский напев.

С искренним чувством и сердечным уважением я приветствую Йоргоса Сеферриса в этот счастливый день, когда его стихи, как их ни приглушает разность наших языков, приходят к французскому читателю отдельной книгой. Сумеет ли слишком напористый, слишком нетерпеливый читатель расслышать издалека этот голос? Он ведь такой чистоты. Сумеет ли вместе с поэтом нынешнего дня повернуться лицом к стране, на которую тот указывает? Ведь в сравнении с реальными островами этот скрыт от нас так глубоко. Но он, несомненно, из тех, которые при первом проблеске дня сквозь пену моря сумеют, если приведется, заполнить собой бесконечный горизонт.

1963



ПИТЕР УСТИНОВ

Старик и мистер Смит[1]

ПРИТЧА

Перевод с английского ГРИГОРИЯ ЧХАРТИШВИЛИ

ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ (От редакции)

Читатель не любит «журнальные варианты», «фрагменты» и «главы из...». Читателя в прошлом часто обманывали и обижали (в этом же журнале), предлагая кастрированные тексты, из которых было убрано все самое живое и интересное. Читателя и его подозрительность можно понять.

Но можно понять и редакцию, которой от «журнальных вариантов» никуда не деться. Правда, времена теперь другие, и можно отбирать для публикации не самое травоядное, а самое сильное и яркое. Слава богу, цензуры больше нет. Цензуры нет, но есть ограничения иного толка.

Во-первых, условия предоставления прав на журнальную публикацию. Иногда правообладатель позволяет нам напечатать лишь часть произведения, чтобы не подрывать шансы потенциального издания отдельной книгой.

Во-вторых, дефицит места. Журнал маленький, а мировая литература большая. Хочется представить ее как можно шире, дать читателю отведать и то блюдо, и это. Если не наесться, так хоть надегустироваться.

Предлагаемый вашему вниманию роман Питера Устинова состоит из отдельных новелл, объединенных общим сюжетом, что делает журнальный вариант в принципе возможным. К тому же переговоры о приобретении прав и перипетии перевода растянулись так надолго, что мир за эти шесть лет успел сильно измениться, кое-где почти до неузнаваемости. Питер Устинов писал роман-фельетон, роман-репортаж, сочно и точно отражавший реальность 1990 года. С тех пор утекло немало воды: объединилась Германия, израильтяне договорились с Арафатом, а хитрые манипуляции генерального секретаря со Съездом народных депутатов успели стереться из памяти, вытесненные последующими бурными событиями. Вот почему перед вами — главы, а не весь текст. И сделано это из лучших намерений.

Моим детям
ТАМАРЕ, ПАВЛЕ, ИГОРЮ, АНДРЕА
(в порядке появления)

Существует слабая вероятность, что событий, описанных в этой книге, на самом деле не произошло; куда более вероятно, что если они имели место в действительности, то никогда больше не повторятся.

— Бог? С двумя «г», я полагаю? — спросил портье, не поднимая головы.
— С одним, — виновато ответил Старик.
— Необычная фамилия, — заметил портье.

---

[1] Журнальный вариант.

© 1990 by Dunedin N.V.

— Необычная? Единственная и неповторимая! — Старик мягко улыбнулся.

— Имя?

— У меня его нет.

— Можно инициалы.

— Раз нет имени, значит, нет и инициалов. По-моему, это логично.

Тут портье впервые устремил на клиента пронизывающий взгляд. Старик заерзал, понимая всю неловкость ситуации.

— Вам это, должно быть, тоже кажется необычным? — пришел он на помощь собеседнику и, желая утешить его, добавил: — Причина проста. У меня нет имени, потому что никогда не было родителей. Вы удовлетворены?

— Родители были у всех, — с ноткой угрозы заявил портье.

— А у меня не было! — горячо воскликнул Старик.

Наступила пауза. Оппоненты внимательно разглядывали друг друга. Затем портье натужно-отрешенным тоном осведомился:

— И надолго вы к нам?

— Не могу сказать. Я так непредсказуем.

— Непредсказуем, — задумчиво повторил портье. — Так-так. А как вы намерены расплачиваться за проживание?

— Понятия не имею. — Старику беседа явно начинала надоедать. — Мне казалось, что в отеле такого класса...

— Разумеется, — перешел к обороне портье. — Но даже в самой респектабельной гостинице клиент, объявляющий себя Богом с одним «г» и не имеющий инициалов, не говоря уж о чемоданах, может вызвать кое-какие вопросы.

— Я же вам сказал: чемоданы скоро прибудут.

— Их принесет ваш друг?

— Да. Мы ведь с ним понимаем, что без чемоданов получить номер в отеле практически невозможно.

— А что, вы уже пытались?

— О да.

— Могу ли я поинтересоваться, чем закончились ваши попытки?

— Ничем. Вот мы и купили чемоданы.

— Просто чемоданы? Пустые?

— До чего же вы любопытны.

— Прошу прощения. Но все же хотелось бы выяснить, как вы будете платить за номер. Я сам отнюдь не любопытен, но вот мои работодатели... В общем, вы понимаете.

— Вы просите, чтобы я объяснил вам про деньги. Чего у меня только не просили — здоровья, мира, победы, спасения... Часто речь шла о вещах весьма важных, затрагивающих судьбы целых народов. Обычно я остаюсь глух к подобным просьбам, потому что они слишком неточны, неконкретны. Сам не понимаю, почему меня так раздражает ваша вполне объяснимая дотошность... Очевидно, это возрастное... Вот, посмотрите-ка, это вас устроит?

Старик извлек из недр своего бездонного кармана горсть монет и насыпал на стеклянную стойку целый холмик. Некоторые из монет упали на пол, но укатились недалеко, так как по большей части были неправильной формы.

— Бой! — крикнул портье, и мальчишка в ливрее стал ползать по полу, собирая деньги.

Тем временем служитель разглядывал монеты на стойке.

— Надеюсь, вы не собираетесь расплачиваться *этим*?

— Что-нибудь не так?

— По-моему, это что-то греческое и к тому же очень древнее.

— Как время-то летит, — вздохнул Старик. — Сейчас еще разок попробую.

Портье выжидательно выстукивал карандашом морзянку по поверхности

стола, а Старик снова рылся в карманах, напряженно насупившись, словно задача оказалась труднее, чем он предполагал. Затем вытащил целый пук зеленых банкнот, похожих на растрепанные листья салата.

— А эти вам как? — спросил он, явно утомленный предпринятым усилием.

Портье подозрительно уставился на пачку, которая внезапно ожила и, словно распускающий лепестки бутон, расположилась на стойке поизящней.

— На первый взгляд...

— Сколько времени сможем мы прожить здесь на эту сумму?

— «Мы»? Ах да, вы ведь с другом... Трудно так сразу сказать, но, полагаю, не меньше месяца. Конечно, это будет зависеть от того, станете ли вы пользоваться мини-баром, сервисом, услугами лакея и так далее...

— Месяц? Вряд ли мы задержимся здесь так долго. Слишком многое нужно посмотреть.

— Приехали полюбоваться вашингтонскими достопримечательностями? — попытался изобразить умильность портье, чтобы у клиента не осталось неприятного осадка.

— Да, мы очень интересуемся достопримечательностями. Для нас всё, знаете ли, внове.

Портье был в явном затруднении, не зная, как разговаривать с этим восторженным провинциалом, который, однако, держал дистанцию и вел себя более чем уверенно. Но упускать инициативу было нельзя. Всякий уважающий себя портье должен уметь не только замечать существенные мелочи, но и игнорировать вещи, которые мешают добросовестному исполнению профессиональных обязанностей.

— Отличные экскурсии устраивает фирма «Наследие янки», — сообщил служитель, доставая стопку рекламных буклетов. — Вы сможете посетить и Национальную галерею, и Смитсоновский институт, и...

— Белый дом, — подсказал Старик, заглядывая в какую-то бумажку.

— Ну, это несколько сложнее, — улыбнулся портье. — Туда туристические группы больше не пускают. Соображения безопасности.

— Да я бы с группой и не пошел, — утешил его Старик. — Один схожу. Ну, может быть, с другом.

— Для этого необходимо особое приглашение.

Старик внушительно сказал на это:

— Ни от кого никогда не ждал приглашения, а теперь переучиваться уже поздно.

— Вас никогда никуда не приглашали?

— Никогда. Мне возносили молитвы, меня умоляли, мне приносили жертвы, даже всесожжения — в давние времена, — но приглашений я не получал ни разу.

В этот момент внимание портье привлек еще один старик, застрявший с чемоданами меж вращающихся входных дверей. Чемоданы были преотвратные, пластмассовые. Старикашка же выглядел так: черные буйные патлы, зловеще обрамляющие лицо; физиономия разительно контрастировала с фарфоровой румяностью первого долгожителя — жуткая, вся какая-то мятая и искореженная, в глубоченных морщинах, прямо не лицо, а застывшая маска отчаяния; черные глаза, казалось, вобрали весь мрак и ужас мироздания, с подрагивающих век то и дело сбегали слезы, теряясь в бороздах пергаментных щек.

— Mon Dieu, — пробормотал портье, наблюдая за схваткой старичка с дверями. — Он старше самого Господа Бога.

— Нет, мы примерно одного возраста, — возразил Старик.

— Бертолини! Анвар! — позвал портье.

Двое привратников были так увлечены впечатляющей картиной, что лишь теперь вспомнили о своих обязанностях и стремглав бросились выручать страдальца. Чемоданы у него оказались подозрительно легкими.

Неровной походкой старикашка приблизился к стойке.

— Ну наконец-то, — недовольно пробурчал Старик.

— В каком смысле «наконец-то»? — огрызнулся вновь прибывший.

— Я тут стою, жду, болтаю о всякой ерунде. Ты же знаешь, как это меня утомляет. Откуда чемоданы?

— Украл. Ты ведь не думал, что я стану их покупать? Да и денег у меня не было.

— Ваше имя? — вмешался портье, делая вид, что разговор приятелей его совершенно не интересует.

— Смит, — быстро ответил за своего товарища Старик.

Не поднимая глаз от регистрационной книги, портье едко заметил:

— Постояльца, который регистрируется под фамилией «Смит», обычно сопровождает «миссис Смит».

Этот комментарий Старика явно озадачил, а у его напарника вызвал недовольную гримасу.

— В данном случае никакой миссис Смит нет, — промямлил Старик. — Брак, знаете ли, дело хлопотное, столько всяких сложностей, обязательств.

— Это ты виноват! Ты вообще во всем виноват! — выкрикнул мистер Смит, и влага из его глаз брызнула во все стороны — будто лошадь фыркнула. — Если б не ты, я тихо-мирно жил бы в кругу семьи и горя бы не знал!

— Ну хватит! — гаркнул на него Старик, да так свирепо и зычно, что немногочисленные постояльцы, по воле случая оказавшиеся в эту минуту неподалеку, ринулись врассыпную.

— Номера пятьсот семнадцатый и пятьсот восемнадцатый! — заорал портье что было сил, но по сравнению с величественным басом Старика его голосок прозвучал жидковато. Однако служителя это обстоятельство ничуть не обескуражило — в гостиничном бизнесе приходится обходиться тем, что есть. Тут главное — уметь закрывать глаза на кое-какие вещи, но клиента в любом случае надо видеть насквозь.

— И заберите свои деньги, пожалуйста.

— Пусть полежат у вас.

— Нет уж, лучше заберите, — проявил мужество портье.

Старик отщипнул от горки несколько купюр.

— Остальное вам — за труды.

— Остальное мне? — недрогнувшим голосом переспросил служитель.

— Вам. Как вы думаете, сколько там? Просто любопытно.

Портье покосился на банкноты.

— Думаю, от четырех до пяти тысяч.

— Вот как. Вы счастливы? Я ведь не знаю цены деньгам.

— Вижу, сэр. Отвечая на ваш вопрос, счастлив я или нет, скажу: не первое и не второе. Я — гостиничный работник. Если передумаете по поводу денег...

Но было поздно. Ажурная решетка лифта уже закрылась за обоими пожилыми джентльменами, их кошмарными чемоданами и двумя носильщиками, Бертолини и Анваром.

* * *

Разведенные по соседним комнатам, приятели не без труда сообразили, что можно открыть внутреннюю дверь, ведущую из одного номера в другой. В качестве чаевых Анвар и Бертолини получили от рассеянного Старика несколько древнегреческих драхм и удалились, так и не решив, нужно ли в этом случае говорить «спасибо». Долгожители обосновались в номере мистера Смита.

Водрузив один из чемоданов на столик, мистер Смит щелкнул замками и заглянул внутрь.

— Что ты там рассматриваешь? — поинтересовался Старик.

— Ничего. Я всего лишь открыл свой чемодан. Что тут необычного?

— Всё. Ты отлично знаешь, что чемодан пустой. Немедленно закрой и не притрагивайся к нему больше до тех пор, пока мы отсюда не съедем.

Мистер Смит подчинился, проворчав:

— Ничуть не изменился. Все командует...

— Если я что-то говорю, на то есть своя причина, — веско пояснил Старик.

— Это-то больше всего и раздражает.

— Если мы хотим, чтобы наша миссия удалась, нужно вести себя как можно естественней.

— Ага, «естественней». С нашими-то патлами и в этих хламидах?

— Возможно, в интересах дела мы будем вынуждены несколько изменить свой облик. Я заметил, что люди теперь одеваются иначе. Некоторые носят волосы длинными, как то предусмотрено природой, другие коротко стригут их, или укладывают в зверообразные прически, или намазывают жиром, превращая в подобие липких и сальных сталагмитов черного цвета.

— Ну почему обязательно черного? Я видел куда более кричащие расцветки: и желтую, и синюю, и красную, и зеленую. Надеюсь, ты не собираешься...

— Нет-нет, — сурово оборвал его Старик, который начал уже уставать от неумолчного брюзжания своего компаньона. Что ни скажи, все ему не так! — Это не понадобится. Просто я не хочу стать объектом пристального интереса со стороны горничных. Эти особы наверняка обратили бы внимание на пустой чемодан и поделились бы своим открытием с коллегами. Сам знаешь, новости среди людей распространяются со скоростью лесного пожара.

— Но ты сам раскрыл себя тому человеку за стойкой. Помнишь, ты спросил у меня, откуда чемоданы?

— Помню. А ты со свойственным тебе тактом ответил, что они краденые.

— И ты думаешь, что человек за стойкой более надежен, чем прочие слуги этого постоялого двора?

— Да, думаю.

— Можно спросить почему? — Голос мистера Смита стал похож на треск, производимый гремучей змеей.

— Потому что я дал ему на чай пять тысяч долларов! Я заплатил ему за молчание! — Старик отчеканил каждое слово, чтобы усугубить эффект сказанного.

— А-а, понятно. Теперь осталось кинуть пару тысяч горничным, и никаких проблем, — хмыкнул мистер Смит.

— Я не из тех, кто бросает деньги на ветер. Вот если бы ты закрывал чемодан на ключ...

— Ты этих денег не заработал!

Смит замолчал, возясь с замком.

— Когда закончишь, пойдем в ресторан поужинаем, — сказал Старик.

— Мы не нуждаемся в пище.

— Да, но остальным знать об этом вовсе не обязательно.

— Вечная показуха!

— Не забывай, мы находимся на Земле. Тут все на этом держится.

Перед самой дверью мистер Смит вдруг встрепенулся и вновь весь наполнился энергией. Заклекотал разгневанной вороной, замер на месте как вкопанный и возопил:

— А почему ты обозвал меня «мистером Смитом»?!

Старик утомленно смежил веки. Он предвидел эту претензию и даже удивлялся, что приходится ждать так долго.

— Послушай, я достаточно намучился с собственным именем. Не хотелось начинать все сызнова.

— И как же ты назвался?
— Своим именем. Это было с моей стороны глупо.
— Фу-ты ну-ты. Ты всегда так кичился своей честностью.
— А ты своей нечестностью.
— По твоей милости, заметь!
— Снова старая песня. Идем-ка лучше, а то ресторан закроется.
— С чего ты взял?
— Предполагаю. И, как всегда, предполагаю правильно.
Мистер Смит насупился и из вредности сел.
— Неужели ты думаешь, что подобное поведение пойдет на пользу нашему расследованию? — воззвал к его благоразумию Старик. — Пойдут сплетни: мол, что за диковинные постояльцы — постельное белье им менять не нужно, пищи они тоже не употребляют! Ну имей же ты совесть!
Смит поднялся, зловеще хихикнул:
— Заключительное замечание настолько абсурдно, что я, со свойственным мне безупречным чувством юмора, оценил его по достоинству. Ладно, иду. Но насчет «старой песни» мы еще потолкуем. Слишком глубока моя рана, слишком мучительна боль.
Последние слова были сказаны так неторопливо, так просто, что по спине Старика (вернее, по тому месту, где полагалось бы быть спине) пробежали мурашки.

* * *

— ...Засим могу предложить каберне «Христианские братья» или совиньон «Мондави» — отличные вина, просто отличные; а если вам хочется чего-нибудь более старого (но, учтите, старое вовсе не обязательно более изысканное), я бы посоветовал взять бордо «Фор-де-ля-Тур» урожая 1972 года или бургундское «Ля-Таш» 1959 года по две тысячи восемьдесят долларов за бутылку. Это на десерт, а к ужину у нас имеется широкий ассортимент превосходных столовых вин.
Все это было произнесено без пауз, на едином дыхании.
— В нашем возрасте все вина кажутся молодыми, — улыбнулся Старик метрдотелю.
— Оценил вашу шутку по достоинству, — поклонился тот.
— А это не шутка, — пробрюзжал мистер Смит.
— Touché[1], — откликнулся метродотель (надо же было что-то ответить).
— Принесите первую бутылку, на которую упадет ваш взгляд.
— Белого или красного?
Старик покосился на соседа.
— А компромисса не бывает?
— Есть розовое.
— Отличная идея, — одобрил Старик.
Мистер Смит ограничился суровым кивком, и метрдотель удалился.
— На нас все пялятся, — прошипел Смит. — Зря мы сюда притащились.
— Напротив, — невозмутимо ответил Старик. — Зря они на нас пялятся.
Он поочередно воззрился на каждого из любопытствующих, и те один за другим отвели взгляд.
Ужин не удался. Сотрапезники так давно не вкушали пищи телесной, что пришлось все вкусовые ощущения разрабатывать заново. Перерывы между сменами блюд показались обоим слишком долгими, скоротать время помогла беседа, а беседовали они столь живописно, что вновь оказались в центре внимания. Запуганные Стариком посетители не осмеливались глазеть на собеседников в от-

[1] Укол (*франц.*) — фехтовальный термин.

крытую, однако нет-нет да и посматривали туда, где под мизантропическим мраморным тритоном, плюющимся струйкой воды в мраморный фонтан, восседали старцы, похожие на два шатра — белый и черный. Атмосфера сгущалась, и даже пианист, существо в обычных обстоятельствах малочувствительное, не смог доиграть до конца свою «Гранаду» и сконфуженно удалился, вытирая потный лоб.

— Поговорим начистоту, — негромко, деликатно начал Старик. — Твоя последняя реплика, произнесенная перед тем, как мы покинули номер, тронула меня своей искренностью. Можешь относиться ко мне как угодно, но я не хочу, чтобы ты мучился.

Мистер Смит хохотнул — не столько иронически, сколько неприязненно. Однако сразу же вслед за тем посерьезнел и призадумался, подбирая нужные слова.

— Больше всего меня обижает мотивация твоего поступка. Она настолько очевидна! — изрек он наконец.

— Ты мне уже говорил это раньше, или я слышу подобное заявление впервые?

— Разве упомнишь? Мы столько веков не виделись! Может, и был такой разговор, но, по-моему, я все-таки проговариваю тебе этот выстраданный упрек впервые.

Старик решил прийти ему на помощь:

— Помню твой душераздирающий крик, когда ты полетел за борт. Это воспоминание преследовало меня потом долгие годы.

— Преследовало... — буркнул Смит. — Да уж, красиво получилось, ничего не скажешь. Я стоял к тебе спиной, разглядывал перисто-кучевое облачко, и вдруг, безо всякого предупреждения, сильнейший толчок, и я падаю! На земном языке, между прочим, это называется убийством.

— По-моему, ты жив и здоров.

— Я же говорю: на земном языке.

— Ну извини, — сдался Старик, очевидно, полагая, что тем самым закрывает тему.

— «Извини»?! — изумился Смит.

— У меня же не было возможности принести тебе извинения раньше.

— Ладно. Дело не в изгнании. Это я бы еще пережил. Да и потом, рано или поздно я все равно ушел бы сам. Но мотив, мотив! Тебе понадобилось скорректировать кошмарный просчет в твоем Творении, где все было так замечательно продумано и выверено!

— Какой еще просчет? — несколько нервозно спросил Старик.

— А такой. Если все вокруг беленькие, то как, спрашивается, распознать тебя?

— В каком смысле? — Старик облизнул губы.

— Чтобы белое было белым, нужна чернота, — отчеканил Смит без своих обычных ужимочек. — Если вокруг одна белизна, белого не существует. Ты спихнул меня вниз, чтобы выделиться. Стало быть, мотив твоего поступка — тщеславие.

— Нет же! — возмутился Старик. И, немного подумав, добавил: — Надеюсь, что нет.

— За тобой должок. И тебе никогда за него не расплатиться, сколько ни кайся. До моего изгнания никто, даже ангелы, не понимал, что ты собой являешь, никто не чувствовал исходящего от тебя тепла, не видел сияния. Но появился я, и на фоне тьмы ты стал видим во всей своей красе. Так продолжается и по сей день.

— Для того мы и наведались с тобой на Землю, чтобы проверить, видим ли я и видим ли ты.

— Если бы не я, не моя жертва, ты был бы невидимкой! — прошипел мистер Смит.

— Готов признать, что отчасти ты прав. — Старик понемногу приходил в себя.

— Но только не делай вид, что новая жизнь пришлась тебе не по вкусу — во всяком случае на первых порах. Ты совершенно справедливо сказал: не столкни я тебя, ты рано или поздно ушел бы сам. Стало быть, семя было посажено, и ему оставалось только взрасти. Я изгнал того ангела, которого и следовало изгнать.

— Не спорю. Мои бывшие коллеги были абсолютно бесхарактерными созданиями, за исключением разве что Гавриила, который вечно вызывался участвовать во всяких рискованных предприятиях, доставлять невесть куда головоломные послания и так далее. А знаешь, почему он это делал? Ему тоже было скучно. Как и мне.

— Он никогда этого не показывал.

— Да разве ты способен распознать скуку?

— Теперь — да. Способен. Но в ту эпоху, когда Земля еще пахла свежим крахмалом...

— А эти твои жуткие серафимы и херувимы со своими писклявыми голосишками! Всё гнусавили, гнусавили хоралы, без единого диссонанса, без игривой гармонии, без перепада настроений — исключительно в мерзейший унисон! Их был по меньшей мере миллион, кошмарные создания, какие-то марципановые статуэтки — чистенькие, приглаженные, в жизни не видали ни пеленки, ни ночного горшка!

Старик беззвучно трясся в припадке великодушного смеха. Он протянул Смиту руку, и тот от растерянности ее пожал.

— Да уж, серафимы и херувимы — не лучшее из моих творений, — хмыкнул Старик. — Ты прав. Ты вообще часто бываешь прав. И у тебя природный дар остроумия. Сплошное удовольствие слушать, когда ты что-то описываешь или рассказываешь. Правда, иногда ты злоупотребляешь метафорами, и это мешает разглядеть наименее яркие из твоих перлов. Я очень рад, что наконец затеял это путешествие и мы встретились вновь.

— Я не держу на тебя зла. Просто люблю ясность.

— Даже слишком любишь...

— Что поделаешь — столько столетий копил гнев и обиду.

— Понимаю, понимаю.

Старик заглянул мистеру Смиту в глаза, накрыл его ледяные руки своими теплыми, мягкими лапищами.

— Действительно. Не будь тебя, меня бы не распознали. Но и наоборот: не будь меня, ты тоже не существовал бы. Каждый из нас в одиночку лишен смысла. Вместе же мы образуем гамму, палитру, Вселенную. Мы не смеем быть ни друзьями, ни даже союзниками, но говорить друг другу «здрасьте» — это уж в порядке вещей. Давай постараемся вести себя в этой щекотливой ситуации вежливо и достойно. Нам ведь необходимо выяснить, нужны ли мы миру, как в прежние времена. Или, быть может, мы давно уже стали роскошью, а то и излишеством? В победе и в поражении мы должны быть неразлучны, и будь что будет.

— Не вижу причины с тобой ссориться, разве что... — Мистер Смит скорчил шкодливую гримасу.

— Осторожней! — воззвал к нему Старик. — Мне удалось наладить между нами некое подобие равновесия. Я пошел на компромисс. Так смотри же, а то все испортишь.

— Тут нечего портить, — проскрипел Смит. — Я же не дурак. Геометрия наших взаимоотношений мне понятна — что можно, чего нельзя. Я прибыл сюда не для того, чтобы с тобой тягаться. Не стоит игра свеч после стольких-то лет. Просто я подумал...

— О чем? — подзадорил его Старик, желая подогнать мыслительный процесс собеседника.

— Каков парадокс! Чтобы заставить меня выполнять новую функцию, ты

воспользовался трюком из моего, а не из твоего арсенала.

Старик погрустнел и сказал внезапно постаревшим голосом:

— Это правда. Чтобы создать Дьявола, пришлось прибегнуть к дьявольскому средству — толкнуть тебя сзади, когда ты этого совершенно не ожидал.

— Вот это я и хотел услышать.

Печально улыбнувшись, Старик спросил:

— Хочешь еще супа? Трюфелей? Ветчины? Форели? Паштета? Мятного чая?

— Произошло то, что должно было произойти, — махнул рукой Смит. — Спасибо, больше ничего не хочу.

Увлеченные беседой, они не заметили, что свет в зале потускнел — верный признак прекращения жизнедеятельности на кухне. Между администрацией отеля и профсоюзной организацией разворачивался конфликт, и засидевшиеся посетители были явно некстати. Им приходилось подолгу дожидаться расчета, шум и крики все нарастали, официанты вообще перестали заглядывать в зал, и последние из клиентов застряли за столиками всерьез и надолго.

— Идем отсюда, — сказал Старик. — Завтра расплатимся.

— Дал бы ты мне немного денег, иначе придется у кого-нибудь украсть.

— Конечно-конечно, — радостно пообещал Старик.

Никто и не заметил, как в зал вернулся пианист, заиграл и тихонько запел, очевидно, решив урвать напоследок хоть малую толику аплодисментов. Старички пробирались к выходу, а вслед им неслось:

— «Падают грошики медные, падают прямо с Небес...»

* * *

Следующее утро. В сне оба не нуждались, поэтому ночь показалась долгой, тем более что вступать в беседу и подвергать опасности хрупкую, едва установившуюся гармонию в отношениях ни тому, ни другому не хотелось. Старик как раз сотворил немного денег для мистера Смита, а тот аккуратно укладывал их в карман, когда раздался деликатный стук в дверь.

— Войдите, — пропел Старик.

— Заперто, — ответили снаружи.

— Минутку.

Подождав, пока мистер Смит закончит операцию с наличностью, Старик подошел к двери и открыл ее. В коридоре топтались портье и четверо полицейских. Сии последние с совершенно излишней прытью ринулись в номер.

— Что такое?

— Прошу прощения, — сконфузился портье. — Я должен еще раз поблагодарить вас за вашу беспредельную щедрость, но, к моему глубокому сожалению, банкноты оказались фальшивыми.

— Неправда, — возмутился Старик. — Я сам их сделал.

— И готовы подтвердить это в письменном виде? — оживился старший из полицейских (фамилия — Кашприцки).

— Да в чем дело?

— Самому делать деньги не положено, — невозмутимо объяснил патрульный О'Хаггерти.

— А я в посторонней помощи не нуждаюсь, — с достоинством парировал Старик. — Вот, смотрите!

Он порылся в кармане, чуть поднатужился, и на ковер потоком посыпались сияющие монеты, словно конфетки из торгового автомата.

Двое полицейских тут же непроизвольно рванулись вперед на полусогнутых, но Кашприцки на них прикрикнул, и они замерли на месте. Зато плюхнулся на четвереньки портье.

Кашприцки:

— Ну, чего там?

Портье:

— По-моему, испанские песо эпохи Филиппа II.

— Вы что, нумизматикой промышляете? Да?— спросил Кашприцки. — Но это не дает права мухлевать с «зеленью». Федеральное правонарушение, ясно? Я вас обоих забираю.

Патрульный Кольтелуччи:

— Наручники?

Кашприцки:

— Да уж, давай по всей форме.

Мистер Смит занервничал:

— Может, смоемся? Покажем фокус?

— Стоять! — рявкнул патрульный Шматтерман, выхватил пистолет и выставил его вперед, вцепившись в рукоятку обеими руками. Вид у него был такой, словно он собрался пустить струю на рекордное расстояние.

— Мой дорогой Смит, если мы хотим ознакомиться с жизнью человечества и с тем, как человеки обходятся друг с другом, нам придется мириться с мелкими неудобствами. Иначе зачем мы сюда явились?

Щелкнули наручники, и весь кортеж проследовал из номера в коридор. Замыкал шествие портье, выражавший глубочайшее сожаление по поводу случившегося — как от имени администрации, так и от себя лично.

В участке задержанных заставили снять верхнюю одежду, и они предстали пред грозные очи самого капитана Экхардта. Немигающим взором из-под графленого, как нотная бумага, лба, из-под стального ежика волос обжег он подозреваемых. За толстыми линзами очков глаза капитана казались парой мелких устриц.

— Так. Этот — Смит, понятно. А имя?

— Джон, — поспешно ответил Старик.

— А сам Смит что, язык проглотил?

— Он... Его лучше не спрашивать... Понимаете, он однажды очень неудачно упал.

— Давно?

— До того, как вы появились на свет.

Капитан некоторое время молча разглядывал того и другого, потом поинтересовался:

— Он псих? Или вы оба с придурью?

— Грубость — тяжкий грех, — усовестил его Старик.

— Ладно. Давай разберемся с тобой. Фамилия?

— Бог... Богфри.

— То-то. Я уж думал, мы кощунствовать вздумали. Что у них в багаже?

— Ничего, — ответил один из патрульных.

— И в карманах тоже, — добавил другой. — Если не считать сорока шести тысяч восьмисот тридцати долларов наличными в правом внутреннем кармане.

— Сорок шесть тысяч?! — взревел Экхардт. — Это у которого же?

— У чернявого.

— У Смита. Та-ак. Кто сляпал банкноты — ты или Смит?

— Деньги сделал я, — ответил Старик, всем своим видом показывая, как надоел ему этот разговор. — А потом отдал Смиту.

— Зачем?

— На мелкие расходы.

— Сорок шесть тысяч? На мелкие расходы? Что ж тогда, по-твоему, крупные расходы? — возопил капитан.

— Как-то не задумывался над этим, — ответствовал Старик. — Я уже объяснял тому джентльмену в гостинице, что плохо представляю себе стоимость денег.

— Зато представляешь, как их подделывать.

— Я их не подделывал. У меня поистине бездонные карманы. Они как рог изобилия, в них чего только нет. Мне достаточно подумать о деньгах, и карманы тут же ими наполняются. Беда в том, что я не всегда сразу могу вспомнить, в каком месте и каком времени нахожусь. Сам не пойму, почему мне вздумалось сегодня в гостинице высыпать на пол именно испанские дублоны или как там они назывались. Должно быть, на меня подействовала мебель, которой обставлен номер. Я на миг вспомнил бедного Филиппа. Каким чудовищным образом выражал он свою воображаемую любовь к моей персоне! Бывало, сидит, укутавшись в изъеденные молью соболя, воздух весь пропах камфарой и ладаном, а от ледяных стен Эскориала так и веет стужей.

Тут мистер Смит недобро осклабился:

— Выходит, не справилась твоя камфара с моей молью. Наша взяла.

— Хорош болтать! — оборвал его Экхардт. — Я не дам увести разговор в сторону. Утром вы оба предстанете перед судьей по обвинению в изготовлении фальшивых денег и попытке мошенничества. Признаваться будете? Адвокат нужен?

— Как же я буду ему платить? — удивился Старик. — Ведь для этого мне придется опять делать деньги.

— Вам может быть предоставлен бесплатный защитник.

— Нет, благодарю. К чему зря отрывать человека от дела? Но у меня к вам просьба. Для того чтобы у нас с мистером Смитом появился хотя бы мизерный шанс на оправдание, я должен понять, каким образом вы установили, что мои деньги фальшивые.

Капитан Экхардт улыбнулся с мрачным удовлетворением. Он чувствовал себя гораздо спокойнее, когда речь заходила о вещах практических и ясных, которые подтверждаются неопровержимыми фактами и лишний раз свидетельствуют о технологической мощи Соединенных Штатов.

— У нас много проверенных способов, и каждый основывается на научной методике, которая постоянно обновляется. Все время совершенствуется, понятно? В подробности я вас посвящать не стану, ведь мы в некотором роде конкуренты по бизнесу: вы пытаетесь выйти сухими из воды, а мое дело — вас зацапать. И зарубите себе на носу: в нашей великой стране гражданам предоставлена неограниченная свобода частного предпринимательства, но подделка дензнаков к этой категории не относится. И я позабочусь о том, чтобы вашей братии вольготно не жилось. Я и другие блюстители закона.

Старик промолвил с обезоруживающе мягкой улыбкой:

— Прежде чем вы предадите нас в беспристрастные руки закона, скажите — ну просто из любезности, а? Мои деньги намного хуже настоящих?

Капитан был в общем-то человеком незлым. Незлым, но безжалостным, ибо в его мире, где даже справедливость отмеряется лишь от сих и до сих, уважают решительность (хоть бы и опрометчивую), а любого сомнения стыдятся как проявления некомпетентности. Экхардт взял со стола одну купюру и воззрился на нее с демонстративной снисходительностью.

— По стобалльной системе я поставил бы тебе тридцать. Водяные знаки небрежные, гравировка нечеткая, подпись казначея разборчива, а должна быть закорючка. Одним словом, работенка так себе.

Старик и мистер Смит обеспокоенно переглянулись. Выходит, все не так просто, как им представлялось?

Капитан поместил их в одну камеру — из чувства сострадания. Была, правда, и еще причина.

* * *

— Ну, и долго мы намерены тут торчать? — спросил мистер Смит.

— Недолго.

— Мне здесь не нравится.

— Мне тоже.

— От стен так и пышет враждебностью. Не понимаю, почему люди относятся ко мне с недоверием? И ты тоже хорош — не дал рта раскрыть. «Он неудачно упал». Очень остроумно.

— Никто не понял, что это шутка.

— Я понял, ты понял. Этого вполне достаточно. Если уж по большому счету.

Старик улыбнулся и лег на железную койку, повернулся слегка на бок и уютно сложил руки на животе.

— Как все переменилось, — раздумчиво молвил он. — С момента нашего воссоединения не прошло и суток, а мы уже в темнице. Кто мог предвидеть, что это случится так скоро? Да и причина, честно говоря, несколько неожиданна.

— Ты мог предвидеть. Но не сделал этого.

— Увы. Я никогда не отличался наблюдательностью, не говоря уж о способности предугадывать перемены. Помню ранние годы, когда смертные еще не признавали меня Богом и думали, что небожители обитают на горе Олимп. Люди думали, что боги живут так же, как они сами, — этакая бесконечная комедия из жизни господ, увиденная глазами прислуги. Счастливые и несчастливые развязки, смесь суеверий, фантазий и домыслов. Всякие там нимфы, превращающиеся то в деревья, то в парнокопытных, то в скорбно-певучие ручейки. Жуткая чушь! А меня представляли или быком, или мухой, или каким-то эфиром, выдуваемым из распученных чресл Земли. «Вот были дни, мой друг», как поется в песне. У каждого божка свои святилища, каждому положен свой паек молитв. Небожители даже не ревновали друг к другу — столько у них было суетни. Если и ревновали, то лишь тогда, когда этого требовала фабула. Жизнь богов была настоящим приключением, или, как теперь говорят, мыльной оперой. А религия — продолжением земного бытия на более высоком, но отнюдь не более достойном уровне. Комплекс вины еще не отравлял сладость священного нектара, болтуны и лжепосредники еще не успели заморочить человечеству голову.

Мистер Смит весело расхохотался:

— А помнишь, какой поднялся переполох, когда тот эллин, первый античный альпинист, вскарабкался на вершину Олимпа и увидел, что там ничего нет?

Старик, похоже, не разделял веселья собеседника.

— Переполох поднялся у нас, а не у людей. Перепуганный скалолаз ничего не сообщил соплеменникам о своем открытии — боялся, что его на куски разорвут. Страшась совершить одну непоправимую глупость, он сделал другую: признался во всем жрецу. Тот, судя по всему, был политическим назначенцем и велел альпинисту держать язык за зубами. Несчастный поклялся, что будет нем как рыба, но жрец задумчиво сказал: «Как тебе верить? Ведь мне-то ты открылся». На это у альпиниста ответа не нашлось, и той же ночью он умер при невыясненных обстоятельствах. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь. Кто-то видел, как смельчак лез вверх по склону, другие заметили, каким мрачным и напуганным он спускался. Постепенно, по мере усовершенствования техники производства сандалий, любителей скалолазания становилось все больше и больше. На горе устраивали пикники, и замусоренный Олимп лишился покрова божественной тайны.

— Обиталище богов возносилось во все более высокие сферы, — вставил Смит, — туда, где царствуют радуги и туманы — и в физическом смысле, и в аллегорическом. Тупоумный символизм утопил первобытную безыскусность в вязкой болтологической каше. Простая мелодия затерялась средь выкрутасов аранжировщиков.

От этих слов Старик даже растрогался:

— Не ожидал столь прочувствованной речи от того, кому давно уже нет дела до божественных материй.

— Неужто ты думаешь, я утратил интерес к Небесам после того, как ты меня

оттуда турнул? А преступники, которых тянет на место преступления? А выпускники, навещающие бывшую школу, когда уже стали взрослыми? Не забывай, что я тоже когда-то был ангелом. К тому же за минувшие века Небеса переменились куда больше, чем Преисподняя. У нас новшества не в чести, а у вас то одна нравственная доктрина, то другая, да и теологическая мода так переменчива.

— Вовсе нет. Я не согласен.

— Ну как же. В мои времена ты занудно проводил в жизнь принцип идеального совершенства. Совершенство — антитезис индивидуальности. Все мы были идеальны и потому неотличимы друг от друга. Стоит ли удивляться, что я взъерепенился. Вот и Гавриил был недоволен. Возможно, и остальные тоже. Что за жизнь среди сплошных зеркал — куда ни глянь, всюду только твои отражения. Должен признаться: когда ты меня столкнул вниз, я испытал неимоверное облегчение. Хотя внизу меня ожидала вечная неопределенность. Падая, я думал: теперь я один, теперь я — это я, и атмосфера вокруг меня наполнялась теплом и жизнью. Я сбежал, я спасся! Лишь позднее я решил горько обидеться и взращивал в себе горечь, как садовник взращивает цветок, — она пригодилась бы мне в случае повторной встречи с тобой. А ныне, когда встреча свершилась, мне гораздо интереснее не попрекать тебя, а говорить правду. Конечно, Зло — штука скучная, это очевидно. Добро тоже не веселей, но нет во всем твоем творении ничего стерильней, безжизненней и тоскливей совершенства. Неужто ты станешь это оспаривать?

— Не стану, — покладисто, но не без горечи признал Старик. — Слишком многое из того, что ты говоришь, верно, и мне это не нравится. Совершенство — одна из тех концепций, которые кажутся абсолютно бесспорными в теории. А на практике от совершенства просто мухи на лету дохнут. Пришлось от этой идеи отказаться.

— Так-таки отказаться? Раз и навсегда?

— Ну, в общем, да. Возможно, в совершенство все еще верит кое-кто из особенно раболепных святош, считающих, что скука — нечто вроде затянувшейся паузы перед окончательным торжеством истины. Такие люди всю жизнь ждут этого самого торжества, и губы их кривит всезнающая улыбочка. Но для большинства, включая и ангелов (которые так эмансипировались, что я их теперь почти и не вижу), идея абсолютного Добра и абсолютного Зла — концепция давно устаревшая. О себе говорить не буду — не люблю, скажу лучше о тебе, благо ты у меня перед глазами. Возобновленное знакомство, даже такое непродолжительное, позволяет мне сделать вывод: ты слишком умен, чтобы быть абсолютно плохим. Это не комплимент и тем более не оскорбление.

Несимпатичные черты мистера Смита озарились иронической ухмылкой, словно тусклое солнышко промелькнуло на водной ряби.

— Ведь я был когда-то ангелом... — Где-то в самой глубине сумеречных глаз колыхнулось нечто похожее на нежность, но в следующий миг физиономия Смита вновь окаменела. Солнышко скрылось за тучей. — История изобилует злодеями — имя им легион, — которые получили духовное образование. Например, Сталин.

— Кто-кто? — переспросил Старик.

— Неважно. Один семинарист, ставший диктатором в одной атеистической стране.

— А, ты о России.

— Не о России, а о Советском Союзе.

Старик задумчиво наморщил лоб, и мистер Смит сделал для себя открытие: всезнание — это еще полдела, важно уметь находить в бездонных запасниках знаний нужную информацию.

Решив, что у собеседника было достаточно времени, дабы навести порядок в меню своего небесного компьютера, Смит продолжил:

— В любом случае у нас еще будет масса возможностей продолжить нашу нравственно-этическую дискуссию. Я чувствую, кроме тюрем нам на Земле ничего увидеть не удастся. Как бы отсюда выбраться — вот что меня занимает.

— Прибегни к своему могуществу. только, очень прошу, надолго не исчезай. Без тебя мне будет одиноко.

— Да я только проверю, функционирует ли оно, мое могущество.

— Разумеется, функционирует. Надо в себя верить. У тебя обязательно получится. К тому же не забывай: именно наша с тобой чудодейственная сила позволила нам после стольких тысячелетий сойтись на вашингтонском тротуаре. Какая ювелирная точность!

— Функционирует-то оно функционирует, но сколько это продлится? У меня нехорошее ощущение, будто я на каком-то пайке сижу.

— Отлично тебя понимаю. Вдруг начинает казаться, что и твоим возможностям есть предел. Полагаю, этому виной продолжительность нашего с тобой бытия. Ерунда, выкинь из головы.

— Если у меня иссякнет запас трюков, я буду чувствовать себя полным импотентом.

— Не называй их, пожалуйста, трюками, — не без раздражения вставил Старик. — Это не трюки, а чудеса.

— У тебя, может, и чудеса, а у меня трюки, — пренеприятно осклабился Смит.

Пауза.

Капитан Экхардт, сидевший со своими помощниками в подвале в особой, звукоизолированной комнатке, насторожился. На лице капитана застыло озадаченно-недоуменное выражение — естественная реакция среднестатистического блюстителя порядка на что-нибудь непонятное. Камера номер шесть, ясное дело, прослушивалась, и полицейские с самого начала пытались вникнуть в беседу двух сокамерников. Безграничная и абсолютно бессмысленная решимость читалась на лицах подслушивающих: челюсти крепко сжаты, брови сосредоточенно насуплены — прямо школьники на экзамене.

— Ну, что скажете, шеф? — рискнул нарушить молчание Кашприцки.

— Ничего не скажу. И не поверю, если кто из вас скажет, будто понял хоть что-то из этой белиберды. Вот что, О'Хаггерти, сбегай-ка наверх и посмотри, что там у них творится. Не нравится мне эта тишина. Что это была за хреновина про трюки, про побег?

О'Хаггерти поднялся наверх и сразу увидел, что в камере номер шесть всего один заключенный.

— Эй, а где твой приятель? — трагическим шепотом спросил патрульный у Старика.

Тот, похоже, и сам удивился, не обнаружив Смита рядом.

— Должно быть, куда-то вышел.

— На двери тройной замок!

— Других предположений у меня нет.

Экхардт и прочие находившиеся в подвале догадались о произошедшем.

— Кашприцки, марш наверх! Разберись, в чем там дело. Нет, лучше я сам. Шматтерман, не выключай магнитофон. Пусть все регистрируется. Остальные за мной!

Когда капитан приблизился к камере номер шесть, внутри за запертой дверью находились трое: патрульный О'Хаггерти и двое стариков.

— Что такое?! — рявкнул Экхардт.

— Когда я подошел, внутри был только один, вот этот, — пролепетал О'Хаггерти.

— Я так и понял. — Капитан взглянул на Смита: — А ты где был?

— Здесь. Где же еще?

— Врет! — вскричал О'Хаггерти. — Он всего пара секунд как появился, шеф!

— В каком смысле «появился»? В дверь вошел?

— Нет. Просто взял и появился. Материализовался.

— Мате-риа-лизовался? — медленно повторил Экхардт, глядя на своего подчиненного, как на полоумного. — А ты-то что в камере делаешь?

— Зашел, чтобы посмотреть, как можно отсюда выбраться.

— Ну и?..

— У меня не получилось. Не возьму в толк, как Смит это проделал.

— А может, он этого и не делал? Может, он все время был тут.

— Вот и я говорю, — подтвердил Смит.

— А тебя никто не спрашивает, — прикрикнул на него капитан, — так что сделай милость, заткнись.

— Не могу смириться с такой наглой ложью, — не выдержал Старик.

Мистер Смит сочувственно зацокал.

— Нет, в самом деле. Я же объяснил вашему представителю, что мистер Смит ненадолго вышел.

— Это каким же манером? — сурово поинтересовался капитан. — Тут суперналежные замки. Новейшая технология, изготовлено фирмой «Мой дом — моя крепость». Без динамита не выйдешь.

Старик блаженно улыбнулся, чувствуя, что момент подходящий.

— Показать, как это делается?

— Валяй показывай, — угрожающе протянул Экхардт и положил руку на пистолет, торчавший из открытой кобуры.

— Договорились. На прощанье хочу поблагодарить вас за приют и ласку.

Все с той же милой улыбкой на устах Старик растаял в воздухе. Экхардт два раза пальнул с бедра, да поздно.

Но присутствующих ждало новое потрясение: мистер Смит пронзительно заверещал — жутко и оглушительно, словно целый птичий базар:

— Ха-ха, стрелок! Где уж вашим трюкам против наших! Попробуй поймай! Пока, привет знакомым! — и ядовито, презрительно расхохотался.

Экхардт не стал ждать и пальнул в третий раз.

Смит поперхнулся, не досмеявшись. Лицо его исказилось — не то от боли, не то от удивления. Впрочем, сделать определенный вывод было трудно, потому что в следующее мгновение исчез и он.

— Я стрелял в ногу, — поспешно объявил Экхардт.

А О'Хаггерти взмолился:

— Выпустите меня отсюда.

Мистер Смит материализовался на тротуаре, где его уже поджидал Старик. Оба пребывали в радостном возбуждении после удачно проведенной операции. Смит задержался возле мешка с мусором и, к крайнему неудовольствию спутника, принялся там рыться. Достал замусоленную газету, сунул в карман. Парочка зашагала дальше.

Тем временем в полицейском участке капитан Экхардт, у которого все еще звенело в ушах от выстрелов, понемногу приходил в себя.

— Эй, Шматтерман, можешь выключить магнитофон, — крикнул он, задрав голову к потолку. — Надпиши кассету, зарегистрируй и в досье. Головой за нее отвечаешь, понял?

— Что будем делать, шеф? — спросил Кашприцки, правая рука и верная опора, мощный стимул к принятию волевых решений.

— Это дело нам не по зубам, — шепнул ему Экхардт. Громко шепнул, чтоб остальные тоже слышали. — Выполним наш долг. Свяжемся с наивысшей инстанцией.

— С архиепископом, да? — спросил католик О'Хаггерти и был вознагражден сочувственным взглядом начальника.

— С президентом? — высказал предположение республиканец Кольтелуччи.

— С Федеральным бюро расследований, — медленно, значительно пояснил капитан. — С ФБР... Слышали о такой организации?

Ответа не последовало, да Экхардт его и не ждал.

* * *

Когда мистер Смит извлек из мусора третью газету, такую же загаженную, как две предыдущие, Старик не выдержал:

— Неужели так уж необходимо воровать макулатуру из помоек?

Диалог происходил на одной из многочисленных вашингтонских аллей.

— Нельзя назвать воровством изъятие предметов, от которых отказались их владельцы, — ответил Смит, с интересом шурша страницами (к некоторым игриво прилипла яблочная кожура). — А владельцы от них отказались, иначе газеты не лежали бы в этих сияющих черных мешках. Вот если бы я стащил газеты из киоска, тогда это можно было бы квалифицировать как воровство.

— Что ты там читаешь?

— Чтобы понять ментальность тех, кто делает наше пребывание на Земле таким неприятным, нужно изучать прессу. Люди читают газеты для развлечения, а для нас это — работа.

— Ну и какие открытия ты совершил? — скептически осведомился Старик.

— Да вот, проглядел несколько передовиц и пришел к определенному выводу. Люди очень хорошо разбираются в том, что имеет к ним непосредственное отношение, а во всех прочих материях полнейшие профаны. Фальшивые деньги, например, их очень интересуют, потому что угрожают личному процветанию, а это оскорбляет их чувство законности. Поэтому люди изобрели сложнейшие методы выявления фальшивых купюр. А фальшивыми считаются все деньги, в том числе и божественного происхождения, если их произвели не на монетном дворе.

— Чувство законности? Так они законопослушны?

— Нет. У меня создалось ощущение, что люди возмущаются, когда фальшивые деньги используются в нечестных операциях. Очевидно, нечестные денежные операции следует проводить только легитимными банкнотами.

Старик насупился:

— Пока я витаю мыслями в облаках, ты времени даром не теряешь. А почему ты сказал, что они разбираются только в вещах, которые их непосредственно касаются?

— Тут есть статейки на зарубежную тематику: перемены в австрийском правительстве, кризис израильского кабинета, визит Папы на Папуа и прочее. Такое ощущение, что писались эти тексты людьми самоуверенными и обладающими исчерпывающей информацией, но не умеющими этой информацией правильно воспользоваться. Часто встречается выражение «официально не подтвержденная». Не знаю, что это значит. Что-то новенькое.

— Я вижу, ты лучше следил за событиями последних столетий, чем я, — расстроился Старик. — Я, например, и не знал, что у Австрии есть правительство, что в Израиле есть какой-то кабинет и что... Что такое «папа на папуа»?

— Папа на Папуа. Завтра будет на Фиджи, послезавтра на Окинаве и Гуаме. Во вторник возвращается в Рим.

— Не смейся надо мной. Папуа — это где?

— Северная Гвинея, к северу от Австралии.

— А зачем Израилю понадобился кабинет?

— У всех есть кабинет, чем же израильтяне хуже?

— Разве им мало того, что они избранный народ?

— Хотят подстраховаться. Теперь избранный народ сам избирает. А тут без кабинета никак.

— Мне нужно столько всего узнать. — По задумчивому лику Старика пробежало облачко. — А пришел ли ты после прочтения грязных газет к какому-нибудь практическому выводу касательно нашей с тобой ситуации?

— Да. Мы должны изменить внешнюю оболочку.

— Почему?

— Нас слишком легко опознать. Вот мы сейчас гуляем по тенистым аллеям мимо неогеоргианских особняков, словно добропорядочные граждане. А ведь мы с тобой беглые преступники.

— Преступники? — вскинул брови Старик.

— А ты думал. Мы — фальшивомонетчики, скрывающиеся от закона.

— Ну-ну, продолжай.

— У меня по изучении финансового раздела возник план.

— Так вот почему ты так долго не размыкал уст? А я иду и удивляюсь — ты вроде бы никогда, даже в прежние времена, молчаливостью не отличался.

— Время дорого. А план мой таков. Я превращаюсь в азиата...

— Это еще зачем?

— Американцы ужасно озабочены конкуренцией со стороны азиатов. Когда я ориентализируюсь, ты поднатужься и произведи на свет побольше азиатских купюр, которые называются «иены».

— Но они же все равно будут фальшивыми.

— А как иначе? Или ты предпочитаешь воровство? Не будем же мы зарабатывать деньги в поте лица. Каков я тебе в качестве бэйбиситтера? — И мистер Смит зашелся надтреснутым колокольчиком.

— Излагай свой план, — поморщился Старик.

— Свои дензнаки туземцы изучили в совершенстве, — продолжил Смит, справившись с приступом веселья. — Но с японскими банкнотами они знакомы плохо, японских закорючек читать не умеют. А если я еще и выглядеть буду чистым японцем, ни один банковский клерк не заподозрит подвоха.

— Что ты собираешься делать с японскими деньгами после того, как я их создам?

Мистер Смит посмотрел на непонятливого собеседника соболезнующе.

— Я их поменяю в банке.

— На что?

— На *настоящие* доллары.

Старик замер как вкопанный.

— Гениально, — прошептал он. — Очень нечестно, но гениально.

В этот момент из-за угла вылетел автомобиль с синим фонарем на крыше; заскрежетал тормозами, развернулся, ободрав бока сразу нескольким припаркованным машинам, и перегородил мостовую. Старик и мистер Смит инстинктивно подались назад, но и с тыла, уже прямо по тротуару, несся полицейский мотоциклист, а за ним еще один. Затем примчался второй автомобиль, тоже с истерическим воем и скрежетом. Оттуда посыпались люди, все в штатском. Те, что постарше, были в шляпах. Размахивая оружием, люди подхватили Старика и мистера Смита, потащили их к машине и заставили положить ладони на капот, а сами принялись деловито прощупывать просторные одежды арестованных.

— Что я тебе говорил? — заметил мистер Смит. — Надо менять внешность. Не сейчас, так чуть позже.

— Что такое?! — прикрикнул на него главный из людей в штатском.

— Да, чуть позже, — согласился Старик.

Их рассадили по машинам и отвезли на городскую окраину, к какому-то гигантскому зданию.

— Это что, полицейское управление? — спросил Старик.

— Госпиталь, — ответил старший из фэбээровцев, капитан Гонелла.

— Ах, госпиталь.

— Ведь ты, папаша, совсем чокнутый, — промурлыкал Гонелла. — И твой дружок тоже. Попробуем доказать, что вы ни хрена не соображали, когда печатали денежки. Действовали в состоянии умопомрачения. Дадим вам шанс. Только уговор: мы поможем вам — вы поможете нам. На все вопросы доктора отвечать без утайки. Я тебе не подсказываю, что ему говорить. Просто играй по правилам. Тебя спросили — ты ответил. Ясно? И покороче. Можешь нести любую чушь, тут это в порядке вещей, но не утомляй доктора... Ладно, я не имею права на тебя давить... Только вот еще что. Без этих ваших исчезновений, договорились? У нас в ФБР такие фокусы не проходят. Не знаю, как ты это проделываешь, и не хочу знать. Но с исчезновениями завязал, понятно? Пока всё.

Задержанных препроводили к регистрационной стойке, где восседала до смерти перепуганная матрона — не то старшая сестра, не то что-то в этом роде. Мистер Смит и матрона воззрились друг на друга со взаимным ужасом, впрочем, вполне объяснимым. Пластиковая табличка, прицепленная к халату дамы, извещала, что зовут ее Газель Маккабр. Она обшарила Старика и Смита инквизиторским взглядом выпученных глаз противоестественно светлого оттенка — казалось, веки из последних сил удерживают в орбитах два рвущихся на волю вареных яйца. Единственной подвижной деталью на сморщенном, застывшем личике был рот. Он алел незаживающей язвой и непрестанно подергивался, словно мисс Маккабр никак не могла извлечь из дырявого зуба остатки вчерашнего обеда.

— Значит, так! — рявкнула матрона (фельдфебели обоего пола почему-то именно этими словами всегда начинают беседу с нижними чинами). — Кто из вас Смит?

— Он, — кивнул на соседа Старик.

— Отвечайте по одному!

— Я, — сказал Смит.

— Так-то лучше, молодой человек.

— Я не молодой человек, а фамилия выдуманная.

— В полицейском протоколе вы значитесь как Смит, и теперь у вас нет права менять показания. Если не хотели быть Смитом, раньше нужно было думать, пока не попали в компьютер. Отныне и по гроб жизни вы останетесь Смитом. Вероисповедание?

Смит надолго закис в мучительном хохоте, ритмично трясясь всем своим тощим телом.

— Я жду, Смит.

— Католик! — прохрипел весельчак и весь вытянулся, словно собрался позировать Эль Греко.

— Не сметь! — гаркнул Старик.

— По одному, я сказала!

— Это уже чересчур, — волновался Старик. — Да и вообще, зачем вам знать наше вероисповедание?

Мисс Маккабр на миг смежила веки, давая понять, что привыкла иметь дело с идиотами и что такими жалкими приемчиками ее из колеи не выбьешь.

— Это делается вот для чего, — ровным голосом учительницы, читающей диктант, объяснила она. — Если кому-то из вас, граждан преклонного возраста, вздумается во время нахождения в нашем госпитале скончаться, мы должны знать, по какому обряду вас хоронить или же, в случае кремации, куда отправлять прах.

— Мы уже столько веков живем на свете и до сих пор не умерли, — молвил Старик. — С чего это мы станем именно теперь менять свои привычки?

Мисс Маккабр взглянула на капитана Гонеллу, тот красноречиво пожал плечами, и матрона понимающе кивнула.

— Ладно, — обернулась она к Старику. — Пусть ваш приятель отдохнет, а мы пока займемся вами. Вы — мистер Богфри.

— Нет, — холодно ответил Старик.

— Но тут так написано.

— Достаточно скверно уже одно то, что под давлением обстоятельств я вынужден прибегать к изготовлению денег, но эти постоянные издевательства переполняют чашу моего терпения. Меня зовут Бог, коротко и ясно. С большой буквы, если хотите соблюдать вежливость.

Мисс Маккабр иронически приподняла оранжевую бровь.

— Вы думали меня удивить? В настоящий момент у нас на излечении три пациента, каждый из которых считает себя Богом. Держим их поврозь, чтоб не кидались друг на друга.

— Я не *считаю*, что я Бог. Я просто Бог.

— Остальные тоже так говорят. Мы зовем их Бог-один, Бог-два и Бог-три. Желаете стать Богом-четыре?

— Я — Бог от минус бесконечности до плюс бесконечности! И нет других богов!

— Придется его тоже поместить отдельно, — сообщила мисс Маккабр капитану. — Вызову доктора Кляйнгельда.

Старик посмотрел на капитана, который ответил ему улыбкой.

— В Соединенных Штатах семьсот двенадцать мужчин и четыре женщины, которые считают себя Богом. Статистика ФБР. Разумеется, включая Гуам и Пуэрто-Рико. Так что конкуренция у тебя серьезная.

— А Дьяволов сколько? — заинтересовался мистер Смит.

— Не слыхал о таких.

— Приятно чувствовать свою исключительность, — негромко произнес мистер Смит и приосанился, чем, кажется, немало разозлил Старика.

— Так вот оно что, — фыркнул Гонелла. — Ты, стало быть, Дьявол? Класс! Сатана Смит. Как вашего брата крестят — окунают в огненную купель? Ладно, мисс Маккабр, занесите в карточку основные данные, и я подпишу. Пора двигаться дальше. Дел невпроворот.

— Какие данные?

— Ну напишите: Бог и Сатана. Вот денек выдался. Есть чем гордиться.

— Я уже записала их как мистера Смита и мистера Богфри и ничего менять не собираюсь.

— Пусть так. Все одно — липа.

— Кто заплатит за обслуживание?

— Мы заплатим, — уверил ее капитан. — Если, конечно, вас не устроят фальшивые купюры.

— Шутите?

По завершении этого милого разговора узников отвели в кабинет первичного осмотра, чтобы затем доставить к прославленному психиатру доктору Гробу Кляйнгельду, автору научного труда «Если, Я и Оно», а также популярной брошюры «Все, что вам нужно знать о безумии».

На осмотре обнаружилось, что у Старика нет пульса. Рентгеновский снимок не запечатлел никаких внутренних органов. Как резюмировал заведующий кабинетом доктор Бен-Азиз: «Мы не нашли ни сердца, ни грудной клетки, ни позвоночника, ни вен, ни артерий, но и признаков каких-либо болезней тоже не наблюдается».

Среди прочих выводов комиссии следует отметить описание кожи Старика: по консистенции местами она оказалась «керамической», а местами «резиновой на ощупь и никак не напоминающей человеческий кожный покров». Очевидно, пациент мог изменять консистенцию своей кожи, как ему заблагорассудится.

Мистер Смит озадачил медиков еще больше. Когда его раздели, обнаружилось, что из его обугленных пор вырываются крошечные облачка дыма, и кабинет сразу же пропитался неявным, но пренеприятным запахом серы. При этом кожа пациента на ощупь была холодна как лед.

Попытались измерить температуру — сунули Смиту в рот градусник, однако тот немедленно взорвался, и больной с явным удовольствием всосал ртуть внутрь, словно изысканного вина отведал. Тогда ему поставили градусник под мышку, но стекло опять лопнуло. Теперь вся надежда была на анальное измерение. Пациент охотно перевернулся на кушетке, ибо по натуре был склонен к эксгибиционизму, но и из этого ничего не вышло. Врач сообщил тревожную весть:

— У него нет ануса.

— Не может быть! — воскликнул Гонелла. — Прячет где-нибудь.

— Например, где? — спросил у него доктор Бен-Азиз.

— Ну делают же операции, так что начинаешь гадить через бедро. Так или нет?

— Вывод обнаружить еще легче, чем естественное отверстие.

— Господи! — вскипел капитан. — Хорош, ведем их к психиатру. В конце концов, для этого их сюда и доставили. Видно невооруженным глазом, что оба живехоньки, и непохоже, что они собираются откинуть копыта. А если и собираются, то сборы явно продолжаются уже очень долго. Нам нужно заключение эксперта.

— Быстро не получится, — предупредил Бен-Азиз. — Кляйнгельд на осмотр времени не жалеет.

— Чужого, — добавил один из ассистентов.

— И чужих денег тоже, — подхватил другой.

— Время и есть деньги, — поставил точку Бен-Азиз.

* * *

Доктор Кляйнгельд оказался коротышкой с непропорционально большой головой. Разговаривал он исключительно шепотом, очевидно, полагая, что таким образом легче подчинить пациента своей воле — пусть сбавит тон, напряжет слух, боится лишний раз вздохнуть, чтоб не упустить чего-нибудь жизненно важного. Психиатр уютно устроился в глубоченном кресле и просматривал какие-то записи, самоуверенно и победительно улыбаясь тонкогубым ртом. Откинутая назад спинка кресла была почти на одном уровне с кушеткой, на которую уложили Старика.

— Как вам моя кушеточка? — шепнул доктор.

— Затрудняюсь ответить.

— Почему?

— Не знаю, чем ваша кушетка отличается от других.

— Понятно. Это потому что вы Бог, да? — повеселел психиатр.

— Возможно. Да, вполне вероятно.

— У меня тут недавно лежал один Бог, так ему моя кушетка очень даже понравилась.

— Что доказывает — если бы была нужда в доказательствах, — что он Богом не является.

— А чем докажете вы, что вы Бог?

— Мне не нужны доказательства. В том-то и суть.

Наступила пауза — доктор что-то записывал.

— Вы помните Сотворение мира?

— Мои воспоминания вряд ли будут вам понятны, — заколебался Старик.

— Интересное замечание. Обычно начинают пересказывать Книгу Бытия. Им кажется, что они вспоминают Сотворение, а на самом деле они всего лишь вспоминают текст.

— Вы о ком это?

— О пациентах, которые считают себя Богом.

Кляйнгельд сделал еще какую-то запись.

— Можно поинтересоваться, зачем вы пожаловали на Землю?

Старик призадумался.

— Так сразу не объяснишь... Как-то вдруг, неожиданно нахлынуло невыразимое... одиночество. Захотелось посмотреть, какие вариации получила тема, которую я некогда считал такой удачной. А потом... Нет, словами этого не опишешь... Не получается — пока... Скажите, а можно задать вопрос вам?

— Разумеется, но у меня, в отличие от вас, не на все вопросы есть ответы.

— В самом деле? Мне кажется, что вы верите в то, что я ... ну, тот, кто я есть.

Доктор беззвучно рассмеялся:

— Слишком сильно сказано. Я, знаете ли, вообще не склонен во что-либо верить.

— Это свидетельствует об уме.

— Спасибо, очень мило с вашей стороны. Но я не боюсь менять мнение по тому или иному вопросу. Наоборот, я периодически даже понуждаю себя к этому. Надо мусолить истину, как собака мусолит косточку. Нет ничего постоянного. Все меняется. Люди стареют. Идеи стареют. Вера тоже. Жизнь все подвергает эрозии. Вот почему мне нетрудно разговаривать с вами как с Богом, хотя я не знаю, правда ли это, и не больно-то стремлюсь узнать.

— Как любопытно! — оживился Старик. — Вот уж не думал, что испытаю смущение, когда во мне признают Бога. Какая неожиданность! Когда вы сказали, что вам все равно, Бог я или нет, я в первый момент испытал замешательство, а потом облегчение. Тут у вас, на Земле, изображать Бога гораздо легче, чем быть Богом.

— Легче, чтоб тебя считали сумасшедшим, нежели нести ответственность за все беды и несчастья мироздания.

— Или выслушивать хвалы твоему всемогуществу. Быть объектом молений — самая тяжелая из форм давления на психику.

Доктор опять зачиркал ручкой по бумаге.

— Можно спросить, кто таков ваш спутник?

— Ах, — вздохнул Старик. — Я так и знал, что рано или поздно вы об этом спросите. — Немного помолчав, продолжил: — Вы вот интересовались, зачем я спустился на Землю после столь продолжительного отсутствия. Не говорите об этом *ему*, но меня все эти века мучила совесть... Понимаете, я ведь его вытолкнул.

— Откуда?

— Должно быть, я слишком много на вас обрушиваю вот так, сразу... Я вытолкнул его из Рая.

— Так Рай существует?

— О да, но это не такое завидное место, каким его обычно представляют. Временами там бывает очень одиноко.

— Одиноко? Вы меня удивляете. Я думал, что человеческие несовершенства вам неведомы.

— Не забывайте, ведь я вроде бы создал человека по своему образу и подобию. Так что несовершенства мне ведомы. Я должен знать и что такое сомнение, и что такое отчаяние, и что такое радость. Раз я сотворил человека, стало быть, я знаком с его устройством.

— Означает ли это, что и у Бога воображение имеет свои границы?

— Не думал об этом. Вероятно, да.

— Почему?

— Потому что... потому что я могу создать только то, что доступно моему воображению. Очевидно, есть вещи, которых я вообразить не в состоянии.

— Где есть? Во Вселенной?

— Вселенная — это моя лаборатория. Я сошел бы с ума в бескрайних райских просторах, если б у меня не было Вселенной, где можно всласть наиграться. Благодаря ей я сохраняю молодость и свежесть — насколько это возможно. Но Вселенная познаваема и допускает интерпретации, ибо она сотворена из материи, известной человеку. Вселенная как раз и обнаруживает пределы моей фантазии. Бессмертные, как и смертные, нуждаются в некоем ограничителе. Для смертных таким ограничителем является сама смерть, именно она придает жизни смысл. А бессмертию нужен ограничитель для воображения, иначе вечность быстро выдохнется и обратится в хаос.

— Все это весьма познавательно, — прошептал доктор, — но в пылу философствования вы забыли сообщить мне, кто ваш спутник. Он Дьявол, да?

— По-моему, я достаточно прозрачно намекнул на это.

— Да-да, но не забывайте, что я верю не всему, что мне говорят. Ваш товарищ, он что, раньше работал в цирке?

Старика вопрос поставил в некоторое затруднение.

— Понятия не имею. Возможно. Я не общался с ним с тех пор, как он... нас покинул, и вплоть до вчерашнего дня. В цирке, вы говорите? Почему в цирке?

— Ну, не знаю. Он, похоже, обладает способностью делать предметы и даже части собственного тела невидимыми. Да и фокусы с огнем ему тоже удаются. Знаете, в цирке и огонь глотают, и всякие прочие трюки показывают. Вот я и подумал...

— Трюки? Он тоже называет это трюками. Видите ли, по складу характера он в большей степени экстраверт, нежели я, и обожает производить впечатление, бравировать своим могуществом. Я же, пока нахожусь на Земле, предпочитаю жить как обычный человек. Насколько это будет возможно. — Взгляд Старика стал задумчивым. — Мне очень хотелось его увидеть после такой долгой разлуки. Я отправил ему довольно осторожное послание, и что вы думаете? Он сразу же согласился. Мы с ним встретились впервые с доисторических времен. Это произошло вчера — нет, уже позавчера — на тротуаре возле Смитсоновского института в Вашингтоне. Ровно в двадцать три ноль-ноль. Такая у нас была договоренность. Сразу же отправились в гостиницу, куда нас не хотели пускать без багажа. Первую ночь мы провели в Смитсоновском институте и Национальной галерее.

— Но их на ночь закрывают.

— Для нас стены — не преграда. Я увидел там много интересного, порадовался достижениям человечества. Правда, мистеру Смиту было смертельно скучно.

— А на следующую ночь, насколько я понимаю, вам удалось-таки попасть в отель. Тогда-то вы и изготовили деньги. Правильно?

— Абсолютно.

Доктор Кляйнгельд бросил на Старика взгляд, в коем странным образом смешивались вызов и лукавство.

— ФБР доставило вас сюда для проведения экспертизы вашего психического здоровья, или, если угодно, вменяемости. Сейчас мы перейдем ко второй части проверки, но сначала сделайте, пожалуйста, некоторое количество денег.

— Мне объяснили, что это противоречит закону.

— Я не собираюсь вашими деньгами пользоваться. Просто я должен убедиться, что вы действительно умеете делать деньги. Это, разумеется, останется между нами.

— Сколько вам нужно?

Глаза доктора вспыхнули огнем.

— Если бы вы были обычным клиентом, я бы брал с вас по две тысячи за сеанс. Судя по нашему разговору, нам понадобится что-нибудь между десятью и двадцатью сеансами, а там станет ясно, как действовать дальше. В подобных слу-

чаях ничего нельзя сказать заранее. Ладно, пусть для начала будет тридцать тысяч. И это очень по-божески.

Старик сконцентрировался, и из его кармана стаей выпущенных на волю голубей полетели банкноты. Они кружились по всей комнате. Психиатр поймал одну из купюр и увидел, что она не зеленая.

— Это не доллары! — с нехарактерной для себя горячностью воскликнул доктор. — Это австрийские шиллинги! Откуда вы узнали, что я родился в Австрии?

— Я этого не знал.

— Бумажки ничего не стоят! Их выпускали еще до войны!

— Ну вот, видите, — удовлетворенно заметил Старик. — Все-таки я не вполне обычный клиент. Жаль, что вы сразу этого не поняли, ведь в остальном вы проявили недюжинную проницательность.

***

Трудно сказать, какими мотивами руководствовался доктор Кляйнгельд — низменной мстительностью или природной пытливостью ученого, — но он велел привести из одиночки Лютера Бэйсинга. Это был молодой человек весьма крепкого телосложения, с коротко остриженными волосами и обманчиво сонным, как у борца сумо, выражением лица. Лютер был известен в лечебнице как Бог-три и считался из всей троицы самым опасным.

— Так-так. Познакомьтесь. Бог-три, перед вами Бог-четыре.

Лютер Бэйсинг посмотрел на Старика и чуть вздрогнул. Казалось, сейчас он разрыдается. Доктор подал знак санитарам, и те на всякий случай прикрыли собой почтенного психиатра.

Тем временем Старик и Лютер Бэйсинг неотрывно смотрели друг на друга. Пока трудно было определить, кто побеждает в этой игре в гляделки.

— Поразительно, — прошептал врач санитарам. — В обычной ситуации Бог-три давно бы уже накинулся на новичка и разорвал его на части. Я потому и попросил вас присутствовать при беседе...

Он не успел договорить. Лютер Бэйсинг обмяк всей своей массивной тушей и опустился перед Стариком на колени.

Тот медленно приблизился к молодому человеку, протянул руку, но Лютер Бэйсинг не взял ее. Он сосредоточенно смотрел в пол. Было видно, что в мозгу у него идет напряженная работа, завязываются и развязываются какие-то узелки.

— Ну же, давайте я вам помогу. Вы слишком много весите, чтобы стоять на коленях.

Лютер Бэйсинг послушно протянул ручищу, похожую на гроздь бананов.

— И вторую. Мне нужны обе ваши руки.

Лютер протянул вторую. Старик взял сумасшедшего за пальцы, чуть потянул на себя и легко оторвал от пола.

Лютер Бэйсинг взвизгнул пронзительным фальцетом и засучил короткими, толстыми ножищами. Его стихией была земная твердь, и расставаться с ней Лютер не желал.

Старик проявил такт — поставил молодого человека на пол, раскрыл ему объятья и принялся его успокаивать, а всхлипывающий великан припал лбом к плечу утешителя и прерывисто задышал, как ребенок после приступа истерики.

Доктор Кляйнгельд:

— При виде Бога-один и Бога-два он впадает в неистовство, а с вами — сама кротость. Почему?

— В глубине души молодой человек знает, что, несмотря на все свои притязания, Богом не является. Видя других ваших пациентов, он понимает, что они тоже самозванцы, и абсурдность ситуации пробуждает в нем агрессию. В моем же случае бедняга почувствовал, что я лишен каких бы то ни было амбиций и даже же-

лания что-либо доказывать. Ведь я не претендую на роль Бога. У меня нет нужды *претендовать*. — Старик покосился на приникшего к нему слонопотама. — Он уснул.

— Он несколько недель глаз не смыкал, — сообщил один из санитаров.

— Можете унести его, не разбудив? — спросил доктор.

— Попробуем.

Но стоило санитарам дотронуться до Лютера Бэйсинга, как тот моментально пробудился, взревел и раскидал дюжих молодцов в стороны.

Старик вновь коснулся умалишенного и спросил в упор:

— Как вы меня узнали?

Лютер сощурил глазки, изо всех сил пытаясь вспомнить.

— Небесный хор... Я там пел... Пока голос не сломался... Миллион лет назад... Нет, больше...

— Увы, херувимом вы быть никак не могли. У них голос не ломается. К сожалению. Они пищат все так же пронзительно, как в стародавние времена, только фальшивить стали чаще. Должно быть, рутина заела.

— Я не знаю как, но я сразу вас узнал... Только вошел — и сразу узнал.

— Не стоит этого пугаться. Сила воображения прекраснейшим образом заменяет отсутствие опыта. Ничто из бывшего единожды не умерло окончательно, лишь переменило облик. Природа — великий архив всего некогда сущего. Разобраться в этом архиве невозможно, но на его полках хранится абсолютно все. Человеку удается краешком глаза разглядеть то один уголок, то другой. В момент озарения проскакивает искорка, которая выхватывает из тьмы кусочек прошлой жизни или укромный закуток, о существовании которого человек прежде и не подозревал. Знание близко, и обрести его может каждый, ведь иногда оно находится всего в нескольких дюймах от поля вашего зрения.

Детина осклабился.

— Теперь я знаю, как я вас узнал.

— Как же?

Лютер постучал пухлым пальцем по своей здоровенной башке:

— Мозги сработали.

Старик серьезно кивнул и сказал, обращаясь к доктору:

— У вас больше не будет с ним хлопот. Кстати говоря, никакой он не сумасшедший. Он просто фантазер, а это редчайшая и самая ценная из форм психического здоровья.

Бэйсинг обернулся к санитарам:

— Ладно, мужики, пошли. Жрать охота.

Подхватил своих конвоиров под мышки и, не обращая внимания на их вопли, вынес из кабинета.

— Вы, должно быть, очень собой гордитесь, — уязвленно молвил доктор Кляйнгельд.

— Это мне не свойственно. Ведь мне не с кем себя сравнивать.

— Господи, что же мне написать в заключении?

— Правду.

— Чтобы меня сочли психом?

* * *

Старику дали успокоительное, и он сделал вид, что тут же уснул, — не хотелось тратить время на болтовню с хорошенькой чернокожей медсестрой, чьему попечению его вверили. Нужно было как следует обдумать все случившееся.

Когда сестричка вышла из палаты, Старик чуть приоткрыл веки и увидел, как в мягком свете гаснущего дня меж коек пробирается некий азиат в больничной пижаме.

Старик окончательно открыл глаза и строго спросил:

— Что ты тут делаешь, Смит?

— Ш-ш-ш, — шикнул азиат. — Я примеряю камуфляж. Теперь я Тосиро Хавамацу. По-моему, неплохо получилось. Пора отсюда сваливать, а ты можешь оставаться, если хочешь.

— И куда же ты намерен отправиться?

— В Нью-Йорк. Вашингтон не по мне, тут твоя епархия: дискуссии о морали, лоббисты, коррупция в верхних эшелонах власти и прочая, и прочая. А я подамся в Нью-Йорк. Его называют Большим Яблоком. Помнишь то маленькое яблочко в саду, название которого я забыл? Мне еще пришлось там научиться ходить на чреве своем. В Нью-Йорке правит плоть: тут тебе и наркотики, и проституция, а ко всему этому — аккомпанемент высоконравственных речений. В общем, как там говорят, моя тусовка.

— А как же ты без денег?

И из-под одеяла выпорхнули радужные купюры — миллионы и миллионы иен.

— Вот спасибо, — обрадовался Смит, распихивая деньги по карманам. — То есть я хочу сказать, *домо аригато годзаимас*[1] . Правда, немножко «зелени» я уже наворовал. В больнице это проще простого. Здесь на первом этаже есть чудесная комнатка, где хранятся ценности, принадлежащие пациентам. Теперь мне нужна какая-нибудь одежда и еще очки. Ага!

Мистер Смит как раз заметил на соседней тумбочке очки. Они принадлежали болящему, который размещался на соседней койке и имел неосторожность уснуть. Смит проворно цапнул их, и страницы книжки, в которой очки выполняли функцию закладки, неспешно сомкнулись.

— Зачем ты это сделал? — укорил похитителя Старик. — Тебе и очки-то никакие не нужны. У нас с тобой зрение идеальное, а этот бедняга в них нуждается.

— Настоящий японец без очков не бывает.

— А что я буду делать, если этот человек проснется и спросит, где его очки?

— Очень просто. Он просыпается — ты засыпаешь.

— И ты оставляешь меня без легальных долларов?

— Так пойдем вместе! Сейчас я наведаюсь в рентгеновский кабинет, разживусь какой-никакой одежонкой. Кстати, в карманах и доллары наверняка обнаружатся. На дорогу должно хватить. В семь тридцать отходит «Борзая», это такой автобус-экспресс. К полуночи или около того будем в Нью-Йорке.

— Что ж, поезжай. Я попозже.

— А если на экспресс опоздаешь?

— Ничего, разыщу тебя в какой-нибудь обители порока.

— В Нью-Йорке их без счету. Что меня несказанно воодушевляет. Например, я слышал много хорошего о бане для голубых на Сорок второй улице. Называется «Оскал Уайльда».

— Баня для голубых? Что это? Какие-нибудь оргии с использованием краски?

— Да нет, обычная педриловка. Баня для гомосексуалистов.

— Правда? Есть такие бани?

— Ох, до чего же ты темен.

— Но зачем японскому бизнесмену идти в такое место?

— К тому времени я уже перестану быть японским бизнесменом. Поменяю иены на доллары и вновь превращусь в Смита. Эта ипостась более приемлема для туземцев. Что же касается бани, то туда я отправляюсь вовсе не любоваться земными пороками. Меня интересует раздевалка, где наверняка можно раздобыть прелюбопытные тоги, оставленные купающимися.

— Ты что, решил наворовать себе целый гардероб? Я этого не допущу. Пока ты со мной, я за тебя отвечаю.

---

[1] Преогромное спасибо (*яп.*).

— Я поступлю по-честному. Вместо того, что сопру в бане, оставлю то, что спер здесь. Это будет не воровство, а честный обмен.

— Честный обмен — это когда меняются добровольно. И скажи, чем тебя не устраивает наряд, который ты намерен похитить здесь, в больнице?

— Стану я носить такую дрянь! Ты бы видел, что за публика приходит сюда на рентгеновское обследование! — И он закатил глаза, как бы не находя слов для описания безнадежной заурядности здешних пациентов и их одежд.

В этот момент в палату с топотом ворвались два агента ФБР, очевидно, не слишком озабоченные тем, что могут разбудить больных.

Мистер Смит незамедлительно дематериализовался.

— Здесь Смита тоже нет! — крикнул один из агентов.

— А кто это только что стоял у кровати? — спросил второй.

— Никто, — ответил Старик и, под давлением обстоятельств вновь вынужденный солгать, густо покраснел.

— Чтоб мне провалиться, тут был какой-то косоглазый — не то кореец, не то вьетнамец!

— Никого здесь не было. Господа, мистер Смит — человек общительный. Бродит где-нибудь по больнице, знакомится с людьми, болтает, сплетничает. Вы в столовую не заглядывали?

— Ладно, Эл, пошли. Надо его разыскать. Где-то же он есть, черт бы его побрал.

— Может, в родильном? — сострил напарник.

— Во-во, там ему самое место.

Стоило агентам удалиться, как мистер Смит снова материализовался.

— Ну, я поехал, — сообщил он.

Вздрогнув от неожиданности, Старик пробормотал:

— Ты меня напугал. Я думал, тебя уж и след простыл.

Смит обиделся и растворился вновь.

Сосед Старика, разбуженный агентами, решил утешиться чтением триллера и потянулся к книжке.

— Вы моих очков не видели?

Старик хотел было отговориться незнанием, но вдруг испугался, что ложь во спасение может перерасти в привычку к постоянному вранью — привычку крайне опасную, ибо она размывает самые основы нравственности.

— Видел, — выпалил он. — Их украл мистер Смит.

— Смит? — тупо повторил страдалец. — Какой кошмар. Я без очков ничего не вижу.

— Тут были люди из ФБР, — решил утешить его Старик. — Они как раз ищут Смита.

Сосед просветлел:

— Из-за моих очков?

— Да, — сдался Старик. Утомительное занятие — говорить только правду. Нет вернее средства затянуть нудный разговор до бесконечности.

* * *

Тем временем в кабинете доктора Кляйнгельда происходила непростая беседа. Сам психиатр восседал за столом в вертящемся кресле, каковым искусно пользовался, когда хотел включиться в обсуждение или, наоборот, удалиться за кулисы. В настоящий момент врач располагался спиной к прочим участникам дискуссии, Гонелла нервно расхаживал по комнате, а что касается агентов — один стоял, привалившись к шкафу, второй пристроился на подлокотнике. Двое сидели в креслах для посетителей: начальник 16-го полицейского участка Экхардт и специально приглашенный заместитель директора ФБР Гонтранд Б. Гаррисон.

— Как же нам быть? — спросил он.

— Предлагаю восстановить всю цепочку событий, — подал голос Гонелла.

— Конструктивное предложение, — одобрил Гаррисон.

Гонелла зашелестел блокнотом:

— Насколько я понял, началось все с того, что в участок капитана Экхардта обратился кассир отеля «Мертвый индеец», некий Подл Т. Рюк. Он принес на проверку в банк «Объединенный пилигрим» купюры, полученные от мистера Богфри главным портье отеля Рене Леклу. Менеджер банковского филиала Лестер Носс через минуту тридцать секунд установил, что банкноты фальшивые...

Доктор Кляйнгельд крутанулся на кресле и оказался лицом к ассамблее. Громко, ясно и отчетливо — совсем не так, как во время консультации, — он заявил:

— Господа, мы уже несколько раз восстанавливали цепочку событий. Мы исследуем не уголовное дело, а психический феномен, и бесконечное углубление в малозначительные детали нам ничего не даст. Я не считаю, мистер Гаррисон, что предложение мистера Гонеллы было конструктивным. Типичное бюрократическое переливание из пустого в порожнее — любимое занятие тупоумных функционеров.

— Протестую, — оскорбился Гаррисон.

— Мое заключение таково: я отказываюсь как опровергать, так и подтверждать, что двое персон, доставленных ко мне на экспертизу, не являются теми, за кого они себя выдают.

— Вы что, сбрендили? — рявкнул заместитель директора ФБР.

— Я тоже задал себе этот вопрос. Спросил Бога-четыре, как же мне быть. Он посоветовал говорить правду, а я ответил, что не хочу быть зачисленным в психи. Поэтому ваша реакция на мои слова меня не удивляет. И тем не менее другого заключения предложить не могу.

— Доктор, — воззвал к нему Гонелла, — у каждого из присутствующих прекрасная высокооплачиваемая работа. Неужели вы хотите, чтобы мы послали ее псу под хвост, официально подтвердив, будто двое старых шарлатанов, освоивших несколько дурацких фокусов, — это Господь Бог и Сатана собственной персоной? Да нас в суде на смех поднимут. Уверяю вас, вокруг полно желающих занять наше место... Мороз по коже!

— Взглянем на ситуацию с другой стороны, — вновь взял слово ничуть не поколебленный доктор, к которому прямо на глазах возвращались и уверенность, и солидность. — Абстрагируемся от религиозных соображений. Религия, которая якобы является великим стимулятором и антидепрессантом, на самом деле только нервирует людей.

— Протестую, — вставил Гаррисон.

— И тем не менее так оно и есть. Во всяком случае, этому учит меня врачебный опыт... Давайте попробуем взглянуть на произошедшее с точки зрения... м-м-м... научной фантастики. На телеэкране мы сплошь и рядом видим, как на нашу планету вторгаются всевозможные пришельцы — то желеобразные, то с раздутыми головами и тельцем ребенка-дистрофика. Идея инопланетного вторжения никому не кажется дикой, и силы правопорядка доблестно вступают с агрессорами в схватку, к которой по ходу развития сюжета в дальнейшем обычно подключается вся мощь вооруженных сил. Победу, как правило, одерживает сиропная «добрая воля человечества», подкрепленная завыванием голливудских скрипок. Миллионы зрителей с глубоким волнением следят за перипетиями этого противостояния. Фильмы подобного рода полезны и с государственной точки зрения, так как способствуют развитию военной технологии. Вместе с тем они прославляют мир во всем мире и смазывают душу аудитории густым медом любви к человечеству. Помните, как в эпоху всемогущества радиоприемника Орсон Уэллес напугал американскую публику, передав репортаж о нашествии марсиан? Однако никому еще

не удавалось вызвать всеобщую панику, объявив о сошествии на Землю Бога и Дьявола.

— Вы хотите, чтобы это сделали мы? — съязвил Гонелла.

— Я всего лишь пытаюсь вам втолковать, что это невозможно. Интересно только почему... Каждый кандидат в президенты изображает набожность и истово предается молитве — пусть даже для вида. Молитва — неотъемлемая часть американской традиции: молятся дома, молятся по случаю любого торжественного события, но идея физического воплощения Того, Кому возносятся молитвы, почему-то кажется людям невозможной и даже кощунственной. Легче поверить в злокозненное инопланетное желе или ожившего динозавра.

— Скажите, сэр, а вы сами молитесь Всевышнему? — сухо осведомился Гаррисон.

— Нет, — коротко ответил Кляйнгельд.

— Оно и видно. А я, к вашему сведению, молюсь. Вот почему ваши слова вызывают у меня острое чувство протеста. К тому же мы не на университетском диспуте, перед нами чрезвычайная и очень сложная проблема. Завтра утром Богфри и Смит предстанут перед судьей по обвинению в мошенничестве и изготовлении фальшивых денежных знаков. Мы надеялись, что, учитывая преклонный возраст задержанных, вы найдете какие-нибудь смягчающие обстоятельства психопатологического свойства, которые могли бы воздействовать на решение судьи. Судья — человек занятой, времени входить в существо дела у него не будет. У меня времени было больше, и то я ничего не понял. Однако, как я вижу, на вашу помощь рассчитывать не приходится.

— Вы хотите, чтобы я слегка смошенничал, как делаем все мы, — чуть-чуть, по мелочи. Я должен дать заключение, что задержанные не вполне отвечают за свои поступки, что их, как трудных подростков, нужно поместить под особый надзор, дабы они не могли далее приносить вред обществу, что они нуждаются во врачебном уходе и прочее, и прочее. Все это будет звучать в суде очень гуманно, а в результате старики попадут в психушку, из которой уже не выберешься. Однако хочу сказать еще раз: в ситуации с Богом-три Бог-четыре проявил исключительную выдержку, тактичность и лаконичность, которой каждый из присутствующих мог бы только позавидовать.

— Это ваше последнее слово?

— Разумеется, нет. Я не знаю, каким оно будет, мое последнее слово. Могу лишь признаться, что сейчас я впервые в жизни попробовал молиться — в порядке эксперимента.

— Ладно, джентльмены, идем отсюда, — сказал Гаррисон, поднимаясь. — Я безмерно разочарован. Капитан Экхардт, предъявляйте задержанным стандартные обвинения. А что касается необычных аспектов этого дела, забудем о них. Раз и навсегда.

— Слушаюсь, сэр, — кивнул капитан и, немного подумав, прибавил: — А что, если они возьмут и растворятся прямо в зале суда?

— У ФБР достаточно средств, чтобы помешать этому.

— Легко сказать, сэр. Вы не видели, как они это проделывают.

— Говорю вам, капитан, ФБР тоже знает толк в фокусах.

— Вы меня успокоили, сэр.

— Так-то.

Гонелла подвел итоги:

— Итак, суммирую для ясности. Предъявляем старикам обвинение как обычным преступникам. О способе изготовления денег — там карман, не карман — молчок. Об испанских и греческих монетах тоже. Только проверенный факт: купюры фальшивые. И точка.

— Правильно. — Гаррисон неприязненно покосился на доктора Кляйнгель-

да, который сидел, сложив пальцы шалашиком, с закрытыми глазами и лучезарной улыбкой на устах. — Обсудим технические подробности у нас в конторе или в участке. Это наша внутренняя кухня. Всё, уходим.

Однако дверь распахнулась сама, и в кабинет влетели еще двое агентов — те самые, что разыскивали мистера Смита.

— Они пропали, — выдохнул один.

Гонелла:

— Пропали? Оба?

— Да! Тот старый хрен, который Богфри, спокойно лежал в койке — это было в четыре сорок три — и сказал, что Смит скорее всего в столовой. Во всяком случае на месте Смита не было. Мы перевернули всю больницу, не нашли его и вернулись к Богфри. А его уж и след простыл! Сосед, мистер Курленд, говорит, что старикашка только что был здесь и вдруг как сквозь землю провалился.

— Во-во, — с видом эксперта, узнающего симптомы, закивал Экхардт.

— И еще свидетель сказал, что Смит стащил у него очки.

— Не валите все в одну кучу! — прикрикнул на агентов Гаррисон, большой ценитель четкости и ясности.

— Далее выяснилось, что Смит или Богфри, а может, и некое третье лицо, украл верхнюю одежду вон у того типа, мистера Ксилиадиса. Он делал снимок в рентгеновском кабинете.

В дверь как раз протиснулся смуглый лысый крепыш в полосатых кальсонах и наброшенном на плечи больничном халате. Вид у мистера Ксилиадиса был крайне разгневанный.

— Какое безобразие! — сразу же завопил он. — Десять лет я каждые полгода прихожу сюда на обследование! Ни разу не пропустил, если не считать того раза, когда я был в Салониках! Это в прошлом году было! Раздеваюсь как положено, прохожу внутрь, а потом возвращаюсь...

— Эй, кто-нибудь, займитесь описанием одежды, — приказал Гаррисон.

— Позвольте мне, — вызвался капитан Экхардт.

— Так. Остальные — слушать внимательно. Я сообщу об этом деле в самые высокие инстанции. Если понадобится, до президента дойду.

— Так-таки до президента? — не поверил Гонелла. — А не рановато будет?

— Нет, сэр, не рановато, — просвистел Гаррисон сквозь решительно стиснутые зубные мосты. — Вы хоть понимаете, что эта парочка может оказаться разведотрядом, засланным с другой планеты? Или каким-то новым оружием, которое на нас решили испытать поганые Советы! Нам с вами эту проблему не решить, а тут, похоже, каждая минута дорога. За мной, ребята!

Вслед стражам законности раздался веселый хохот обычно столь сдержанного доктора:

— Разведотряд с другой планеты? А что я говорил? Вам легче доложить президенту об инопланетянах, чем о явлении Всевышнего!

— Это всё? Других комментариев не будет? — ядовито осведомился Гаррисон, недовольный задержкой.

— Нет, не всё. Я, человек, проживший на свете шестьдесят лет без единой молитвы, только что испытал новое и весьма вдохновляющее чувство. Первое же мое моление к Господу немедленно было услышано.

— И о чем же вы молились? — заранее ухмыльнулся Гонелла.

— Чтобы наши старички вдруг взяли и исчезли. Ох, как повезло завтрашнему судье! Он так и не узнает, от какой напасти избавился. А уж нам-то как подфартило!

— Вперед, нечего попусту тратить время! — прикрикнул на свою свиту Гаррисон, и все ринулись прочь из кабинета.

Чуть ли не в следующую секунду двор огласился визгом шин, скрежетом тор-

мозов и воем сирен — обычным музыкальным сопровождением валькирий правопорядка.

Остался лишь капитан Экхардт — биться с мистером Ксилиадисом, который выдвигал уже четвертую версию содержимого своих карманов.

* * *

Предоставленный самому себе, мистер Смит проявил свои природные качества — энергичность и инициативу, которые в присутствии дородного Старика он поневоле был вынужден сдерживать. Уж больно нетороплив, чтобы не сказать тяжеловат, был компаньон мистера Смита.

Остановив проезжавшее такси, Тосиро Хавамацу выяснил у шофера, что самолетом до Нью-Йорка добраться гораздо быстрей, чем экспрессом «Борзая», а в аэропорту к тому же имеется обменный пункт. Таксиста перемена в планах японца тоже вполне устраивала, в чем он честно и признался, сообщив, что до аэропорта ехать дальше, чем до автовокзала.

— И все довольны, — подытожил шофер. Такси нырнуло в предвечерние сумерки.

Одежда Ксилиадиса висела на тощем азиате мешком. Увы, ничего другого мистеру Смиту в рентгеновском кабинете не подвернулось — кроме грека, там была еще только восьмилетняя девочка. В результате Хавамацу-сан был похож на женщину, разрешившуюся от бремени, но упорно не желающую расставаться с одеждой той счастливой поры, когда она ходила на сносях. В аэропорту, возле билетной кассы, его даже остановила какая-то корпулентная особа и спросила, не пользуется ли он «Вествудской диетой», а если пользуется, то на какой он по счету неделе. Смит ответил, что про такую диету у них в Японии и слыхом не слыхивали. Слоноподобная дама обиделась столь явному проявлению неискренности, ведь было совершенно очевидно, что гость с Востока взял на вооружение именно калифорнийскую диету.

Обмен иен прошел без сучка без задоринки, равно как и приобретение билета Вашингтон — Нью-Йорк. Багажа у мистера Смита не было, но в аэропорту прибытия, проходя мимо транспортерной ленты, гонявшей по кругу сумки и чемоданы с кливлендского рейса, азиат обзавелся новехоньким саквояжем.

В «Оскал Уайльда» японец отправился на такси. Шофер, уроженец острова Гаити, отличался общительностью. Ему непременно нужно было знать, много ли в Японии гомосеков.

— Следите-ка лучше за дорогой, — строго ответил на это мистер Смит. Его неразговорчивость объяснялась тем, что как раз в ту самую минуту он, подобно весенней саламандре, менял кожу, а это занятие требовало некоторой концентрации.

Машина нервно задергалась в автомобильном потоке — это таксист с ужасом наблюдал, как преображается облик пассажира. Когда такси достигло 42-й улицы, водителю стало совсем плохо: японец превратился в англосакса с буйной рыжей шевелюрой и россыпью веснушек на несимпатичной физиономии, отмеченной вековой печатью порока.

— Я не перестарался? С веснушками, а? — спросил мистер Смит, вылезая из машины и доставая деньги.

Шофер что было силы нажал на газ и унесся прочь, наплевав на вознаграждение.

Смит был приятно удивлен, сэкономив изрядную сумму в настоящих долларах, и подумал: вот первый из моих фокусов, который, можно сказать, удалось поставить на коммерческую основу.

Невзирая на поздний час (а может быть, именно благодаря ему), жизнь на улице била ключом. Неоновые вывески на своем простодушном языке обещали

всевозможные наслаждения из разряда дозволенных. По недозволенным наслаждениям специализировались многочисленные темные личности, торчавшие на тротуарах с таким видом, будто в скором времени здесь должно произойти нечто очень важное. Еще они смахивали на неподвижных пауков, выжидающих, пока в их невидимой паутине застрянет доверчивая мушка.

Неподалеку от входа в «Оскал Уайльда» топталась девица завидного телосложения, в куцей юбчонке и драных сетчатых чулках. Туфельки у нее были на таких высоченных каблуках, что казалось, будто эта особа передвигается на ходулях. Юбка, по всей видимости, сильно села от стирки, а блузка имела весьма своеобразный покрой — груди казались двумя плывущими собачонками, которые изо всех сил стараются держать носы над поверхностью воды. Лицо у девицы было юное, но уже изрядно потасканное. Она взглянула мистеру Смиту в глаза, и во взгляде ее промелькнуло нечто, похожее на узнавание.

— Пойдем со мной, м-м? Не пожалеешь...

— Может, попозже, — увернулся мистер Смит и выскользнул из ее удушливого парфюмерного облака.

— Гляди не опоздай.

Не обратив внимания на это предостережение, Смит вошел в ярко освещенный вестибюль бань. За портьерой царили сумерки. Там путь гостю преградили двое — жеманный громила, наряженный матросом, и седовласый джентльмен, тоже в чем-то морском.

— Покажи-ка, что там у тебя в сумочке, сладенький, — сказал громила. — Правила безопасности. Фашисты-гетеросексуалы нам уже два раза грозили бомбу подложить.

Смит безропотно открыл саквояж. Внутри оказались: косметический набор, шелковая комбинашечка, кружевные трусики, лифчик и розовая пижамка.

— Добро пожаловать, — приветствовал клиента седовласый яхтсмен. — Я и есть Уайльд. Пойдем покажу тебе наш клуб. Как тебя зовут?

— Смит.

— У нас тут принято называть друг друга по имени, а не по фамилии.

— Это у меня имя такое.

— Ну хорошо. Сюда, Смитик, сюда, душка.

Мистер Смит последовал за хозяином и оказался в некоем подобии тропического леса. Вскоре джунгли расступились, и впереди чудесным образом обнаружился мраморный бассейн в псевдоримском стиле, украшенный на манер помпейских терм похабными мозаиками и скульптурами. Вода в резервуар изливалась из позолоченного мужского органа, игравшего всеми цветами радуги. Два непременных атрибута этой конструкции, также покрытые позолотой, пульсировали, создавая волны и подводные завихрения. В ядовито-зеленой воде плескались совершенно голые мужчины, шумно демонстрируя свое хорошее настроение. На краю бассейна неподвижными статуями застыли два негра, весь наряд которых состоял из хрустальных сережек в ушах. Правда, у одного из них еще висело на шее ожерелье фальшивого жемчуга.

— Это мои туземцы, — хихикнул Уайльд. — Ну-ка, ребята, поприветствуйте Смита.

— Джамбо-джамбо, бвана! — хором прокричали «туземцы», синхронно покачивая бедрами и приплясывая.

Плескавшиеся в воде радостно заулюлюкали.

— Мальчики и девочки! — Уайльд лукаво повел бровями и сделал паузу, чтобы у слушателей была возможность наградить шутку аплодисментами. — Это Смит. — Вой и свист. Уайльд строго хлопнул в ладоши и, когда восстановилась тишина, игриво сообщил: — Смит в полном порядке. Уайльд видел, *что* у него в саквояже. — И сладкоголосо пропел: — Иди сокройся в нашей дивной раздевалке

и скинь с себя эти ужасные одежды, явись к нам в своей *истинной* славе!

Снова взрыв энтузиазма в бассейне. Когда Уайльд уже уводил новичка, один из пловцов крикнул:

— Я балдею от веснушечек! — и был тут же шутливо укушен своим любовником, у которого на лице не было ни единой веснушки.

— Оставляю тебя здесь одного, — сказал в раздевалке хозяин. — Но торопись — тебя ждут. Ах ты мой рыжик!

Мистер Смит огляделся по сторонам. Белые стены, красные плюшевые портьеры, статуи римских юношей в бессмысленных позах. Отдернув портьеру, Смит увидел альков и вешалки с одеждой. В глаза злоумышленнику сразу бросились джинсы, расписанные павлинами и райскими птицами. Смит испытал полузабытое чувство радостного возбуждения. Примерил штаны — в самый раз. Ничего столь же восхитительного в тон джинсам обнаружить среди тряпья не удалось, и в конце концов Смит остановил свой выбор на просторной, фиалкового колера маечке с надписью на груди «ЗОВИТЕ МЕНЯ МАДАМ». Осмотрев себя в зеркале, он остался доволен.

Далее Смит действовал стремительно: скучную одежду бедного мистера Ксилиадиса повесил на вешалку вместо похищенной, схватил саквояж и ринулся вон из раздевалки, чуть не сбив с ног сначала Уайльда, а затем и мускулистого матроса. Проститутка все еще томилась на том же месте. Мистер Смит дернул ее за руку и прошипел:

— Живей! Куда идем?

По-лошадиному цокая своими ходулями, девица успела только пискнуть:

— Стольник! Я меньше не беру!

— Ладно-ладно.

Она затащила клиента в темный подъезд, где сидел какой-то нахохлившийся субъект, разглядывая пол у себя под ногами.

— Это я, Долорес.

Не поднимая головы, субъект сунул девице ключ с биркой:

— Сто шестнадцатый.

По узкой лестнице они поднялись на второй этаж. Найдя нужную дверь, девица включила свет и подтолкнула клиента вперед, чтобы он смог по достоинству оценить спартанскую простоту этого алтаря быстротечного служения пороку.

Дверь Долорес предусмотрительно заперла, а ключ спрятала. Затем клиент получил приглашение сесть на кровать, что и исполнил. Девица щелкнула выключателем, и слепящий белый свет сменился унылым красным. Закурила сигарету, предложила Смиту, тот отказался.

— Долорес, — произнес он.

— Ну?

— Красивое имя.

Но девица не была настроена тратить время на пустую болтовню.

— Ты по какой части?

— То есть? — не понял Смит.

— Я же вижу по твоему прикиду, что ты не просто перепихнуться пришел.

— Не знаю что и сказать...

Она раздраженно фыркнула табачным дымом.

— О'кей, тариф у меня такой. Цены, может, покажутся тебе крутоватыми, но зато я мастер экстра-класса по всем видам секса — от нормального до самого кудрявого. Программа-минимум — стольник, это ты уже знаешь. Каждые десять минут нормального траха сверх минимума — двадцатник.

— Нормального? — угрюмо переспросил Смит.

— Ну да, нормального, без выкрутасов. Если хочешь, чтобы я тебя отшлепала, как школьника, — по полтиннику за каждые десять минут помимо основного

тарифа. Я только сбегаю наверх и переоденусь учительницей. Если хочешь поиграть в раба — семьдесят пять за четверть часа. Одеваюсь богиней, госпожой — кем скажешь. Захочешь меня постегать — это уже стольник, и сильно не бить, понял? Могу нарядиться французской горничной, могу школьницей. Если надо, есть кожаные браслеты с шипами, ошейники, деревянные колодки на щиколотки, зажимы для сосков, вибраторы, пластиковые хрены — в общем, что хочешь.

— А страсть? — трагически звенящим голосом вскричал Смит.

— А — *что*? — перепугалась Долорес.

— Страсть! — вознегодовал он. — Не бывает порока без страсти, без опасного, головокружительного парения над бездной, без сладостного, подобного смерти забвения, без фейерверка чувств! Да разве это опишешь словами? Страсть! Какие там еще тарифы?

— Тогда пошел вон! — завизжала Долорес, собрав всю храбрость. — Без тарифа ни шиша тебе не обломится.

Мистер Смит сменил тон:

— Вот тебе тысяча долларов, и обслужи меня по первому классу.

— Целая тысяча! — ахнула Долорес. — Ты что, связать меня хочешь, да?

— Я не хочу ничего *делать*. Я очень устал. Давай сама.

— А как мне одеться?

— Я плачу не за одежду, а за тело.

— Тогда раздевайся.

— Ну вот, снова ты хочешь, чтобы я что-то делал.

Долорес растерялась, но ненадолго.

— Может, по-гречески?

— Как это?

— Ты ж хотел тела.

— Не понимаю.

— Ты что, котик, с неба свалился?

— Хороший вопрос...

Долорес покрутила старенькое радио, нашла подходящую рок-группу и закачалась в такт музыке, возвращаясь в мир, где все разумно и понятно. Она поводила бедрами (что, с ее точки зрения, выглядело крайне возбуждающе), дергалась в такт перестуку барабанов и близко к сердцу принимала текст, состоявший из одной-единственной, без конца повторяемой фразы непонятно на каком языке.

Мистер Смит наблюдал за танцем через полуприкрытые веки. Долорес отрабатывала свой обычный номер, готовясь перейти от монотонного ритма музыки к монотонному ритму секса, а Смит все глубже увязал в вязком болоте скуки.

Приплясывая, девица расстегнула мини-юбку, и та послушно скользнула к ее ногам. Однако изящно переступить через тряпку, не нарушая ритма, оказалось непросто — Долорес зацепилась длиннющим каблуком и чуть не грохнулась. Смит на миг оживился, но танцовщица удержалась на ногах, и взгляд зрителя снова померк. Далее Долорес расстегнула лиф и выпустила на волю груди, немедленно принявшие положенную им по природе форму — они словно ожили и закачались в собственном ритме.

Внимание мистера Смита привлекли главным образом борозды, оставленные на коже бюстгальтером.

Долорес скатала сетчатые чулки и спустила трусики, для чего ей пришлось перемежать танец различными малограциозными телодвижениями. Явление прелестей Долорес во всем их надменном великолепии не слишком заинтересовало клюющего носом Смита. Последним, что зафиксировал его угасающий взор, была мудреная траектория резинки на талии и ягодицах танцовщицы, очень похожая на след проползшей сороконожки.

Когда Смит разомкнул очи, радио уже не грохотало, а едва слышно потре-

скивало. Оглядевшись по сторонам, искатель удовольствий вдруг сообразил, что вид обнаженного женского тела совершил чудо — впервые была прервана многовековая бессонница. Смит порылся в карманах и не нашел там ни единой купюры. В ярости он выскочил в коридор, сбежал по лестнице — никого. Нелюбопытного субъекта с ключами тоже как ветром сдуло. Лампа на его столике, и та погасла.

На улице занимался рассвет, тротуары почти опустели. Смит помчался назад, ко входу в «Оскал Уайльда», но не обнаружил Долорес и там. Зато на ее месте терпеливо ждал Старик, седовласый, седобородый, все в той же белой тоге. У его ног стояли два маленьких чемодана.

— Как ты меня нашел? — пропыхтел Смит.

— Ты же сам назначил место встречи, забыл? Я заказал номер в гостинице — тут неподалеку, за углом. Называется «Башня слоновой кости». Не самая уютная, но ведь мы на Землю не отдыхать явились.

— Это уж точно, — злобно буркнул мистер Смит и осторожно спросил: — Ты не наводил обо мне справки в «Оскале»?

— Нет. Решил, что разумнее этого не делать.

— Временами ты меня просто поражаешь.

— Тут поражаться нечему. Ведь я достаточно хорошо тебя знаю.

— А зачем тебе два чемодана?

— Один мне, другой тебе. Ведь свой багаж ты, похоже, потерял.

— И не только багаж, — всхлипнул Смит. — Пропали все мои деньги! Их украли! Гнусно украли!

Старик тяжко вздохнул, порылся в кармане, извлек пачку иен.

— Ну уж нет, хватит! — плаксиво взмолился Смит. — Японец из меня получается препаршивый.

Терпение Старика было на исходе. Он насупился, сосредоточился вновь и выгреб из кармана ком бумажек другого цвета.

— Эти лучше?

— Швейцарские франки, — констатировал Смит. — Ты настоящий друг. Простишь ли ты меня? — И опять хлюпнул носом.

— Не знаю, но попытаюсь. Однако тащить твой чемодан я в любом случае не намерен. Бери его и следуй за мной.

* * *

«Башня слоновой кости» не относилась к разряду гостиниц, где в одном номере селят только близких родственников. Поэтому Старик и мистер Смит беспрепятственно обосновались вдвоем в жуткой конуре, тусклое освещение которой с лихвой компенсировалось нервным сиянием заоконного неона. Прямо за стеклом красовалась пожарная лестница, ее тень пролегала на волглых обоях интересным геометрическим узором. Болезненный свет пробуждающегося дня лишь усиливал общее впечатление бесприютности.

— Возьми себя в руки, успокойся, — увещевал Старик мистера Смита, который попеременно то всхлипывал от обиды, совсем по-детски, то вдруг вскипал праведным гневом. — Ничего не поделаешь. Мы с тобой не ведаем сна, а людям необходимо отдыхать после трудов дневных, для чего и создана ночь. Нам с тобой ежесуточный переход от света к тьме и обратно представляется тяжким испытанием, но нужно смириться. Таков был мой проект, и его изменение повлекло бы за собой нарушение всего экологического баланса. Терпение, друг мой.

— О Господи, — заворчал мистер Смит, — ты разговариваешь совсем как эти твои епископы — сплошь общие места да банальности. Неужто ты думаешь, что купальщики из «Оскала Уайльда» почитают заведенный тобою распорядок? Эти

педерасты с наступлением дня укладываются в постель, отключают телефон, глаза прикрывают повязкой, уши затыкают заглушками и мирно дрыхнут под журчание электронного водопада. Сейчас не средние века, когда единственной альтернативой ночной тьме были свечи, а дневному свету — шторы. Человек теперь может предаваться пороку в любое время суток, лишь бы настроение было подходящим. Чтобы работал электроприбор, люди втыкают его в розетку. Точно так же тыкаются они друг в друга частями своих тел, чтобы урвать кусочек блаженства, а потом отлеживаться кверху пузом, сыто похрюкивая и попукивая, перекидываясь бессмысленными словами, отхлебывая из бокала пузырящийся эликсир и затягиваясь ментоловой сигаретой с пониженным содержанием никотина.

— И все же есть люди, относящиеся к акту зачатия с должным пиететом, — возразил Старик.

— Есть, есть, такие всегда находятся, — отмахнулся Смит. — Но тех, других, подавляющее большинство. Ты все еще носишься со своим великим проектом, а ведь это давно уже не проект, а реальность. И люди успели изучить, как она устроена. Инструкция по эксплуатации им уже не нужна. Выкинули они давным-давно твою инструкцию вместе с оберточной бумагой! Поэтому мы сюда и вернулись, правильно? Чтобы сопоставить практику с теорией, так? Ты ведь хотел проверить, как приспособилось человечество к жизни на планете Земля. По-моему, именно в этом состоял твой замысел. Взглянуть правде в глаза. И будь что будет. А?

Старик улыбчиво ответил:

— Ну разумеется. Ты задаешь риторический вопрос, не требующий ответа. — Тут он назидательно сдвинул брови. — Выслушай меня внимательно, без легкомысленных реплик и неуместного остроумия. Я знаю, оно тебе свойственно, но бывают моменты, когда следует подавлять в себе жажду развлечений, ибо суемудрие уводит в сторону от обсуждаемого предмета. — Старик выдержал паузу и в той же неспешной, рассудительной манере продолжил: — Видишь ли, конечно, очень мило существовать этаким бесплотным духом, вездесущей субстанцией, оживляющей пейзаж то сполохом солнечного сияния, то скорбной просинью дождя, а по временам с отточенной тысячелетиями магической утонченностью разыгрывать эффектные спектакли стихийных бедствий. Но внезапно я осознал, что, если я хочу воскресить в памяти картину некогда рисовавшегося мне земного жизнеустройства, необходимо вновь заключить себя в рамки человеческого облика. Ограничения, налагаемые смертной плотью, — вот что мне нужно: неумение летать без самолета, мчаться по дороге без автомобиля, взмывать вверх без лифта, разговаривать с другим концом Земли без телефона! Все эти штучки человек изобрел, чтобы казаться самому себе Богом. Блестящие изобретения, особенно если учесть, что я не оставлял людям никаких подсказок. Когда я последний раз видел человека, он тоже пытался летать — прыгал с обрыва, отчаянно махая руками. Один летун разбивался — сразу же находился другой, и упорство это было неиссякаемым. Долгие века человек кряхтел, тщась найти лошади менее норовистую замену. Он подчинил своей воле металлы и нефтепродукты и ныне, благодаря упрямству да еще некоему таинственному свойству, именуемому интеллектом, научился многому, что прежде умел только я. Человек может, хитроумно используя логику бытия, даже из голых абстракций выводить законы и исчислять закономерности. Меня восхищают успехи младенца, который еще совсем недавно тянулся слабыми ручонками к расплывчатым и непонятным предметам окружавшего его мира. Ныне человек может за несколько секунд связаться с противоположным концом планеты. Правда, в этом межконтинентальном разговоре он не скажет ничего принципиально нового по сравнению с эпохой, когда дальность коммуникации определялась зычностью голоса, но не будем слишком строги. Мудрость приобретается куда медленнее, чем научное знание.

— Ты вечно на все смотришь с радужной стороны, — проскрипел мистер Смит.

— Наверно, так и должно быть: добродетель почему-то всегда неразлучна с оптимизмом. Лакировка действительности — профессиональное заболевание всех попов, оно меня безумно бесит. Неужели все вы не видите, как деградировал порок? Он стал механическим, холодным. Никогда не забуду, как эта выпукло-вогнутая шлюха зачитывала мне свой вульгарный каталог радостей плоти, призванный распалить сладострастие тупого обывателя. К чему плотский грех, если его порождает не огонь безрассудства, безрассудства необузданного и в то же время тщательно контролируемого? Если уж хлещешь кнутом, делай это самозабвенно, дохлестываясь до самых врат Смерти, как божественный маркиз де Сад! Если хочешь страдания, страдай не понарошку, а как истинный великомученик! Если обожаешь трахаться, делай это как великий Казанова!

— Казанова не делал, а выдумывал, — вставил Старик.

— Ну, значит, я выбрал неудачный пример. Ты ведь понял, что я хочу сказать. У страсти только одна цена — отдать ей всего себя. Лишь подмоченные страстишки могут выставляться на продажу, а они похожи на подлинный товар еще меньше, чем твои доллары похожи на настоящие. Однако люди считают, что плотские утехи — вполне нормальное платежное средство!

— Только в том случае, если платят за эти утехи нормальными долларами, — озорно покосился на собеседника Старик, но продолжил уже серьезнее: — Мы с тобой пока выяснили о людях так мало, что я не вижу смысла обмениваться впечатлениями. Судя по всему, ты осведомлен лучше меня, благодаря старательному штудированию этих твоих помоечных газет. Но наверняка есть более эффективный способ держать руку на пульсе человечества.

— Само собой, — кивнул Смит и показал на какой-то ящик, стоявший в углу комнаты.

— Что это?

— Телевизор. В аэропорту, в зале ожидания, я наблюдал такую сцену. Отец и маленький сын ссорились, тыча в кнопки. Папа хотел смотреть футбол, а малыш — что-то другое. Не знаю, чем закончился спор, — объявили посадку на мой рейс.

— А как эта штука работает?

Несмотря на прочувствованный панегирик в защиту страсти, мистер Смит имел природный талант к технике — не то что Старик, чьи мысли обычно парили в более высоких, удаленных от всего земного сферах. Смит в два счета освоил нехитрую науку, и на экране появился супермаркет, где целая орава уже не очень молодых людей с длинными волосами и в престранных повязках на головах палила куда ни попадя из всех видов оружия. Одной женщине пулеметной очередью снесло полголовы, потом свинцовый ливень настиг некоего гражданина, нагруженного покупками: покупки покрылись черными дырками, гражданин — красными. Далее эта впечатляющая сцена была повторена, но уже в замедленном хореографическом темпе, с неправдоподобно разлетающимися во все стороны брызгами крови, а за кадром гнусненько подтренькивал джазовый оркестрик, в котором лидировало расстроенное (в тон печальным событиям) фортепьяно.

Когда побоище закончилось и на полу сломанными куклами раскинулись погубленные покупатели и продавцы, злодеи в повязках принялись наваливать товар в тележки. Переезжать колесиками через трупы оказалось не так-то просто, поэтому душегубы грязно ругались, плевались и орали что-то невнятное — в общем, выражали неудовольствие.

Старик и мистер Смит наблюдали за развитием событий вплоть до самой развязки. Хотя нет — Смит развязки не дождался и вновь заклевал носом.

Фильм назывался «Возвращение из Земляничного бункера». В программе, которая лежала на телевизоре, сообщалось, что это серьезная драма об изгоях, вырвавшихся из ада вьетнамской войны и попавших во враждебную, не принимающую их среду, где им никто не рад и где на каждом шагу заваленные товара-

ми супермаркеты. «Эту картину не должен пропустить ни один думающий и чувствующий американец» — таким резюме завершался анонс.

Старик пихнул мистера Смита в бок. Тот, встрепенувшись, бодро спросил:

— Ну, чем закончилось? Хотя мне, в сущности, на это на...ть.

— Я вижу, телевизионная лексика уже повлияла на твою речь.

— В самом деле? Прошу прощения. Я бы не хотел, чтоб этот фильм повлиял на меня хоть каким-нибудь образом.

— Так это называется «фильм»?

— Да. Из-за него я уснул — второй раз за полдня. Стыд и срам!

— Хоть я и не спал, но ничего не понял. Не волнуйся, ты мало что потерял. Тут в программе напротив названия фильма стоят буквы CBC, что означает «Смотрим всей семьей». Ты можешь себе представить родителей, которые усадили бы своего ребенка смотреть на эту кровавую вакханалию?

— Ну почему же. Многие родители рады любой возможности удержать свое чадо дома, только бы не вляпалось в какую-нибудь скверную историю.

— Более скверную, чем такие фильмы?

— Послушай, — терпеливо ответил Смит, — на планете есть уголки, куда цивилизация пока еще не проникла. Так там единственное домашнее развлечение у детей — наблюдать, как совокупляются родители. Хотя, с другой стороны, это зрелище более соответствует категории CBC, ибо все-таки имеет определенную познавательную ценность.

Эта информация расстроила Старика, и он принялся грустно тыкать пальцем в кнопки переключения каналов. Мэр города Олбани объяснил ему, почему администрация иногда бывает вынуждена доверить очистку мусорных баков сдельщикам, которые не являются членами профсоюза. В битком набитом зале какие-то женщины доверительно поведали о сексуальных проблемах своих выпивающих мужей. Трое раввинов спорили, в чем суть понятия «еврей», решительно расходясь в трактовке и не проявляя ни малейшей склонности к компромиссу. Торговец подержанными автомобилями рекламировал свой товар, причем помогала ему дрессированная овчарка, с лаем запрыгивавшая на крышу машины. Ученая дама на португальском языке рассказала о последнем стихийном бедствии — наводнении в штате Юта.

Потом Старик посмотрел еще один фильм — там пятеро роботов в полицейской форме ковыляли по улице, медленно переставляя неживые конечности. Глаза служителей порядка были бессмысленны, лица неподвижны, полноценной жизнью жили лишь тянущиеся к куркам пальцы. От механической шеренги, спотыкаясь, пятились перепуганные гангстеры. Один из них — неизбежный негр в вязаной шапочке и черных очках — колоратурно верещал от страха. Главарь бандитов, с белой повязкой на лбу, в круглых допотопных очках и с изящным мундштуком в зубах, трусил меньше остальных. Пятиться-то он пятился, но крайне неохотно. А зря, потому что по приказу какого-то зомби, сидевшего в бронированном автомобиле, роботы открыли огонь.

Глаза их еще лютее остекленели, выстрелы слились в оглушительную какофонию. Стреляли полицейские довольно паршиво и подстрелили всего одного бандюгу, но уж зато он не просто свалился, а подскочил кверху, перелетел через перила автострады, да как бухнется в бетономешалку, что стояла сорока футами ниже!

— Пе-ре-за-ря-жай, — с выражением тупого удовлетворения на лице отчеканил зомби. Роботы-полицейские послушно выполнили приказ.

Пришел черед гангстеров дать ответный залп. Они слегка подпортили роботам экипировку, но блюстители закона явно отличались пуленепробиваемостью.

— О-гонь, — монотонно молвил зомби, и снова началась оглушительно-ослепительная канонада, погубившая еще одного негодяя. Он с грохотом влетел в

стеклянную витрину и безжизненно повис в объятиях манекена, наряженного в вечернее платье.

Бандитов было не меньше дюжины, а роботы, как уже говорилось, стреляли преотвратно и тратили минимум по пять обойм на каждого подстреленного, поэтому баталия затянулась надолго. В конце, натурально, остался один главарь, которого долго гоняли по крышам, чтобы в финале ему было повыше падать. Он забрался на самый верх небоскреба и истерически захохотал — очевидно, над превратностями судьбы. Хохот был услышан одним из механических блюстителей, топтавшихся внизу в ожидании инструкций. Он задрал голову, и в его глазах промелькнуло нечто отчасти человеческое. Затем взгляд полицейского отразил целую гамму чувств, в нем пробудились кошмарные воспоминания прошлого, робот сделал над собой титаническое усилие, прицелился и с криком «Вот тебе, сука, за моих товарищей!» завалил главаря с расстояния в триста ярдов.

Негодяй покачнулся и ухнул вниз, рассекая воздух. Приземлился он прямо перед бензоколонкой. Несмотря на столь трагическое падение, на лице у него застыла блаженная улыбка, а в зажатом меж мертвыми челюстями мундштуке чудодейственным образом все еще дымилась сигаретка.

Искорка с нее упала в лужицу бензина, и во весь экран полыхнуло огненным вулканом, в котором сразу потонули все неувязки сюжета, все вопросы и все ответы — вообще всё.

— Про что был фильм? — спросил мистер Смит.

Старик заглянул в программу.

— Назывался он «Патруль фантомов». Мертвый сержант полиции изобрел способ воскрешать убитых полицейских. Они возрождаются в виде автоматов, существующих исключительно ради мести. Сержант, будучи старшим по званию, обладает несколько более широкими возможностями, чем рядовые полицейские, он способен проявлять инициативу. Однако в финале патрульный О'Мара стряхивает путы слепого повиновения и тем самым поднимается на уровень своего полуумершего начальника. Усилием воли патрульный расширяет диапазон померкшего сознания и с криком «Вот тебе, сука, за моих товарищей!» одним выстрелом сбивает главного злодея с вершины небоскреба. Поразительная меткость патрульного свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров в полицейской академии. В конце сказано, что каждая американская семья непременно должна посмотреть эту впечатляющую сагу о мужественных людях, отказавшихся признать Смерть окончательным ответом на все вопросы. Какая у фильма категория, догадайся сам.

— СВС?

— СВС.

* * *

Путешественники смотрели по телевизору фильмы с половины шестого утра до трех часов дня. Примерно раз в час раздавался стук в дверь, и горничная напевно вопрошала: «У вас там все в порядке?» В остальном же никто не мешал Старику и мистеру Смиту вникать в козни параноидальных сенаторов и властолюбивых начальников засекреченных лабораторий, которые во имя ложно понятого патриотизма все норовили устроить государственный переворот. Хорошо хоть находились инициативные, проницательные, а то и наделенные сверхъестественной силой одиночки, в самый последний момент все-таки умудрявшиеся спасти демократию.

— Налицо повсеместная жажда бессмертия, и меня это обстоятельство крайне беспокоит. — Так подытожил результаты десятичасового просмотра Старик, обессилевший от сплошной пальбы и полной незадействованности мыслительных процессов. — Предположим, они и в самом деле найдут ключ к вечной жизни. Пона-

чалу технология бессмертия будет стоить очень дорого, так что позволить себе эту роскошь смогут только вырожденцы, которым богатство досталось по наследству, или нувориши, сколотившие состояние преступным путем. Они-то и будут определять стандарты бессмертия. Несчастные болваны! Неужели они не понимают, что смерть — бесценное мерило качества бытия? Будь Бетховен бессмертен, сегодня мы имели бы несколько сотен утомительно однообразных симфоний, чем дальше, тем больше похожих одна на другую. Самым распространенным заболеванием в бессмертном мире был бы не насморк, а старческий маразм. Дети появлялись бы на свет так редко, что рождение очередного младенца отмечалось бы как государственный праздник. Цивилизация, которую так долго и мучительно создавало человечество, распалась бы, погубленная сгущающейся тьмой старческого бессилия, беззубыми ртами, капающей слюной, слезящимися глазами. Вот каким будет прощальный портрет самого дивного из моих творений.

Глаза Старика были мокры от слез.

Мистер Смит ответил ему в сочувственном тоне, но все же не без примеси самоуничижительной иронии:

— Не трать попусту красноречия, дружище. Достаточно взглянуть на нас с тобой, и других аргументов против бессмертия не понадобится.

Смит протянул руку. Старик, смежив веки и приняв вид величественной серьезности, ответил на рукопожатие.

Через пару секунд мистер Смит подумал, что рукопожатие несколько затянулось, и был бы уже не прочь высвободиться, но не знал, как это сделать потактичнее.

— Не могу взять в толк, почему все эти ужасы, которые мы наблюдали по телевизору, приносят прибыль, — сказал он, чтобы сменить тему, и, не дождавшись ответа, продолжил: — Получается, что люди готовы платить немалые деньги за то, что их до смерти пугают, глушат чудовищным грохотом, молотят по всем их органам чувств до полной прострации. И это называется досугом?

Старик разомкнул веки, но руку Смита так и не выпустил.

— Все это очень напоминает хитрости, к которым некогда прибегали иезуиты. Они служили великой религии! В ее истории были свои конфузы вроде Цезаря Борджиа и Святой инквизиции, но как мощна религия, если она пережила все подобные неприятности и стала еще сильней! Так и с Америкой. Эта страна почитает себя самой могущественной и самой желанной, способной преодолеть какие угодно трудности и выйти победительницей в любой схватке. Фильмы, которые мы с тобой видели, исполнены абсурднейшего оптимизма. Там все карты в колоде крапленые, так что добродетель обречена неизменно торжествовать победу. При этом вначале всякий раз создается иллюзия перевеса сил в пользу порока. Но карты-то крапленые! Уж в этом можно не сомневаться. Нравственность все равно одолеет, даже если кажется, что Зло побеждает и ложь вот-вот будет увенчана лаврами. Фотофиниш покажет, что ленточку первым разорвало Добро. Со стопроцентной гарантией. Вот почему зрелище, о котором ты говоришь, относится именно к разряду развлечений. Добро победит (это обусловлено заранее), но победа его будет нелегкой, сопряженной с невероятным риском. Чем меньше вероятность успеха, тем ослепительней триумф.

— Странно слышать, что ты именуешь оптимизм «абсурднейшим». Обычно это обвинение выдвигаю я, причем в твой адрес. Еще удивительнее характеристика, которую ты дал обладателям наследственного и скороспелого богатства. Вырожденцы и преступники? Слишком сильно сказано, а это опять-таки не твой, а мой стиль. Не кажется ли тебе, что ты заговорил моим языком, а?

— Мы поневоле влияем друг на друга, — прочувствованно изрек Старик и еще крепче стиснул Смиту руку.

Тот продолжил свою речь:

— Насколько я понимаю, содержащиеся в фильмах намеки на то, что эта страна насквозь изъедена коррупцией, льстят самолюбию американцев. Без баснословного богатства, без реальной возможности баснословно разбогатеть нет причин ни для коррупции, ни для бедности, ни для поголовной вооруженности. Ты обратил внимание, как в фильмах все время повторяется одна и та же сцена: приближается опасность, и рука мирного гражданина тихонько выдвигает ящик ночной тумбочки — проверить, на месте ли пистолет? Уж хоть один такой эпизод в каждом фильме да есть. Зато никаких упоминаний о нищете, которая в городе повсюду лезет в глаза, — бездомные, пьяные, обколовшиеся, а может, и сдохшие валяются на тротуарах, в домах разбитые стекла, дети играют прямо на мостовой... Все это неспроста. — Он прищурился, подыскивая точные слова. — Я много читал и слышал про Американскую Мечту. Однако никто толком не объясняет, что это такое. Смельчаков не находится. Эта самая Мечта обволакивает алтарь американского сознания, и выкристаллизовать ее так же непросто, как пресловутый Святой Дух, наиболее невразумительное из твоих изобретений. По определению, Американская Мечта не может быть достижима, но каждый обязан изо всех сил к ней стремиться. В ней проглядывают надежды и моления Отцов-Основателей нации, откорректированные и модифицированные под воздействием вечно меняющегося мира. В наиболее назойливой своей ипостаси Мечта предстает готическим силуэтом небоскребов в радужной дымке и звучным хором поющих в унисон голосов. На самом же деле она уже достигнута, эта греза или даже целый сонм грез, и существует в гнуснейшей и разрушительнейшей из форм!

— Правда? — занервничал Старик.

— Вот она, — объявил мистер Смит и любовно, словно головку ребенка, погладил телеприемник.

— Телевизор? Но ведь это не цель, а всего лишь средство. Вроде телефона или аэроплана. Нельзя винить несчастные механизмы в том, что человек использует их во вред.

— Подобные средства гарантируют достижение цели. В том-то вся и штука. Американская Мечта — это постоянно функционирующая химера, так сказать, бесконечный парад идей, которые мудрено уяснить, но крайне просто осуществить. Мечта конденсируется в тридцати-, шестидесяти-, иногда стодвадцатиминутные сгустки. Рецептура ее сводится примерно к следующему: спор решается пулей; вера должна быть не столько простодушной, сколько примитивной; человек вроде бы свободен в своих поступках, но при этом обязан слепо следовать библейской этике поведения, коей должны повиноваться все сферы так называемого шоу-бизнеса, в том числе и политика. Не хочу тебя шокировать, но религию здесь тоже причисляют к шоу-бизнесу.

— Ты и в самом деле меня шокируешь. Еще как шокируешь! Но я безмерно рад, что мы всерьез обсуждаем с тобой столь серьезные материи. Я бы сказал так: возражая тебе, можно очень многому научиться, — уютным голосом промурлыкал Старик.

Мистер Смит снова включил телевизор.

— Только не это! — встревожился Старик. — Хватит с меня телевизора!

— Ты же мне не поверил. Ничего, здесь больше сорока каналов. Наверняка отыщется и религиозный.

Смит нетерпеливо запрыгал по телеканалам. Наконец экран заполнился страдальческой физиономией некоего мужчины, который, похоже, отходил в мир иной: по лбу у него градом лил пот, перемешиваясь на трясущихся щеках со столь же обильными слезами.

— Похоже на религию, — пробормотал мистер Смит.

— Вовсе не обязательно. По-моему, это просто белая горячка, — добродушно отозвался Старик.

Тут страдалец обрел дар речи и громовым голосом осипшего от перегрузки орга́на проревел:

— Грех вводил и меня во искушение! — и всхлипнул.

— Так-то лучше, — удовлетворенно кивнул Смит.

Проповедник почему-то решил сделать паузу и держал ее неправдоподобно долго. Камера воспользовалась передышкой, чтобы показать паству: какие-то кругломордые очкастые дядьки, изборожденные морщинами тетки (все как одна сцепили пальцы у подбородка, готовые к любым ударам судьбы), молодые люди — в основном с ясными, открытыми лицами, но кое-кто не без скептического огонька в глазах.

— Грех вводил и меня во искушение, — нормальным голосом повторил проповедник, словно учитель на диктанте.

— Это уж как водится! — откликнулся из зала мужской голос.

— Слава Всевышнему! — подхватил другой.

Снова пауза — проповедник играл в гляделки поочередно со всеми присутствующими.

Наконец повторил еще раз, теперь уже шепотом:

— Грех вводил и меня во искушение.

— Да двигайся же ты дальше, — не выдержал мистер Смит.

Проповедник возопил что было сил, потрясая перед собой пальцем:

— Сам Диавол побывал у меня в гостях!

— Врешь! — возмутился Смит и выдернул-таки руку из лапищи Старика.

— Лукавый предстал предо мной в час, когда миссис О'Бирал после дня, проведенного в неустанных трудах, стелила нам постель... Чарлин О'Бирал — святая женщина, вы все ее знаете...

— Чистая правда! — заволновалась аудитория. — Святее не бывает! Аминь! Аллилуйя!

— И я сказал ей: «Ступай к себе, дорогая, а ко мне на огонек заглянул старина Диавол. Я уж сам как-нибудь спроважу его за дверь». — Преподобный О'Бирал драматически умолк. Потом нежно молвил: — И миссис О'Бирал, не задав ни единого вопроса, удалилась. — Тут в голосе проповедника вновь пробудилась страсть. — Я обернулся к Сатане, к этому старому интригану, я взглянул ему прямо в глаза и воскликнул — цитирую дословно: «Забери от меня Линду Карпуччи!»... Ведь у меня уже есть жена... Зачем мне нужна Линда Карпуччи, наполняющая краткие мгновения моего досуга греховными помыслами и плотским соблазном? Миссис О'Бирал родила мне шесть чудесных деток, от Джои О'Бирала-младшего до малютки Ла-Верны. Неужто я настолько безумен, что пожертвую благом, коим одарил меня, недостойного, Всемогущий? И из-за кого? Из-за какой-то Линды Карпуччи, которую сукин сын Сатана подсунул мне однажды вечерней порой? А моя драгоценная Чарлин как раз засиделась в часовне, надписывая конверты с посланиями, которые несут свет и спасение более чем ста народам планеты. — Голос преподобного дрогнул, перешел на всхлип. — Перефразируя слова Господа нашего, сказал я Лукавому: «Изыди, Сатана! Изыди и избавь меня от Линды Карпуччи!»

Зал разразился одобрительными криками и аплодисментами. Однако мистер Смит остался недоволен и сердито запротестовал:

— Лгун! Подлый, наглый брехун! Да я тебя в глаза не видывал! Какая еще Линда Карпуччи?

На экране преподобный О'Бирал раскланивался перед аудиторией, неотличимый от ведущего какой-нибудь телевикторины. Его губы беззвучно артикулировали: «Спасибо! Большое спасибо!»

— Это подлая провокация! — бушевал мистер Смит. — Немедленно отправляюсь туда! Сейчас же!

— Но у нас нет денег.

— К черту деньги!

— Нечем даже расплатиться за гостиницу.

— К черту гостиницу!

Молитвенное собрание на экране подернулось дымкой, и диктор сказал:

— Мы еще продолжим прямую трансляцию проповеди преподобного Джои О'Бирала из Храма Стеклянной Благодати, Университет душеведения, О'Бирал-Сити, штат Арканзас. А пока — реклама нашего спонсора, компании «Свистер»: «Мамочкин чудо-кекс».

— Вот и адрес, — обрадовался Смит. — Ты так и будешь тут сидеть? Мне что, отправляться одному?

— Подумай хорошенько, стоит ли. Таких проповедников, наверно, пруд пруди...

— Но этот пронзил меня в самое сердце. Я опорочен, оклеветан! А характер у меня импульсивный, сам знаешь. Не потерплю! Это ему даром не пройдет!

Мистер Смит протянул руку, и Старик со вздохом взялся за нее.

Прежде чем они растворились в воздухе, Старик успел не без ехидства спросить:

— Значит, тебе не понравилось быть персонажем Американской Мечты? Пусть отрицательным, но очень важным, а? Что скажешь, старый интриган?

— У вас там все в порядке? — пропела из коридора горничная и, не услышав ни голосов, ни бормотания телевизора, заглянула в номер.

— Хм, чемоданы на месте, — пробормотала она. — Странно. Не видела, чтоб они выходили...

Включила радио, и заиграла легкая музыка, без которой совершенно невозможно заниматься уборкой.

— Гляди-ка, они и в постель не ложились, — удивилась горничная. — Каких только чудиков не носит земля...

С этими словами она включила и телевизор — решила немножко расслабиться. Уселась на кровать, зажгла сигарету и уставилась в экран.

* * *

Пронесясь теплым вихрем над скамьями (и сдув с голов прихожан пару шляп), Старик и мистер Смит приземлились прямо в центральном проходе Храма Стеклянной Благодати, весьма своеобразного архитектурного сооружения, стены которого состояли сплошь из радужных витражей. Свирепое южное солнце пронизывало стеклянную пестроту библейских сюжетов, окрашивая внутренность гигантского прозрачного шатра красно-желто-синими пятнами неистовой интенсивности.

Церковный хор состоял из джентльменов в зеленых смокингах и дам в старомодных вечерних платьях нежно-розового цвета. Они то чинно гнусавили гимны, то выдавали какой-нибудь заводной спиричуэл, ритмично пощелкивая пальцами и вихляя бедрами.

Потливый проповедник находился все там же, посреди сцены; после телеэкрана он казался каким-то неожиданно маленьким. Правда, лицо преподобного проецировалось на развешанные повсюду мониторы, так что можно было полюбоваться каждой капелькой пота.

— Я прерву проповедь, чтобы наш чудесный хор исполнил гимн. Сочинил этот гимн я, а вдохновил меня... сами знаете Кто.

Зал понимающе загудел, демонстрируя хороший условный рефлекс. В ответ на все эти «Аллилуйя», «Уж это как водится» и «Как не знать» преподобный О'Бирал заговорщически подмигнул, и с его чела прозрачными таракашками сорвались вниз новые капли пота.

— А было это, когда родился наш второй сын, Лайонел О'Бирал... Прямо здесь, в кампусе это произошло... Я написал слова, а музыку... музыку сочинила Чарлин О'Бирал!

Снова одобрительный рев, а на мониторах возникла рослая плоскогрудая особа с большими, как фортепьянные клавиши, зубами и пышным начесом. Особа тряхнула головой — отчего линзы ее стильных, а-ля бабочка, очков вспыхнули радужными искорками — и пропищала:

— Хвала Господу.

— Чарлин напела эту мелодию в разгар предродовых схваток! Напела прямо в ухо нашему чудесному хормейстеру и органисту Дигби Долдонсу! Дигби, поклон!

Откуда ни возьмись на экранах появился органист в белом, расшитом блестками болеро. Он развернулся и, сидя боком к клавиатуре, сбацал под аплодисменты что-то сахариново-приторное. Аккорды колыхались в воздухе сладким желе, а трубы синтетического квазиоргана, расписанные крестиками, звездочками, терновыми венчиками и нимбами, переливались всеми цветами компьютеризированной радуги.

— Поет наш чудесный женско-мужской хор Храма Стеклянной Благодати! А вы уж, ребята, ему помогите, ладно? — надрывался проповедник, перекрикивая рев орга́на. — У нас в церкви отмалчиваться не принято. Что такое молчание, а? С каким словом его чаще всего употребляют?.. *Гробовое* молчание, верно? А у нас церковь жизни! Энтузиазма! Юмора! (Тут преподобный зашелся беззвучным смехом.) Да, у нас церковь юмора! У Всевышнего есть чувство юмора! А как же иначе? Вы посмотрите, каких только потешных созданий не сотворил он на нашей Земле!.. Бегемота видели? (Зал: «А как же!») Ну разве не умора? Без чувства юмора бегемота не сотворишь!

Тут взгляд проповедника непроизвольно обратился на бегемотообразную миссис О'Бирал, и у той с лица сползла улыбка. Преподобный моментально посерьезнел:

— Но я отвлекся. О'кей, ребята, споем гимн Чарлин! (Снова ослепительная улыбка.) Он называется: «Молись, молись, сложа ладошки». Поем припев все вместе! Три раза: «Сложа ладошки, сложа ладошки, сложа ладошки»! Понятно? Валяй, Дигби.

Хор затянул гимн, прихожане расчувствовались и слегка потеснились, чтобы торчавшие в проходе Старик и мистер Смит могли сесть. Смит проворно уселся на скамью первым, оставив тучному компаньону крошечный кусочек скамьи. Под задом Смита что-то зашуршало. Забытая газета. Он извлек ее из-под себя, прочел крупный заголовок: «БЫВШАЯ СТРИПТИЗЕРША ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРОПОВЕДНИКУ О'БИРАЛУ ИСК НА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ».

Оказывается, примерно с год назад в хоре Храма Стеклянной Благодати появилась новая певичка, Линда Карпуччи. По непроверенным данным, преподобный обратил на нее внимание в некоем ночном клубе, где Линда выступала с увлекательным номером — крутила грудями то по часовой стрелке, то против, причем проявляла такое усердие и талант, что проповедник со свойственной ему проницательностью сразу же распознал в юной артистке мощный творческий потенциал, которому нашлось бы применение в церковном хоре. И дева была обращена в лоно религии, «разом обретя (цитата из статейки) и Господа Небесного, и пастыря земного». Далее ехидный писака отмечал следующее примечательное обстоятельство: ровно через девять месяцев после возрождения к духовной жизни мисс Карпуччи произвела на свет Божий малютку Джози, кудрявое и голубоглазое дитя (начальный вес шесть с половиной фунтов; характерные приметы: склонность к интенсивному потовыделению и истошному крику). Оперируя такими исходными данными, великий адвокат Акулио Пирань. неутомимый исследователь общественных помоек и известный коллекционер «м' огообещающих сюже-

тов» (собственное выражение юриста), пришел к выводу, что шесть миллионов долларов — оптимальная сумма, которую мать-одиночка может потребовать от отца дитяти.

— Про честно — нечестно мы говорить не будем, — сказал в своем интервью по телефону мистер Пираньи. — Главное, есть ли у этого сукина сына такие бабки. Если ему придется позаимствовать их из карманов своей просветленной паствы — это уже проблемы паствы. Благодаря мне она станет не только просветленной, но и умудренной.

Мистер Смит стал совать газету Старику, но тот не проявил ни малейшего интереса к прессе, заслушавшись незатейливым песнопением. Вместе со всей аудиторией он послушно подтягивал в положенных местах «сложа ладошки, сложа ладошки». В церковной музыке у Старика были свои симпатии и антипатии. К примеру, он недолюбливал Баха, который пугал его своей свирепой гармонией и безграничной изобретательностью — тут явно попахивало одержимостью. Гендель импонировал Старику куда больше — он и поживей, и потеатральней, а куртуазные завитушки рассыпаны так щедро, что духоподъемность достигается автоматически. Что же касается гимна, который распевали в Храме Стеклянной Благодати, то он своей младенческой незамысловатостью более всего походил на колыбельную и никоим образом не покушался на интеллектуальные способности слушателей.

Преподобный О'Бирал воспользовался передышкой, чтобы при помощи пары полотенец отереть пот со лба. К тому моменту, когда взрослые дяди и тети допели свою грудничковую песню, старательно вытянув финальный аккорд (надо признать, довольно кислый), проповедник успел и подсохнуть, и припудриться. Он выпорхнул из-за сцены на середину эстрады, готовый к новому раунду «Битвы за Добро», а ассистенты и гримеры, прихватив свои полотенчики, щеточки и баночки, на время удалились.

— Я разобрался с мистером Сатаной, — игриво сообщил преподобный.

Аудитория отреагировала на это известие с энтузиазмом.

— Знаете, куда я его послал? Туда, где ему самое место. И ничего ужасного в слове, которое я сейчас произнесу, нет. *К черту* я его отправил, вот куда!

Зал так и ахнул, а Смит дернулся было с места, да Старик мощной десницей удержал.

— Не будь болваном! — прошипел он. — Если уж ты непременно решил вмешаться, найди момент поэффектней.

Смит негодующе взмахнул газетой, и Старик уяснил, что должен немедленно ознакомиться с содержанием этого печатного органа, иначе компаньон не угомонится.

Паства понемногу приходила в себя. Преподобный расслабился, прихожане мирно шушукались.

— Отдыхаем! — объявил режиссер. — Рекламная пауза.

— Что такое? — удивился Старик, отрываясь от статьи.

— Американская Мечта по воле спонсора временно приостанавливается, — хихикнул Смит.

— Ты хочешь сказать, они прерывают богослужение ради коммерческих целей?

— Да. Каждые несколько минут торгующих ненадолго запускают в храм подзаработать.

— Мне этот обычай не нравится... А статья меня удивила. Очевидно, преподобный О'Бирал чрезвычайно падок на плотские утехи.

— Ты же видел его благоверную. Беднягу проповедника можно понять.

— Не хочу показаться жестоким, но она и в самом деле похожа на неудачную шутку природы.

— Что-что?

— Ничего. Беру свои слова обратно. Общаясь с тобой, я только и делаю, что говорю всякие непозволительные вещи.

Компаньоны взглянули друг на друга не без теплоты.

— Приготовились! — гаркнул режиссер. — Эфир через тридцать секунд. Поехала атмосфера искренности!.. Еще один эпизод, а потом переходим к исцелениям. Все болящие и недужные, кто зарегистрировался перед съемкой у меня или ассистентов, встают в очередь там, где положено, ясно?.. Десять секунд. Ну-ка, ребята, аплодисменты! Даешь классное шоу! Джои, пошел!

— Друзья мои, — деловито начал преподобный. — Кое-кто из вас скажет, что я обошелся с Лукавым невежливо...

— И скажу! — пронзительнейшим голосом вскричал мистер Смит.

О'Бирал на секунду опешил.

— Искренне сожалею об этом, сэр. — И пояснил аудитории: — Этот джентльмен считает, что я обошелся с Диаволом невежливо.

Гул голосов: «Да не, нормально!», «К черту Сатану», «Изыди!» и проч.

Преподобный ласково вскинул руку, призывая к тишине.

— Я не хочу больше говорить о старом интригане Сатане, и знаете почему? Потому что он вполне может находиться сейчас прямо здесь, в церкви. Но вряд ли, ибо я видел Лукавого собственными глазами и среди собравшихся никого похожего что-то не наблюдаю. Зато (взвизг и дрожание голосовых связок)... зато тут, средь нас, есть Тот, Кого опознавать не нужно... Каждый ощущает Его своим грешным сердцем... Друзья мои, здесь, сейчас, меж нами Бог!

— Слыхал? — шепнул Старик.

— Он не про тебя говорит, а про Бога, — злобно просипел мистер Смит.

— Да, меж нами Бог! Это Его дом! Взгляните на цветные витражи — это кадры из Его жизни... И мы — Его грешные дети... Он с нами, в наших умах и сердцах... И вот что я еще скажу вам, ребята... Если б Всевышний решил предстать перед нами в земном обличье — да в любом обличье, какое бы ни избрал Он в своей беспредельной мудрости, — я бы сразу узнал Его и воскликнул от своего и вашего имени: «Господь наш, приветствуем Тебя в простоте сердечной... благоговеем перед величием Твоим... обогреваемся теплом Твоего участия... укрываемся одеянием Твоей любви... И знай, что паства святого Храма Стеклянной Благодати, Университет душеведения, О'Бирал-Сити, штат Арканзас (радио- и телетрансляция в более чем сто стран планеты) приветствует Тебя самыми простыми и нежными словами, какие только есть в нашем языке: «Добро пожаловать, Господи!»

Аудитория взорвалась овацией, да и сам преподобный прослезился, не выдержав собственной растроганности и небесного красноречия.

Старик счел своим долгом подняться и зашагал к сцене.

Путь ему преградил охранник:

— Туда нельзя, папаша. Исцеление в следующем эпизоде.

— Но меня узнали, — пытался втолковать ему Старик.

— В чем дело, Джерри? — спросил у охранника преподобный.

На первый взгляд, старикан в просторном балахоне вряд ли мог представлять какую-либо опасность для шоу. Наоборот, интуиция подсказала О'Биралу, что дедушка с таким открытым, детским выражением лица может оказаться очень даже кстати — подбавит программе непринужденности.

— Вы узнали меня, — зычно пробасил Старик, — и я глубоко этим растроган.

В штате Виргиния, в собственном доме, перед экраном телевизора, поперхнулся коктейлем заместитель директора ФБР Гонтранд Б. Гаррисон, большой поклонник проповедей преподобного О'Бирала.

— Вот он, гаденыш! — завопил заместитель директора.

— Кто? — испугалась миссис Гаррисон.

— Дорогуша, скорей включай видеомагнитофон! Чистую кассету вставь! А я звоню Гонелле. Помнишь, я тебе показывал фото тех типов, которые объявлены в розыск?

— «Бог»?

— Он! Стало быть, Арканзас... Алло, миссис Гонелла? Кармине дома? Срочное дело.

Тем временем на сцене Храма Стеклянной Благодати преподобный окончательно решил довериться голосу телеинтуиции.

— Ну же, не бойтесь, — проворковал он, уверенный, что несчастный старикашка оробел от собственной смелости.

— Чего мне бояться, если меня здесь встречают с таким радушием? — прогрохотал Старик так мощно, что храм весь завибрировал от гулкого эха.

— Дайте ему микрофон, — приказал преподобный.

Ошарашенный звукооператор пролепетал:

— Этому микрофон не нужен.

— Так вы говорите, что я встретил вас радушно? Кто вы, дедушка?

— Я на Земле всего несколько дней, и вы — первый, кто меня распознал в публичном месте. Поздравляю. Да! Я — Бог.

Преподобный был сражен. Надо же так проколоться! Окажись старый хрен каким-нибудь Арчибальдом В. Тютькинсом из Задриппинг-Сити, 95 лет от роду, проповедник устроил бы импровизацию — пальчики оближешь. А это, оказывается, Бог, здрасьте. Кому нужна такая конкуренция? И потом, у Бога ведь не спросишь, часто ли он смотрит по телевизору «Час молитвы» Джои О'Бирала.

— Понимаете ли вы, старина, что произнесли кощунство?

— Не нужно все портить, — расстроился Старик. — Вы так славно начали...

— Хотите, объясню, почему мне сразу ясно, что вы *не* Бог?

— Вам не может быть это ясно! Вы же сами только что сказали — я могу предстать в любом обличье.

— Сказал, не спорю. Я сказал, что готов приветствовать Господа, в каком бы земном обличье Он пред нами ни предстал. Ведь Бога, в отличие от Сатаны, я в лицо не знаю. Всевышнего я могу распознать только по благодати, а отнюдь не по внешним признакам.

— И Он вполне может выглядеть как я, — вставил Старик.

— Конечно. Почему бы и нет? Хотя, признаться, я надеюсь, Он проявит больше вкуса.

Аудитория одобрила шутку дружным смехом. Однако О'Бирал не хотел слишком уж глумиться над безобидным старым психом и потому счел нужным добавить:

— Я имел в виду ваш наряд.

И, повысив голос, обрушил на дерзкого яростную филиппику:

— Но есть нечто, чего Всевышний в безграничной своей мудрости никогда бы не совершил! У нас здесь многомиллионный бизнес по распространению слова Господня более чем в сто стран планеты, а Богу, разумеется, известно (ибо Ему ведомо все), почем нынче минута экранного времени, и Он ни за что не стал бы отнимать эфир у законного владельца, преподобного Джои О'Бирала, который, между прочим, оплачивает эту богоугодную трансляцию из собственного кармана! Бог это понимал бы, друг мой. Или я не прав?

Зал немедленно подтвердил правоту преподобного («Аминь!», «Сядь на место!», «Вали со сцены!»). Даже Старику с его незаурядными акустическими возможностями не удалось перекричать какофонию праведного возмущения. Он беспомощно топтался на месте, а охранники пытались уволочь нарушителя порядка со сцены. Бывалые операторы ловко изъяли этот кадр, дав крупный план физио-

номии проповедника, которая так и сияла довольством — то ли по поводу того, что О'Биралу удалось с таким блеском отстоять честь религии, то ли в связи с раскрепощенным поведением разгневанной аудитории.

Решив, что тут без драматического эффекта инициативу не перехватишь, в игру вступил мистер Смит. Он вскочил на ноги и моментально взлетел на эстраду. Охранники, увлеченные стягиванием со сцены неподатливого Старика, както прохлопали это вторжение. Мистер Смит кричал и отчаянно жестикулировал, но и ему переорать зал оказалось не под силу. Тогда Смит поступил иначе — взял и взорвался сполохом пламени.

Публика в ужасе взвизгнула и утихла. Каждый спрашивал себя, действительно ли видел он то, что видел. Может быть, коллективная галлюцинация?

— Джои О'Бирал, ты лжец и шарлатан, и я могу это доказать!

Преподобный сразу же вновь покрылся крупными каплями пота, на сей раз не от вдохновения.

— Валяй доказывай! — бесстрашно выкрикнул он и облизнул пересохшие губы.

— Так ты меня видел? Узнаёшь? А? Фас, — мистер Смит дернул головой. — Профиль.

— Что-то не припомню, — сдержанно ответил О'Бирал.

— А ведь только что распинался о нашем знакомстве. Трепло! Линду Карпуччи приплел! Не имею чести знать эту юную особу. Опять ты соврал! Кто говорил, что меня в церкви нет, потому что ты непременно меня бы узнал? А я, между прочим, в первых рядах сидел, прямо у тебя под носом. И снова получается, что ты брехун.

— Так-так, — насмешливо протянул неустрашенный проповедник. — Я догадался. Ты, очевидно, Сатана собственной персоной.

Прежде чем мистер Смит успел подтвердить правильность догадки, преподобный обернулся к своим верным союзникам — прихожанам:

— Видали? Дьявол примчался помогать Господу! Как вам это нравится? Парочка не разлей вода! Решили дурака повалять. И с кем? С самим Джои О'Биралом, основателем многомиллионного предприятия, созданного во славу Божию!

Смех в зале. Гул одобрения.

— Спасибо, ребята. Сейчас опять подошло время рекламной паузы, а я только что продемонстрировал вам, как нужно поступать с лжепророками, которые готовы в угоду своим грязным целям надругаться над Словом Божьим!

Гром аплодисментов. Сокрушительная победа Джои О'Бирала и его мощных динамиков.

Мистер Смит и Старик, обложенные со всех сторон, прижались друг к другу. Смит отчаянно махнул рукой — по стенам храма взметнулись языки огня.

— Ты с ума сошел! — ахнул Старик и тут же затушил пожар.

Коллективный взвизг. Молчание.

— Терпеть не могу, когда мне не верят! — страшным голосом закричал мистер Смит, и за спинами паствы снова заполыхало.

— Запрещаю! — запретил Старик и опять прекратил возгорание.

Тогда Смит с воем запалил самого себя, но Старик дунул, и огонь погас.

— Я сам себе хозяин! — неистовствовал Смит. — Чему суждено погибнуть да погибнет! Это же храм Маммоны!

— Не смей выполнять мою работу, да еще в моем присутствии! За моей спиной можешь творить что хочешь, хоть молись, если ностальгия заела.

— Всем стоять!!!

Появилось новое действующее лицо. На пороге церкви возник человек в широкополой шляпе. В одной руке он держал какую-то карточку, в другой пистолет.

— Смит и Богфри!!!

Старик и мистер Смит непонимающе уставились на крикуна.

— Я — агент ФБР Гарднер Грин, Литл-Рок, штат Арканзас. Вы арестованы за изготовление фальшивых денег. Если есть оружие — бросить на пол перед собой.

— Что будем делать? — занервничал Смит.

— Возьми меня за руку и очисти свой разум.

— От чего?

— От всего.

— Тихо! — прикрикнул на них агент, быстро идя по проходу. — И не вздумайте исчезать.

— И куда же мы теперь? — жалобно спросил Смит.

— На вершину одной из аризонских гор, подальше от людей.

Исчезли.

Паства задохнулась от ужаса, но телезрители, слава богу, были избавлены от этой жуткой сцены, ибо как раз началась очередная рекламная пауза. Фэбээровец развернулся лицом к аудитории. К нему уже бежал ассистент с микрофоном.

— Спокойно! Никакой паники. Вы видели совершенно нормальное, абсолютно не сверхъестественное природное явление. Оно хорошо известно специалистам, изучающим экстрасенсорику и прочие парапсихологические феномены. Эти двое, лица неустановленного происхождения, недавно бежали из-под стражи в Вашингтоне, округ Колумбия. Особой опасности они не представляют — мелкие правонарушители, — находятся под следствием, склонности к насилию не имеют. Так что расслабьтесь и предоставьте эту проблему ФБР, организации, которая оберегает величие нашей страны.

Аплодисменты.

Агент Гарднер Грин спрятал пистолет в кобуру и спустился со сцены.

Преподобный приступил к исцелениям, которые шли сегодня так же успешно, как всегда: недержание, астма, слепота, геморрой, СПИД и прочие недуги не выдерживали натиска библейской терапии. Со СПИДом О'Бирал расправился в последние тридцать секунд передачи: обрушил на болящего поток ругательств, адресованных Врагу Рода Человеческого, и инфицированный сразу же почувствовал себя гораздо-гораздо лучше.

Лишь по окончании трансляции, когда преподобный уже сидел за сценой и ему снимали грим, пережитое потрясение дало себя знать. Здесь же находился и агент Грин — сидел на стуле, потягивал сухой мартини с лимонным соком (напиток был собственноручно приготовлен проповедником). О'Бирал нуждался в сочувствии. В понимающем собеседнике. В миг испытания преподобный явил выдержку и мужество, но ситуация начинала выходить из-под контроля. Все время звонил телефон. Большинство звонивших хотели морально поддержать О'Бирала, но находились и такие, которых волновал вопрос: а вдруг те двое и в самом деле Бог и Дьявол? Где гарантия, что это не так? Кое-кто даже уверял, что при виде Старика ощутил положительную вибрацию, а при виде самосожжения мистера Смита — отрицательную. Можно себе представить, что́ понапишут в газетах... Ведущие телекомпании уже кинулись покупать права на показ видеозаписи в вечерних сводках новостей.

Зато Гарднер Грин был вполне доволен, что эта мутная история стала достоянием гласности.

— Головоломный случай, — веско заметил он, покачивая маслинкой в коктейле. — Понимаете, эти старички обладают непостижимой способностью исчезать, а несколько секунд спустя появляться где-нибудь в другом месте — этак за пару тысяч миль. Администратор одного отеля на Манхэттене — наша парочка снимала там номер — сообщил нам следующее. В четыре тридцать горничная, проходя по коридору, слышала, как у них в комнате работал телевизор. В пять, то

есть в семнадцать ноль-ноль, она заглянула в номер. Ей пора было домой, и перед уходом она хотела прибраться. В номере горничная никого не обнаружила. Два чемодана, пустые, были на месте. Обе постели стояли нетронутые. Теперь самое интересное. В полпятого, проходя мимо номера, горничная отчетливо слышала ваш голос, мистер О'Бирал. Значит, они смотрели вашу передачу.

— В шестнадцать тридцать? По местному полтретьего... Да, возможно. Мы как раз в это время начинаем.

— Вывод: в вашем шоу они услышали нечто такое, что заставило их где-то между шестнадцатью тридцатью и семнадцатью ноль-ноль за пару секунд переместиться из Нью-Йорка в О'Бирал-Сити. Что, по-вашему, могло их до такой степени возбудить?

Джои О'Бирал рассмеялся, хорошенькая гримерша как раз обрабатывала ему лицо освежающим бальзамом.

— Для протокола замечу, что сам я ни по какой причине не согласился бы путешествовать с такой скоростью.

— Да и не смогли бы при всем желании.

— Верно. Что же касается вашего вопроса, то я понятия не имею, чего они так взвились. Я начал свою дневную телепроповедь как обычно... Знаете, днем я проповедую по средам, а в остальные дни недели по вечерам. Передача называется «Час Джои О'Бирала из Храма Стеклянной...»

— Знаю, — оборвал его агент.

— Ну и как, смотрите? — оживился преподобный.

— Когда нет чего-нибудь поинтересней.

О'Бирал уловил в голосе агента неожиданную нотку враждебности и на миг стушевался, но немедленно убедил себя, что ошибся.

— Сегодня я начал с описания своей встречи с Дьяволом, потом слегка коснулся этих нелепых слухов... ну, про Линду Карпуччи... Знаете, нет ничего хуже, чем прятать голову в песок. Иначе вся эта свора еще больше обнаглеет...

— Какая свора?

— Пресса, чтоб ей пусто было. Каковы заголовки, а? «Развеселый час Джои О'Бирала», «Стриптиз в церкви», «Джои нашалил»! Да вы сами наверняка видели.

— Нет, не видел.

— Бросьте, — поразился проповедник.

— Не видел.

— Как так?

— Мне это неинтересно.

О'Бирал и тут не дрогнул.

— Поверьте мне, эта самая Карпуччи — премерзкая девчонка, — как ни в чем не бывало продолжил он. — Ее в жизни интересует только одно — деньги. За деньги она продаст и тело, и душу, и все что захотите.

— Идеальная подружка для вас. Представляю, какое у вас с ней обнаружилось родство душ. Понимали друг друга без слов, да?

Джои О'Бирал отпихнул гримершу, расправил плечи и рассердился.

— На чьей вы, собственно, стороне?

— Кто, я? Ну, раз я работаю в ФБР, можно, наверно, сказать, что я на стороне закона. Если повезет... В утешение могу сообщить, что мой босс, старина Гонтранд Б. Гаррисон, известный также как Старый Гондон Гаррисон, — ваш большой обожатель и не пропускает ни одной передачи. Разумеется, когда он не при исполнении. Он-то и увидел по телеку, как вы пикируетесь с тем дедом, Богфри. Сразу же позвонил к нам в Литл-Рок, проявил, так сказать, бдительность. А из офиса связались со мной. Я тут неподалеку был, в автомобиле. Пока мчался к вашему храму, меня ввели в курс дела.

— Да-а, чего у ФБР не отнимешь — работаете вы быстро. Как вы установили, в каком отеле они жили?

— Администратор сам позвонил. Толстый старикан уже несколько дней в розыске. Портрет разослан по всем гостиницам. В одном из исчезнувших постояльцев опознали нашего Богфри.

— Здорово... Между нами... — доверительно понизил голос О'Бирал, сразу стало видно, что такому можно доверить любую тайну. — Скажите, а они действительно всего лишь мелкие фальшивомонетчики?

— Насчет «мелких» не знаю, но ордер выписан за изготовление фальшивых денег.

— А почему второго, тощего, нет в розыске?

— Бесполезно. Он все время меняет внешность. То в свободного художника превратится, то в японского бизнесмена, то в педераста из Гринич-Виллидж.

— А вы-то как думаете, кто они на самом деле?

— Мое мнение не в счет. Я — винтик в механизме. Задание было такое: прибыть сюда, попытаться произвести арест и пресечь панику, если таковая возникнет. Пока вы занимались исцелением, я связался с конторой, и теперь наши люди прочесывают все горные вершины в Аризоне. На джипе, вертолете или пешком. У меня не получилось — у них получится.

— И все же очень интересно... Сами понимаете... Кем все-таки считают этих типов у вас в ФБР?

Грин отхлебнул мартини, аппетитно почмокал, проглотил, удовлетворенно вздохнул.

— В настоящий момент существует две гипотезы. Если они окажутся несостоятельными, появятся другие. Автор первой — начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Бекицер. С точки зрения генерала, Советы тут ни при чем — мы имеем дело с инопланетянами. Эта парочка — патруль, засланный из космоса, чтобы проверить нашу обороноспособность. Пэту Гонсалесу, советнику президента по вопросам безопасности, человеку без воображения да к тому же и невоенному, эта теория представляется чересчур романтической. Он не верит в гуманоидов с планеты Ку-ку и придерживается версии о кознях русских. Москва придумала какой-то новый фокус и пробует его на нас. Уже и термин для этого нового вопиющего нарушения Договора о сокращении стратегических вооружений придумали — система СИЛА, Сверхзвуковой Индивидуальный Летательный Аппарат. А по-моему, обе версии — подростковые фантазии. Большие начальники вечно выдумывают какую-то чушь, только бы не прослыть отставшими от времени.

— А вы сами что думаете? Или винтику думать не положено?

— Именно.

— Да ладно вам. К чему такое самоуничижение? В Святой Книге не сказано, что нужно подставлять левую щеку, пока вас не ударили по правой. У нас свободная страна, приятель. Даже бомж из сточной канавы, и тот имеет право выдвигать собственные теории.

Грин улыбнулся.

— Раз уж вы настаиваете... Ладно. По-моему, эти двое — те, за кого они себя выдают. Бог и Сатана.

— Это вы нарочно так говорите, чтоб меня расстроить! — закричал О'Бирал. — Убирайтесь отсюда!

— Как угодно. Но, как справедливо заметил мой босс, эта история заставит прессу забыть о ваших шашнях с мисс Карпуччи.

Преподобный сменил гнев на задумчивость.

— Вы в самом деле так думаете?

— Сто процентов. Кому будет интересен иск об установлении отцовства, ко-

гда разворачивается такой потрясающий сюжет? ФБР идет по следам двух таинственных стариков, именующих себя Богом и Дьяволом! Преступники обладают способностью растворяться в воздухе и перемещаться быстрее реактивного самолета.

— Черт, верно. Надо пойти рассказать жене...

— Валяйте.

Радостная улыбка сползла с лица проповедника.

— Молитесь ли вы Господу, мистер Грин?

— Нет, сэр.

— Но вы христианин?

— Нет, сэр.

— И не хотите возродиться к новой жизни?

— Нет, сэр.

Джои О'Бирал всхлипнул.

— Я буду за вас молиться.

— Не тратьте зря времени.

Преподобный удивленно раскрыл очи, такое безразличие было ему внове.

— Вы агностик! — уличил он агента.

— Да, сэр.

— И тем не менее готовы поверить, что какие-то двое фокусников — Господь Бог и Сатана собственной персоной?

— Да, сэр. И представьте себе, я сожалею о собственном безверии.

— Если хотите уверовать — уверуете.

О'Бирал приблизился к Грину и попытался проникновенно взять его за руку, но агент увернулся и вместо своей ладони сунул проповеднику пустой бокал.

— Нет, сэр. Уверовать я не могу, а при существующем положении вещей и не хочу. Из служебного опыта мне хорошо известно, что худший тип бандита в нашей стране — тот, кто делает барыши на религии.

— Есть и такие? — поразился О'Бирал.

— Есть... Причем вещают на сто с лишним стран планеты... так, кажется? В общем, к новой жизни мне не возродиться, а за коктейль спасибо. Он был... божественным.

<...>

* * *

Старик и мистер Смит материализовались где-то во внутренних покоях Белого дома. Из-за полуоткрытой двери доносился негромкий мужской голос — кто-то не слишком музыкально полумычал, полунапевал арию из «Порги и Бесс».

— Где это мы? — гулким шепотом спросил мистер Смит.

— Ш-ш-ш. Это так называемый Белый... м-м-м... особняк. Тут держи ухо востро. Если что, встречаемся в аэропорту.

— Где именно? Аэропорт большой.

— Ну уж друг друга-то мы как-нибудь разглядим.

— О Господи... Ты храм мистера О'Бирала видел? Так вот, аэропорт раз в пятнадцать, а то и двадцать больше.

— Правда? А как он называется?

— Международный аэропорт Даллеса.

— Ты хочешь сказать, что таким большим сооружением владеет всего один человек? М-да, Америка есть Америка.

Смит на минутку зажмурился, чтобы подавить раздражение, и терпеливо пояснил:

— Даллес был государственным секретарем. Аэропорт назван в его честь. И не только аэропорт.

— Спасибо. Что бы я без тебя делал? Поразительно, сколько ты всего знаешь.

Смит скромно пожал плечами:

— Такая уж у меня работа. Разве я смог бы вводить людей во искушение, если б знал только, *куда* их заманиваю, но не знал бы, откуда выманиваю?

— Но какое отношение имеет к искушению аэропорт?

— К искушению все имеет отношение. Например, честолюбие. Или наркотики, позволяющие человеку на жалкие четверть часа ощутить себя повелителем Вселенной. Или несколько мгновений с мисс Карпуччи в закутке за алтарем. Или твой листопад из допотопных австрийских банкнот.

— Верю тебе на слово. Однако сейчас не время философствовать, да и шепот для такой беседы не годится. Успеем наговориться в летающей машине. Тс-с-с! Он перестал петь. А мы еще не условились. Можем мы полететь на британском летательном аппарате?

— Это еще зачем?

— Там меньше шансов опять столкнуться с этими людьми из... той организации на три буквы.

— ФБР?

— Да-да. Я никак не запомню эти инициалы.

— Это значит Федеральное бюро расследований.

— В самом деле? Это гораздо понятнее, чем аббревиатура. А что касается британского воздухоплавания, то отведенный ему сектор в аэропорту, должно быть, значительно меньше американского, вот я и подумал, не будет ли нам легче найти друг друга именно там...

— Толково. Значит, встречаемся в аэропорту Даллеса у регистрационной стойки «Бритиш эруэйз».

— Тише!

В комнату вошел человек в нижнем белье — пожилой, но в отличной форме, с профессиональной улыбкой, намертво застывшей на хищноватом, но не лишенном приятности лице. В руке человек держал очки в тонкой оправе. Водрузив их на нос, он принялся разглядывать приготовленную кем-то одежду. Рубашка ему явно понравилась, мужчина сдернул ее с вешалки и повернулся, чтобы продеть руки в рукава. Тут ему пришлось испытать нешуточное потрясение.

— К-как вы сюда попали? — заикнувшись, пролепетал он.

— Не стоит вдаваться в подробности, — посоветовал Старик.

— Нет, как вы сюда попали?! — окрепшим голосом повторил свой вопрос мужчина.

— Мы обладаем способностью попадать куда угодно...

— Но это совершенно невозможно! Черт, я сам не могу сюда войти без миллиона проверок и перепроверок. Вы не могли сюда попасть! — чуть не плача воскликнул незнакомец.

— А вас не интересует, кто мы такие?

— Нет, меня интересует, как вы сюда проникли! — Он замер на месте. — Стоп, я знаю, кто вы! Те два психа, которых ФБР никак поймать не может. У меня на столе лежит подробный отчет... Не было времени прочитать. Так только, полистал. Думал, оставлю на выходные, развлекусь в Кэмп-Дэвиде.

— Развлекусь? — насупился Старик.

— Видели бы вы, каким чтением меня снабжают, — сказал президент (ибо это был он) как бы самому себе. — Иногда я спрашиваю себя, стоило ли...

Он не договорил и углубился в какие-то свои мысли, рассеянно натягивая на плечи рубашку. Потом вдруг очнулся и просиял обворожительной улыбкой:

— Очевидно, вы явились не затем, чтобы меня убить. Иначе вы прикончили бы меня еще в ванной.

— Не слишком на это рассчитывай, — очень неприятным тоном обронил мистер Смит.

Президент застыл, так и не застегнув рубашку.

— Вы серьезно? — тоскливо спросил он.

— Шучу. Но учти: чем медленнее казнь, тем она страшнее. Есть садисты, которым нравится растягивать мучения жертвы до бесконечности.

— Разумеется, мы не сделаем вам ничего плохого, — успокоил президента Старик, неодобрительно отнесшийся к бестактным аллегориям мистера Смита. — Представляться вам мы не будем. Все равно не поверите.

— Я знаю. Вы считаете, что вы — Бог, а ваш приятель... Черт знает что такое! Разве стал бы Бог якшаться с Дьяволом? Да ни за что на свете!

— Это вы так думаете, — увещевательно заметил Старик. — Очевидно, политические ценности для вас значат больше, чем обычные человеческие. Возможно, нам и в самом деле не следовало бы путешествовать вместе. Выглядит это, должно быть, подозрительно. Однако, в отличие от вас, нам не нужно нравиться избирателям и тягаться с конкурентами, нам даже не нужно никому ничего доказывать, и в посторонней помощи мы не нуждаемся. Мы просто есть, и всё тут. А раз уж мы всегда были, есть и всегда будем, отчего бы нам и не встретиться? У нас ведь и знакомых других нет, только мы двое.

Президент строго окинул взглядом посетителей и сказал:

— Зачем вы мне все это рассказываете? Да знаете ли вы, что мне достаточно ногой нажать потайную кнопку, и через двадцать секунд здесь будут мальчики из службы безопасности?

Мистер Смит насмешливо присвистнул:

— А где она, кнопка-то?

— Так. Одна в спальне, две в Овальном кабинете, а здесь... Ой, здесь нет. Или должна быть? Я как-то не думал, что она мне может понадобиться в гардеробной.

— Забудьте вы о кнопке, — прервал его Старик. — Она ни к чему. Если нам не рады, мы не навязываемся — просто берем и исчезаем.

— Да, я читал про это. Сенатор Ист Террик из Огайо и конгрессмен Ньют Каччакочча из Арканзаса клянутся и божатся, что вас подослали Советы и что вы — русские ученые, разработавшие новую технику шпионажа. На закрытом заседании Комитета по вооруженным силам сенатор говорил, что теперь понятно, почему Советы вдруг стали позволять себе односторонние жесты вроде сокращения вооружений средней дальности. Если это правда, вы, конечно, не признаетесь. Но у нас с русскими теперь отношения вполне приличные, так что рано или поздно я все равно узнаю правду.

— Странное дело, — весело удивился Старик. — Нам приходилось вести беседы с самыми разными людьми, но такую идиотскую — впервые. Неужели мы забрались сюда, на самый Олимп власти, для этого? Поверьте, у нас куда больше забот, чем у каких-то там шпионов. И заботы эти классом повыше. Стали бы мы тратить время на это презреннейшее из ремесел!

Президент хмуро улыбнулся.

— Итак, гипотезу сенатора Ист Террика и конгрессмена Ньюта Каччакоччи вы характеризуете как идиотскую. Я в общем-то придерживаюсь той же точки зрения, но, в отличие от вас, не могу себе позволить выражаться столь категорично.

— Так ты считаешь нас шпионами или нет? — потребовал ответа мистер Смит.

— Я испытываю определенные сомнения в обоснованности этой версии. Не могу себе представить, что стали бы искать шпионы в президентской ванной. Да и одежда у вас для бойцов невидимого фронта слишком приметная.

— Мы вовсе не собирались ни на кого производить впечатление своими туа-

летами, — с достоинством сказал Старик. — Просто немного отстали от моды. Неудивительно, ведь столько времени прошло...

— Маечка «Называйте меня мадам»? Ничего себе, отстали от моды.

— Это я у вас тут обзавелся, — объяснил мистер Смит. — Украл в сауне для голубых на Сорок второй улице.

— Украли? — тупо повторил президент. — В сауне для голубых?

— Да. Я с самого первого дня на Земле увидел, как все на нас пялятся. А я этого не выношу. В отличие от нашего Старика я в основном занимаюсь подрывной деятельностью самого различного профиля, и мне незачем привлекать к себе внимание.

— Ага, вот вы и признались! — вскричал президент.

— Так я же Дьявол, — зашипел мистер Смит, как целый террариум разгневанных питонов. — До чего вы мне все надоели, кретины тупоумные! Может, вас тут и учили, что Россия — родина Сатаны, но я не русский, не русский я, ясно?!

Напуганный столь мощным звуковым эффектом, президент решил перейти к языку жестов, который, как известно, воздействует на публику лучше, чем слова, — умиротворяюще простер вперед длани и лишь потом сказал:

— Ладно, ладно. Только один вопрос. А чего вы, ребята, от меня-то хотите?

— Мы провели здесь довольно много времени... — начал Старик.

— В нашей великой стране?

— Именно. Побывали за решеткой; в большом госпитале, этом мегаполисе недуга; в роскошных и паршивых гостиницах. Мы путешествовали самыми разными способами; нас сначала потрясла, а потом заставила скучать непрекращающаяся вакханалия насилия на телеэкране; мы возмущались разглагольствованиями религиозного шарлатана, который утверждал, что знает нас лично, — возмущались, но гнев наш оказался бессилен... Разумеется, это всего лишь несколько мелких деталей огромной мозаики, изучить которую во всей ее величественности и противоречивости у нас просто не было времени. Поэтому я и хочу спросить вас как человека, находящегося на самой вершине: что вам оттуда видно? Что вы обо всем этом думаете?

Президент глубокомысленно прищурился. Он всегда так поступал, когда перед ним возникала заведомо неразрешимая задача.

— Вы хотите знать, какой видится мне страна отсюда, из президентского кабинета?

— Да, ваша великая страна, — уточнил Старик.

Президент улыбнулся с некоторым облегчением.

— Ну, во-первых, вы должны себе уяснить, что про эту страну вообще никто толком ничего не знает. Слишком уж много тут всего происходит. Четыре временных пояса, представляете? Одни люди проснулись, другие уже спать ложатся. И никто не сидит на месте. Ритм жизни такой, что традиций практически не существует — не успевают сформироваться. Сейчас заканчивается индустриальный век — дымный, отравленный, опасный для здоровья. На смену ему приходит век информации, стерильный, сухой, роботизированный. Промышленный север в упадке, опустевшие фабрики и заводы торчат гнилыми зубами, уродуя ландшафт, а молодежь, у которой появилась масса времени для досуга, тянется к югу и солнцу. Что будет дальше, никто не знает. Мое личное мнение: вся эта суетня и беготня не прекратится никогда.

— Что ж, лаконично и при этом очень познавательно.

Президент улыбнулся.

— Собственно, это цитата из моей вчерашней речи в Конгрессе. Далее — о наркотиках. Это наша проблема номер один. Не знаю, по какой причине, но пагубная страсть к этим вредоносным химическим стимуляторам разрастается буквально не по дням, а по часам. Какой позор для нашей великой страны! Ведь она

предоставляет шанс каждому, кто не боится трудностей! Учитывая обстановку, сложившуюся в городских гетто, первоочередная задача правительства — всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами предотвратить надвигающуюся катастрофу. И этого мало! От обороны мы должны перейти в контрнаступление, нанести удар по торговцам этой отравой и их зарубежным поставщикам! Истребим наркотическую заразу!

Казалось, оратор выступает не перед двумя джентльменами преклонных лет, а перед огромным залом.

— Тебе задали простой вопрос, а ты несешь какую-то риторическую дребедень, — одернул его мистер Смит. — Скажи-ка лучше вот что, только честно, уговор?

Президент покосился в сторону настенных часов и кивнул:

— Железно.

— А? — не понял Смит.

— Я говорю, спрашивайте.

— Понятно... Кто речь-то писал? Ты сам?

Отсмеявшись, президент сказал:

— Конечно нет. Человек в моем положении — если у него мозги на месте — сам ничего не пишет. Времени нет. Это Арнольд Головкер написал, второй спичрайтер. Первый, Зевс Шустер, к сожалению, приболел — у него тонзиллит. Арни тоже в принципе ничего, но уж больно интеллектуальный для моего имиджа.

— Для чего?

Президент снова посмотрел на часы и, кажется, остался доволен.

— Сейчас без работы над имиджем нельзя. Имидж определяет все — в политике, в религии, везде. Вот я вам дам один совет, только не обижайтесь, ладно? Вам в смысле имиджа есть над чем потрудиться. Не проработан он у вас. Понимаете, американцам не понравится, что Бог такой... упитанный. Старый — еще куда ни шло. Долголетие, практический опыт и все такое. Но лицо хорошо бы посимпатичней и хламиду пошикарней, от хорошего кутюрье. Пальцы должны быть тонкие, с маникюром, а над головой дать подсветку — чуть-чуть. Чтобы как на картинках в Библии.

— Что-нибудь в этом роде?

Старик сконцентрировался и прямо на глазах превратился в существо неземной красоты, точно сошедшее с церковного витража эпохи декаданса: два перста подняты в благословении; кукольное личико не выражает ничего, кроме абстрактной торжественности; одеяние переливается лазурью, золотом, пурпуром и кое-где по краям ядовитой прозеленью; седые локоны озарены дивным сиянием.

Президент дрогнувшим голосом спросил:

— Кто это?

— Бесполезно, — вздохнул Старик, принимая прежний облик. — Долго так не продержишься. Надо быть самим собой.

Побагровевший президент приложил ко лбу слегка дрожащие пальцы.

— Ведь этого на самом деле не было, да? Это был трюк, галлюцинация. — Он скучно хихикнул. — Как вы это проделываете? Не скажете? Еще бы! Если б я умел выкидывать такие штуки, то держал бы секрет при себе.

— А как насчет меня? — вступил в беседу мистер Смит. — Мой имидж ты подправить не хочешь?

— Тут я пас, — задушевно улыбнулся президент, пытаясь скрыть растущее внутреннее напряжение. — Согласно народным поверьям, Дьявол вездесущ и фиксированным обликом не обладает. Это злой дух, обитающий в темных глубинах человеческого сердца. Зато образ Бога-Отца в нашем воображении более или менее определен.

— За что спасибо художникам, как лучшим, так и худшим,— вставил Старик.

— Ваша правда, — снова хихикнул президент.

— Это они сделали Бога универсальным.

— Кажется, речь шла обо *мне*, — уязвленно заметил мистер Смит и безо всякого предупреждения превратился в стандартного Мефистофеля из провинциальной оперы: черное мятое трико, шлепанцы с загнутыми носами, черный же островерхий колпак, тоненькие усики, козлиная бородка. Картинностью позы мистер Смит мог посоперничать с какой-нибудь оперной знаменитостью викторианской эпохи.

Эта выходка разрядила обстановку, и президент расхохотался — по натуре он был человеком веселым и добродушным, вот только правильный имидж сильно его испортил.

Мистер Смит улыбался, наслаждаясь эффектом. Даже Старик снисходительно хмыкнул, оценив юмор компаньона.

Тот же постепенно возвращался к своему базовому обличью.

— По-вашему, это смешно? — строго спросил он.

— Да это просто умора! — Президент вытирал слезы салфеткой, которую извлек из серебряной коробочки с государственным орлом на крышке.

Естественно, ненавязчиво, как учили консультанты (пошутить иногда можно, и даже нужно, но никакой фривольности), президент перешел от веселости к серьезности.

— Вот что я вам скажу, ребята. — Лицо Первого американца приобрело страдальчески-провидческое выражение, которое, согласно опросу общественного мнения, импонировало 64% избирателей (19,5% не имели определенного мнения на сей счет). — Не знаю, как вам это удается. То есть понятно, что тут какой-то трюк, а как же иначе? Трюки бывают удачные и неудачные. Ваш — первоклассный. Да не один, а несколько! Но я дам вам совет, за который вы когда-нибудь скажете мне спасибо. Первое. Оставьте в покое Бога, не трогайте его. Это вопрос элементарного такта. Бог — это не смешно. И потом, не забывайте, люди в этой стране трактуют Его (с большой буквы «Е») по-разному. Коренные жители континента до сих пор стучат в бубен и пляшут вокруг тотемного столба. А еще есть мусульмане, иудеи, буддисты — да кого только нет! Многие конфессии настаивают, что только их вера правильная, а все остальные неправильные. Отсюда вытекает одно железное правило: Бог для шоу-бизнеса не годится. Он — табу. Табу, понятно? И второе. Вам нужен сюжет. Это очень просто. Сюжет. Ясно? Каждое представление должно иметь начало, середину и конец. Завязку, кульминацию и развязку. Держитесь этого золотого правила, и с вашими талантами вы далеко пойдете. Возможно, вам кажется, что уже поздновато начинать артистическую карьеру, но прочь сомнения. Настоящему таланту проявить себя никогда не поздно. Найдите хорошего агента, потом хорошего менеджера. Честное слово, не пожалеете. Ну и название для вашего номера тоже подберите. Броское такое, запоминающееся. А я непременно приду посмотреть, что у вас получилось. Только порепетируйте еще, уберите шероховатости. Договорились?

Старик и мистер Смит переглянулись, сочувственно улыбнулись друг другу.

— Что у вас написано на долларовых купюрах? — спросил Старик.

— Как что? «Один доллар».

— Нет-нет. Там есть девиз.

— А-а. «В Бога мы веруем».

— Какое многообещающее утверждение, — задумчиво произнес Старик. — Если бы только...

Внезапно распахнулась дверь и в комнату заглянул какой-то мужчина.

— Представляете, ответа так и... Что тут происходит?

— Все спокойно, все прилично, никаких оснований для паники, — пропел президент, умиротворяюще вскинув руки.

— Стоп. Уж не те ли это два придурка, которые...

— Они самые, — улыбнулся президент. — Представить их вам не могу, потому что они еще не подобрали себе сценических псевдонимов, а это мой пресс-секретарь Гловер Типтопсон.

Пресс-секретарь сразу сообразил, что босс пытается найти выход из потенциально опасной ситуации, и приступил к действиям: коротко кивнул незваным гостям, быстро (но без проявлений паники) подошел к большому зеркалу на подставке красного дерева и принялся со скучающим видом тыкать подряд во все медные завитушки рамы.

— Гловер, чем это вы занимаетесь? — с трудом сдерживаясь, спросил президент.

— Где эта чертова кнопка? — прошептал Типтопсон. — Никак не могу запомнить.

— А где она должна быть?

— Где-то на раме.

— Я могу вам чем-нибудь помочь? — участливо осведомился Старик.

— Нет-нет, — поспешно (но не слишком поспешно, чтобы не вызвать подозрений) ответил президент.

— Ага!

— Не вздумайте! — шикнул президент. — Сейчас прибежит целая орава с пушками.

— А я уже...

— Госс-поди боже...

— На двадцать секунд можем расслабиться? — спросил мистер Смит.

— Да, присядьте, пожалуйста, — пригласил хозяин. — Я и сам сяду. Что вы стоите, Гловер?

Все уселись.

— Надеюсь, они не перепутают, в кого стрелять, — неуместно пошутил мистер Смит.

Раздался гулкий топот, словно по мягкому ковру неслась галопом вся кавалерия США.

Охрана отработала операцию до совершенства — только этим и занималась, когда хозяин (и его предшественники) находились в отлучке.

Вбежали шестеро молодцов и синхронно застыли в малопристойной позе мотоциклиста без мотоцикла. Каждый выставил вперед грозный перст пистолетного ствола.

Один (видимо, командир) приказал:

— Вы, двое! Встать, лицом к стене, руки над головой, опереться ладонями о стену!

— Уберите вы эти пушки, — устало сказал президент.

— Мы действуем согласно инструкции!

— Вы что, Бромвель, меня не слышали?

— Не обижайтесь, сэр, но тут уж моя епархия.

— С кем вы, по-вашему, разговариваете?

— Со своим президентом, сэр. И я отвечаю перед народом за вашу безопасность, сэр.

— Я не только президент, Бромвель, но еще и верховный главнокомандующий. Поэтому немедленно уберите оружие. Это приказ.

Казалось, Бромвель сейчас взбунтуется. После мелодраматической внутренней борьбы, не делая тайны из обуревавших его эмоций, он наконец уступил.

— Ладно, парни. Слышали, что президент приказал?

— Ах, Гловер, зачем вы только нажали эту чертову кнопку? — обругал хозяин пресс-секретаря и вновь обратился к своим защитникам: — Не дуйтесь, ребята.

Я благодарен, что вы примчались сюда так быстро. Но никакой опасности нет. Два этих старых клоуна придумали шикарное представление, но не умеют его как следует подать. Только и всего.

— Я узнал их, сэр. В первый момент не сообразил, а сейчас узнал. Клоуны не клоуны, но их разыскивает ФБР. Как особо опасных преступников.

— Неужели? — искренне поразился президент.

— Они все время исчезают, сэр. Где бы ни зацапали их наши агенты, они тут же растворяются в воздухе. А это уголовное преступление, сэр.

— Правда?

— А как же. Сопротивление аресту, сэр.

— Но почему их решили арестовать? Прошу прощения, но у меня еще не было времени прочитать отчет.

— Изготовление фальшивых денег.

— Нет, серьезно?

— Плюс попытка поджога. Ну и всякие делишки помельче: неуплата по счету в гостинице, мелкое воровство, хулиганство и прочее.

Президент обернулся к Гловеру:

— Как легко ошибиться в людях! А я готов был побиться об заклад, что передо мной парочка совершенно безобидных старых идиотов. Не принимал мер, просто тянул время, надеясь, что кто-нибудь сюда заглянет. Решил немного им подыграть. А тут выясняются такие вещи...

— Собственно, фальшивых денег мы не изготавливали, — заметил Старик. — Я просто порылся в карманах, и купюры вылетели сами.

— Да ты покажи им, — подтолкнул его мистер Смит. — Классный трюк. Смотрите!

— Не стоит, — сконфузился Старик. — Ты же видишь, им это не нравится. Я не хочу озлоблять их еще больше.

— Если вы ни в чем не виноваты, доверьтесь правосудию, — посоветовал хозяин. — Суд вынесет вам оправдательный приговор. У нас в стране властвует закон, и никто, ни один человек, даже президент, не может быть выше закона. Так что сдайтесь защитникам правопорядка. Нельзя же все время находиться в бегах и растворяться в воздухе. Тоже мне подвиг! В этом нет ничего конструктивного. Глумление над законом и попытка поставить себя выше его — вот как это называется.

— Может, он прав? — неуверенно спросил Старик.

— Не верь ни единому слову! — вскинулся мистер Смит. — Он говорит, как телевизор. Меня сейчас стошнит!

— «Как телевизор»? Что это значит?

— Я достаточно насмотрелся этой отравы во время нашей с тобой телевизионной оргии, так что могу сделать кое-какие общие выводы. В телевизоре присутствуют все симпатичные мне ингредиенты: насилие, извращения, жестокость, бессердечие, зло, пытки, кровопролитие, цинизм. Но каждый раз в конце телевизор непременно все обгадит, сделает неизбежный сиропный реверанс в твою сторону. Там у них всегда торжествует закон или, того противней и претенциозней, Справедливость, как будто у людей может быть хоть какое-то понятие об истинной справедливости!

— Ты бы полегче, поснисходительней, — мягко упрекнул компаньона Старик. — Мы ведь сюда явились не затем, чтобы демонстрировать свое превосходство.

— Но и не затем, чтобы выслушивать идиотские советы! — бушевал мистер Смит — он рассердился не на шутку. — Клоуны?! Другую щечку подставить, да? Я терпел твои инфантильные штучки, твои песенки для самых маленьких, но с меня хватит! Музыка больше не играет!

— Я вовсе не хотел вас обидеть, — успокоительно раскинул руки президент.

— А все равно обидел! У меня тоже своя гордость имеется!

Президент многозначительно покосился на Бромвеля, так что теперь в случае служебного расследования начальник охраны мог с чистой совестью сказать, что верховный главнокомандующий подмигнул ему, явно взывая о помощи.

— Операция «Джесси Джеймс»! — рявкнул Бромвель.

В руках телохранителей, как по мановению волшебной палочки, снова появились пистолеты, а раскоряченная поза стала еще неприличней.

— Идите вы с вашими игрушками! — отмахнулся мистер Смит.

— Стоять на месте! — грозно предостерег Бромвель.

— А если не буду?

Никогда еще, с самого момента рокового падения, мистер Смит не чувствовал себя таким сердитым.

— Получишь пулю. Это последнее предупреждение. Сядь на место, руки за голову!

Смит медленно шагнул к Бромвелю. Тот попятился.

— Даю тебе последний шанс!

— Перестань интересничать! — вскричал Старик, распрямляясь во весь рост.

В первый миг могло показаться, что его слова на мистера Смита подействовали. Правонарушитель заколебался и переспросил:

— Интересничать?

— Я и так знаю, на что ты способен. Кстати говоря, не только ты. Производить впечатление на людей — подвиг небольшой. Хоть бы об обоях подумал. Тебе-то пуля не повредит, а им?

— В такой момент он думает об обоях! — драматически воскликнул мистер Смит, давая понять, что его гнев все так же неукротим. — От лица обоев, лишенных дара речи, позволь поблагодарить тебя за сострадание.

И вновь обернулся к Бромвелю, всячески изображая, что сейчас отберет у несчастного оружие.

— Я чувствую, что с ним можно договориться! — поспешно заметил президент. — Мне это подсказывает интуиция.

Бромвель выстрелил. Дважды.

Мистер Смит кинул на него изумленный взгляд, схватился за грудь и посмотрел на сочащуюся меж пальцев кровь. Потом, не меняя выражения лица, немного покачался туда-сюда и рухнул. Старик раздраженно махнул рукой и снова сел.

— Зачем вы так, Бромвель? — спросил президент.

— С психом договариваться бесполезно.

Президент знал, с чего начинать в экстремальных ситуациях:

— Гловер, чтоб никакой утечки в прессу. Ни слова, ясно? Ребята, могу я на вас рассчитывать?

Нестройный хор клятвенных заверений был ему ответом.

— Я объясню, почему этот маленький инцидент лучше замять, мальчики. Если журналисты пронюхают про стрельбу в Белом доме, наша служба безопасности предстанет в невыгодном свете. У ФБР будут неприятности, зато ваши коллеги из ЦРУ здорово обрадуются.

Мальчики издали сдержанный смешок, оценив объективность хозяина.

— Всё, операция «Джесси Джеймс» закончена.

Пистолеты исчезли в кобурах.

— Надеюсь, вы понимаете, чем вызвана эта маленькая предосторожность, — обратился президент к Старику, — и не станете распространяться о случившемся.

Старик неторопливо развернулся к нему.

— А кто мне поверит? Я явился сюда, объяснил, кто я, но вы не вняли. Разве кто-нибудь в здравом уме поверит, что я вообще был в Белом доме? Или я похож на того, кого президент приглашает в гости?

— Не похож, — признал президент и, спохватившись, придал лицу выражение сдержанной скорби — оно предназначалось для соболезнований вдовам. — Мне очень жаль, что так получилось с вашим приятелем. Но ребята из службы безопасности не виноваты.

Старик покосился на бездыханное тело.

— О нем можете не беспокоиться. Он любит подурачиться.

— По-моему, подурачиться подобным образом можно не более одного раза.

— О, не скажите. — Старик как-то внезапно приугас, словно ощутив на плечах тяжкий груз веков. — Ему не понравилось, когда вы обозвали нас клоунами. Я-то отношусь к этому спокойно, хотя и меня вы тоже обидели, несколько ранее...

— Обидел? Уверяю вас, это произошло совершенно непреднамеренно.

— Вы сказали, что Бог — это не смешно.

— А что, разве не так?

— Да как вы можете! Вы видите мое Творение и утверждаете, что мне неведомо смешное? Даже мистер О'Бирал, и тот понимал! А рыба с обоими глазами на одном боку? А коалы, кенгуру валлаби и мартышки? А гиппопотамы в любовном пылу и омары в сезон спаривания? Омаров вы видели? Они похожи на два сломанных стула, когда тычутся друг другу ножками в эрогенные зоны. И представьте, как забавно смотрится человеческая любовь глазами омара! По-вашему, все это не смешно?

— Я имел в виду, что Бог нам смешным не кажется.

— Какое оскорбление! И неправда! Зачем же изобрел я уникальное явление — смех? Он дарован только человеку, и больше никому. Я же хотел, чтобы вы могли оценить мои шутки. Смех — лучшее лечение, бальзам, прививка от напыщенности и помпы. Самое удачное мое изобретение, самое тонкое и сложное открытие! Удачнее только любовь!

Мистер Смит потихоньку сел, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда телохранители спохватились и снова вытащили пистолеты, он невозмутимо сказал:

— Вы уже попробовали — не получилось. Зачем же пытаться еще раз?

— Ты чего, даже не ранен? — ахнул Бромвель.

— Удивился? А меня удивляет ваше тщеславие. Как легко вы поверили, что я мертв!

— Ну я-то не поверил, — заметил Старик.

— Я тебя в виду не имел.

— Хм, а где ты научился так живописно умирать?

— Как где? Телевизора насмотрелся. Хороши же вы, нечего сказать. Я тут лежу, истекаю кровью, а они думают только о том, как «замять этот маленький инцидент». В интересах имиджа службы безопасности! Ну и видок у вас был! При этом вы совершенно упустили из виду одно обстоятельство, на которое непременно обратили бы внимание слуги. Такая неосмотрительность!

— Что такое? — испугался президент.

— А испорченная стенка? Мой друг вас предупреждал. Слуги увидят, поползут сплетни. Знаете, как оно бывает, в свободном-то обществе?

Охранники кинулись к стене, но следов пуль не обнаружили. Тогда мистер Смит вскочил на ноги и эффектно выплюнул в пепельницу два кусочка свинца.

— Обо всем-то я должен заботиться сам! Ладно уж, даю слово, что никому не расскажу, что вы тут натворили.

— Большое спасибо, — пролепетал укрощенный президент. — Бромвель, заберите пули из пепельницы!

— А теперь нам пора, — сказал Старик.

— Как бы не так! — очнулся Бромвель, спрятав пули. — А кто будет держать ответ по предъявленным обвинениям?

— И вы настаиваете на ваших обвинениях, хотя мы наглядно вам продемонстрировали, какое это бессмысленное занятие?

— Да, настаиваю!

— Я вам ничем помочь не могу, — пожал плечами президент. — Как я уже объяснял, никто не может быть выше закона.

— Точно, — подтвердил Бромвель. — Скажите спасибо, что на вас чего-нибудь похуже не навесили. Лучше сдавайтесь по-хорошему, пока совокупность не набежала.

— Может быть, предстанем перед судом и покончим с этим недоразумением? — спросил Старик компаньона.

Президент просиял лучезарной улыбкой:

— Мудрые слова! Вам нечего особенно бояться. Все пройдет тихо, без шума. Сейчас столько всяких других скандалов! Например, член Верховного суда влюбился в проститутку мужского пола. Сенатор отмывал деньги мафии. Член кабинета брал взятки от компании по производству сливных бачков. Большой генерал загулял с никарагуанской стюардессой. Да мало ли! Ваши проделки по сравнению с настоящим скандалом — детская игра. А самое паршивое то, что все эти типы сразу садятся писать мемуары, подставляя массу людей, которые до тех пор почитались чистенькими. Пообещайте мне, что не станете писать мемуары.

— Так пойдем на суд? — еще раз спросил Старик.

Мистер Смит непреклонно ответил:

— Нет.

— Какая разница, когда исчезать — сейчас или чуть позже?

— Потеряем драгоценное время.

— Если снова исчезнете, совершите еще одно преступление, — предупредил Бромвель.

— Да что вы к нам привязались? — возмутился мистер Смит. — Если мы и сделали что-то не так, то исключительно по неопытности. Разве мы кого-то хоть пальцем тронули?

— А уж в этом разберется суд.

— В чем «этом»?

— Имя Кляйнгельд вам что-нибудь говорит?

— Нет.

— Да, — поправил компаньона Старик. — Это психиатр, с которым я беседовал в больнице.

— Причем психиатр, аккредитованный при ФБР. Я не знаю, что у вас там с ним произошло, но после беседы его жизнь резко переменилась. Он лишился и практики, и аккредитации. Основал движение «Психиатры за Бога и Сатану». Насколько нам известно, на сегодняшний день доктор является единственным членом этой организации. Почти все время он пикетирует Белый дом с транспарантом.

— И что там написано?

— «Требуем почета для Бога и для Черта!»

— В каком смысле?

Бромвель необаятельно ухмыльнулся:

— По-моему, все ясно. Движение из одного человека, ха! — Голос его посуровел: — Хватит болтать. Пошли!

— Да-да, идем и покончим со всем этим, — отрешенно вздохнул Старик.

Неожиданно мистер Смит сменил манеру поведения — сделался добродушным и при этом каким-то поразительно самоуверенным. Улыбнувшись почти кокетливо, он сказал:

— Вечно вы не продумываете свои решения до их логического завершения. Так гордитесь своей принципиальностью, что совершенно не заботитесь о последствиях.

Президент начинал злиться. Такой нервный эпизод с утра пораньше! Скорей бы уж все это кончилось.

С механической улыбкой он заметил:

— Почему бы вам не последовать примеру вашего приятеля? Доверьтесь закону.

— Сейчас объясню почему, — задушевно ответствовал Смит. — Вы ведь хотите, чтобы это событие сохранилось в тайне. Я уже оказал вам неоценимую услугу — во-первых, не умер, а во-вторых, закрыл свои телом обои. Давайте я расскажу, что будет дальше, если действовать по вашему сценарию. На нас надевают наручники, ведут под конвоем коридорами, мы едем на лифте, выходим через двери... Сколько народу мы встретим на пути? Уборщиц, клерков, а то и журналистов, а? Представляете, какой фурор мы произведем? Двое в наручниках — один в рясе, второй в дивной маечке, — а вокруг мрачные морды мальчиков из президентской охраны. Не получится ли как раз то, чего вы так стремитесь избежать? И все из-за вашего хваленого пиетета перед законом.

Президент наморщил лоб. Снова трудное решение.

— Он прав.

— А что делать, сэр?

Проигнорировав вопрос Бромвеля, хозяин обратился к мистеру Смиту:

— Что вы предлагаете?

— Вы предоставляете нам сомнительную привилегию исчезнуть — с полнейшего вашего одобрения и даже по вашей настоятельной просьбе.

Президент страдальчески поиграл желваками.

— О'кей.

— Поскольку мы исчезнем с вашего благословения, никаких новых претензий со стороны закона — если мы когда-нибудь все же попадем в его руки — не возникнет.

— О'кей.

— Слово президента? — и мистер Смит протянул руку.

— Слово президента. — Хозяин ответил на рукопожатие и отчаянно взвизгнул.

— Что такое? — развеселился мистер Смит.

— Ваша рука! Она не то очень холодная, не то очень горячая. Я не понял. Катитесь отсюда к чертовой матери!

— Но, сэр... — заикнулся Бромвель.

На него-то президент и накинулся:

— Черт бы вас побрал, Бромвель, вся история этой страны построена на компромиссах! Это мы, американцы, изобрели торговлю следствия с преступником. Всему свое время и место — как высоким словам, так и деловому прагматизму. Это сочетание позволяет этике бизнеса быть одновременно и принципиальной, и гибкой. Да, я хочу, чтобы этих типов арестовали. Но еще больше я хочу, чтобы они исчезли с глаз моих долой! Это вопрос приоритетности!

Тут как раз из коридора донесся звук шагов.

— Ты не устаешь меня поражать, — признал Старик, глядя на мистера Смита с восхищением. — Раз за разом я оказываюсь посрамлен... Давай первым.

— Нет уж, после вас. Хочу убедиться, что ты тут не останешься.

— Позвольте поблагодарить вас... — обратился Старик к президенту, но тот шикнул на него:

— Убирайтесь! Брысь! Кыш!

Обидевшись, Старик моментально исчез.

— А теперь ты! — рявкнул президент на мистера Смита, прислушиваясь к приближающимся шагам.

Смит улыбнулся и безмятежно сказал:

— Любопытно посмотреть, кто это.

— Нет-нет-нет! — Президент аж согнулся, засучил руками, затопал ногами.

В тот самый миг, когда в дверь заглянули двое военных, мистер Смит растворился в воздухе.

— Что здесь происходит, господин президент? — спросил один из офицеров.

— Так, ничего. Ровным счетом ничего, полковник Боггад.

— Извините, что врываемся к вам в гардеробную, сэр, — подал голос второй военный. — Хотя, я вижу, не мы первые. Нам доложили, что прозвучал сигнал тревоги. Потом мы слышали два выстрела. Вот и решили узнать, в чем дело.

— Президент захотел проверить меры безопасности, не ставя об этом в известность ответственных лиц, — соврал Гловер Типтопсон.

— Да, — подтвердил президент, вновь обретший олимпийскую невозмутимость. — Какая же это проверка, если все знают о ней заранее. Мы ведь тут не пассажиры на туристическом лайнере, которых учат в шлюпки садиться.

— Отличная идея, сэр. Но столь неожиданная инициатива могла закончиться человеческими жертвами. Кто стрелял? И в кого?

— По приказу главнокомандующего мы произвели два выстрела в окно, — сообщил Бромвель и откинул барабан револьвера, чтобы продемонстрировать две пустые гильзы.

— Повреждений нет?

— Никак нет, сэр.

Старший из офицеров огляделся по сторонам и сказал:

— Ладно, Ли, идем. В следующий раз, когда будет проверка, неплохо бы предупредить дежурных. Хотя бы из вежливости.

— Учтите, генерал Бэнкрот: надежная система безопасности не терпит полумер.

Бэнкрот и Боггад удалились, пристыженные.

— Мистер Бромвель, инцидент исчерпан. Благодарю всех за понимание и помощь.

— Мы этих сукиных котов из-под земли достанем, — чуть не плача пообещал Бромвель.

Президент цыкнул на него, чтоб говорил потише, и утешил:

— Ничуть в этом не сомневаюсь.

Телохранители гуськом продефилировали за дверь.

— Ситуация под контролем, — констатировал хозяин и вновь обрел свою всегдашнюю энергичность. — Гловер, прежде чем я надену штаны, покажите мне, где там эта поганая кнопка.

* * *

Компаньоны совершили идеально мягкую посадку на тоскливой улочке, в одном из самых бедных и до клаустрофобии тесных районов города Токио. <...>

Какое-то время они стояли молча под проливным дождем. Вода хлестала из водосточных труб в железные баки, переливалась через края, заливала булыжную мостовую. На узкой улочке было пусто, лишь изредка процокает деревянными шлепанцами какая-нибудь старушка, и снова ни души.

— Куда мы теперь? — спросил Старик.

— В Японии не так-то просто найти нужный адрес. Дома здесь нумеруют не по расположению, а по времени строительства... По-моему, вон та подворотня.

— Вижу подворотню, но не вижу в ней двери.

— В бедных кварталах такое часто бывает. Зато посмотри под крышу — видишь, там что-то поблескивает? Это око электронного следящего устройства.

— Нас можно видеть изнутри?

— Да, и каждое наше движение записывается на пленку.

— И кто же нам нужен в этом доме?

— Мацуяма-сан.

Они перешли на другую сторону улицы, стараясь не промочить ноги, а это было непросто, так как по мостовой несся бурливый поток, желтый от грязи и глины. <...>

На компаньонов нацелилось циклопье око радара и, видимо, осталось неудовлетворено осмотром, потому что из подворотни внезапно вылетели четыре свирепых барбоса, молчаливые, мрачные, бескомпромиссные. Мистер Смит взвизгнул и спрятался за Старика.

— Не советую превращаться в какого-нибудь внушительного зверя, — заметил Старик. — Эти собачки все равно не испугаются. Им вообще неведом страх.

— Что это за порода такая? — пролепетал мистер Смит, клацая зубами.

— Акиты. С четырьмя такими сторожами никакие запоры не нужны.

Старик простер руку и сказал (разумеется, по-японски):

— Сидеть.

Псы послушно сели и впились белесыми глазищами в Старика в ожидании последующих приказаний.

— Неплохо, — признал Смит. — Однако собаки запросто могут и встать.

Старик чуть опустил руку, повернул ладонь вниз.

— Лежать.

Акиты улеглись, но взгляд их оставался все таким же сосредоточенным.

— Может, пусть немножко поспят? — предложил мистер Смит. — А еще лучше, уснут надолго. Вечным сном, а?

Старик слегка зашевелил пальцами, словно играя гамму на невидимой клавиатуре.

— Придется повозиться. — Его голос зазвучал мечтательно, убаюкивающе. — Ой, как же вам хочется спать, — сообщил гипнотизер барбосам. — Вам приснятся косточки... много косточек...

Собаки вовсе не выглядели сонными и неотрывно смотрели на Старика .

— Я же говорю, придется повозиться.

— Можно внести предложение?

— Какое? — раздражился Старик, считая, что мистеру Смиту в его жалком состоянии можно было бы обойтись и без умничанья.

— Мне кажется, будет эффективнее, если ты поговоришь с ними не по-польски, а по-японски.

— Я заговорил по-польски? Старею.

И Старик перешел на японский собачий:

— Вам очень хочется спать... Видеть сны о косточках...

Внимательные глаза один за другим закрылись.

— Вам снится, что в дом пробрались чужие...

Акиты нервно задергали всеми шестнадцатью лапами.

— А вы их ка-ак цапнете за лодыжку...

Ощерились четыре клыкастые пасти, на мохнатых мордах выступила пена.

— Ну вот... а теперь можно спокойно спать... спать...

Псы погрузились в глубокий сон.

— А они не проснутся до нашего возвращения?

— Не проснутся. Идем.

Когда на пороге появились двое незнакомцев, в доме началась настоящая паника — заметались какие-то уменьшенного размера женщины, по-средневековому закланялись, бормоча извинения, суетливые молодые люди.

— Мацуяма-сан? — обронил мистер Смит с высокомерием самурая, принесшего вызов на дуэль.

Челядь расступилась, словно воды морские, и пропустила компаньонов внутрь. Комнат в доме оказалось на удивление много, причем все были похожи друг на друга: голые стены, низкие столики, кое-где — свернутые одеяла.

В самой дальней из комнат обнаружился старичок, сидевший на диковинном сиденье — большой подушке с плетеной спинкой. Старичок был совсем древний, его усохшее, морщинистое личико разительно контрастировало с массивным, лысым черепом, где кожа напоминала гладкую поверхность барабана. Такая неравномерность натяжения кожного покрова, очевидно, доставляла Мацуяме-сан известные трудности: рот его был перманентно полуоткрыт, в уголке поблескивала слюна. Когда приходилось говорить, старичок произносил слова медленно и неуверенно, с натужным причмокиванием. Глаза (впрочем, обычно зажмуренные) были неопределенно-глиняного цвета и казались двумя узенькими шрамами. Несколько седых волосков обрамляли лысину сиротливыми травинками на берегу пруда.

— Мацуяма-сан? — вновь произнес мистер Смит.

Едва заметный кивок.

Мистер Смит опустился на корточки и жестом предложил Старику сделать то же самое, однако тот предпочел сесть на пол.

— Мы — друзья. Приехали издалека, — громко сообщил мистер Смит, резонно предположив, что старичок глух как пень.

Мацуяма-сан поднял узловатый палец, что означало: сейчас буду говорить, а вы уж решайте сами, слушать меня или нет. С иностранцами старичок говорил по-английски, с собаками и слугами — по-японски.

— Я видел, как вы обошлись с моими акитами.

— Видели? Каким же образом? — прокричал мистер Смит.

Высохший палец ткнул в какую-то кнопку на обширном пульте, и одна из бамбуковых стен уползла в потолок, обнажив целую когорту телевизоров — их тут было по меньшей мере штук сорок, и каждый показывал какой-нибудь завод или цех. На самом крайнем экране светилась знакомая подворотня с мирно спящими собаками.

— Сильный препарат.

— Это не препарат, — ответил мистер Смит, — а самое настоящее чудо Господа Бога.

Мацуяму-сан эти слова несказанно развеселили, и он затрясся в беззвучном смехе.

— Что тут смешного?

— Бог.

Старик принял вид оскорбленного достоинства, а хозяин дома непостижимым образом внезапно перешел от веселости к ярости. Он злобно ткнул пальцем в другую кнопку — в комнату, низко кланяясь, вошел молодой человек в кимоно. Мацуяма-сан показал ему три пальца, потом еще два.

— Тридцать второй экран, — шепотом повторил секретарь и издал неповторимо японский звук, выражавший гипертрофированное неодобрение и более всего похожий на приглушенное гудение тромбона в нижнем регистре.

— Что случилось? — поинтересовался мистер Смит.

Молодой человек посмотрел на Мацуяму-сан — можно ли ответить. Разрешение было дано — таким микроскопическим кивком, что заметить его мог только человек привычный.

— На заводе номер тридцать два, в префектуре Яматори, где компания производит турбины для подводных лодок и электронные синтезаторы, две минуты назад закончился обеденный перерыв, а кое-кто из служащих до сих пор смеется.

Секретарь взял телефонную трубку и нажал две кнопочки — очевидно, линия была прямой. Произнеся несколько отрывистых, сердитых фраз, молодой чело-

век вновь устремил взгляд на экран номер тридцать два. Работницы расходились по рабочим местам. Мацуяма-сан повернул рычажок, чтобы включить звук. Появился начальник, выкликнул по бумажке два имени и принялся отчитывать виновниц, которые замерли на месте, низко кланяясь и чуть не плача. Все это было похоже на сцену наказания в каком-то зловещем детском саду.

— Что происходит? — спросил любопытный мистер Смит.

— Сотрудниц клавишного сектора синтезаторного цеха наказывают за смех после окончания перерыва.

— И какое наказание?

— Штраф. Половина недельной зарплаты. Если повторится еще раз, будут уволены. А если будут уволены, то не смогут найти работы ни в одной солидной японской компании в течение пяти лет. Такое соглашение подписали крупнейшие корпорации по инициативе господина Мацуямы, который владеет крупнейшей из крупнейших корпораций.

— Такая страшная кара за хихиканье после окончания перерыва?

— И за хихиканье до начала перерыва тоже.

— Ну, а во время перерыва хихикать можно?

— На то он и перерыв, чтобы отхихикаться.

— Тяжело, наверно, приходится неисправимым хохотушкам.

Этого замечания Мацуяма-сан, судя по всему, не понял и решил не полагаться на клеврета — внести собственную лепту в разъяснение:

— Мацуяма-сан дает работу двум миллионам человек, — сказал он о себе в третьем лице и показал два пальца.

— Не может быть! — ахнул Старик.

— Так вы — Бог?

— Бог.

Японец игриво хмыкнул и поднял палец.

— А меня зовут Смит! — крикнул мистер Смит.

— Американец, — констатировал Мацуяма-сан.

— С чего вы взяли?

— Бог тоже американец.

Старик и мистер Смит переглянулись.

Трудно было понять: то ли Мацуяма-сан в полном маразме, то ли имеет склонность к иронии.

— А кто Бог, если не американец? — на пределе доступной в его возрасте веселости сказал японец. — Разве Америка — не любимая страна Бога?

Старик пришел к выводу, что это высказывание носит явно враждебный характер, и решил сменить тему разговора:

— Странно, что такой богатый и могущественный человек живет в бедном районе.

— Бог не понимает? — спросил Мацуяма-сан, и лицо его помрачнело, сделавшись до жути похожим на маску смерти. — У японцев не один бог. Много. Японцы почитают семью, предков. Я не почитаю предков. Мои предки плохие. Из-за них я все должен был делать сам. Родился здесь, в этом доме. Предки тоже. Повара, плотники, лудильщики, воры. Всякие. Много родственников. Старые, молодые, совсем маленькие. Дяди, тети, двоюродные, троюродные. Все здесь. Шум, гам, никакой тишины. Теперь тут я один. Много тишины, много мыслей, много рассуждений. Братья все умерли. Сестры все умерли. Дети или умерли, или живут в больших домах с бассейном, водопадами, мостиками. Богатые. Пикники устраивают. Два сына были камикадзе. Топили вражеские корабли, погибли. Один в конце войны убил себя. Ему стыдно было. Кому как повезло. Я остался живой. Хранил японские традиции. Двум миллионам дал работу. Скоро еще дам. Вражеских кораблей больше не топим. Устарело. Топим вражеские автомобили, телеви-

зоры, видеокамеры, часы, аудиотехнику. Другие времена. Добра и зла больше нет. Устарели. Другой критерий. Будущее. Эффективно или нет. Иметь или не иметь. Самураи снова воскресли. В бизнесе. Теперь дуэль на собрании акционеров.

— Минуточку! — взорвался Старик. — Вы хотите сказать, что понятие эффективности — неэффективности вытеснило добро и зло? Я вас правильно понял?

— Очень правильно. Новое измерение в поведении человечества. Конкуренты тоже говорят про эффективность, но не доводят до логического конца. У них комиссии по контролю качества и прочая ерунда, а хихикать в рабочее время можно. Качество и хихикать несовместимо. Никаких компромиссов в борьбе за тотальную эффективность. Формула такая: тотальная эффективность есть тотальная добродетель.

— Любопытно, — задумчиво произнес Старик. — Мы с мистером Смитом стараемся вести себя и разговаривать как смертные, чтобы не давить на людей своим превосходством. Элементарная вежливость. А вы, Мацуяма-сан, говорите, словно вы бессмертны. И совершенно непонятно, с какой стати.

На сморщенном личике возникла легчайшая тень улыбки.

— Очень острое наблюдение, — прошептал Мацуяма-сан и нажал указательным пальцем еще одну кнопочку.

Бамбуковая ширма у него за спиной уползла под пол, и гости увидели какой-то весьма необычный аппарат.

— Машина по поддержанию жизни. Последняя ступенька на пути к бессмертию. А моим заводам приказано в течение пяти лет разработать технологию вечной жизни. Вчера получил секретный отчет. Большое счастье. Работы идут успешно. Пять лет не понадобится.

— А если вы умрете раньше?

— Меня тут же подключат к машине по поддержанию жизни. У меня в коже уже проделаны входные отверстия для сенсоров. На затылке пропилена прорезь. Дискету вставлять. Мысли во сне будут регистрироваться. Могу давать закодированные приказы даже в коме. Остался всего один шаг, и все достойные обретут бессмертие.

— Несчастный глупец! Неужели вас радует подобная перспектива?

Мацуяма-сан проглотил оскорбление, как таблетку. Помолчал, потом продолжил:

— Много лет обхожусь без радости. Вместо радости достижения.

— Вы жили без любви? — недоверчиво спросил Старик.

— И без ненависти? — чтобы не отставать, подпел ему мистер Смит.

— Ах да, любовь. Последние полвека, больше, один час в день для жены, один час для гейши, один час для проститутки. Не знаю, одни и те же женщины или меняются. Маловероятно, что те же самые. Но у них инструкция: быть приятными, а остальное неважно. — Личико долгожителя насупилось и после некоторого колебания он признался: — Понимаете (указательный палец поднялся вверх), уже много лет я с трудом различаю лица. Вижу только достижения и нарушения.

— А сколько у вас было детей?

— Невозможно ответить. Понятия не имею. Все мои служащие, два миллиона двести сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят три человека, мне как дети. Я их когда надо хвалю, а когда надо наказываю. Возможно, молодые люди, которые живут в доме, — мои сыновья. Я с ними обращаюсь плохо. И зрение портится. Но собак различаю и помню по именам: Божественный Гром, Небесный Вулкан, Грозная Молния и Воин Императора. Помню и их почтенных родителей — их звали Вздох Дракона и Хрупкий Цветок.

— Вот вы говорите, что стали плохо видеть. Чем вы сможете заменить глаза, даже если достигнете бессмертия?

Мацуяма-сан вновь изобразил подобие улыбки.

— Специальные линзы. Уже опробованы. Зрительный нерв искусственный, вживлены специальные сенсоры. Слух тоже разработан. Стереофонические микрофоны с полгорошины величиной вживляются в барабанную перепонку. Слышишь и видишь лучше, чем младенец.

— И вы не боитесь, что гордыня губительным образом отразится на вашем характере? — медленно спросил Старик.

— Глупый вопрос, — скривился Мацуяма-сан. — Гордыня? Я ничего, кроме гордыни, не знаю. Я отдаю приказы. Повелеваю. Смысл моего существования.

— Испытываете от этого удовольствие?

— Испытывать удовольствие — проявление слабости, порок. Плохое слово «удовольствие». Я не испытываю удовольствия. Я просто существую. Всё.

— Так я научу тебя смирению! — громогласно воскликнул Старик. — Я поставлю тебя на место! Смотри на меня!

— Смотрю, Бог, — с явной насмешкой откликнулся японец.

— Не вижу твоих глаз! Учти, повторять не буду! Я тоже стар, а это требует больших усилий. Готов?

— Что ты сделаешь? Докажешь, что у Бога еще остается немножко силы?

— Вот именно. Считаю до трех, а ты следи. Больше от тебя ничего не требуется.

— По-моему, ты решил обходиться без эффектов, — прошипел мистер Смит.

— С этим упрямцем другого способа быть не может! — прогремел Старик. — Раз, два, три!

И растворился в воздухе.

Исчезновение Старика ничуть не впечатлило японца, зато мистер Смит явно занервничал. Ему отнюдь не улыбалась перспектива остаться одному в этом тихом дурдоме. Все время, пока Старик отсутствовал, Смит не сводил глаз с монитора номер один, где дрыхли лохматые акиты. Через десять секунд, показавшихся покинутому десятью минутами, Старик материализовался. Вид у него был величественный.

— Ну?

Никакого ответа. Мацуяма-сан не отреагировал на произошедшее. Он сидел абсолютно неподвижно с отсутствующим выражением лица, статичный, как пенек.

— Спит, — растерянно констатировал Старик.

— Или помер, — предположил мистер Смит. — От шока. Позвать молодого человека, чтоб подсоединил его к машине? Или самому попробовать? Вон какие-то провода.

— Спит, — повторил Старик и грозно откашлялся, произведя звук, похожий на гул недальнего землетрясения.

Личико японца чуть дернулось.

— Прошу извинения. Из вежливости. Мог бы не просить. Уснул. В моем возрасте непредсказуемым остается только сон.

— Так ты ничего не видел? — ахнул Старик.

— У меня создалось ощущение, возможно ошибочное, что вы на время покинули комнату, а потом вернулись обратно.

— Покинул? Через дверь?

— А как же еще?

— Как еще?! Смотри в оба глаза и больше не спи! Третий раз делать не буду! Сюда смотри! Иначе предоставлю тебя твоей злосчастной судьбе и никогда больше не вернусь, понял? Итак, внимание!

Он махнул рукой у японца перед носом.

— Смотрю, — едва заметно кивнул Мацуяма-сан.

— И не отвлекайся. Раз, два, три!

И Старик опять исчез.

На сей раз мистер Смит заметил некоторую реакцию: Мацуяма-сан придирчиво огляделся по сторонам, внимательно обозрел потолок. Когда через положенные десять секунд Старик вернулся, японец даже вздрогнул.

— Так что?

— Сколько? — ответил вопросом на вопрос Мацуяма-сан.

— В каком смысле?

— Сколько хотите за патент?

— Не верю собственным ушам, — сник Старик.

— Плачу хорошо, однако не чрезмерно. Трюк удачный, но несложный. Сто тысяч долларов. Если откажетесь, мы сами разработаем аналогичную технологию, просто это займет немножко времени. В ваших интересах согласиться.

— Да соглашайся ты! — взмолился мистер Смит. — Хоть получим наконец нормальные деньги. Целых сто тысяч!

— Не могу, — отрезал Старик. — Я знаю, как это делается, но торговлей не занимаюсь. Да и потом, этому не научишь. Либо дано, либо нет.

— Какая разница? Сделай вид, что продаешь. Давай я продам ему технологию. Я тоже умею исчезать. Мне торговля не претит.

— Это был бы обман.

— Такого грех не обмануть.

— Обман вне сферы этики.

— Плевал я на сферу этики!

Мацуяма-сан поднял палец:

— Я вижу, вы спорите, но ничего не слышу. Делаю окончательное предложение. Сто двадцать тысяч американских долларов или эквивалент в японских иенах за продажу мировых прав на фокус с исчезновением.

— Он назвал чудо фокусом! Это последняя капля! — закипел Старик, но тут истерически заклекотал Смит:

— Смотри, смотри! Первый экран! Полиция!

В самом деле — на первом мониторе появились фигуры в пуленепробиваемых жилетах, крадущиеся вдоль улицы по направлению к дому. Один из полицейских пнул лежащую акиту, которая немедленно проснулась и вцепилась ему в лодыжку.

— Псы просыпаются!

— Ну не могу же я уследить за всем сразу, — поморщился Старик.

— Вызвал полицию, когда вы усыпили моих собак, — сообщил Мацуяма-сан, показав пальцем на красную кнопку. Потом покрутил какую-то ручку, и стали слышны звуки улицы. Пробудившиеся акиты свирепо рычали, укушенный отчаянно вопил, товарищи пытались отцепить от него намертво прилипшего пса. Внезапно на экране возникли двое: высоченный блондин и маленький японец с какими-то начальственными иероглифами на каске. Физиономию блондина объектив изрядно искажал, но голос был слышен отчетливо:

— О'кей, всё как договорились. Ваши люди входят первыми, я — следом. Главное не дать им возможность исчезнуть прежде, чем я зачитаю им права. Ни в коем случае не напугайте их. Пусть думают, что это обычная проверка. Мол, сигнализация по ошибке сработала. Когда они успокоятся, появлюсь я и попробую с ними договориться.

Японец кивнул.

— ФБР! — ахнул мистер Смит. — Мало нам было собак!

— Как они нас нашли? — нахмурился Старик. — Очевидно, существуют какие-то электронные приспособления, которые могут нас выслеживать. Боюсь, что наш хозяин во многом прав.

— Зато мы умеем вовремя исчезать.

— Не самый конструктивный выход, — вздохнул Старик и протянул Смиту руку.

Тут в комнату с грохотом и пыхтением вломились полицейские.

— Прямо как в телевизоре, — причмокнул мистер Смит.

— Куда теперь?

Появился начальник, поднял руку, и полицейские опустили автоматы.

— В Индию.

— В Индию?

— Последняя остановка, и все, «сбросим этот бренный шум».

— Красиво. Кто сочинил?

С нарочитой неспешностью вошел давешний блондин.

— Спокойно, парни. Вашему путешествию конец. Думаю, вы и сами это понимаете.

Сомкнув вежды и блаженно улыбаясь, Старик и мистер Смит медленно воспарили к потолку и просочились через крышу, продемонстрировав новую вариацию исчезновения.

— Мать твою! — выругался блондин. — Похоже, вы все-таки их напугали!

Перед самым исчезновением компаньонов на пороге возник молодой секретарь. Он посмотрел на своего босса с явным беспокойством и включил сирену.

— Скорей! Господин Мацуяма умер! Я должен в течение двух минут подключить его к аппарату! Вон там инструкция по эксплуатации, возьмите, а я пока подключу сенсоры!

Секретарь рывком перевернул старца и принялся тыкать штекерами ему в спину. Внезапно Мацуяма-сан вздрогнул и открыл глаза.

— Идиот! Уж и задремать нельзя. Что тут происходит?

* * *

Предпоследнее путешествие было не самым дальним, но самым утомительным, ибо компаньоны уже порядком выбились из сил. Они пропустили момент приземления, так как незадолго до конца полета оба погрузились в глубокий сон. Трудно сказать, сколько времени пробыли они в забытьи, но когда Старик приоткрыл глаз (чтобы сразу же вновь его зажмурить), сияло безжалостное полуденное солнце. Старик пощупал живот, заголившийся вследствие посадки на автопилоте, и проворно отдернул пальцы.

— Вот так та́к, — пробормотал он. — Мой живот раскалился добела. Никогда еще не испытывал столь сильного осязательного ощущения.

Мистер Смит шевельнулся.

— Что ты сказал? Живот раскалился? А я думал, что это моя прерогатива — на случай медицинского осмотра. — И засмеялся. — Хорошо, что я выспался!

— А раньше ты когда-нибудь испытывал потребность в сне?

— Да. И ты тоже. Мы постепенно обзавелись этой потребностью, необходимой для нашего маскарада. У меня все началось с той ужасной шлюхи в Нью-Йорке. До сих перед глазами стоит след от резинки на ее бедре. Как след шины на снегу. В тот раз я уснул от острого приступа скуки, навеянного ее трактовкой секса. При этом, отметь, до секса дело так и не дошло, но мне достаточно было представить дальнейший ход событий, и я предпочел отключиться. А дальше было бы так: театральные стоны, затуманенный взгляд, ритмичное вихляние задом, коммерческий припев «как хорошо» и по истечении положенных пятнадцати минут имитация оргазма.

— Я не смогу участвовать в этом обсуждении, — заметил Старик. — Описываемые тобой действия мне малопонятны и несимпатичны.

— Просто хотелось остановиться на том памятном случае поподробнее, по-

тому что я впервые тогда вкусил сна, этого сладкого забвенья, которого прежде мы с тобой были лишены...

— Ничего, у нас есть другие преимущества.

— Не так уж много. Умение вовремя исчезать — вот, пожалуй, и всё.

— А путешествие без билета, без стояния в очереди, без зависимости от общественного транспорта?

— В награду за жизнь без сна, без отдыха, без конца? Слабая компенсация...

— Меня все больше и больше беспокоит...

— Что?

— Изображая из себя смертных, мы постепенно превращаемся в них на самом деле, причем гораздо успешней, чем наш друг Мацуяма превращается в бессмертного.

— А это означает, что нам пора возвращаться, — медленно произнес мистер Смит.

— Давно пора. Вот, положи руку мне на живот.

Мистер Смит так и сделал.

— Разве не горячо? — спросил Старик.

— Вовсе нет. Нормальная температура для живота в здешнем климате.

— Значит, я выбрал неудачный пример. Но хоть жару-то ты ощущаешь?

— На мой вкус, жара умеренная. Значит, для большинства людей слишком жарко.

— Понимаешь, я никогда прежде не ощущал ни жару, ни холод. Теперь же я начинаю чувствовать температуру. Если так пойдет дальше, еще неизвестно, сможем ли мы вернуться туда, откуда прибыли.

— Не бойся, твоя божественная природа никуда не денется. Другое дело — запас энергии. Парализованный помнит, как ходить, да встать не может.

— Приятная аллегория, вполне в твоем духе.

Старик поправил хламиду и приподнялся.

Его глаза уже привыкли к жгучему, переливчатому сиянию, из-за которого все вокруг казалось подернутым легкой дымкой. В тени гигантского дерева Старик разглядел какие-то неподвижные, но явно живые силуэты и в первый момент решил, что это представители фауны.

— Кто это там? — шепотом спросил он Смита.

— Люди, — ответил тот, садясь.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Люди, причем почти голые. Мужчины. Тощие как щепки. Лысые. На каждом очки в металлической оправе.

— На каждом? И сколько же их?

— Я вижу пятерых. Возможно, в высокой траве сидит кто-то еще.

— Как тебе удалось в твоем возрасте сохранить столь острое зрение?

Мистер Смит сатанински улыбнулся:

— Мне случалось любоваться такими восхитительными картинами... Без острого зрения в моем деле никак нельзя.

— Без подробностей, пожалуйста. Переходим к следующему вопросу. Кто эти люди?

— Святые старцы, — донесся ответ на певучем индийском диалекте. Голос был высок и тонок, но несказанно нежен.

— Они что, слышат нас на таком расстоянии? — удивился Старик.

— Вот уж не подумал бы, — перешел на шепот мистер Смит.

— Мы слышим каждое ваше слово, — вновь донесся голос. — И теперь окончательно убеждены, что вы тоже святые старцы, но обладающие куда большей властью и силой, чем мы. Вот мы и собрались, чтобы внять голосу вашей мудрости.

— А как вы узнали о нашем появлении?

— Получили мистическое послание. В нем говорилось, куда идти. И мы пришли, а за нами придут и другие. Когда же мы увидели, как вы низвергаетесь с небес и лежите прямо под палящими лучами полуденного солнца, да еще посреди пустыни, где кишмя кишат ядовитые гады и бродят хищные тигры, мы сказали себе: «Се святые старцы первого ранга, высшие в иерархии». И мы сели в тени, чтобы солнце не сожгло наши жалкие головы, и стали ждать вашего пробуждения.

— А может, мы лежали мертвые? — спросил Смит.

— Но мы слышали ваше дыхание.

— Вы хотите сказать храпение, — вздохнул Старик.

— Следует признать, что временами раздавался и храп.

Было не вполне ясно, кто говорит — один и тот же святой старец или разные.

— Что-то новенькое, — шепнул Старик компаньону. — Сначала за нами по всему миру гонялось это... как его... ФэБэ... Ну, ты знаешь. Потом нас арестовали в Англии, атаковали в воздухе над Германией, подвергли преследованиям в Китае, заманили в ловушку в Японии, отдали под суд в Израиле, заставляли превращаться то в ос, то в медведей гризли, то в народных депутатов из несуществующей сибирской области. А здесь нас вдруг признали за тех — или почти за тех, — кем мы являемся на самом деле. Ах, почему это произошло так поздно?

— Потому что мы не похожи на других людей, — ответили из-под дерева.

— Вы что же, и шепот слышите?

— В ясную погоду мы даже слышим мысли друг друга, — добродушно хихикнул голос. — Вам, конечно, известно, что Индия — такая страна, где людям низших каст не приходится и мечтать об удовлетворении своих материальных потребностей. Поэтому мы сосредоточили всю свою энергию на целях духовных — ведь они доступны каждому, но чиновники, политики, промышленники и прочие продажные элементы общества, равно как и стоящие выше коррупции наследственные правители, всевозможные короли и махараджи, не считают нужным обременять себя духовностью.

— Какое длинное предложение, — подивился Старик.

— Мы имеем склонность говорить длинными фразами, потому что у нас чрезвычайно долгое дыхание. Это один из простейших способов достижения власти над естеством. Мы вдыхаем воздух гораздо реже, чем люди, лишенные духовной цели в жизни, и это — в сочетании с присущей нам высочайшей образованностью, которую мы редко применяем на практике, — делает нас невероятными занудами, когда нам все же приходится размыкать уста.

— Понятно, — задумчиво произнес Старик. — Вы стараетесь как можно лучше распорядиться тем немногим, что дала вам жизнь.

— Блестящая формулировка. Человечество при всем разнообразии составляющих его особей имеет множество типических характеристик. Например, когда человек видит лестницу (а в случае Индии — подвешенную веревку), его охватывает неудержимое желание забраться повыше, не слишком задумываясь, куда при этом попадешь (в случае Индии — никуда). В этом весь символический смысл веревки. Врожденный инстинкт тянет общество вверх. Мы же, святые старцы, видим не только выгоды подъема, но и ужасающие утраты, которыми этот подъем сопровождается.

— Мы только что из Японии, — сообщил мистер Смит, — и имели возможность лично убедиться в справедливости ваших слов. Там есть один старичок, на вид лет ста, которому служит более двух миллионов человек.

— Это безнравственно — если, конечно, он платит всем этим людям жалованье. Ибо, если один человек платит двум миллионам, можно не сомневаться: он платит им меньше чем следует. Таково правило, практически не ведающее исключений. Дабы поддерживать порядок, он вынужден одновременно быть жестоким

патриархом и мошенником, а это означает, что в погоне за прибылью он потеряет свою душу.

— Я не понял, что вы имели в виду, когда сказали, что содержать на службе два миллиона человек безнравственно, если платишь им жалованье. Ведь еще безнравственнее не платить работникам ничего. По-моему, это называется рабством, — заметил Старик.

— Такое рабство осталось в прошлом. Теперь существуют другие формы рабовладения. Я же, разумеется, говорил о Будде, которому служит гораздо больше людей, чем вашему японцу, и который при этом ничего им не платит, освобождая души от продажности.

— Кажется, я понял, — задумчиво пробормотал Старик. — Вы имеете в виду древнюю поговорку «От денег добра не жди».

— Блестяще сформулировано. Очень точно и лаконично.

— Сформулировано без моего участия. Эту фразу произносило множество уст.

— Что отнюдь не снижает ценности вашего замечания. Я раньше этого выражения не слышал. «От денег добра не жди».

— Японский долгожитель сказал, что на его заводах скоро разработают технологию неограниченного поддержания жизни — иными словами, изобретут бессмертие, — повернул беседу в ином направлении мистер Смит.

— Ничего не выйдет.

— Откуда такая уверенность? Мы, например, не на шутку встревожились.

— И напрасно. Что-нибудь обязательно не сработает. Какая-то мелочь. Бракованный проводочек, короткое замыкание. Неважно что. Что за радость от вечной жизни, если она зависит от электричества. Довольно и того, что человек — раб своих внутренних органов: печени, почек, сердца. Однако о них можно не думать, даже отъявленные ипохондрики себе это иногда позволяют. Но о бракованном проводочке не забудешь. Одно дело — больной зуб, и совсем-совсем другое — зуб искусственный. О нем помнишь всегда. Органичная часть человеческого естества без нужды о себе не напоминает и сна не лишает. Ваш японец, очевидно, разрабатывает технологию бессмертия прежде всего для самого себя. Впоследствии — и это неизбежно — его открытие будет коммерциализовано. Японец станет повелевать миром, не отрываясь от подушки, и в конце концов его безумное начинание закончится полным крахом. Перегорит пробка, лопнет лампочка, произойдет еще что-нибудь. Слишком наглая идея, из нее ничего не выйдет.

— Вы нас успокоили. Но скажите, как вам, у которых ничего нет, удается держать в поле зрения весь мир?

— У нас нет ничего, и у нас есть всё. Но даже если у тебя есть всё, тебе этого мало. Вот почему мы пришли сюда. Мы хотим следовать за вами и увеличить наше знание.

— А если мы не хотим, чтобы вы за нами следовали?

— Мы, разумеется, выполним вашу волю. Но отныне вам никогда уже не удастся полностью избавиться от нашего присутствия.

— Приятная перспектива, — иронически обронил Старик. — И все ж объясните, как вы сумели извлечь столь многое из ничего.

— Мы отказались от соблазна карабкаться туда, куда не достигают наши органы чувств, участвовать в безумной гонке, именуемой прогрессом. Изучая то, что рядом с нами, пытаясь вникнуть в его суть, мы делаем первый шаг к познанию всего остального.

— А что рядом с вами?

— Тело. Подчини себе свое тело, и ты подберешься к сути мироздания ближе, чем если будешь болтаться где-нибудь в безвоздушном пространстве на тросе, прицепленном к космическому кораблю.

— И вам удалось подчинить тело?

— Мы едва царапнули скорлупу понимания, но и этого уже не так мало. К примеру, любой из нас намного старше вашего японского знакомого. Большинству святых старцев гораздо больше ста лет. Тела наши иссушены, но вовсе не бессильны. Тщедушны, но функциональны. Даже в выжженной пустыне нам не грозит обезвоживание — мы умеем впитывать росу через поры кожи. Нас насытит стебелек травы, опьянит исходящий от него тончайший аромат. Два стебелька — это уже пир, невоздержанность, первый шаг к саморазрушению. Мы способны всосать в себя через задний проход небольшое озерцо и перенести его в собственном теле на другое место. Но такими вещами мы занимаемся без свидетелей, чтобы не оскорблять чувства тех, кто подобных способностей лишен. Хотя иногда к нам за помощью обращаются жители отдаленных деревень, где скудны запасы воды и часты пожары. Любое отверстие в человеческом теле может быть использовано как для введения, так и для выведения различных субстанций. Благодаря искусству йоги органы чувств развиваются до такой степени, что слышишь за пределами слышимости и видишь происходящее за горизонтом (особенно при низкой облачности, заменяющей зеркало). Нам нет нужды тренировать голосовые связки, мы передаем свои мысли по звуковым волнам. И при этом в нашем искусстве нет ничего экстрасенсорного. Мы всего лишь используем в полной мере знание анатомии.

— Что ж, — медленно произнес Старик, осторожно подбирая слова. — Я не могу назвать вам свое имя, ибо боюсь уязвить ваши чувства. Глупая предосторожность, ведь вы относитесь к нам с таким почтением, но все же так будет лучше... Скажу лишь, что я в восторге от модификаций, которыми вы украсили первоначальный проект. Дело в том, что я имел некоторое отношение к его разработке. Честно говоря, я и не подозревал, что проект может быть до такой степени переработан и усовершенствован. Как-то не предполагалось, что человек будет питаться одной травинкой или утолять жажду утренней росой через поры кожи, но тем похвальней ваши заслуги. Я восхищен вашими достижениями, безмерно восхищен.

— Мы не знаем, кто ты, ибо ты и твой помощник сокрыли свой истинный облик. Может быть, нам и не нужно это знать. С нас довольно того, что мы видим, — твоих улыбчивых глаз и твоего добродушного чрева. Мы узрели его издалека, оно поднималось из травы золотистым куполом, отражая солнечные лучи с такой яркостью, что даже нам было больно смотреть. Мы обратили внимание на величественные контуры твоего живота, на его идеальную гладкость, лишенную признаков естественного рождения. Тогда-то мы и решили, что будем внимать тебе и восхищаться тобой.

Наступила долгая пауза, потом все тот же тонкий голос произнес:

— Мы очень надеемся, что это слезы радости.

Старик конфузливо закрыл лицо ладонью.

Мистер Смит не выдержал сентиментальной паточности момента и, одержимый духом иконоборчества, возопил противным, скрежещущим голосом, от которого святые старцы втянули головы в плечи:

— Никакой я ему не помощник!

— Прости, мы выбрали неверное слово. Быть может, следовало сказать «спутник»?

— Я такой же, как он. У нас одинаковый статус!

— Очевидно, тут какие-то тонкости небесной семантики, недоступные нашему пониманию.

— Вы уж извините, — вмешался Старик, рывком приподнимаясь, — но нам и в самом деле пора. Мы оба изрядно устали. Время отправляться в дорогу... Нас ждут в другом месте...

— Нас ждут в *разных* местах! — выкрикнул мистер Смит.

Специфический тембр его голоса привлек внимание тигрицы, решившей, что

скрежещущие звуки может издавать какое-нибудь редкое, но вполне съедобное животное, — во всяком случае, почему бы не разведать?

— Если ты не заткнешься, я исчезну и оставлю тебя наедине вон с тем тигром, — предупредил Старик.

— Где тигр? — шепотом спросил компаньон.

— Вон сидит принюхивается.

— Не вздумай, а то я исчезну первый!

— И мы навсегда потеряем друг друга из виду.

После этого замечания мистер Смит умолк, но начал дрожать.

— Это не тигр, а тигрица, что еще опасней, — раздался голос одного из святых старцев. — Судя по набухшим соскам, она выкармливает тигрят. Самцы охотятся для собственного развлечения, как британские джентльмены. Самка же должна кормить молодняк, и эта альтруистическая мотивировка делает ее бесстрашной. Смотрите, она медленно движется в нашу сторону.

— И вы не боитесь? — спросил Старик.

— За долгие годы мы научились секретировать запах, не ощутимый для людского обоняния, но вызывающий отвращение у хищных зверей.

— Однако, я смотрю, вы неутомимы в своих исследованиях.

— К сожалению, немало святых старцев погибло в когтях тигров, прежде чем удалось найти нужную формулу запаха. Эти старцы пожертвовали собой ради общего дела.

Тигрица бесшумно кралась, пригнув морду к самой земле, — видимо, готовилась к финальному прыжку.

Старик поднялся.

— Нет! Не оставляй меня! — взвыл мистер Смит, вцепившись в край его тоги.

Тигрица замерла на месте и возбужденно заморгала — скрежещущий звук определенно вызывал у нее повышенное слюноотделение.

— Закрой рот и больше не вопи, — приказал Старик, простер ладонь и стал делать ею в воздухе ласкающие движения. Тигрица перевернулась на спину, раскинула лапы и недвусмысленно дала понять, что ей нужно почесать живот.

Компаньоны уходили вдаль по узкой тропинке, святые старцы махали им вслед, а тонкий, неугасающий голос произносил слова последнего напутствия:

— Мы увидели великую силу Добра и теперь еще более укрепились в вере, что природа едина и каждая ее частица столь же священна, как целое. Идите, путники, и знайте, что отныне, где бы вы ни были, мы всегда будем неподалеку.

* * *

Первым нарушил молчание Старик. Это произошло примерно полчаса спустя, но мистер Смит по-прежнему держался за его подол.

— Природа, возможно, и едина. Не стану спорить и насчет того, что ее частицы, равно как и целое, священны. Но меня во всем этом трогательном равновесии смущает одна мысль: тигрята-то остались голодными!

— Как несостоявшийся тигриный обед позволю себе заметить, что меня подобный исход вполне устраивает.

— Надеюсь, они нас не слышат.

— Если, конечно, они не научились читать по губам через линию горизонта.

— Мы повернуты к ним спиной.

Впереди показалось какое-то селение, которое компаньоны поначалу приняли за маленькую деревеньку, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это окраина городка. По улице бродили священные коровы. Они мешали движению транспорта, лениво жевали товар, разложенный на прилавках зеленщиков, — одним словом, вели себя как вдовствующие императрицы, которые уверены, что

им все, то есть абсолютно все дозволено. Только корон на рогах не хватало.

Мистер Смит опасливо косился на бродячих собак, а те поглядывали на него застенчиво и виновато, похожие на небольшие авиабазы блох и зловещего вида мух.

— Брысь! Фу, какие грязные, — бормотал мистер Смит и все ближе жался к Старику, стараясь избежать контакта с несчастными псинами, которым все время хотелось почесаться об него, причем с самыми дружелюбными намерениями. Людей на улицах постепенно становилось больше, жаркий день отступал, сменяясь более умеренным вечером. Компаньоны шагали по глиняной мостовой, лавируя между трехколесными автомобильчиками (водители отчаянно дребезжали велосипедными звонками) и священными коровьими лепешками. Внезапно мистер Смит оставил подол Старика в покое и со словами «Подожди секундочку» скрылся в магазине, где торговали всем на свете — от электровентиляторов до развесного шербета.

Такая неожиданная решительность изрядно встревожила Старика. Если уж Смит преодолел трусость, значит, соблазн оказался нешуточным. Тут Старику пришлось посторониться — прямо на него перла священная корова. На пресыщенной физиономии этой Марии-Антуанетты было запечатлено бескомпромиссное «Раз у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Старик сделал вид, что и так собирался отойти в сторонку (что было неправдой).

В сточной канаве лежал какой-то человек столь ужасающего вида, что по сравнению с ним мистер Смит показался бы настоящим денди. Старик обратился к нищему на урду, но бедолага, покрытый толстой коркой грязи и заросший буйной, много лет не стриженной гривой, ответил ему на чистейшем английском:

— Не говори со мной на этой кошмарной тарабарщине, приятель. Или на языке ее величества, или вообще никак.

— Извините. Я думал, вы, хиппи, все давно уже вернулись домой.

— Куда домой?

— В Англию.

— Мой гуру вернулся, а я застрял. Невезуха. Ты не поверишь, дружище, но ведь я был когда-то кинозвездой. Бенедикт Ромэн, слыхал? Псевдоним, конечно. Хотя твое поколение меня вряд ли знает. Я был кумиром подросткового зрителя. Потом решил отдать дань моде — нашел себе гуру и отправился в Индию постигать мудрость. Платил кучу денег, особенно если учесть, что меня совсем не кормили. Зато пил по-черному. Денежки все тю-тю, даже на обратный билет не осталось. Настоящая трагедия. Так что выручи, подбрось пару рупий, а?

— Увы. Единственное, чего у меня нет, так это денег, — сочувственно вздохнул Старик.

— Все вы так говорите. Ничего, я уже привык. Тут нищему подают, только если он индуист или буддист. А такие, как я, у которых кожа смугла не от природы, а от грязи, хуже неприкасаемых. Особенно если ты верный сын англиканской церкви — не столько по убеждению, сколько по воспитанию. Ладно, что я могу для тебя сделать, пока я еще жив?

— Я знаю, это звучит абсурдно, но я ищу гору Эверест.

— Ты что, собрался на нее залезть в ночной рубашке? На что только люди не идут, лишь бы попасть в Книгу Гиннесса. Безумная идея. В самый раз для нашего чокнутого века. Я бы составил тебе компанию, но дальше лагеря номер один мне не вскарабкаться... Значит, так. Идешь в том же направлении, за городом сворачиваешь направо и дальше всё вперед и вперед. Дорогу спрашивать не понадобится — горы видно издалека. Только не перепутай Эверест с другими пиками, некоторые из них на взгляд кажутся выше.

— Огромное спасибо.

— Не за что. Передавай привет родителям, если окажешься в тех краях. Гене-

рал сэр Мэтью и леди Йокселл-Мокселл. Скажи им, что их сына, скорее всего, уже нет среди живых. Бенедикт Ромэн! Не мог же я сниматься в кино под своим настоящим именем — Робин Йокселл-Мокселл. Да и для сточной канавы как-то не очень.

Старика эта скорбная повесть несказанно растрогала. Он решил, что не может бросить в беде падшего, но не утратившего достоинства аристократа. Зачем возвращаться из путешествия на Землю с таким незавидным трофеем, как угрызения совести? Оглядевшись по сторонам, Старик засунул руку поглубже в карман и пролил на бродягу дождь рупий. Тот, дрожа от возбуждения, кинулся подбирать добычу.

— А еще говорил, что пустой! — истерически захихикал обездоленный.

— У меня и в самом деле нет денег. А с этими будьте поосторожней, они фальшивые. Уж я-то знаю, сам их изготовил. Советую для начала потратиться на кусок мыла и ножницы. Это повысит вашу кредитоспособность.

— А я все видел! — злобно объявил невесть откуда взявшийся мистер Смит. Под мышкой он держал картонную коробку. — Значит, для старого друга денег у нас нет, а для чужого дяди — пожалуйста?

— Что там у тебя? — спросил Старик, готовясь к самому худшему.

— Телевизор. Японский.

— Ты его одолжил? Но зачем?

— Затем, что ты мне денег не даешь, вот зачем. И не одолжил, а стибрил, как обычно. Давай поскорей затеряемся в толпе, пока продавец не хватился.

— Прошу прощения, — извинился Старик перед бродягой.

— Ничего, я люблю слушать, как ссорятся педики. Будто на родине побывал.

— Идем. — Старик потащил мистера Смита за собой, и компаньоны поспешно удалились с места двойного преступления.

— Прошу тебя больше не устраивать публичных сцен, — пилил спутника Старик. — Видишь, какую ты нам создаешь репутацию.

— Не нам, а тебе. У меня репутация уже имеется. И потом, я не виноват, что ты пробуждаешь в моей натуре все самое худшее.

— К чему тебе телевизор? Без антенны он работать не будет, а в твоем невентилируемом жилище антенну не поставишь.

— Ничего, что-нибудь придумаю. Должен придумать. Пришла пора возвращаться к монотонности рабочих будней, и я уже чувствую, чего мне будет не хватать в первую очередь. Телевизора. Я к нему душой прикипел. Телевидение — сплошной, бесконечный рекламный ролик *моего* образа жизни. Тотальное разрушение, коррупция в верхах, беспредельная вульгарность и дивная бессмысленность. Очень жаль, что все это, как говорят люди, туфта. После конца съемок покойники оживают, смывают грим и отправляются домой к женам и любовницам, чтобы отдохнуть перед следующей серией. Однако утешительно, что телевизор смотрят мириады дебилов, и кое-кто из них, вдохновленный этим блевотным кошмаром, пытается претворить его в жизнь. Дебилы выходят из дому и начинают убивать. Дебилы верят, что жизнь такая, какой показана на телеэкране, и хотят быть частицей этой жизни. Человек, лишенный воображения, может воспользоваться воображением коллективным, оно-то и называется телевидением. Если б на свете существовала справедливость, телевидение должно было бы платить мне процент от прибылей за авторские права!

— Какая досада и какое разочарование, — произнес Старик, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, — что накануне возвращения в свое одинокое царство ты решил вернуться к своим прежним взглядам, стал таким злым и колючим. Подумать только, во время нашего путешествия были моменты, когда я начисто забывал, кто ты!

— Вспомнил? То-то, — повеселел мистер Смит и прижал к груди телевизор, словно мать плаксивого младенца.

Старик замер как вкопанный.

— Что это?

— Я ничего не слышал.

— Это не звук. Запах. Чем-то пахнет.

Принюхавшись, мистер Смит пожал плечами:

— Не чувствую.

— Готовят еду! — догадался Старик. — О-о, святые угодники, я хочу есть! — и затрясся, как маленький мальчик, которому срочно кое-куда надо.

— Хм, я есть не хочу, но ты помнишь те заросли, через которые мы продирались, когда улепетывали от тигрицы?

— Помню.

— Там попадались какие-то кусты с колючками. Вот, полюбуйся.

Он задрал грязную штанину. На лодыжке багровели многочисленные царапины.

— Что это? — наклонился Старик.

— Кровь.

— Не может быть!

Оба переглянулись. Последовала наэлектризованная пауза.

Старик придушенным голосом объявил:

— Всё. Последняя ночь, и мы покидаем Землю.

Эпилог

Возвращение Старика и мистера Смита к месту постоянного проживания повлекло за собой целый ряд примечательных и интригующих последствий, однако всего несколько человек — а именно доктор Кляйнгельд и святые старцы — догадались объяснить эти загадочные природные явления вознесением одного из компаньонов на Небеса и нисхождением другого в геенну. Экологи же валили всю вину на преступную безответственность человечества, попирающего законы природы.

Пожалуй, самым впечатляющим феноменом был бешеный снежный буран, обрушившийся на Сахару, и последовавшее за этим ужасное наводнение. Все газеты обошла фотография несчастного верблюда по колено в грязной воде, с печатью страдания на ошеломленной морде. Поп-группы, как это обычно бывает в подобных случаях, воззвали к широкой публике, и появились сразу две общественные организации, приступившие к сбору средств во имя спасения великой пустыни: ФИСОСН (Фонд избавления Сахары от снега и наводнений) и трескучая РМЗСС (Рок-музыка за сухую Сахару).

Эскимосы и инуиты в своих заполярных просторах дурели от жары и падали с солнечными ударами, так что канадскому правительству пришлось организовать срочную транспортировку пострадавших в больницы и санатории. Злосчастные жители Севера лежали на тающих торосах, беспомощно глядя, как превращаются в лужу их уютные иглу.

Разбухший океан попер на пляжи Западной Европы, так что шезлонги приплыли аж к Вулвергемптону и Лиможу, а в поле возле сухопутного Коньяка́ обнаружили принесенный волнами катамаран.

В районе города Гётеборга разразилась вспышка малярии, заставшая шведское правительство врасплох. В Швейцарии были обнаружены мухи цеце, в результате чего значительная часть населения этой горной страны погрузилась в дремоту, сраженная сонной болезнью. Возле Дюссельдорфа разразилось мощное землетрясение с очень солидной котировкой по шкале Рихтера.

Власти изо всех сил пытались втолковать публике, что череда этих порази-

тельных природных явлений объясняется вполне уважительными причинами. Один ученый даже заявил, что Дюссельдорф лишь по чистой случайности до сих пор обходился без землетрясений. Нашлись и мистики, которые сразу полезли в Нострадамуса и обнаружили прорицание всех этих катаклизмов, причем весьма прозрачно зашифрованное. Другие винили во всем использование атомной энергии, подземные ядерные испытания, дыру в озоновом слое, «парниковый эффект» и кислотные дожди. В конечном счете все до такой степени запутались, что перестали сами себя понимать, но это, разумеется, не помешало продолжению дискуссии. Напротив, чем нелепее выдвигалась гипотеза, тем больше у нее находилось сторонников, и в больших городах доходило до массовых, весьма агрессивных манифестаций. В Болгарии народ призвал правительство к ответу за плохую погоду, и в Вашингтоне отметили этот факт, свидетельствующий о развитии демократического процесса на Балканах, с глубоким удовлетворением.

В самой американской столице была тишь да гладь. Каждое утро ровно в восемь к ограде Белого дома являлся вооруженный термосом и бутербродами доктор Кляйнгельд. В последнее время психиатра повсюду сопровождал огромный детина по имени Лютер Бэйсинг. Некогда он считал себя Богом и совершил два убийства, а теперь беспрекословно слушался Кляйнгельда, почитая его взамен Старика, перед которым великан ощутил благоговение и преклонил колени. Соратники разворачивали большущий транспарант, на котором было написано:

Требуем почета для Бога и для Черта!

В один прекрасный день возле манифестантов остановился автомобиль. За рулем сидела устрашающая мисс Газель Маккабр, в недалеком прошлом медсестра в госпитале, где работал доктор Кляйнгельд, а ныне, если верить форме и знакам различия, майор вооруженных сил США. С белыми, обесцвеченными перекисью волосами воительница была похожа на древнеиндейское божество.

— Ку-ку! — пропела она баритоном. — Узнаете меня?

— Боже Всевышний, неужто это вы, мисс Маккабр?

— А кто же еще? Но я теперь майор Маккабр. Заместительница полковника Харрингтона Б. Булкинса, начальника ГУОСО при ГШВВС.

— И что это значит? — спросил доктор.

— Понятия не имею, — рассмеялась мисс Маккабр. — Да это и неважно, душа моя. Нас в этом самом ГУОСО такая прорва, что, если завтра десять человек сдохнут, до конца финансового года никто этого не заметит.

— Вы ушли из госпиталя?

— Естественно. Я никогда не любила свою работу. Это же кошмар — регистрировать поступление пациентов, половина которых выйдет обратно вперед ногами. Ну, может, я преувеличиваю. А может, и нет. Когда-то, после ухода из большого спорта, я прошла курс армейского обучения, вот и решила вернуться в строй. Теперь работаю в Пентагоне, а половину времени провожу на секретном объекте в Западной Виргинии. Дала подписку о неразглашении и все такое, но в Вашингтоне секретов не бывает, так что вполне можно посплетничать.

— Разве в Вашингтоне нет секретов?

— Какое там. Сплошная показуха. Умники изображают всеведение, а если чего-то не знают, то просто врут. Продажные секретарши торгуют и секретами, и телом, причем на каждый товар своя такса. Да они ксерокопируют каждый документ, который проходит через их руки, — авось удастся кому-нибудь продать.

Мисс Маккабр подкрасила губы, глядя в зеркало заднего вида, и перешла на доверительный тон:

— Я часто вспоминаю вас, солнышко. Какой, думаю, позор. Доктор Гробсон

Кляйнгельд, светило психиатрии, мог бы получить Нобелевскую премию по медицине, а валяет дурака — торчит перед Белым домом в компании Бога-три, и все из-за того, что двое чокнутых стариков сбили его с пути истинного.

— Майор, вы не понимаете...

— Еще как понимаю. Вы были *великим* психиатром. Зарабатывали такие деньжищи! А это самое главное. И не пудрите мне мозги, что работа дает внутреннее удовлетворение, все равно не поверю. Вот играла я в футбол на роликах. Помню, летишь сломя голову, вышибешь дух из пары девчонок, потом какая-нибудь злющая сука так тебе врежет в челюсть, что летишь кувырком. О чем я думала, выплевывая зубы? О внутреннем удовлетворении? Хрена! Единственное, что согревало мне душу, — мысль о будущем чеке... Смотрите-ка, а Бог-три еще больше растолстел. Вот уж не поверила бы, что такое возможно. Как вам удалось вытащить его из психушки?

— Согласно приговору суда, его кастрировали, после чего он стал заметно спокойнее. Правда, полнеет, но евнухам это положено. А я живу один. Миссис Кляйнгельд от меня ушла, когда я решил изменить свой образ жизни.

— Сочувствую.

— Ей так лучше, да и мне тоже. Не больно-то весело быть женой психиатра. Теперь у нее интересная светская жизнь, о которой она всегда мечтала. Живет с каким-то крупье в Лас-Вегасе. Они никогда не видят друг друга, потому что у него ночная работа, и оба совершенно счастливы. А Бога-три я усыновил. Он спит у меня в гараже, я повесил гамак. Машины все равно теперь нет.

— Э-хе-хе... — Майор Маккабр не знала, как реагировать на такое изобилие несчастий, которые доктора, судя по всему, ничуть не печалили. — Ну и дела.

Впрочем, она тут же вернулась к прежнему разухабистому тону:

— Ах да, хотите новости про ваших... про ваших психов, за которых вы так ратуете?

— Вы о Боге и Дьяволе?

— Называйте их как хотите. Их по-прежнему ищет ФБР.

— Не сомневаюсь.

— В Англии их чуть было не зацапали, потом арестовали в Израиле, потом еще где-то, а в конце концов они оказались в Индии. Я видела фотографию Смита. Мертвого. Труп плавал в этой их священной реке... как ее... И еще на вершине горы нашли вмятину в снегу. По форме и размеру совпадает с параметрами нашего Богфри.

— Я не вполне понимаю, майор. О какой горе вы говорите?

— О горе Гималайя.

— Такой горы не существует.

— Ну, а какие там есть?

— К-два, Аннапурна, Эверест...

— Вот-вот, Эверест.

Доктор Кляйнгельд расхохотался:

— Кому же пришло в голову фотографировать отпечаток неизвестно кого на вершине Эвереста?

— Там как раз совершала восхождение команда школьных учительниц из Швейцарии. Они обнаружили вмятину с четкими контурами человеческой фигуры. Отправили снимки в журнал «Нэшнл джиогрэфик», уверены, что доказали существование снежного человека. ФБР запросило в редакции негативы.

— Ну и что это дало?

Майор Маккабр высунулась из кабины и зашептала:

— Не знаю, известно ли вам, что ФБР совместно с Массачусетским технологическим институтом убухали чертову уйму денег, пытаясь разрешить эту загадку. Понимаете, всех до смерти бесило, что эти жулики каждый раз так запросто

исчезают. Ученые прямо взбеленились, и в конце концов им удалось (но это уже максимально секретно, учтите) сделать мышку сначала невидимой, а потом снова видимой. Технология вполне применима к человеку, но стоит каких-то безумных денег. Если продолжить исследования, это обойдется в миллионы и миллионы — за счет обороны, социального обеспечения, образования. Стоит ли игра свеч? Большие шишки из ФБР вроде Милта Дубба и Ллойда Туппа считали, что это дело чести, и призывали не постоять за ценой. Сенаторы Башковер и Умапалатио, а также конгрессмен Тварич с Аляски возражали против таких астрономических расходов. Ради чего? Чтобы выловить двух мелких правонарушителей, которые изготовили немножко фальшивых денег? На это Дубб сказал: «Стоит на шажок уклониться от закона, и в стране начнутся хаос и анархия». Башковер ему в ответ: «Ну хорошо, теперь мы научились убирать мышку, а потом ее снова доставать. Да любой фокусник проделывает то же самое, только не с мышкой, а с голубем. Тоже мне достижение!» Сенатор Умапалатио аргументировал свою позицию иначе: «У нас есть фотографии, которые свидетельствуют, что нашей парочки больше нет. Они испарились. Один в Гималаях, второй в водах Ганга». Сволочной Тупп только этого и ждал. «Испарились? — обрадовался он. — Улетучились? Может, да, а может, и нет. — И посмотрел по очереди на каждого, словно давал им последнюю возможность одуматься. — Значит, вот оно что. (Глубокомысленно так, рассудительно.) А как вам понравится такой сценарий? Наша парочка возникает снова, как они это проделывали уже не раз. Где-нибудь на Кубе, в Никарагуа или даже в дружественной нам Панаме. Шлепают миллиарды и миллиарды фальшивых долларов. Или они могут этим заняться в Советском Союзе, в Японии, в Китае, в Корее — одним словом, там, куда мы не можем послать воздушно-десантную дивизию. Технику изготовления купюр они усовершенствуют, так что не отличишь от настоящих, и как пойдут подрывать нашу финансовую систему! Да они за полдня угробят всю американскую экономику, раз и навсегда подорвут веру в нашу «зелень»! Неужто мы допустим такое? Имеем ли мы право рисковать? А как же наша ответственность перед человечеством?» Этой самой ответственностью перед человечеством он их и доконал. Сами знаете, как они любят человечество.

— Как же проявилась их любовь в данном случае? — спросил доктор.

— Они решили перенести обсуждение, — зловещим тоном сообщила майор Маккабр.

— А президент что? — Доктор Кляйнгельд уже не улыбался.

— Как всегда. Колеблется.

К автомобилю майора подрулил полицейский на мотоцикле.

— Извините, майор, но здесь остановка запрещена.

Мисс Маккабр закурила сигарету, звучно откашлялась, послала доктору воздушный поцелуй и медленно отъехала.

Кляйнгельд вздохнул, взглянул с улыбкой на Бога-три.

— Типичное поведение животного, именуемого человеком. Вечное стремление приблизиться к Богу, хоть бы даже и с помощью ФБР.

Бог-три сказанного не понял, но все равно кивнул.

■

ГЮНТЕР ГРАСС

Собачьи годы

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО

Дорогая кузина!

А потом, незадолго перед Пасхой, выпал снег. И быстро стаял. Примерно в то же время ты начала крутить с фронтовиками, приезжавшими в отпуск, но ребенка они тебе не сделали. Потом, вскоре после Пасхи, была воздушная тревога, но ни одной бомбы у нас не упало. А в начале мая приехал Зайцингер и забрал Йенни.

Он прикатил на заднем сиденье черного «мерседеса» и вылез: стройный, легкий, чужой. Широченное, в нарочито броскую клетку пальто небрежно наброшено на плечи. Он потирал руки в белых перчатках, оглядел фасад Акционерного дома, ощупал взглядом и наш дом, внимательно, за этажом этаж: я, прятавшийся за гардиной, отступил к краю ковра. Мать подзывала меня к окну:

— Нет, ты только погляди, погляди на него!

Что глядеть, я его знаю. Я самый первый его увидел, когда он был еще новенький. Он бросил мне свой зуб в кусты дрока. А потом, вскоре после своего второго рождения, сел на поезд и был таков. Начал курить и до сих пор курит, в белых перчатках. А зуб его до сих пор у меня в бумажнике. Уехал с проваленным ртом. А вернулся — вон, вся пасть полна золота: ибо он смеется, пробежал по Эльзенской улице немножко в одну сторону, немножко в другую и смеется, бежит и на все пристально так поглядывает. Дома с обеих сторон, номера на домах, четные и нечетные, палисадники, такие просторные, что переплюнуть можно, анютины глазки. Он просто наглядеться не может и смеется, неприкрыто смеется, всем нашим окнам выставляя напоказ золотые свои челюсти. Всеми тридцатью двумя золотыми зубами выхаркивает на нас свой беззвучный, сотрясающий его смех, будто на всем яйцеобразном белом свете более смешного повода скалить зубы, чем наша Эльзенская улица, и не сыщешь. Но тут из нашего дома выползает Фельзнер-Имбс — сама почтительность. И все золото, столь яркое на солнышке в майский день, вмиг исчезает, словно шторкой задернутое. Оба — я вижу только их обрезанные подоконником верхние половины — радостно здороваются всеми четырьмя руками: сто лет не виделись. Шофер подпирает свой «мерседес» и ни на кого не смотрит. Зато вокруг все окна — бесплатные ложи. Вечно подрастающая детвора образует кольцо зевак. И только я да еще воробьи на водосточных желобах, мы понимаем: это он вернулся, вот он берет пианиста под руку, легко прорывает кольцо подросшей детворы, мягко препровождает пианиста в Акционерный дом, почтительно придерживает перед ним дверь и входит вслед за ним, даже не оглянувшись.

У Йенни оба чемодана были уже собраны, потому что и получаса не прошло, как она вместе с Фельзнер-Имбсом и Зайцингером вышла из дома. И даже рассталась со своим черным траурным цветом. Она покидала нас с ангустри на пальце и без моих резиновых бус на шее — бусы лежали в белье в одном из чемоданов, которые Имбс и Зайцингер препоручили шоферу. Детишки рисовали человечков на пыльной дверце черного «мерседеса». Йенни стояла в нерешительности. Шофер натянул кепку. Зайцингер хотел было мягко подтолкнуть Йенни в салон машины. Он уже поднял воротник пальто, не казал больше Эльзенской улице лица и вооб-

---

Окончание. Начало см. в № 5,6 за 1996 г.

ще торопился. Зато Йенни садиться не спешила, она указала на наши гардины и, прежде чем Имбс и Зайцингер успели ее задержать, исчезла в нашем подъезде.

Я, по-прежнему из-за гардин, сказал матери, которая все делала, как я хочу:

— Не открывай, если позвонят. И что ей еще понадобилось?

Четыре раза звякнул звонок. Он у нас был не кнопочный, а с вертушкой. Вертушка эта не просто тренькнула, она четыре раза провернулась со шкрябающим звоном, но ни я, ни мать из-за гардин не вышли.

У меня всегда будет стоять в ушах то, что наш дверной звонок повторил мне четыре раза.

— Ну вот они и уехали, — сообщила мне мать; но я молча разглядывал выпускные работы отцовских подмастерьев в нашей столовой: орех, груша, дуб...

И рокот удаляющейся машины, стихающий сам по себе, тоже мне запомнился и, наверное, уже не забудется никогда.

Дорогая кузина Тулла!

Через неделю из Берлина пришло письмо; Йенни написала его своей авторучкой. Я радовался ему так, будто это Тулла мне написала, собственноручно. Но Тулла писала письма моряку, собственноручно. Я повсюду бегал с Йенниным письмом в руках и всем рассказывал: моя подружка из Берлина мне написала — Йенни Брунис, или Йенни Ангустри, как она теперь себя называет; потому что господин Зайцингер, ее балетмейстер, и госпожа Нерода, государственная советница, которая руководит Немецким балетом, бывшим Балетом СЧР, посоветовали ей взять артистический псевдоним. Занятия уже начались, к тому же она репетирует контрдансы на старинную немецкую музыку, которую раскопала мадам Нерода,— она вообще-то англичанка. И вообще эта Нерода в высшей степени удивительная, чтобы не сказать странная особа: например, «когда она куда-нибудь выезжает, в город или даже на торжественный прием, она надевает роскошное меховое манто, но под ним никакого платья, только тренировочное балетное трико. Но она может себе это позволить. И у нее собака, шотландской породы, с такими же прекрасными глазами, как у хозяйки. Некоторые считают ее шпионкой. Только я не верю и моя подружка тоже».

С промежутками в несколько дней я написал Йенни череду любовных писем, изобиловавших повторами и самыми неприкрытыми желаниями. Каждое письмо мне приходилось переписывать заново, поскольку первоначальные редакции пестрели погрешностями. Слишком часто я писал: «Поверь мне, Тулла!», рука то и дело сама выводила: «Почему, Тулла? Сегодня утром, Тулла... Если тебе угодно, Тулла. Я хочу тебя, Тулла. Я грежу тобой, Тулла. Поглотить Туллу, держать в объятиях, ласкать, любить Туллу, сделать Тулле ребенка».

Йенни исправно мне отвечала своим мелким чистым почерком. Строчка к строчке, аккуратно соблюдая поля, она испещряла два листа голубой почтовой бумаги с двух сторон ответами на мои домогательства и описаниями своего нового окружения. На все, чего я вожделел от Туллы, Йенни говорила «да»; вот только ребенка ей — да и мне тоже — пока заводить рановато, сперва каждый должен чего-то достичь в своей профессии, она на сцене, а я как историк; я вроде как хотел стать историком.

Она снова рассказывала о госпоже Нероде: у этой необычайной женщины крупнейшее в мире собрание книг по балету, есть даже в оригинале рукопись великого Новера. Господина Зайцингера она называла немного мрачноватым, хотя временами и очень милым чудаком, который, когда заканчивает свои очень строгие, но фантастически интересно построенные занятия, удаляется в свою подвальную мастерскую, где сооружает диковинные человекообразные машины. Йенни писала: «Вообще он не слишком высокого мнения о классическом балете, потому что во время занятий, когда не все идет так, как ему хочется, он довольно зло над

нами издевается и нередко приговаривает: «Завтра же разгоню всех этих марионеток. Пусть посылают вас на оружейные заводы. Будете там гранаты крутить, если не в состоянии с безупречностью машины прокрутить здесь один-единственный пируэт!» Как он утверждает, его фигуры в подвале показывают такую выучку, что любо-дорого посмотреть; и выворотность у них у всех замечательная; так что скоро он одну из них в первый ряд к станку поставит: «Вот тогда вы позеленеете от зависти и поймете наконец, что такое настоящий классический балет, эх вы, пестики-нолики».

Пестиками и ноликами господин Зайцингер называл танцоров и танцовщиц. В одном из следующих писем, присланных мне Йенни на Эльзенскую улицу, в постскриптуме я нашел описание и даже штриховую зарисовку одной из этих фигур. Она стояла у станка и показывала пестикам-ноликам предписанное порде-бра.

Йенни писала: «Даже поверить трудно, скольким вещам я научилась у этой механической фигуры, которая, кстати, и не пестик, и не нолик. Прежде всего, у меня теперь правильная балетная спина, и точечные акценты в движениях рук — мадам Лара за этим не очень следила — мне теперь совершенно понятны. Что бы я ни делала, где бы ни стояла — чищу ли обувь, поднимаю ли стакан молока, — в воздухе повсюду должны быть эти акцентные точечки. И даже когда я зеваю — а мы все к вечеру ужасно устаем, — я слежу за тем, чтобы, прикрывая рот рукой, не забыть о точечках. А теперь мне пора заканчивать и на прощанье обнять тебя покрепче, чтобы с этим чувством заснуть и завтра утром проснуться. И, пожалуйста, не читай столько, а то испортишь себе глаза. Всегда твоя Йенни».

Дорогая Тулла!

С помощью таких вот Йенниных писем я пробовал навести мосты — от себя к тебе. На лестнице нашего доходного дома нам двоим трудно было разминуться, и я даже не пытался скрыть привычную краску волнения:

— Смотри-ка, опять Йенни мне написала. Тебе это интересно? Она так чудно́ пишет, вечно про любовь и все такое. Так что если хочешь посмеяться, возьми почитай, сколько всего она тут насочиняла. Ее теперь зовут Ангустри, как ее перстень, и скоро она отправляется с театром на гастроли.

Как нечто совершенно мне безразличное, хотя и не лишенное любопытства, я протянул ей вскрытый конверт.

Пренебрежительно постукивая по бумаге пальцем, Тулла сказала:

— Придумай наконец что-нибудь получше, чем без конца подсовывать мне все эти сладкие сопли и балетную лабуду!

Свои волосы, горчичного цвета, Тулла теперь носила свободно, и они разрозненными прядями ниспадали до плеч. В них еще слабо угадывались следы шестимесячной завивки — подарок морячка из Путцига. Одна из прядей закрывала левый глаз. Механическим движением, автоматизму которого позавидовала бы любая из механических фигур Зайцингера, с одновременным и презрительным поддувом Тулла отбрасывала эту прядку назад, чтобы коротким передергом костлявых плеч тут же вернуть ее на исходные рубежи. Но она пока что еще не красилась. Это позже, когда ночной патруль гитлерюгенда застукал ее сперва после полуночи на Главном вокзале, потом на скамейке Упхагенского парка с курсантом школы прапорщиков, что в Новой Шотландии, — вот тогда Тулла уже была подкрашена всюду, где только можно.

Из школы ее вытурили. Мой отец сетовал на выброшенные деньги. А директрисе школы Гудрун, которая, невзирая на рапорт ночного патруля, хотела дать ученице самый последний шанс, Тулла вроде бы сказала:

— Гоните меня в шею, госпожа директорша! Вот у меня где вся ваша школа

сидит! Больше всего я хочу ребенка, все равно от кого, лишь бы хоть что-то случилось, тут, в Лангфуре, и вообще.

Зачем тебе так хотелось ребенка? А затем! Словом, из школы Тулла вылетела, но ребенка не заимела. Целыми днями торчала дома, слушала радио, а после ужина исчезала. Как-то раз притащила себе и матери шесть метров адмиральского сукна. Потом заявилась в лисьем воротнике из Заполярья. Следующим ее трофеем была штука парашютного шелка. И она, и мать щеголяли в дамском белье чуть ли не со всей Европы. Когда пришли из службы занятости и попытались запихнуть ее на завод электрооборудования, она отправилась к доктору Холлацу и выписала себе больничное свидетельство: малокровие и затемнения в легких. Получила больничные продуктовые карточки и даже больничное пособие, правда скромное.

Когда Фельзнер-Имбс, прихватив свои большие песочные часы, фарфоровую балерину, золотую рыбку и горы нот, переехал в Берлин — Зайцингер позвал его к себе в балет пианистом, — Тулла дала ему с собой письмецо: для Йенни. Так я никогда и не дознался, что она такого своей авторучкой накорябала, — в следующем Йеннином письме говорилось только, что Фельзнер-Имбс благополучно прибыл, а от Туллы пришло очень милое письмо и что она, Йенни, передает Тулле самый сердечный привет.

Опять меня задвинули, опять у обеих появились от меня какие-то тайны. Теперь, сталкиваясь с Туллой, я уже не краснел, а становился белее мела. Ибо я, хотя все еще по тебе сох и не мог отклеиться, постепенно начинал тебя ненавидеть, тебя и твой клей; ненависть же — душевная болезнь, с которой можно и состариться, — облегчала мне общение с Туллой; я теперь дружелюбно и снисходительно давал ей дельные советы. Ни разу моя ненависть не прорвалась рукоприкладством, потому что, во-первых, я следил за собой с утра до полуночной дремы, во-вторых, я слишком много читал, в-третьих, был прилежным учеником, почти выскочкой, и времени на вымещение ненависти у меня не хватало, а в-четвертых, я построил себе алтарь и поставил на этот алтарь Йенни, в пачке, с балетным выворотом ног и парящими в воздухе руками; а проще говоря, я собирал письма Йенни в стопку и хотел, чтобы нас помолвили.

Тулла, любимая!

Сколь благовоспитанной и скучной могла быть Йенни, когда мы с ней сидели и разговаривали или просто шли рядом, столь же неожиданно остроумно и пикантно умела она писать письма. Ее внешне глуповатое, осененное тенью тоскливых ресниц око обладало даром внутренней проницательности, способностью видеть вещи с изнанки, трезво и без прикрас, даже если они в серебряных туфельках выступали на пуантах в свете рампы, пытаясь изобразить умирающего лебедя.

В такой манере описала она мне и балетный урок, который Зайцингер давал своим пестикам-ноликам. В тот день они разучивали балет, который назывался то ли «Птичьи пугала», то ли «Уж эти птичьи пугала», то ли «Садовник и птичьи пугала», как-то так.

Тренаж в тот день не спорился ни в танцклассе, ни на вольном воздухе. Фельзнер-Имбс неустанно горбился над мелодией Шопена, повторяя ее без конца и без всякого толку. В окнах класса мокли под дождем сосны, полные белок и прусского прошлого. Утром была воздушная тревога и занятия в теплом подвале. Теперь же нолики в черных трико увядали возле станка. Пестики сонно хлопали рыбьими глазами, покуда Зайцингер вдруг, одним прыжком и не разгибая колен, не вскочил на пианино — трюк, который пианиста ничуть не удивил, а пианино ничуть не повредил, поскольку Зайцингер, оказывается, умеет с места делать такие высокие, затянутые и плавные прыжки, что бережно опускается на коричневую крыш-

ку пианино, нисколько не потревожив его безупречно настроенную начинку. От такого антраша все пестики-нолики разом проснулись, поскольку некоторым из них хорошо известно, что́ этот гневный прыжок Зайцингера на пианино означает и какими последствиями может быть чреват.

Сверху вниз, но не прямо, а через посредство огромного балетного зеркала, занимавшего всю торцевую стену класса и превращавшего ее в соглядатая, Зайцингер обратился к своим пестикам-ноликам с грозным предупреждением:

— Что, кисточку позвать, чтобы вам станцевала? Задору недостает? Может, крыс подпустить нашим лебедям под хвосты? Прикажете Зайцингеру снова доставать свой волшебный кулечек?

Еще раз он перечислил последовательность своих, славившихся особой суровостью, упражнений у станка: гран-плие по два раза из первой, второй и пятой позиции; восемь дегаже растянутых и шестнадцать коротких, быстрых из второй позиции; восемь малых батманов дегаже, с акцентированным выворотом, легкой крапинкой. Но только нолики акцентировали в тот день выворот и легкой крапинкой метили прыжки; в пестиках же ни угроза пресловутого кулечка, ни Шопен в союзе с Фельзнер-Имбсом не могли пробудить жизненный задор и желание выполнить плие чисто — тесто на палочке, жидкий мед на ноже, лапша на поварешке; как вареные двигались мальчики, они же пестики — Вольфик, Марсель, Шмиттик, Серж, Готти, Эберхард и Бастиан, хлопали ресницами, помаленьку вздыхали между батманами фондю на полноска, выворачивали при рон де жамбе а ля згонд шеи, как лебеди перед кормежкой, и обреченно ждали, семеро сонных пестиков, второго прыжка Зайцингера, который, впрочем, после дружно запоротого большого батмана уже не заставил ждать себя долго.

И опять этот знаменитый прыжок Зайцингера был произведен с места: прямо с пианино через белую голову пианиста, в шпагате с удивительно широкой растяжкой, его выбросило в середину зала, поближе к зеркалу. И, ничего не утаивая от просторного отражения, он извлек на свет уже поминавшийся чудодейственный кулечек. Остренький кулечек, почти колпачок, невзрачный на вид и знаменитый, любимый и ненавистный, кулечек «хорошо, но в меру», мягкий, как порошок и как порох, обычный пятидесятиграммовый кулечек он извлек из специально предназначенного для этой цели нагрудного кармашка и приказал всем девочкам, или ноликам, отойти от станка. Отослал их всех в угол к гудящей, раздувшей накаленные щеки круглой чугунной печке. Там они, попискивая, сгрудились и отвернулись к стене, прикрыв к тому же глаза бледными ладошками. И даже Фельзнер-Имбс набросил шелковый шарф на свое львиное чело.

Ибо, как только глаза были прикрыты, а львиное чело стыдливо спрятано, Зайцингер приказал:

— Face à la barre![1]

И семь мальчиков-пестиков, страшно волнуясь и помогая друг другу, стащили со своих мальчишеских бедер черные, розовые, яично-желтые и майски-зеленые шерстяные трико.

— И-и-и приготовились! — Зайцингер прищелкивает сухими пальцами, и мальчики, головами к стене, все так же моргая неутомимыми ресницами, выстраиваются у балетного станка, в четырнадцать рук обхватив его стертый деревянный брус. В натопленном танцклассе семь торсов под вслепую наигрываемого Шопена дружно наклоняются с вытянутыми руками, выпрямляют колени и выставляют аккуратную, как на подбор, шеренгу упругих и нежных мальчишеских попок.

И тогда Зайцингер, заняв исходную позицию возле крайней попки с кулечком в левой руке, правой вдруг словно из воздуха выхватывает и зажимает между пальцами кисточку, дорогую и очень сподручную, окунает ее барсучий кончик в остроконечный кулек, после чего, поддерживаемый аккомпанементом Фельзнер-

[1] Лицом к станку! (*франц.*)

Имбса, принимается бодро и как бы только для одного себя насвистывать неизменный в таких случаях полонез; и весьма энергично, не забывая о зеркале, начинает переходить от одной попки к другой.

И при этом — в чем и смысл всей затеи — он семь раз извлекает из кулечка с загадочным порошком обмакнутую в этот порошок барсучью кисточку и семь раз вводит ее в соответствующую дырочку в мальчишеской попке — хоп-ля!

Это была не присыпка для ног. И не снотворное. Не лекарство для похудания и не средство от львов, не разрыхлитель для теста и не ДДТ, не сухое молоко, не какао и не сахарная пудра, не мука, чтобы печь булочки, не толченый мел и не глазной порошок — это был перец, черный перец тончайшего помола, и именно его Зайцингер неустанной рукой семь раз загрузил кисточкой по назначению. Наконец, уже возле самого зеркала, он закончил свой педагогический выход плавным пируэтом, повернулся, сверкнув полным ртом золотых зубов, лицом к залу и ликующе провозгласил:

— Alors mes enfants![1] Сперва пестики, потом нолики. Première position: grand pliè, bras en couronne![2]

И едва только Имбс, уже не вслепую, бросил свои утомленные Шопеном пальцы на клавиши, семь разноцветных трико мигом и будто сами собой натянулись на семь мальчишеских попок, и сразу же занятия пошли гораздо бодрее: легче шаг, выше ноги, шире руки. Замерли ресницы, проснулись движения, взмокла красота, и Зайцингер неведомо куда спрятал свою дорогую кисточку.

Действие перца оказалось столь длительным и благотворным, что после удачного тренажа и ненаперченные нолики, и наперченные пестики смогли еще прорепетировать третий акт балета о пугалах: от сцены разорения сада скопищем пугал до па-де-де.

Поскольку в итоге вся массовая сцена — тонко организованный хаос на пуантах, — сдобренная перцем и традиционной прусской военной музыкой, прекрасно удалась, Зайцингер, сверкнув всеми тридцатью двумя зубами, объявил занятия оконченными, взмахнул полотенцем, велел Фельзнер-Имбсу захлопнуть пианино, упрятать обратно в папку Шопена и прусские военные марши, после чего роздал всем сестрам, то бишь пестикам-ноликам, по серьгам:

— Браво, Вольфик, молодец, Шмиттик, спасибо всем пестикам-ноликам! Особенное спасибо Марселю и Йенни. Вас я попрошу еще ненадолго остаться. Пройдем сцену дочки садовника и принца из первого акта, пока что без музыки, вполноска. Всем остальным вовремя лечь спать и не колобродить. Завтра утром занят весь кордебалет, похищение дочки садовника и главный финал.

Дорогая Тулла!

В том Йеннином письме, содержание которого я только что попытался воспроизвести, говорилось, как и во всех ее письмах, и о том, как крепко и неизменно она меня по-прежнему любит, хоть Зайцингер за ней и ухаживает, правда сдержанно и ужасно иронично. Но мне из-за этого тревожиться нечего. Кстати, она собирается, правда только на пару дней, наведаться в Лангфур. «Придется все-таки освобождать квартиру. Поэтому мы хотим перевезти мебель и коллекцию камней. Ты представить себе не можешь, сколько понадобилось писанины, чтобы получить разрешение на переезд. Но Зайцингер умеет располагать к себе людей. Впрочем, он считает, в Лангфуре мебель была бы целее, Берлин все чаще бомбят. Камни он в любом случае хочет схоронить в деревне, где-то в Нижней Саксонии».

Дорогая Тулла!

Сперва к дому, что наискосок напротив, подкатил мебельный фургон. Окна

---

[10] Итак, дети мои! (*франц.*)
[11] Первая позиция: гран-плие, руки над головой! (*франц.*)

всех пятнадцати квартир нашего дома тут же облепились жильцами. Потом, бесшумно, к фургону сзади приткнулся «мерседес», но так, чтобы оставить место для погрузки. Шофер, сдернув кепку, вовремя успел открыть дверцу: в черном меховом манто — похоже, крот — с поднятым воротником вокруг стройной шеи, на тротуаре, мельком вскинув взгляд на наши окна, стояла Йенни — изящная дама, которой нельзя простудиться. Зайцингер, в черном ольстерском пальто с коричневым воротником из нутрии, взял ее под руку. Наставник и великий импресарио, на полголовы ниже Йенни, вот он, Герман Зайцингер, рот полон золота. Но он не смеялся и дом наш не изучал. Для него Эльзенской улицы просто на свете не было.

Мой отец сказал из-за газеты:

— Можешь спокойно пойти помочь перенести вещи, раз уж у вас такая переписка.

Я еле нашел Йеннину руку в широченном меховом рукаве. Она меня представила. Зайцингер удостоил меня осьмушки взгляда:

— Так-так, — заметил он и добавил: — Хорошенький пестик.

Потом он принялся дирижировать грузчиками, словно кордебалетом. Помогать мне не позволили, наверх в квартиру тоже не позвали. Погрузка мебели, тяжеленных, все больше дубовых темно-коричневых рыдванов, превратилась в захватывающее зрелище, так как под руководством Зайцингера даже неподъемный, на целую стену книжный шкаф становился невесомым, как пушинка. Когда дошла очередь до Йеннинoй комнаты — светлая береза, бидермайер, — мебель на квадратных грузчицких спинах буквально поплыла из дома, и казалось, что у нее есть «баллон». В промежутке между гардеробом из прихожей и голландским трюмо Зайцингер как бы невзначай оказался со мной рядом. Ни на секунду не передоверяя дело одной только грубой физической силе грузчиков, он пригласил меня и Йенни на ужин в ресторан гостиницы «Эдем», что возле Главного вокзала, — они в этой гостинице остановились. Тяжелые открытые ящики штабелем устанавливались на тротуаре среди последних кухонных стульев. Я ответил согласием.

— Значит, в полвосьмого.

И тут же, словно Зайцингер это подстроил нарочно, из-за облаков прорвалось солнце и осветило сверкающие камни в открытых ящиках. И даже запах отсутствующего старшего преподавателя вдруг снова ожил, распространяясь вокруг холодным трубочным дымом; однако часть слюдяных гнейсов приходилось оставлять. Восемь или девять ящиков полностью замуровали в мебельный фургон, а два не влезали. Тут и я получил свой сольный выход в зайцингеровском мебельно-погрузочном балете, предложив освободить место для этих камней, слюдяных гнейсов и слюдяных гранитов, биотитов и мусковитов, в нашем подвале.

Отец, у которого я, найдя его в машинном цехе, попросил разрешения, удивил меня неожиданно быстрым и спокойным согласием:

— Конечно, сынок. Во втором подвале рядом с оконными рамами еще полно места. Вот туда ящики господина учителя и поставь. Уж какой-то в этом должен быть смысл, коли пожилой человек всю жизнь эти камни собирал.

Дорогая Тулла!

Ящики водворились в наш подвал, а вечером я уже сидел подле Йенни и напротив Зайцингера в малом ресторанном зале гостиницы «Эдем». Днем, после обеда, ты вроде бы встречалась с Йенни, без Зайцингера, в городе. Зачем? А затем! Мы почти не разговаривали, и Зайцингер смотрел куда-то в пустоту между мной и Йенни. А встречались вы, говорят, в кафе Вайцке, что в Шерстобитном переулке. Что вам понадобилось друг с дружкой обсудить? Да всякое! Йеннин мизинец под столом сцепился с моим. Я уверен, от Зайцингера это не укрылось. Что вам там в кафе Вайцке понадобилось? Кусок невкусного торта и водянистое мороженое для Йенни? В ресторане «Эдем» был подан черепаховый суп, шницель

по-венски с консервированной спаржей, а потом, по Йенниной заявке, десерт с мороженым. Как знать, может, я даже ехал вслед за вами до Угольного рынка и потом видел, как вы в кафе Вайцке сидели, разговаривали, смеялись, молчали, плакали — зачем? А затем! После еды я заметил на лице Зайцингера, то ли непроницаемом, то ли просто неподвижном, тысячу, если не больше, блеклых, серовато-тых веснушек. У Эдди Амзеля, когда он еще был Эдди Амзелем, на жирном лице веснушек было поменьше, зато они были крупнее и настоящего рыжевато-коричневого цвета. Часа два, никак не меньше, вы в кафе Вайцке трепались. В полдесятого пришлось мне сказать:

— Знал я одного человека, похожего на вас, только звали его иначе.

Зайцингер подозвал официанта:

— Стакан цитрона, пожалуйста.

Но у меня текст приготовлен был:

— Фамилия его была Степун, потом он назвался Дрофером, потом Дрофским. Вы его часом не знаете?

Простуженному господину Зайцингеру принесли его цитрон.

— Благодарю. Пожалуйста, счет.

Где-то у меня за спиной официант колдовал над счетом.

— Несколько минут этого человека, которого я знал, звали даже Янгером. Потом он стал Якленским. А потом нашел фамилию, которую носит и по сей день. Хотите знать какую? А ты, Йенни, хочешь?

Зайцингер размешал чайной ложечкой две белые таблетки лимонного экстракта и расплатился наличными, вложив их в счет:

— Сдачи не надо.

Я уж совсем было собрался сказать, как того человека звали, но тут Зайцингер принялся сосредоточенно пить свой чай. Время было упущено. Да и Йенни вдруг устала. И только в вестибюле гостиницы, после того как Йенни было разрешено поцеловать меня на прощанье, Зайцингер, показав часть своих золотых зубов, хрипло проговорил:

— Вы одаренный юноша. Много фамилий знаете. Надо вас поощрить — может, сейчас, может, позже. Пожалуй, я назову вам еще одну фамилию: Брауксель — произносится через «икс». Или Браухсель — тогда через «икс» пишется. Или даже Брайксель — как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Советую хорошенько запомнить эту фамилию и все три варианта ее написания.

А потом оба они, элегантно и как-то неестественно медленно, поднимались по лестнице. Йенни оборачивалась, оборачивалась, оборачивалась — даже когда меня, с тремя вариантами фамилии в голове, в вестибюле уже не было.

Дорогая Тулла!

Итак, он есть. Я нашел его, когда искал тебя. Это он посоветовал мне, как писать, если я намерен писать тебе. Это он переводит мне деньги, чтобы я мог писать тебе, ни о чем другом не беспокоясь. Он владеет то ли рудником, то ли шахтой между Хильдесхаймом и Зарштедтом. Или только управляет то ли рудником, то ли шахтой. Или имеет большой пакет акций. А может, все это блеф, туфта, пятая колонна, даже если у него и впрямь такая фамилия: Брауксель, Браухсель, Брайксель. На шахте у Браукселя добывается не руда, не соль и не уголь. Там кое-что другое добывается. Я знаю что, но называть не имею права. Только тебя, Тулла, я волен и должен называть по имени. И срок, четвертое февраля, обязан соблюсти. И успеть нагромоздить гору костей. И начать наконец заключительную сказочку, потому что Брауксель торопит телеграммой: «СОЕДИНЕНИЕ ВОДОЛЕЯ НАДВИГАЕТСЯ ТЧК ГОРУ КОСТЕЙ НАВАЛИТЬ ТЧК ВЫКИДЫШ ВВЕСТИ ТЧК ПСА ВЫПУСТИТЬ ЗПТ ЗАКОНЧИТЬ ВОВРЕМЯ ТЧК»

Была когда-то девочка, ее звали Тулла.

И у нее был чистый детский лобик. Но нет на свете ничего чистого. И снег не чист. Ни одна девственница не чиста. И даже свинья чиста небезупречно. И дьявола в чистом виде не бывает. И любой звук не возникает в чистоте. Каждой скрипке это известно. И каждая звезда, подрагивая, тихо об этом звенит. И каждый нож, когда чистит, знает: даже картошка не чиста, у нее есть глазки, а глазки надо выкалывать.

Но соль?! Соль чиста! Нет, и соль тоже нечиста. Это только на упаковках пишут: «Соль поваренная чистая». Но ее же где-то хранят. А что хранят рядом? Но ее же промывают. Промыть и отстирать можно добела, но не дочиста. И черного кобеля — ни добела, ни дочиста. Но химические элементы — уж они-то? Стерильны, но не чисты. Но идея, идея-то сохраняет чистоту? Нечиста даже в началах. Иисус Христос нечист. Маркс-Энгельс нечист. Пепел и прах нечисты. И облатка причастия нечиста. Чистота помыслов нечиста. И искусство расцветает не в чистоте. И на солнце пятна. Все гении какают. На гребне боли вскипает смех. В недрах рева таится молчание. В углах прислонились циркули. Но круг, вот круг чист!

Ни один круг не смыкается чисто. А если чист круг, то тогда чисты и снег, и девственница, и свиньи, Иисус Христос и Маркс-Энгельс, легкий пепел и тяжкие боли, смех и хохот, рев и плач, и молчание отдельно, помыслы чисты как снег, и в облатке ни кровинки, гении без выделений, и углы все безупречны, и наивно и беспечно козья ножка чертит круг; чисто все, добро и подлость, человечность и марксизмы, свинство, черти, христианство, соль и хохот, грех и святость, жвачка, слюни и отрыжка, круглота и угловатость, и, конечно, чистота. И чисты, конечно, кости, белоснежные их горы, что росли совсем недавно, в стройности пирамидальной, пока не было ворон. Но нечистые вороны черной тучей налетели, мерзким криком прокричали: не чисты ни круг, ни кости, не чисты земля и небо, не чисты ни ад, ни рай! И костей крутые горы, чистоты идей и расы возведенные во имя, мы теперь в кипящих чанах переварим все на мыло, чистое и по дешевке; но и мылом не отмыться до искомой чистоты.

Была когда-то девочка, ее звали Тулла,

и на ее детском лобике расцветали и увядали прыщи, большие и поменьше. Ее кузен Харри долго боролся с собственными прыщами. Тулла же не признавала ни примочек, ни снадобий. Ни миндальные отруби, ни вонючая сера, ни огуречное молочко, ни цинковая мазь не касались ее лба. Спокойно и уверенно, поскольку лоб был по-детски округлый, носила она перед собой свои прыщи, затаскивая унтеров и прапорщиков в ночные скверы и парки; ибо она хотела ребенка, а ее все никак не могли обрюхатить.

После того как Тулла безрезультатно испробовала, можно сказать, все рода войск и все младшие воинские звания, Харри дал ей совет попытать счастья с гимназистами — они тоже нынче в форме. Сам он с недавних пор тоже щеголял в чем-то синем и военно-воздушном, а жил не на Эльзенской улице, а — и это в разгар купального сезона — в бараке прибрежной батареи Брёзен-Глеткау, которая в качестве стратегической была укомплектована двенадцатью орудиями восемьдесят восьмого калибра и достаточно большим количеством четырехствольных зенитных установок.

С самого начала Харри был определен шестым номером к восемьдесят восьмому орудию, то есть на крестообразный лафет. Шестому номеру надлежало посредством двух рукояток обслуживать механизм прицела. Харри занимался этим до самого конца своей военно-учебной практики. Место было хорошее, потому что шестой номер единственный из орудийного расчета восседал на специальном сиденьице, закрепленном на лафете, не слезая, то есть даром катался, когда ору-

дие надо было быстро развернуть, и не сбивал себе в кровь лодыжки о ребристую лафетную раму. Во время учебных стрельб Харри сидел спиной к жерлу ствола и, торопясь накрыть двумя индикаторными стрелками две стрелки наводки, все размышлял и выбирал между Туллой и Йенни. Получалось у него довольно ловко: индикаторная стрелка гналась за стрелкой наводки, Тулла гналась за Йенни, так что в итоге артиллерист Харри Либенау обслуживал механизм прицела, к полному удовольствию обучающего их фельдфебеля.

Был когда-то фельдфебель,

он умел громко скрежетать зубами. Наряду с другими отличиями он носил и серебряный значок за ранение. Вот почему, расхаживая между бараками береговой батареи Брёзен-Глеткау, он слегка припадал на одну ногу, и легкая эта хромота запоминалась. Его считали строгим, но справедливым, им восхищались и поверхностно ему подражали. Когда он уходил в дюны стрелять зайцев, он брал с собой сопровождающим курсанта, которого остальные называли Штёртебекером. Стреляя береговых зайцев, фельдфебель либо вообще ни слова не говорил, либо цитировал, с затяжными, утомительными паузами, всегда одного и того же философа. А Штёртебекер эти цитаты за ним повторял и постепенно изобрел своеобразный философско-гимназический жаргон, на котором вскоре с разной степенью ловкости и выразительности начали изъясняться многие.

Большинство своих рассуждений Штёртебекер предварял присловьем:

— Я как досократический мыслитель...

Кто наблюдал его на посту, видел, как он чертит палкой на песке какие-то каракули. Пришествие несказуемой сущности во всей ее неброшенности, то бишь, по-простому говоря, бытие, он набрасывал на песке неторопливыми, расчетливыми штрихами. Но стоило Харри произнести слово «бытие», как он тут же раздраженно его поправлял:

— Опять ты имеешь в виду бывание.

Даже в повседневном обиходе юные философствующие умы находили повод для досократической словесной эквилибристики, прикладывая потом и кровью добытые познания фельдфебеля к любой чепухе и житейской мелочи. Недоваренную картошку в мундире — кухня плохо снабжалась и еще хуже готовила — именовали здесь «бытийно-забытой бульбой». Если кто-то кому-то напоминал о чем-то несколько дней тому назад одолженном, обещанном или, тем паче, провозглашенном, тут же следовал незамедлительный и универсальный ответ:

— Кто еще в наши дни думает о мыслимом! — или, соответственно, об одолженном, обещанном, провозглашенном.

Будничные события, неизбежные и привычные в жизни всякой батареи ПВО, как-то: штрафные учения с неполной боевой выкладкой, осточертевшие учебные тревоги и вонюче-масляная чистка оружия — сопровождались неизменной, у фельдфебеля подслушанной присказкой:

— Ничего не поделаешь: сущность бытия заложена в его экзистенции.

Причем именно словечко «экзистенция» годилось почему-то на все случаи жизни:

— Экзистани-ка мне сигаретку.

— Я в кино, кто хочет соэкзистировать?

— Если ты сейчас же не заткнешься, схлопочешь по экзистенции.

Освобожденные по болезни обретали право на тюфячную экзистенцию. Побывка дома на выходные называлась экзистенциальной паузой. А если кому-то удавалось подцепить девчонку — как Штёртебекеру мою кузину Туллу, — он после вечерней зори хвастался, сколько раз проник в девушку до самой ее экзистенции.

И именно ее, экзистенцию, старался запечатлеть Штёртебекер палкой на песке; и всякий раз она выглядела иначе.

Был когда-то курсант ВВС
по имени Штёртебекер, который вроде бы сделал Тулле ребенка или, уж во всяком случае, старался. По воскресеньям, когда батарея Брёзен-Глеткау была открыта для посещения, сюда заявлялась на шпильках Тулла и начинала расхаживать между восемьдесят восьмыми орудиями, раздувая ноздри и выставив прыщавый лоб. Или цокала на своих шпильках-гвоздиках под руку с фельдфебелем и курсантом Штёртебекером по направлению к дюнам, чтобы кто-то из них двоих сделал ей ребенка; но фельдфебель и курсант предпочитали экзистенциальные доказательства иного рода: они стреляли в дюнах зайцев.

Был когда-то кузен,
его звали Харри Либенау, и годился он только на то, чтобы подглядывать и разбалтывать. И вот как-то раз он лежал плашмя с полуприкрытыми глазами в прибрежном песке среди вылизанной ветром прибрежной осоки и вжался в песок еще сильней, когда на гребне дюны возникли три фигуры. Громила фельдфебель, вырисовываясь в закатном солнце, тяжело и заботливо обнимал Туллу за плечи. Тулла в правой руке несла свои туфли-шпильки, а в левой держала за задние лапы истекающего кровью зайца. Штёртебекер, справа от Туллы, но не прикасаясь к ней, стволом вниз нес карабин. Три фигуры не замечали Харри. Целую вечность простояли они, как вырезанные, потому что солнце все время было у них за спиной, на гребне дюны. Тулла едва доставала фельдфебелю до груди. Его рука покоилась на ее плечах как несущая балка. Штёртебекер чуть в сторонке от них и все же с ними, неподвижный и внемлющий бытию. Четкая и красивая картина, вдавившая Харри еще глубже в песок и болезненно врезавшаяся в память, потому что трем фигурам в лучах низкого солнца было до него куда меньше дела, чем до окровавленного зайца.

Была когда-то такая картина,
особенно болезненная в лучах закатного солнца. Но курсанту ВВС Харри Либенау не суждено было никогда больше ее увидеть, потому что со дня на день предстояло ему собирать манатки. Чьим-то неисповедимым промыслом его, Штёртебекера, тридцать других курсантов и фельдфебеля перевели на другую батарею. Никаких дюн с их мягкими округлостями. Никакого Балтийского моря с его стародевичьей зыбью. Никакой прибрежной осоки, льнущей и музыкальной на ветру. И уже не утыкаются в гаснущее после вечерней поверки небо двенадцать угрюмых восемьдесят восьмых стволов. Никогда больше не притулятся вдали брёзенская деревянная церквуха, черно-белые коровы брёзенских рыбаков, брёзенские рыбачьи сети, развешанные на жердинах для просушки и как фон для фотографий. И никогда больше не сядет для них солнце за фигурками береговых зайцев, что, как маленькие человечки, неподвижно застывали на гребне дюны и, навострив уши, должно быть, молились покидающему их светилу.

На батарее Кайзерхафен таких набожных животных не водилось, только крысы, а крысы почитают лишь неподвижные звезды.

Дорога на батарею начиналась из Троила, портового предместья между Нижним Данцигом и верфями, и час без четверти тянулась по прибрежным пескам в сторону устья Вислы. Позади оставались небрежно разбросанные по пустырю ремонтные мастерские железнодорожного депо, древесные склады за Вояновской верфью; и здесь, на этом отрезке пространства от трамвайной остановки в Троиле до батареи Кайзерхафен, водяные крысы были бесспорными и полновластными хозяевами.

Но смрад, что висел над батареей и даже при сильном западном ветре не отступал ни на шаг, был не от крыс.

В первую же ночь на новой батарее спортивные тапочки Харри, обе-две сра-

зу, были сожраны дочиста. Правилами служебного распорядка категорически воспрещалось хождение по полу босиком. Крысы были повсюду и жирели на глазах, с чего бы это? Их брезгливо именовали исконносущими, но они почему-то на это имя не отзывались. Для защиты от крысиной потравы весь личный состав батареи был экипирован стальными заточками. Убиение шло беспрерывно и бесплановo. Проку от этого было чуть. Едва ли не ежедневно фельдфебель, стержень и копье всей батареи, каждое утро рапортовавший своему командиру, капитану Хуфнагелю, сколько обер-ефрейторов, унтер-офицеров, курсантов и украинских добровольцев приступили к несению службы, отдавал приказ по части, согласно которому количество водяных крыс надлежало существенно сократить; но смрад, повисший над батареей, от этого ничуть не убывал, ибо исходил он не от исконносущих.

Был когда-то отдан приказ по части,

которым устанавливалось премирование личного состава за уничтожение грызунов. Ефрейторам и обер-ефрейторам, всё сплошь уже пожилым отцам семейств, за трех убитых крыс выдавалось по сигарете. Украинским добровольцам по предъявлении восемнадцати тушек швыряли пачку махорки. Курсанты за пять крыс получали трубочку леденцов. Но были обер-ефрейторы, всегда готовые обменять три сигареты на две трубочки леденцов. Махорку мы не курили. Согласно приказу по части, весь личный состав батареи был разбит на боевые, вернее охотничьи, звенья. Харри попал в звено, которому в качестве боевого участка была выделена душевая — глухое помещение без окон и лишь с одной входной дверью. Сперва, гостеприимно эту дверь распахнув, в душевую снесли и разложили по сточному желобку остатки еды. Потом тщательно заткнули многочисленные стоки. После чего, укрывшись в стенах учебного барака и прильнув к окнам, мы дождались сумерек. Вскоре вдоль стен барака по направлению к двери душевой с однотонным посвистыванием потянулись продолговатые тени. Их не манили звуки флейты, только зев распахнутой двери. И это при весьма скудном меню: остатки холодной перловки да капустные кочерыжки. Говяжьи кости, вываренные раз десять, да пригоршня прогорклых овсяных хлопьев — дар расщедрившейся кухни, — разложенные и рассыпанные на пороге, должны были крыс приманить. Они бы пришли и так, без всяких хлопьев.

Когда душевая уже сулила щедрую добычу, двери близлежащего барака изрыгнули пятерых молодцов в высоких рыбацких сапогах, вооруженных дубинками, на концах которых поблескивали вбитые в них альпинистские крючья. Душевая поглотила отважную пятерку. Последний закрыл за собой дверь. Снаружи остались: крысы, запоздалые и бытийнозабвенные; смрад, над батареей утвердившийся; луна, если она не отрицала бытие; радио, горланящее во всю глотку из связующего с миром унтер-офицерского барака; онтические голоса кораблей. Ибо внизу уже нарастала своя музыка. Уже не однотонная, а скачками через октавы: перлово-пронзительная, кочерыжно-жесткая, костяно-железная, вздернуто-тревожная, нехарактерная. Тренированно-дружно, словно одним щелчком, вспыхнуло освещение — пять фонариков в пяти шуйцах разрезали кромешную тьму. Два вздоха полной тишины. И вот оно уже кишит свинцово-серым месивом в лучах света, ползет на брюхе по жестяным желобам, плюхается всею тушкой на плитку пола, теснится у стоков, застит дорогу друг другу, карабкается по бетонному цоколю к коричневому дереву стен и срывается вниз. Цепляется, кидается наутек. Не может оторваться от перловки и кочерыжек. Спасает говяжьи кости, а не свою шкурку — гладкую, лоснистую, водонепроницаемую, пока что целую, дорогую, бренную, столетиями чаемую шорниками, на которую теперь без разбора и суда обрушиваются стальные шипы крючьев. Нет, не зелена крысья кровь, а тоже. С сапога сбросим, и все. Нанижем одну на другую, одним крюком. Быть со, избыть за. И на бегу,

и в прыжке — музыка! И эта песенка еще с допотопных времен. Крысиные истории — где сказка, где быль? Жизнесвязь, выстоять, прорваться: выжранные дочиста корабли с зерном. Опустошенные амбары. Ничто во плоти. Фараоновы тощие годы. И когда Париж был в осаде. И когда крыса сидела в дарохранительнице. И когда мышление рассталось с метафизикой. И когда голод и нужда свирепствовали. И когда крысы покинули корабль. И когда они вернулись. И даже малых детей и стариков, прикованных к стульям. И когда у молодой матери младенца прямо от груди. И когда на кошек нападали, оставляя от самых свирепых крысодавов одни голые зубы, что и сегодня жемчужно-матовым рядком поблескивают в музее. И когда чуму разносили во все стороны и впивались свиньям в их розовые окорока. И пожирали Библию, тут же плодясь и размножаясь по ее заветам. И когда они схарчили часы, опровергнув ход времени. И когда их в Хамельне канонизировали. И когда специально для них изобрели яд, который пришелся им очень даже по вкусу. И когда сплели из своих крысиных хвостов канат, чтобы промерить глубину колодца. И когда помудрели настолько, что вошли в стихи и стали выступать на сцене. Когда канализировали трансцендентность и устремились к свету. И когда радугу подточили. Когда знаменовали собой начало начал и прогрызли первые дырки в преисподнюю. И взошли на небеса, чтобы подсластить орга́н Святой Цецилии своим хором. Когда они посвистывали в эфире и переселились на звезды, прежде бескрысные. Когда крысы вели свое беззаботное существование, экзистенцию. И когда вдруг отдан был приказ по части, суливший за крыс, но за приконченных крыс, вознаграждение — какой-то дешевый табак, скрученные сигареты и кисло-сладкие малиновые леденцы. О, крысиные сказки и крысиные были, как полнятся ими сейчас все углы. Не по ним, так по бетону. Копошатся крысиные башни. Жгутики хвостов. Сморщенные мордочки. Назад к двери! Атака отчаяния. Рука руку моет, палка палке помогает. Падает фонарик, шмякается в мягкое, катится по полу или его катят; но все еще ярко поблескивают глазки, придавленные тушками собратьев, чтобы, когда их разгребут дубинкой, метнуться вверх, показывая, на что способна груда крыс, которых считали безоговорочно приконченными. Ибо каждая дубинка ведет свой счет: семнадцать, восемнадцать, тридцать одна; а вот тридцать вторая уходит, метнулась, скрылась, мелькнула снова, два крюка поздно, один рано, вот она прыгает, зубы оскалены, прямо на Харри, Харри отшатывается, резиновые сапоги скользят по потным от страха плиткам пола. И он падает навзничь на что-то мягкое и орет благим матом, пока другие дубинки сотрясаются от хохота его товарищей. На осклизлых шкурках, на груде добычи, на ее подрагивающих пластах, на прожорливых поколениях нескончаемой и не желающей кончаться крысиной истории, на оприходованной перловке, на умятых кочерыжках лежит Харри и орет благим матом:

— Она меня укусила! Укусила! Укусила!

Но это не крыса. Это просто испуг, когда он упал и не ушибся, а почувствовал под спиной что-то мягкое. Тут наконец в стенах душевой воцарилась тишина. Еще имеющий уши да слышит связующее с миром радио из унтер-офицерского барака. Несколько дубинок по инерции прицеливаются и добивают последние вялые конвульсии. Наверно, дубинки не могли так сразу и внезапно, в наступившей тишине, прекратить свою экзистенцию. В них еще жил какой-то остаток, он рвался наружу и жаждал осуществиться до конца. Но даже когда в наступившей тишине понемногу угомонились и дубинки, это еще тоже был не конец, ибо возникшую экзистенциальную паузу заполнил Харри Либенау: поскольку он так мягко упал, ему пришлось долго блевать в опустошенный тазик из-под перловки. Опорожнить желудок прямо на крыс ему не позволили. Крыс надо было подсчитать, уложить рядком и привязать хвостами к проволоке. На утренней поверке их звено предъявило четыре таких проволоки, густо унизанных тушками, которые скрупулезный каптенармус добросовестно пересчитал: сто пятьдесят восемь крыс принесли им — с великодушным округлением до ста шестидесяти — тридцать две

трубочки леденцов, половину из которых Харри и его боевые товарищи тут же выменяли на сигареты.

Сложенные рядком крысы — в то же утро они были захоронены за солдатской уборной — пахли землей и какой-то кисловатой сыростью, как только что отрытый бурт картошки; но смрад, что стоял над батареей, был совсем другой густоты, ни одна крыса такого не выдыхала.

Была когда-то батарея,

она была расположена неподалеку от Кайзерхафена и поэтому так и называлась: батарея Кайзерхафен. Батарее этой совместно со стратегической батареей Брёзен-Глеткау и батареями Хойбуде, Пелонкен, Циганкенберг, Нарвик-Лагер и Старая Шотландия надлежало охранять воздушное пространство над городом Данцигом и данцигским портом.

За все время, что Харри прослужил на батарее Кайзерхафен, тревогу объявляли только два раза; зато крыс уничтожали каждый день. Когда над Оливским лесом был подбит четырехмоторный неприятельский бомбардировщик, эту удачу разделили между собой батареи Пелонкен и Старая Шотландия; батарея Кайзерхафен осталась ни с чем, но зато смогла отрапортовать наверх о нарастающих успехах в деле очистки территории батареи от водяных крыс.

О, как эта сопричастность бытийным основам приближала к прозрению наброска Вселенной! А боевое звено Харри считалось одним из лучших. Но ни одно звено, включая УДВ — украинских добровольцев, что работали за уборной, не могло тягаться со Штёртебекером, который работал единолично, ни к какому звену не примыкая.

Он добывал крыс среди бела дня при неизменном скоплении зрителей. Обычно он укладывался на брюхо возле кухонного барака у открытого канализационного люка. Длинная рука его обосновывалась над самым стоком, который и обеспечивал ему его головокружительную добычу из канализационных артерий между Троилом и полями орошения.

О, эти неисчислимые зачем и почему! Зачем так и не иначе? Почему водяные крысы, а не иные сходно сущие? Почему вообще что-то, а не Ничто? Вопросы эти уже содержали в себе первый и последний Праответ на любые вопрошания:

— Существо крысы — это трансцендентально возникающее троекратное саморастворение в мировом чертеже или в канализации.

Конечно, Штёртебекер был достоин восхищения, хотя его правую, выжидательно раскрытую в канализационном колодце ладонь и защищала тяжелая кожаная перчатка, какие надевают при работе сварщики. По правде сказать, все только и ждали, когда же крысы, штук пять или шесть, накинутся разом, растерзают перчатку и вопьются ему в голую руку. Но Штёртебекер лежал спокойно, с полузакрытыми глазами, мусолил свой малиновый леденец — он был некурящий — и через каждые две минуты, стремительно выбросив вверх руку в кожаной перчатке, заученным ударом шмякал крысиную голову о ребристый край люка. В промежутках между крысиными смертями он своим слюняво-малиновым языком на подслушанном у фельдфебеля наречии то и дело нашептывал крысиные откровения и крысиные онтологические истины, которые — так, по крайней мере, все думали — и заманивали добычу прямо в его хваткую перчатку, обеспечивая ему столь непринужденное изъятие крыс из колодца. Речь его, пока сам он внизу выуживал, а наверху штабелировал, текла непрестанно:

— Крыса сама себя изымает, отторгаясь от своей крысиности. И тогда, сбитая с толку и чуя это, крыса путает свою крысиность с неисповедимостью. Ибо крысиность ее уже пересбылась в неисповедимость и там, блуждая вокруг крысы, окончательно утверждает ее заблуждение. Которое и есть поле осуществления всей истории...

Иногда он еще неизъятых крыс ласково называл: последыши. Те же, что лежали у люка штабелями, именовались у него довременниками или сущими. Завершив работу и оглядывая аккуратно уложенную добычу рук своих, он говорил почти с нежностью и мягкой укоризной в голосе:

— Крыса еще может бытовать без крысиности, но крысиности без крысы не бывает никогда.

Он выдавал до двадцати пяти крыс в час, а мог бы, если б хотел, изымать и еще больше. Он нанизывал добычу на точно такую же проволоку, что и мы. И ежеутренний подсчет на поверке этой плотной, за хвосты увязанной снизки называл доказательством своей сущепричастности. Этим промыслом он зарабатывал себе прорву малиновых леденцов. Иногда дарил трубочку Тулле, кузине Харри. Частенько, словно пытаясь умилостивить крысиность, он с видом жреца бросал в канализационный люк возле кухни три леденцовых кружочка. Гимназисты затевали безнадежный терминологический спор. Мы все никак не могли решить, считать ли канализацию мировым чертежом или неисповедимостью...

Но смрад, что обосновался над батареей, не был присущ ни мировому чертежу, ни неисповедимости, как сам Штёртебекер именовал свой богатый философскими аллюзиями и крысами колодец.

Была когда-то батарея,

а над ней, от сумерек до сумерек, неустанно и деловито сновало воронье. Нет, не чайки, вороны. Чайки парили в небе над самим Кайзерхафеном, над древесными складами, но над батареей Кайзерхафен — никогда. Если и случалось бедолаге чайке по глупости залететь в эти места, ее сей же миг накрывало свирепое облако — и дело с концом. Вороны чаек на дух не переносят.

Но смрад, лежавший над батареей, шел не от ворон и не от чаек, которых тем паче там и не было. Покуда ефрейторы, обер-ефрейторы, УДВ и курсанты, предвкушая премии, изничтожали крыс, средний офицерский состав от унтер-офицеров до капитана Хуфнагеля предавался иному развлечению: они стреляли — правда, не ради премий, а исключительно из спортивного интереса — отдельных ворон из несметного вороньего полчища, кружившего над батареей. Впрочем, вороны все равно не улетали, и число их не убывало.

Но смрад, что лежал над батареей, что стоял и даже не переминался с ноги на ногу между бараками и орудийными позициями, между щелевым укрытием и прибором управления огнем, смрад, про который все, в том числе и Харри, знали, что его источают не крысы и не вороны, что исходит он не из люка и, следовательно, не из неисповедимости, — этот смрад выдыхала независимо от того, дул ли ветер из Путцига или из Диршау, с косы или из открытого моря, белесая гора, что возвышалась за колючей проволокой к югу от батареи перед кирпичнокрасным зданием фабрики, чья приземистая и не слишком заметная труба изрыгала черный, тяжелыми клубами сворачивающийся дым, осаждавшийся жирной копотью где-то в Троиле или Нижнем Данциге. Между горой и фабрикой заканчивались железнодорожные рельсы, что тянулись сюда веткой от прибрежной одноколейки. Гора, чистенькая, аккуратная, насыпная, высотою слегка превосходила ржавый качающийся рештак, какие применяются на угольных складах и калийных рудниках для отсыпки отходов и вскрышной породы. У подножья горы на переводных рельсах неподвижно стояли саморазгружающиеся вагонетки. Когда ее освещало солнце, гора матово поблескивала. Когда низкое небо насупливалось и сочило мелкий дождь, ее четкий, резной контур ярко выделялся на свинцовом фоне. Если бы не вороны, на ней обитавшие, гора вообще казалась бы чистой. Но в самом начале этой заключительной сказочки уже было сказано: нет на свете ничего чистого. Вот и гора неподалеку от батареи Кайзерхафен при всей своей белизне была нечиста, а была все же горой костей, которые хоть и прошли надлежащую техно-

логическую обработку, но все еще были покрыты некими остатками; и вороны, беспокойное черное месиво, не могли от этих остатков оторваться и жить где-то еще. Вот откуда и был тот смрад, что тяжелым, несдвигаемым колоколом накрыл батарею, осаждаясь во рту каждого, в том числе и во рту Харри, приторным привкусом, который даже после неумеренного потребления кисловатых малиновых леденцов ничуть не терял своей липкой тяжести.

Никто об этой костяной горе не говорил. Но все ее видели, все знали ее запах и вкус. Выходя из бараков, чьи двери открывались на юг, невозможно было не заметить ее белесый конус. А ежели кто, как Харри, шестым номером орудийного расчета сидел на лафете, обслуживая механизм прицела, и по командам прибора управления зенитным огнем вертелся на лафете вместе с пушкой, перед его глазами снова и снова, будто гора костей и прибор управления никак не могут досыта друг на дружку наглядеться, выплывала из кружения одна и та же картина с видом белесой горы, коптящей небо фабрики, замершего рештака, недвижных вагонеток и очень даже подвижного вороньего месива. Никто об этой картине не говорил. А если она кому снилась в беспокойных и красочных снах, то утром он говорил: чудно́е во сне видел — то ли по лестнице не мог взобраться, то ли что-то про школу.

Впрочем, иные из подслушанных философских понятий, которые прежде употреблялись на батарее всуе и бездумно, начали теперь обретать некое туманное смысловое наполнение, вероятно от этой безымянной горы исходившее. Харри припоминает кое-какие слова: «неналичие» — «небытийность» — «нетие»; ибо белым днем не видно было рабочих, что везли бы вагонетки и помаленьку уменьшали размеры «неданности», хотя фабрика продолжала дымить. Не подъезжали по рельсам товарные составы с прибрежной одноколейки. И сонный рештак среди бела дня никогда не подбрасывал «нетию» новой пищи. Зато когда случились ночные учения и в течение часа восемьдесят восьмым стволам надлежало держать под прицелом самолет-мишень, «пойманный» четырьмя прожекторами, — вот тогда все, и Харри в том числе, впервые услышали некие рабочие шумы. Фабрика, правда, оставалась затемнена, но на железнодорожных путях перемигивались и покачивались красные и белые сигнальные огни. Позвякивали буферами товарные вагоны. Слышались равномерный шорох и дребезжание — заработал рештак. Ржавый скрежет и скрип опрокидывающихся вагонеток. Голоса, команды, смех — на небытийном пространстве на протяжении часа велись работы, покуда учебный «юнкерс» в который раз заходил с моря на город, то выскакивая из ловушки прожекторов, то попадая в нее снова и превращаясь в платоническую цель, а шестой номер обслуживал механизм наводки, опять и опять пытаясь накрыть двумя индикаторными стрелками две стрелки наводки и тем самым подвергая ускользающее сущее беспрерывному нетию.

На следующий день всем, кто избегал горы словами и помыслами, в том числе и Харри, показалось, что неналичие немного подросло. Вороны принимали но́вых гостей. Смрад остался прежним. Но никто не спрашивал о его сущности, хотя сущность эта у всех, в том числе и у Харри, оседала привкусом во рту и буквально навязла в зубах.

Была когда-то гора костей,

которая стала так называться с тех пор, как Тулла, кузина Харри, изрыгнула в направлении горы это слово.

— Это же гора костей, — сказала она и для ясности помогла слову большим пальцем. Многие, в том числе и Харри, пытались возражать, затрудняясь, впрочем, точно назвать то, что огромной грудой громоздилось к югу от батареи.

— Спорим, что это кости? И не просто кости, а человеческие, на спор? Это же любой дурак знает.

Тулла предлагала пари скорее Штёртебекеру, нежели своему кузену. Они все трое да и многие еще поблизости посасывали леденцы.

Ответ Штёртебекера хоть и звучал свежо, но готов был уже несколько недель как:

— Следует рассматривать это нагромождение в смысле открытости бытия со всем неизбежным претерпеванием юдолей и стойким ожиданием смерти, то есть как полное выражение сущности экзистенции.

Тулла, однако, хотела ответа поточней:

— А я тебе говорю, что они прямо из Штутхофа, спорим?

Штёртебекер не мог позволить вовлечь себя в презренную географическую конкретику. Он отмахнулся и раздраженно заметил:

— Что вы все лезете со своими устаревшими естественно-научными категориями. Хотя, конечно, можно сказать и так: здесь явлено бытие в его несокрытости.

Но поскольку Тулла продолжала упрямо твердить про Штутхоф, называя несокрытость поименно, Штёртебекер уклонился от предлагаемого пари, отделавшись широким и глубокомысленным жестом, равно благословляющим и гору костей, и батарею.

— Это поле осуществления всей истории!

Как и прежде, в неслужебное время и даже в час чистки и шитья, охота на крыс продолжалась. Средний офицерский состав стрелял ворон. Смрад стоял над батареей и не желал сменяться. И тогда Тулла сказала уже не Штёртебекеру, который в сторонке чертил на песке свои фигуры, а фельдфебелю, который уже дважды успел разрядить свой карабин:

— Спорим, что там настоящие человеческие кости, и притом тьма-тьмущая?

Было воскресенье, день посещений. Но лишь немногие гости, в большинстве своем родители, стояли в непривычном штатском подле своих слишком быстро повзрослевших чад. Родители Харри не приехали. Тянулся ноябрь, и между низкими тучами и землей с ее низкими бараками висел дождь. Харри вместе с другими слушал разговор Туллы с фельдфебелем, который в третий раз заряжал свой карабин.

— Спорим, что... — сказала Тулла и протянула свою белую ладошку, предлагая ударить по рукам. Желающих не было. Ладошка повисла в пустоте. Палка Штёртебекера набрасывала на песке мировой чертеж. На Туллином лбу роились прыщи. Пальцы Харри в кармане брюк перебирали кусочки костного клея. И тогда фельдфебель сказал:

— Спорим, что нет? — и, не взглянув на Туллу, ударил по рукам.

Тотчас же, словно план действий у нее давно готов, Тулла повернулась и пошла к широкой полосе чертополоха между двумя орудийными позициями, избрав этот путь как кратчайший. Несмотря на сырость и холод, она была только в свитере и плиссированной юбке. Так и пошла на голых, ходульных своих ногах, заложив руки за спину и потряхивая патлами, уже некрашеными и без всяких следов шестимесячной завивки. Уменьшаясь в размерах, но не теряя отчетливости очертаний в пасмурном воздухе.

Сперва все, в том числе и Харри, думали, что она, раз уж она так прямехонько, будто по линеечке, чешет, и колючую проволоку насквозь прошьет, но перед самыми шипами она упала в траву, приподняла нижнюю проволоку колючей изгороди, что отделяла фабрику от батареи, играючи перекатилась на ту сторону, снова встала и, шагая по колено в коричневом высохшем бурьяне, снова, все так же прямо, но уже как бы через силу, двинулась к той горе, которую обжили вороны.

Все, в том числе и Харри, смотрели ей вслед и даже про малиновые леденцы во рту позабыли. Палка Штёртебекера замерла в песке. И только скрежет слышался явственно, словно у кого-то мелкие камешки на зубах. И лишь когда крохотная Тулла перед горой остановилась, когда вороны, лениво и далеко не все, подня-

лись в воздух, когда Тулла наклонилась, переломившись пополам, а потом повернулась и пошла обратно — гораздо быстрей, чем все, в том числе и Харри, этого со страхом ждали, — лишь тогда скрежет зубовный во рту у фельдфебеля замер, и наступила тишина, такая, что хоть ложкой хлебай.

Она шла не без. То, что она держала в руках, благополучно перекатилось вместе с ней под нижней колючей проволокой забора на территорию батареи. В просвете между двумя восемьдесят восьмыми стволами, замершими согласно последней команде прибора управления огнем под тем же углом, что и два соседних, глядя на норд-норд-вест, Тулла неумолимо увеличивалась. Путь ее, туда и обратно, занял примерно столько же времени, сколько занимает малая школьная перемена. За эти пять минут она успела съежиться до игрушечных размеров и вырасти обратно до величины почти взрослой. Пока что на ее лбу еще не было видно прыщей, но то, что она несла перед собой, уже обретало смысл и значение. Штёртебекер принялся за новый набросок мирового чертежа. Снова заскрежетал на зубах у фельдфебеля гравий, но уже покрупнее. Тишина ради пущей отчетливости решила оттенить себя звуками.

Когда Тулла подошла и на глазах у всех встала со своим подарочком рядом с кузеном, она, даже без особого выражения, спросила:

— Ну, что я говорила? Кто выиграл?

В ответ широкая ладонь фельдфебеля со звоном накрыла всю левую половину ее лица от виска и уха до подбородка. Ухо не отвалилось. Голова тоже, и даже не уменьшилась вроде. Но череп, что она притащила, она как стояла, так и выронила.

Желтыми, окоченевшими руками Тулла терла ушибленную щеку, скулу, ухо, но не убегала. И даже прыщей у нее на лбу не убавилось. Череп, что она держала в руках, был человеческий, и даже не раскололся, когда она его выронила, а, подпрыгнув два раза, укатился в бурьян. Фельдфебель, похоже, видел в черепе не просто череп, а нечто большее. Кое-кто глядел в пустоту поверх барачных крыш. А Харри не мог отвести глаза. У черепа недоставало куска нижней челюсти. Листер и малыш Дрешер начали отпускать шуточки. Многие смеялись — благодарно и впопад. Штёртебекер пытался запечатлеть на песке явленную всем несокрытость. Его узко посаженные глаза прозревали сущее, пытавшееся удержать самое себя в своей судьбинности, но тут внезапно и непредрекаемо разразилась бренность; ибо фельдфебель с заряженным, хоть и на предохранителе, карабином заорал:

— Молчать, пузыри свинячьи! А ну, марш все по баракам! Час чистки и шитья!

Все тут же разошлись, осторожно огибая фельдфебеля. Шуточки примерзли к зубам. Уже между бараками Харри повернул голову на плечах, которые поворачиваться не хотели: фельдфебель стоял, набычившийся и квадратный, с карабином наперевес, неподвижный и торжественный, как на сцене. А за ним, безмолвно сохраняя геометрическую правильность, высилась неданность, небытийность, нетие, поле осуществления всей истории, различие между бытием и сущим, словом — онтологическое различие.

Однако УДВ — украинские добровольцы — как ни в чем не бывало продолжали болтать, чистя за кухней картошку. Радио в унтер-офицерском бараке передавало концерт по заявкам. Прощались вполголоса воскресные гости. Тулла, почти невесомая, стояла рядом с кузеном, все еще потирая ушибленную половину лица. Ее рот, смятый массирующей ладонью, промямлил куда-то мимо Харри:

— И как раз когда я забеременела.

Разумеется, Харри не мог не спросить:

— От кого?

Но ей это было неважно.

— Спорим, что да?

Спорить Харри не хотел, Тулла всегда выигрывала. Проходя мимо душевой, он ткнул большим пальцем на приоткрытую дверь:

— Тогда хоть руки вымой, с мылом.

Тулла подчинилась. Но нет на свете ничего чистого.

Был когда-то город,

в котором наряду с предместьями Ора, Шидлиц, Олива, Эмаус, Прауст, Санкт-Альбрехт, Шелльмюль и портовым предместьем Новая Гавань имелось и предместье Лангфур. Лангфур был столь велик и столь мал, чтобы все, что происходит и может произойти в нашем мире, происходило или могло бы произойти и в Лангфуре тоже.

В этом предместье с его палисадниками, учебными плацами и полями орошения, с пологими склонами кладбищ, судоверфями, спортплощадками и рядами казарм, в Лангфуре, где насчитывалось семьдесят две тысячи официально зарегистрированных жителей, где имелось три церкви и одна часовня, две гимназии, один лицей, средняя школа и ремесленно-хозяйственное училище, где всегда недоставало начальных школ, но была своя пивоварня с Акционерным прудом и ледником, в Лангфуре, чей облик определяли шоколадная фабрика «Балтика», данцигский городской аэродром, вокзал и знаменитая Высшая техническая школа, два разновеликих кинотеатра, трамвайное депо, всегда переполненный дворец спорта и сожженная синагога; в известном предместье Лангфур, где в ведении местных властей находились данцигский городской благотворительный сиротский приют и живописно расположенная в районе Святого колодца клиника для слепых, в Лангфуре, что с 1854 года признан самостоятельной общиной и раскинулся в уютной и удобной для заселения холмистой луговине за Йешкентальским лесом, где установлен памятник Гутенбергу, в Лангфуре, что связан трамвайным сообщением с курортом Брёзен, епископской резиденцией Оливой и городом Данцигом, короче, в Данциг-Лангфуре, прославившемся благодаря макензенским гусарам и последнему кронпринцу, в предместье, по всей ширине рассеченном надвое ручейком Штрисбах, жила девчушка, которую звали Тулла Покрифке, которая была беременна и не знала от кого.

В том же предместье, даже на той же Эльзенской улице, которая, как и улицы Герты и Луизы, соединяла Лаабский проезд с улицей Марии, жил двоюродный брат Туллы; его звали Харри Либенау, он проходил военно-курсантскую практику на батарее ПВО Кайзерхафен и не принадлежал к числу тех, от кого Тулла могла забеременеть. Ибо Харри лишь в мыслях грезил тем, что другие проделывали с Туллой наяву. Это был шестнадцатилетний юноша, которого мучили его вечно стылые ноги и который ото всех держался немного особняком. Книгочей, глотавший исторические романы вперемешку с философскими трудами и ревниво следивший за своими красивыми светло-каштановыми волосами. Любопытный соглядатай, чьи серые, но не холодно-серые глаза фиксировали все и с сожалением рассматривали в зеркале свое гладкое, но вовсе не слабое тело, находя его хилым и шершавым. Вечно осмотрительный Харри, не веривший в Бога, а только в Ничто и тем не менее боявшийся вырезать себе гланды. Меланхолик, любивший сладости — миндальные пирожные, рулет с маком, кокосовые хлопья — и добровольцем, хотя почти не умел плавать, записавшийся во флот. Недотепа, пытавшийся посредством длинных виршей в школьных тетрадках изничтожить своего отца, столярных дел мастера Либенау, и обзывавший в тех же стихах свою мать кухаркой. Чувствительный юноша, которого, стоя и лежа, при одной мысли о его кузине бросало в пот и донимали непрестанные, хотя и вполне пристойные, размышления о черной немецкой овчарке. Фетишист, носивший — были причины — в портмоне жемчужно-белый чужой зуб. Фантазер, который врал много, говорил тихо, краснел если, верил во всякую всячину, а длящуюся войну рассматривал как

наглядное приложение к школьной программе. Отрок, юноша, гимназист в форме, почитавший Вождя, Ульриха фон Гуттена, генерала Роммеля, историка Генриха фон Трайчке, короткое время Наполеона и сопящего актера Генриха Георге, изредка Савонаролу, потом снова Лютера, а с некоторых пор философа Мартина Хайдеггера. С помощью этих кумиров ему удалось самую взаправдашнюю гору человеческих костей засыпать средневековыми аллегориями. В своем дневнике он упоминает эту гору, которая, взывая к небесам, действительно, не понарошку, возвышалась между Троилом и Кайзерхафеном, как жертвенник, возведенный для того, чтобы чистое пресуществилось в ясном и, осиянное ясностью, породило свет.

Наряду с дневником Харри Либенау вел еще то затухающую, то снова бодрую переписку с подружкой, которая под артистическим псевдонимом Ангустри имела ангажемент в Берлине в Немецком балете и выступала как в столице Рейха, так и в гастрольных турне по оккупированным территориям сперва в кордебалете, а потом солисткой.

Когда курсант Харри Либенау получал увольнительную, он шел в кино и брал с собой свою беременную кузину Туллу Покрифке. Когда Тулла еще не была беременна, Харри безуспешно, хотя и неоднократно пытался склонить ее к совместному походу в кино. Ну а теперь, когда она сама радостно сообщала в Лангфуре всем и каждому: «Кто-то меня обрюхатил!» — и это притом, что по ней еще ничего не было заметно, теперь, конечно, она стала поуступчивей и сказала Харри:

— Коли ты платишь, почему бы и нет.

В обоих кинотеатрах Лангфура мерцающий экран подарил им немало фильмов. Сеанс начинался «Еженедельным обозрением», потом шел какой-нибудь короткометражный фильм, а уж затем художественный. Харри был в мундире; Тулла сидела в необъятно широком пальто из адмиральского сукна, сшитом специально по случаю беременности. Покуда на дождливом экране происходил сбор винограда и увешанные гроздьями, увенчанные лозами, втиснутые в национальные костюмы крестьянки напряженно улыбались в камеру, Харри полез тискать кузину. Но та с тихим укором его отстранила:

— Брось, Харри. Теперь-то что толку. Раньше надо было суетиться.

Отправляясь в кино, Харри всегда брал с собой запас кисленьких леденцов, которые выдавались у них на батарее всякому, кто прикончит определенное количество водяных крыс. Поэтому леденцы эти назывались на батарее крысиными. Когда погас свет и грянула бравурная заставка к «Еженедельному обозрению», Харри аккуратно освободил трубочку леденцов от бумажной и серебряной обертки, ногтем большого пальца отколупнул первый леденец и протянул трубочку Тулле. Тулла, не отрываясь от «Еженедельного обозрения», взяла леденец двумя пальцами, сунула в рот и, уже начав достаточно внятно его посасывать, прошептала, покуда на экране в полном блеске разворачивался «грязевой период», приостановивший осеннее наступление:

— У вас там все, даже леденцы, этой дрянью из-за забора провоняло. На вашем месте я бы мечтала перевестись на другую батарею.

Но у Харри другие мечты, которые в кино счастливо осуществляются: «грязевой период» позади, кончились и рождественские приготовления на Полярном фронте. Подсчитаны все сожженные Т-34. Возвращается после успешного рейда в неприятельские тылы подводная лодка. Поднимаются в воздух истребители, чтобы дать отпор вражеским стервятникам. Но вот новая музыка. Меняется и оператор: мирные осенние пейзажи, послеполуденное солнце пробивается сквозь листву, похрустывает гравий дорожек: штаб-квартира Вождя.

— Нет, ты глянь, глянь! Вон, побежал, остановился, виляет! Между ним и летчиком. Ясное дело он, кто же еще! Наш пес. Ну, я имею в виду, пес нашего Харраса, как пить дать! Принц, он самый, Принц, которого наш Харрас...

Добрую минуту, пока Вождь и Канцлер Рейха в низко надвинутой фуражке,

угнездив руки на причинном месте, беседует с офицером ВВС — может, это Руделъ был? — и прогуливается под деревьями ставки, вблизи его сапог, не покидая кадра, вертится овчарка, явно черная, трется о сапоги, дает потрепать себя по загривку — ибо один раз Вождь соизволяет убрать руки оттуда, где они находятся, чтобы сразу же после того, как «Еженедельное обозрение» запечатлеет трогательную близость хозяина и собаки, водворить их на прежнее место.

Прежде чем отправиться в Троил последним трамваем — ему приходилось на Главном вокзале пересаживаться в сторону Соломенной слободы, — Харри проводил Туллу домой. Оба говорили поочередно и не слушая друг друга — она о фильме, он о «Еженедельном обозрении». В Туллином фильме крестьянская девушка, отправившись в лес по грибы, претерпевала надругательство и поэтому — чего Тулла никак не могла уразуметь — шла топиться; Харри же пытался увиденное в «Еженедельном обозрении» облечь в свойственные языку Штёртебекера философские категории, дабы закрепить и одновременно утвердить для себя его значимость:

— Бытие собаки, то есть то, что она есть, означает для меня брошенность сущей собаки в ее данность; а именно в том смысле, что пребывание собаки в мире и есть данность собаки; неважно, где проистекает эта данность — на столярном ли дворе, в ставке ли Вождя, либо по ту сторону всякого вульгарного времени: ибо будущее бытие собаки наступит не позже, чем ее бывшая данность, а она, в свою очередь, прекратится не раньше, чем укорененность собаки в ее собачьем сейчас.

Невзирая на все это, Тулла у дверей квартиры Покрифке ему сообщила:

— Через неделю я буду уже на втором месяце, а к Рождеству уже точно будет заметно.

Харри еще успел на четверть часика заглянуть домой к родителям. Ему надо было прихватить смену чистого белья и чего-нибудь съестного. У его отца, столярных дел мастера, отекали ноги, потому что ему теперь целыми днями приходилось бегать с одной стройки на другую. Поэтому вечерами на кухне он отмачивал их в воде. Его большие, натруженные ступни двигались в тазу вяло и грустно. По вздохам столярных дел мастера нельзя было понять, вызваны эти вздохи блаженством ножной ванны или воспоминаниями о тяготах дня. Мать Харри держала наготове полотенце. Она стояла на коленях, очки для чтения сняты. Харри сдернул со стола торчащий кверху ножками стул и, усаживаясь между отцом и матерью, спросил:

— Рассказать вам одну замечательную историю?

Поскольку отец как раз вынул из таза ногу, которую мать тут же очень умело подхватила в полотенце, Харри начал:

— Жил-был когда-то пес, его звали Перкун. Этот пес зачал суку Сенту. А Сента ощенилась Харрасом. А племенной кобель Харрас зачал Принца. И знаете, где я этого нашего Принца только что видел? В «Еженедельном обозрении», в штаб-квартире Вождя. Между Вождем и Руделем. Среди бела дня, на прогулке. А ведь и наш Харрас мог бы так же. Так что ты, пап, обязательно сходи посмотри. Сам-то фильм можно и не глядеть, если тебе неинтересно. Я точно еще раз пойду, а то, может, и два.

Столярных дел мастер, держа на весу уже сухую ногу, от которой, однако, все еще шел пар, рассеянно кивнул. И сказал, что он, конечно, очень рад и, если время найдется, обязательно «Еженедельное обозрение» посмотрит. Но он, видно, был слишком измотан, чтобы радоваться громко, хотя и старался, так что и после, когда обе ноги были вытерты досуха, все еще выражал свою радость вслух:

— Так-так, значит, Принц от нашего Харраса. И Вождь, говоришь, потрепал его по загривку прямо в «Еженедельном обозрении»? И Рудель был там же? Ну дела...

Было когда-то «Еженедельное обозрение»,

в нем показывали «грязевой период» в полном его блеске, рождественские приготовления на Полярном фронте, итоги танкового сражения, смеющихся рабочих на оборонном предприятии, диких гусей в Норвегии, детишек из «юнгфолька» за сбором утильсырья, часовых на Атлантическом валу и визит в штаб-квартиру Вождя. Все это и много чего еще можно было посмотреть не только в двух кинотеатрах предместья Лангфур, но и в Салониках. Ибо оттуда пришло письмо, которое написала Йенни Брунис, под артистическим псевдонимом Ангустри выступавшая перед немецкими и итальянскими солдатами, и которое она послала Харри Либенау.

«Представь себе, — писала Йенни, — до чего тесен мир: вчера вечером, был как раз тот редкий случай, когда у нас нет представления, я пошла с господином Зайцингером в кино. И кого я там вижу в «Еженедельном обозрении»? Я уверена, что не могла ошибиться. И господин Зайцингер тоже считает, что черная овчарка, которую не меньше минуты показывают в штаб-квартире, это не кто иной, как Принц, Принц от вашего Харраса!

И это притом, что господин Зайцингер вашего Харраса, кроме как на фотографиях, которые я ему показывала, никогда не видел. Но у него очень большая сила воображения, и не только в искусстве. Кроме того, он всегда и обо всем хочет быть осведомлен до мелочей. Наверно, именно поэтому он через здешний отдел пропаганды отправил в Берлин заказ. Он хочет получить копию этого выпуска «Еженедельного обозрения» как наглядный материал для работы. И, наверно, ему ее пришлют, потому что у господина Зайцингера всюду есть связи и он практически никогда и ни в чем не знает отказа. Представляешь, когда-нибудь потом, после войны, мы сможем смотреть это «Еженедельное обозрение» вместе и сколько захотим. А если у нас будут дети, мы и им сможем на экране показать и объяснить, как все раньше было.

Тут тоска. Греции я совсем не вижу, одни дожди все время. Милого Фельзнер-Имбса нам пришлось оставить в Берлине. Занятия ведь продолжаются, даже когда у части из нас турне.

Но вообрази — хотя ты наверняка уже и сам знаешь, — Тулла ждет ребенка! И прямо в открытке, без конверта, мне об этом написала. Я очень за нее рада, хотя иногда думаю, что ей нелегко придется — без мужа, который бы о ней позаботился, и по сути без профессии...»

Йенни не могла закончить письмо, не упомянув о том, как утомляет ее здешний непривычный климат и как сильно она, даже из далеких Салоник, любит его Харри. В постскриптуме она просила его как можно внимательней и чаще заботиться о своей двоюродной сестре. «Знаешь, в этом положении ей особенно нужна опора, тем более что в семье у нее обстановка не совсем благополучная. Я пошлю ей отсюда греческого меду. Кроме того, я распустила два почти новых свитера, которые недавно сумела раздобыть в Амстердаме. Светло-голубой и нежно-розовый. Из них я смогу связать не меньше четырех ползунков и еще две кофточки. У нас ведь столько лишнего времени между репетициями и даже на представлениях...»

Был когда-то младенец,

которому, несмотря на уже связанные для него ползунки, не суждено было родиться на свет. Не то чтобы Тулла ребенка не хотела, наоборот. Хотя внешне по ней по-прежнему ничего не было заметно, но она уже с прямо-таки трогательным усердием выказывала кротость и умиротворение материнства. Не было и отца, который, воротя морду, бубнил бы: «Не хочу я никакого ребенка!» — ибо все кандидаты в отцы, каковые имелись на примете, с утра до поздней ночи были заняты только собой. Взять хотя бы фельдфебеля с батареи Кайзерхафен или Штёртебе-

кера, курсанта с той же батареи: фельдфебель стрелял из карабина ворон и скрежетал зубами, когда попадал не в молоко, а в черное; а Штёртебекер беззвучно чертил на песке то, что нашептывал ему его язык: неисповедимость, онтологическое различие, а также набросок мирового чертежа во всех возможных его вариантах. Откуда, при столь важных экзистенциальных занятиях, было им обоим найти время, чтобы подумать о ребенке, который уже сообщал Тулле Покрифке материнское умиротворение, но в остальном никак пока не округлялся под ее пальто, специально скроенном в расчете на эту округлость.

И только Харри, единственно он, получатель и писатель писем, то и дело беспокоился: «Как ты себя чувствуешь? Тебе по-прежнему делается нехорошо перед завтраком? А доктор Холлац что говорит? Не поднимай тяжести — надорвешься. Тебе правда пора перестать курить. Раздобыть тебе солодового пива? У Мацератов можно отоварить продовольственные карточки маринованными огурцами. И не беспокойся ни о чем. Я позабочусь о ребенке, когда вернусь».

А иногда, словно силясь заменить будущей матери сразу обоих подразумеваемых, но упорно отсутствующих отцов ее чада, он мрачно вперивался глазами в некую воображаемую точку и, скрежеща на манер фельдфебеля своими неумелыми зубами, вычерчивая тощей палкой на песке штёртебекерские символы, рассуждал штёртебекерским философским языком, который, с легкими отклонениями, мог бы быть и языком фельдфебеля, рассуждал примерно так:

— Слушай внимательно, Тулла, я тебе объясню. А именно: бытие ребенка в его будничной повседневности может быть определено как брошенный набросок в-мире-детства-бытия, при котором миробытие ребенка сочетается с для-ребенка-бытием других, образуя предпосылки наисущностного ребенкобытия. Понятно? Нет? Еще раз...

Но не один только врожденный зуд подражательства вдохновлял Харри на эти замысловатые речи; при малейшей возможности он в своем ладном авиационно-курсантском мундире становился посреди кухни-столовой на квартире у Покрифке и произносил перед Туллиным отцом, распоследним кошнадерцем, выходцем из какой-то глухомани между Тухелем и Коницем, напыщенные монологи. Не признавая себя отцом, он все брал на себя, даже предлагал — «Я знаю, что делаю» — себя на роль будущего супруга своей беременной кузины, но втайне радовался, что Август Покрифке не ловит его на слове, а вместо этого находит повод излить свою тоску-печаль: ибо Августа Покрифке взяли в армию. Под Оксхефтом — он был годен только для местной воинской службы — ему надлежало охранять казарменные сооружения, и оное занятие давало ему теперь повод по выходным, во время своих неизменно затягивавшихся отпусков, в присутствии всех домочадцев — столярных дел мастер и его жена тоже должны были внимать — рассказывать бесконечные истории о партизанах; потому как зимой сорок третьего поляки начали расширять поле своей подрывной деятельности: если прежде партизаны пошаливали только в Тухлерской пустоши, то теперь уже сообщалось и о партизанских акциях в Кошнадерии, да и в лесистых окрестностях Данцигской бухты вплоть до подножия полуострова Хела партизаны совершали набеги и диверсии, угрожая жизни Августа Покрифке.

Но Тулла, прижимая плоские ладошки к своему все еще плоскому лону, никогда не могла сосредоточиться мыслью на подлых подзаборных снайперах, что бьют в спину и из-за угла. Зачастую в самый разгар ночного обстрела где-нибудь к западу от Хомячьего лога она вскакивала и покидала кухню столь осязаемо и бесповоротно, что Август Покрифке так и не успевал доставить куда надо своих двух пленных или спасти от разграбления охраняемый им грузовик.

Когда Тулла покидала таким образом кухню, она уходила к себе в сарай. Что еще оставалось делать ее кузену, как не следовать за ней, будто в далекие детские годы, когда он еще таскал на спине ранец? Там, между штабелями длинного бру-

са, у Туллы по-прежнему имелось свое логово. И по-прежнему доски в сарай загружались так, чтобы не нарушить это убежище, где для Туллы и Харри едва-едва хватало места.

Вот они сидят — будущая шестнадцатилетняя мать и военный курсант-доброволец, ждущий призыва, — в своем детском укрытии. Харри должен класть Тулле руку на живот и говорить:

— Я уже его чувствую. Причем очень ясно. Вот, сейчас опять.

Тулла мастерит из стружек крохотные парики, плетет кукол из мягкой липовой стружки и, как всегда, распространяет вокруг себя свой костноклеевой дурман. Разумеется, и ребеночек сразу же после рождения будет источать этот же, материнский, ничем не истребимый запах; но лишь месяцы спустя, когда у него будет уже достаточно молочных зубиков, или еще позже, в песочнице, окончательно выяснится, имеет ли дитя привычку то и дело многозначительно скрежетать зубами или предпочитает рисовать на песке человечков и наброски мировых чертежей.

Но мы вынуждены сказать «нет» костноклеевому дурману, Скрыпуну-фельдфебелю, чертежнику по песку Штёртебекеру! Дитя не захотело; и, воспользовавшись прогулкой — Тулла послушалась Харри, который, нацепив отцовскую мину, изрек, что будущей матери полезно как можно больше бывать на свежем воздухе, — то есть под открытым небом, дитя ясно дало понять, что оно вовсе не склонно на манер матери благоухать костным столярным клеем, а также перенимать и развивать отцовские привычки скрежетать зубами или переустраивать мир в чертеже.

У Харри была увольнительная на конец недели: экзистенциальная пауза. Кузен и кузина надумали, поскольку воздух был так по-декабрьски ясен и чист, прогуляться в Оливский лес, а оттуда, если Тулле будет не тяжело, дойти и до Шведского рва. Трамвай, второй номер, был битком, и Тулла ужасно злилась, что никто не уступает ей место. Она то и дело тыкала Харри локтем, но временами застенчивый курсант не решался громким голосом потребовать место для своей кузины. Прямо перед Туллой сидел, тихо поклевывая носом и подрагивая круглыми коленками, пехотинец-ефрейтор. На него-то Тулла и зашипела: неужели не видит, что она в положении. Ефрейтор мгновенно свои круглые колени выпрямил и превратил в складчатые. Тулла села, а вокруг незнакомые люди стали обмениваться понимающими, интимными взглядами. Харри стыдился, что не потребовал уступить Тулле место, и стыдился вдвойне оттого, что Тулла сделала это так громко.

Трамвай тем временем уже вписался в длинный поворот возле Тихогорского проезда и теперь трясся от остановки к остановке по прямому как стрела отрезку своего маршрута. Решено было, что они сойдут у «Белого агнца». Когда проехали Мирослом, Тулла поднялась и следом за Харри начала протискиваться сквозь толщу зимних пальто к задней площадке. Их прицепной вагон еще не достиг островка остановки «Белый агнец» — так назывался расположенный неподалеку пригородный ресторанчик, — а Тулла уже стояла на самой нижней подножке и щурила глаза навстречу ветру.

— Не вздумай дурить, — сказал Харри, наклоняясь над Туллой: Тулла очень любила прыгать с трамвая на ходу. — Подожди, пока остановится, — вынужден был повторить Харри сверху: вспрыгивать на подножку и соскакивать на ходу с давних пор было любимой Туллиной забавой. — Не надо, Тулла, осторожно! — Но Харри ее не держал.

Примерно с восьмого года своей жизни Тулла спрыгивала с трамваев на ходу. И ни разу не упала. Ни разу, не в пример иным недоумкам и просто пижонам, не прыгала против хода; к тому же с прицепного вагона трамвая номер два, который с конца прошлого столетия курсирует между Главным вокзалом и предместьем Олива, она прыгала только с задней, а не с передней площадки. И сейчас

спрыгнула по ходу, по-кошачьи легко, пружинисто и небрежно пробежав по хрусткому гравию на своих упругих подошвах.

И сказала Харри, который спрыгнул сразу же следом за ней:

— Вечно тебе надо каркать! Думаешь, я уж совсем дура?

Они пошли через поле по тропинке, что, перпендикуляром оттолкнувшись от стрелы трамвайных путей сразу за рестораном «Белый агнец», устремлялась к темному, укрывшему холмы лесу. Солнце, как старая дева, светило робко и совсем не грело. Где-то, наверно возле Саспе, шли учебные стрельбы, расставляя сухие и нерегулярные точки в послеполуденной тиши. Загородный ресторан «Белый агнец» был заперт, зашторен, заколочен. Поговаривали, что хозяина посадили за экономические преступления — спекулировал из-под полы рыбными консервами. Хилые бороздки снега прятались от ветра в бороздах пашни и разъезженных колеях. Прямо перед ними неотчетливые в туманной дымке вороны вяло перелетали с камня на камень. Тулла, такая маленькая под высоким голубым небом, держалась руками за живот сперва поверх, потом под пальто. При всей свежести декабрьского воздуха лицо ее никак не хотело приобретать здоровый оттенок: испуганные черные ноздри во все глаза смотрели со сморщенной, белой как мел мордочки. К счастью, на ней были лыжные брюки.

— Кажется, меня все-таки угораздило.

— Что? Что с тобой? Ни слова не пойму! Тебе плохо? Хочешь присесть? Или все-таки дойдем до леса? Да скажи толком, что стряслось?

Харри всполошился чрезвычайно, ничего не знал, ничего не понимал, чуял недоброе и боялся догадываться. Туллин нос морщился и покрывался у крыльев капельками пота, которые не хотели скатываться. Он кое-как дотащил ее до ближайшего камня в поле — дымчатые вороны неохотно его освободили, — а потом и до трамбовочного катка, вздернутым дышлом протыкавшего декабрьский воздух. Но лишь на опушке леса, еще несколько раз вынудив ворон переселиться, Харри нашел гладкий буковый ствол, к которому и прислонил свою кузину. Ее дыхание улетало вверх легкими белыми облачками. И у Харри изо рта вырывались белые клубы. Дальняя стрельба по-прежнему расставляла где-то поблизости свои острые карандашные точечки. С рыхлой, к самому лесу подбирающейся пашни, склонив головы, глазели вороны.

— Хорошо, что я брюки надела, иначе бы и досюда не дошла. Из меня все выходит!

Дыхание обоих смешивалось и улетало ввысь над опушкой леса. Нерешительность.

— Мне помочь?

Сперва Тулла уронила с плеч свое пальто адмиральского сукна. Харри аккуратно его сложил. Пояс брюк она расстегнула сама, остальное, обмирая от ужаса и любопытства, доделал Харри: в трико у Туллы, величиной с палец, лежал двухмесячный зародыш. Открытый и выпростанный — он был здесь. Плавал в слизи — здесь. В кровавых и бесцветных соках — здесь. Через исток всех истоков — здесь. Несбереженной, досрочной, неполной горсточкой плоти — здесь. Съежившееся на стылом декабрьском ветру — здесь. Основа всех основ испускала пар и быстро остывала. Основа как первоутрата почвы и Туллин носовой платок в придачу. Выдворенное во что? Предопределенное кем? Ибо какое же пристрастие без разоблачения на миру? А потому — трико долой! Лыжные брюки подтянем, и уже не ребеночек, а... Вот она, сущность, вся напоказ! Лежит здесь, тепленькая, потом холодная: уклонение во плоти, пробившее, невзирая на упреки остающихся, черную дырку в земле на опушке Оливского леса.

— Не стой как пень! Работай! Яму рой! Да не здесь, вот здесь лучше.

Ах, это же мы сами, это же наше, а теперь в листву и в землю, благо промерзла неглубоко; ибо выше всякой данности — возможность, в особенности такая не

самоочевидная, а наоборот, по сравнению с самоочевидностью, такая сокрытая, но в то же время и такая от самоочевидности неотъемлемая, что исчерпывает ее суть и смысл до дна, до самого грунта, который, к счастью, не промерз и легко поддается армейскому каблуку с армейского же вещевого склада, дабы ребеночек из бытия в нетие. Отсюда — туда. Только набросок — и уже туда. Обессущенный — и туда. Некое бесполое нечто, оно, — и его уже нет, как и его бытия уже нет, нет ни ради, ни во имя, ни дабы, все уложено без отвращения, голыми пальцами без перчаток: о, эта экстатическая горизонтальность! Оно здесь — только смерти ради, а потому: завалить и засыпать, и сверху немножко веток и буковых орешков, чтобы вороны не, и если лисы или лесник, стервятники и кладоискатели, с лозой и без лозы, а еще ведьмы, если они и вправду есть, вроде бы собирают всяких изронышей и выкидышей, делают из них сальные свечки, а то и порошки, чтобы сыпать на порог, и всякие другие снадобья и мази. А потому — камень сверху! Назад в исконносущее. Место для неуместного. Плод и блуд. Мать и дитя. Бытие и время. Тулла и Харри. Спрыгивает с трамвая в свое здесь, спрыгивает даже не споткнувшись. Спрыгивает незадолго до Рождества, хотя и ловко, но резковато, и пожалуйста: две луны тому назад туда, теперь тем же путем обратно. Каюк! Нескончаемое ничто. Полная хана! Ускользнул в неисповедимость. Вы-лагалище! Даже не трансцендентально, а онтически-вульгарно — выронился, выскрежетался, перечеркнулся на песке! Баста. Породили недоразумение. Болтун-яйцо. Нет, не был досократическим мыслителем. Хлопотный приплод. Шиш с маслом! Оказался последышем. Испарился, смылся, сошел на нет.

— И не вздумай болтать. Вот свинство! Чтобы именно со мной и такое. Гадство! Хотела Конрадом назвать, как и его звали.

— Кого?

— Кого-кого? Его, кого же еще.

— Пойдем, Тулла, пора уже. Да пойдем же, говорю, пора!

И кузен с кузиной пошли, после того как хорошенько заложили место одним большим и многими не очень большими камнями, обезопасив его от ворон, лесников, лис, ведьм и кладоискателей.

Они пошли, сбросив с себя самую малость: и Харри поначалу было даже позволено поддержать Туллу под руку. Нерегулярный пунктир учебных выстрелов по-прежнему буравил уже сброшенный со счетов день. У обоих было сухо и мерзко во рту. Но у Харри в нагрудном кармашке нашлась, как всегда, трубочка кисленьких леденцов.

Когда они уже стояли на остановке «Белый агнец» и трамвай из Оливы уже показался, желтея и увеличиваясь на глазах, Тулла, все еще серая с лица, сказала своему разрумянившемуся кузену:

— Как станет подъезжать, ты вскакиваешь на переднюю площадку, а я на заднюю.

Был когда-то выкидыш-недоносок,

по имени Конрад, о котором никто не узнал, даже Йенни Брунис, что под артистическим псевдонимом Йенни Ангустри танцевала на пуантах перед здоровыми и выздоравливающими солдатами в Салониках, Афинах и Белграде и из распущенной шерсти, голубой и розовой, вязала детские одежонки для будущего младенца ее подружки, которого должны были наречь Конрадом, ибо так же звали младшего братика подружки, пока он не утонул во время купанья.

В каждом письме, что впархивало в дом Харри Либенау — в январе их было четыре, в феврале только три, — Йенни непременно что-нибудь сообщала и об этом медленно продвигающемся вязанье: «Я тем временем опять усердно трудилась. Репетиции, как правило, ужасно затягиваются — вечные нелады с освещением, к тому же здешние рабочие сцены делают вид, будто по-немецки ни слова не

понимают. Иногда, когда установка декораций длится целую вечность, впору и впрямь поверить в саботаж. Во всяком случае, благодаря здешнему трудовому энтузиазму, у меня остается много времени на вязанье. Одни ползунки у меня уже готовы, а в первой кофточке осталось только вывязать на груди остренький мышиный зубок. Ты даже представить себе не можешь, сколько радости доставляет мне эта работа. Но когда господин Зайцингер застал меня однажды в гримуборной с почти готовыми ползунками в руках, он страшно перепугался, тем паче что я решила его разыграть и не сказала, для кого вяжу.

С тех пор он, конечно, думает, что это я жду малыша. На занятиях иногда смотрит на меня неотрывно по нескольку минут, даже неприятно. Но вообще-то он очень мил и заботлив. На день рождения подарил мне перчатки на меху, хотя я даже в самый лютый мороз хожу с голыми руками. И в остальном старается сделать мне приятное, например очень часто и уверенно говорит о папе Брунисе, так, словно его возвращения надо ожидать со дня на день. Хотя мы оба прекрасно знаем, что этого никогда не случится».

Такой вот милой болтовни у Йенни набиралось по письму в неделю. А в середине февраля наряду с рапортом о завершении третьих ползунков и второй кофточки она передала весть о смерти старшего преподавателя Бруниса. Строго, деловито и даже не с новой строки она сообщила: «Вот и пришло наконец официальное уведомление. Он скончался 12 ноября 1943 года в исправительно-трудовом лагере Штутхоф. В графе «Причина смерти» указано: сердечная недостаточность».

Вслед за ее неизменной подписью: «Всегда твоя, хотя и немножко усталая Йенни», на сей раз в постскриптуме шла напоследок новость специально для Харри: «Кстати, нам прислали выпуск «Еженедельного обозрения», тот самый, где штаб-квартира Вождя и пес от вашего Харраса. Господин Зайцингер прокрутил этот эпизод по меньшей мере раз десять, даже с замедленной скоростью, чтобы сделать наброски с собаки. Я-то сама больше двух раз не выдержала. Надеюсь, ты на меня за это не рассердишься, понимаешь, известие о папиной смерти — все было так ужасно по-казенному написано — основательно меня подкосило. Иногда мне хочется все время плакать, а я не могу».

Был когда-то пес,

его звали Перкун, и принадлежал он батраку-литовцу, что нашел себе работу в устье Вислы. Перкун пережил своего хозяина и зачал Сенту. Сука Сента, принадлежавшая мельнику из Никельсвальде, ощенилась Харрасом. Этот племенной кобель, хозяином которого стал столярных дел мастер из Данциг-Лангфура, покрыл суку Теклу, принадлежавшую некоему господину Леебу, который скончался в начале 1942 года вскоре после своей собаки. Зато кобелю Принцу, зачатому кобелем немецкой овчарки Харрасом и рожденному сукой Теклой той же породы, суждено было творить историю: он был подарен на день рождения Вождю и Канцлеру Рейха и, будучи любимой собакой Вождя, попал в «Еженедельное обозрение».

Когда умер собаковод Лееб, столярных дел мастер Либенау ездил к нему на похороны. Когда умер Перкун, в племенной книге была сделана запись с указанием какой-то обычной собачьей болезни. Сенту, когда та стала нервной и опасной для окружающих, пришлось пристрелить. Сука Текла, согласно записи в племенной книге, умерла от старческой немощи. А вот Харрас, который зачал Принца, любимую собаку Вождя, был по политическим мотивам отравлен ядовитым мясом и похоронен на собачьем кладбище. После него осталась пустая собачья конура.

Была когда-то собачья конура,

и жил в ней черный кобель породы немецкая овчарка по кличке Харрас, покуда его не отравили. С тех пор конура стояла заброшенная на столярном дворе,

потому как столярных дел мастер Либенау новую собаку заводить не хотел, вот до чего дорог и незаменим был ему Харрас.

Нередко можно было видеть, как этот солидный господин, направляясь в машинный цех своей столярной мастерской, останавливался перед конурой и задумывался на несколько сигарных затяжек, а то и дольше. Земляной вал, который Харрас, натягивая цепь, нарыл вокруг своей конуры, давно уже сровняли с землей дожди и деревянные башмаки подсобных рабочих. Но отверстая конура все еще хранила псиный запах, ибо бывший ее хозяин с упоением оставлял на столярном дворе, как и повсюду в Лангфуре, свои душистые метки. Особенно под палящим августовским солнцем и в сырую весеннюю пору конура печально и строго пахла Харрасом и приманивала мух. В общем, отнюдь не лучшее украшение для отнюдь не заброшенной столярной мастерской. Рубероид на крыше будки пооблез и замахрился вокруг шляпок кровельных гвоздей, которым не терпелось наружу. Словом, грустное зрелище, нежилое и полное воспоминаний. Давным-давно, когда грозный Харрас еще лежал возле будки на цепи, маленькая племянница столярных дел мастера как-то раз целую неделю делила с псом кров и пищу. Потом валом валили репортеры и фотографы, снимали пса и посвящали ему статьи. Столярный двор из-за обитающей в нем собаки во многих газетах уже называли исторической достопримечательностью. Многие именитые люди, даже иностранцы, приходили сюда и иногда по пять минут простаивали на памятном месте. А потом некий толстяк по имени Амзель часами рисовал собаку пером и кистью. И называл Харраса не его кличкой, а совсем иначе — Плутоном; но и его самого маленькая племянница столярных дел мастера тоже называла не его настоящим именем, а дразнила «абрашкой». Так Амзель был изгнан со столярного двора. А еще как-то раз чуть не случилось несчастье. Но пострадал только в клочья разодранный фрак пианиста, что жил в правой нижней квартире, и пришлось возмещать ущерб. А как-то раз пришел и потом еще много раз приходил и шатался по двору некий вдымину пьяный тип и оскорблял Харраса в политическом смысле, так и орал во весь голос, громче, чем дисковая пила и фреза, вместе взятые. А однажды кто-то, кто умел скрежетать зубами, бросил с крыши сарая прямо к конуре шмат отравленного мяса. И от мяса ничего не осталось.

Воспоминания. Но пусть никто даже не пытается проникнуть в мысли столярных дел мастера, что, проходя мимо пустой собачьей конуры, как бы на миг задумывается и замедляет шаг. Быть может, мысли его обращены в прошлое. А быть может, он думает о ценах на древесину. А может, вообще ни о чем определенном не думает, а просто, попыхивая своей сигарой «Фельфарбе», витает мыслями где-то между воспоминаниями и ценами на древесину. И простаивает так по полчаса, покуда его осторожно не окликнет машинный мастер: надо ведь нарезать заготовки для казарм моряков. А собачья конура, нежилая и полная воспоминаний, никуда не убежит.

Нет, он никогда не болел, верный пес, и был черный как смоль и шерстью, и подшерстком. Жесткошерстный, как и пятеро его братьев-сестер по выводку, которые все отличились на полицейской службе. Сухо и плотно смыкались губы. Шея упругая и без провиса. Длинный, плавно ниспадающий круп. Стоячие, слегка направленные вперед, заостряющиеся кверху уши. И еще раз, снова и снова: псовина — волосок к волоску, и каждый волосок прямой, плотно прилегает к телу, жесткий и черный.

На полу конуры в щелях между досками столярных дел мастер находит отдельные волоски, теперь уже тусклые и безжизненные. Иногда после работы он садится перед конурой и, не стесняясь своих свесившихся из окон жильцов, запускает руки в торфяно-теплый и черный лаз.

Но когда столярных дел мастер однажды потерял свой кошелек, где, кроме мелочи и пучка безжизненных собачьих волос, ничего не было; когда столярных

дел мастер захотел в «Еженедельном обозрении» увидеть любимого пса Вождя, пса от его Харраса, а ему показали же новый выпуск «Еженедельного обозрения», где никакого пса и в помине не было; когда пришла похоронка уже на четвертого бывшего подмастерья из его столярной мастерской; когда с верстаков и станков его мастерской окончательно исчезли тяжелые дубовые буфеты, ореховые трюмо, раздвижные обеденные столы на резных ножках, а остались одни только пронумерованные сосновые деревяшки, которые надо было сколачивать, изготовляя заготовки для военных бараков; когда сорок четвертый год отсчитывал свой четвертый месяц; когда стало известно, что «вот и старика Бруниса они доконали»; когда была оставлена Одесса, а взятый в клещи Тернополь тоже не удалось удержать, ибо удар гонга уже возвестил последний раунд; когда по продуктовым карточкам стало нельзя получить то, что следует; когда столярных дел мастер узнал, что его единственный сын добровольцем записался во флот; когда все это вместе сложилось в некую сумму — потерянный кошелек и пустое «Еженедельное обозрение», павший столяр-подмастерье и убогие деревяшки для бараков, оставленная Одесса и липовые продуктовые карточки, старик Брунис и его собственный балбес-доброволец, — когда эта сумма округлилась и явно требовала списания, столярных дел мастер Фридрих Либенау вышел из своей конторы, выбрал себе топор по руке, новенький и еще в смазке, пересек 20 апреля 1944 года в два часа пополудни свой столярный двор, утвердился, как следует расставив ноги, перед пустой собачьей конурой своего отравленного пса Харраса и несколькими уверенными и размашистыми ударами без слов и в одиночку разнес будку в щепки.

Но поскольку 20 апреля праздновался пятидесятипятилетний юбилей того самого Вождя и Канцлера Рейха, которому за десять лет до того был подарен молодой пес Принц породы немецкая овчарка из рода Харраса, все, кто выглядывал из окон доходного дома или стоял за станками в столярной мастерской, сразу смекнули, что не только трухлявая древесина и дырявый рубероид пошли в тот день прахом.

Сам же столярных дел мастер после своего деяния на добрых две недели слег в постель. Перетрудился.

Был когда-то столярных дел мастер,

несколькими размашистыми и точными ударами он рассадил в щепки собачью конуру, вымещая злость за что-то другое.

Был когда-то бомбист, он на всякий случай — вдруг повезет — припрятал в портфеле бомбу.

Был когда-то юноша-курсант, он с нетерпением дожидался призыва во флот; он мечтал уходить под воду и топить вражеские корабли.

Была когда-то балерина, в Будапеште, Вене и Копенгагене она вязала ползунки и кофточки для ребеночка, который давно уже был закопан на опушке Оливского леса и придавлен камнем.

Была когда-то будущая мать, она любила прыгать на ходу с трамвая и потеряла при этом, хотя спрыгнула очень ловко и не против движения, двухмесячный плод — своего будущего ребенка. И тогда будущая мать, а теперь уже снова обыкновенная и плоская девушка, пошла работать: Тулла Покрифке стала, ну правильно, кондуктором трамвая.

Был когда-то начальник полиции, чьего сына все называли Штёртебекером, и сын этот хотел когда-нибудь потом стать философом, а пока что чуть не стал отцом и, перестав рисовать на песке набросок мирового чертежа, образовал молодежную банду, которая вскоре прославилась под названием банды «метельщиков». И рисовал он уже не символы на песке, а здания Управления экономики, церкви Сердца Христова, Главного управления связи — все сплошь солидные, как сундуки, домины, куда он потом в ночное время с преступными целями и приво-

дил оную банду и где они выметали все подчистую. Какое-то время если не принадлежала, то имела отношение к банде и трамвайная кондукторша Тулла Покрифке. А ее кузен не принадлежал и не имел отношения. Но и ему приходилось стоять на стреме, когда банда собиралась на сходку в складских сараях шоколадной фабрики «Балтика». Поговаривали, что неотъемлемой собственностью и талисманом банды был трехлетний ребенок, называли его Иисусом, и банду он пережил.

Был когда-то фельдфебель, он обучал курсантов-гимназистов, готовя из них зенитчиков и псевдофилософов, слегка прихрамывал, умел скрежетать зубами, чуть не стал отцом, но вместо этого предстал сперва перед чрезвычайным судом, потом перед военным трибуналом, был без долгих разбирательств разжалован в рядовые и переведен в штрафной батальон, поскольку в состоянии опьянения, находясь в расположении части, между бараками батареи Кайзерхафен, пытался подорвать авторитет Вождя и Канцлера Рейха выражениями, в которых встречались слова «бытийнолишенный», «гора костей», «структура печали», «Штутхоф», «Тодтнау» и «концлагерь». Когда его уводили — среди бела дня, — он выкрикивал совсем уж загадочные проклятья:

— Пес ты онтический! Кобель алеманский! Псина в вязаной шапочке и в туфлях с пряжками! Что ты с малышом Гуссерлем сделал? Что ты с толстяком Амзелем учинил? Ах ты досократическая нацистская собака!

Нерифмованный этот гимн не остался без последствий: автора, невзирая на хромоту, отправили обезвреживать мины сперва на неумолимо приближающийся восточный фронт, а затем, после высадки неприятеля в Нормандии, с той же миссией на западный; тем не менее разжалованный фельдфебель на воздух не взлетел.

Был когда-то черный кобель немецкой овчарки по кличке Принц, его тоже перевели вместе со штаб-квартирой Вождя в Растенбург, в Восточную Пруссию; ему тоже повезло, он тоже не подорвался на мине; а вот дикий кролик, за которым он погнался, прямо на мину и угодил, одни клочки остались.

Как и прежняя ставка Вождя, «Волчье логово» к северо-востоку от Винницы, восточнопрусская штаб-квартира тоже была окружена заминированными лесами. Вождь и его любимый пес жили весьма уединенно в запретной зоне «А» так называемого «Волчьего редута». Чтобы обеспечить Принцу хороший выгул, главный псарь ставки, большой чин, обер-шарфюрер СС, владевший до войны знаменитым собачьим питомником, выводил собаку гулять в запретные зоны I и II, тогда как самому Вождю приходилось безотлучно находиться в тесной зоне «А», потому как то и дело надо было проводить заседания военного совета.

Скучная была жизнь в штаб-квартире Вождя. Вечно одни и те же бараки, в которых был расквартирован батальон сопровождения Вождя, штаб оперативного руководства и где размещались призванные к докладу на военном совете посетители. Некоторые развлечения сулили разве что въездные ворота в запретную зону II с их всегдашней толкучкой.

Вот там-то все и произошло: за внешним периметром ограждения неподалеку от часовых откуда ни возьмись появился кролик, те с хохотом принялись его гонять, что и заставило черную овчарку на миг забыть все премудрости дрессировки, освоенные в собачьем питомнике: Принц вырвал поводок, метнулся мимо все еще гогочущих часовых за ворота, перемахнул с волочащимся поводком шлагбаум въезда — кролики морщат нос, зрелище, которое не в силах вынести ни одна собака,— и начал преследование своей сморщившей нос добычи, которая, к счастью, имела достаточный гандикап, ибо, когда она достигла заминированного леса и разлетелась в клочья от взрыва мины, взрыв этот псу почти ничем не угрожал, хотя и сам он в это время уже на несколько прыжков удалился на минное поле. Осторожно, шаг за шагом, его вывел оттуда главный псарь.

После того как составленный рапорт прошел по инстанциям — сперва его просмотрел и снабдил своими пометками обер-группенфюрер СС Фегеляйн, а уж

потом бумага легла пред очи Вождя, — главного псаря разжаловали и перевели в тот же самый штрафной батальон, где разжалованный фельдфебель обезвреживал мины.

Бывший главный псарь где-то к востоку от Могилева сделал один неудачный шаг; а вот фельдфебель, когда батальон перебросили на запад, на своей хотя и прихрамывающей, но, видно, счастливой ноге перебежал к союзникам. Его то и дело переводили из одного лагеря для военнопленных в другой, покуда он не осел наконец в английском лагере для военнопленных-антифашистов, ибо мог с гордостью предъявить свою солдатскую книжку, куда были занесены все его взыскания, равно как и причины оных. Вскоре после этого — пластинка с «Сумерками богов» уже давно ждала своего часа — он вместе с группой единомышленников основал в лагере театр. На импровизированной сцене он, актер по профессии и призванию, сыграл главные роли в немецких классических пьесах — слегка прихрамывающего Натана, зубоскрежещущего Гёца.

А вот бомбисту, который уже несколько месяцев назад завершил репетиции с портфелем и бомбой, так и не удалось угодить в лагерь для антифашистов. Не удалось ему, впрочем, и само покушение, потому что он, недоучка, не был бомбистом по профессии и призванию, не шел ради успеха дела на все и до конца, а, надеясь после удачного исхода предприятия сберечь себя для будущих больших и славных дел, малодушно смылся прежде, чем бомба ясно и отчетливо скажет свое «да».

Вот он стоит между генералом Варлимонтом и морским капитаном Асманом, покуда совещание у Вождя все длится и длится, — стоит и не знает, куда приткнуть свой портфель. Офицер связи частей тылового обеспечения завершает отчет о положении с горючим. Перечисление недостающих материалов — резина, никель, бокситы, марганец, вольфрам — затягивается. Везде нужны шарикоподшипники, и нигде их нет. Кто-то из министерства иностранных дел — уж не посланник ли Хевель? — поднимает вопрос о возможных последствиях для Японии ухода в отставку кабинета Тодзио. А портфель все еще не подыскал себе укромного местечка. На повестке дня между тем уже новая дислокация десятой армии после отхода из Анконы и укрепление боевой мощи четырнадцатой армии после падения Ливорно. Генерал Шмудт просит слова, но говорит все время только Он. Куда же девать портфель? Свежее известие с фронта вносит оживление в группу офицеров у стола со штабными картами: американцы прорвались в Сен-Ло! Быстро, пока не дошла очередь до восточного фронта с обсуждением положения к юго-западу от Белостока, наш заговорщик абы как сует портфель под планшетный стол, на коем разложены разрисованные мудреными значками и отметками карты генерального штаба, вокруг коих спокойно расположились господа Йодль, Шерф, Шмудт, Варлимонт и переминаются с пятки на носок в своих хромовых сапогах, вокруг коих беспокойно крутится черная овчарка Вождя, потому что хозяин ее, тоже беспокойно, ходит туда-сюда, останавливается то тут, то там, это отклоняет, того с костяным пристуком по столу требует и без умолку говорит о недостающих сейчас сто пятьдесят вторых гаубицах, а затем об отличной двадцать первой гаубице заводов «Шкода»:

— Имела систему кругового обстрела и без хвостового лафета очень бы сгодилась для береговых укреплений, например в Сен-Ло.

Вот ведь память! Имена, цифры, расстояния, и все это как попало и вперемешку, а главное, все время на ходу, с неотлучной овчаркой у ног, повсюду, но только не возле портфеля, что стоит в ногах у генералов Шмудта и Варлимонта.

Одним словом: бомбист подкачал. А вот бомба не подкачала, взорвалась минута в минуту, завершила несколько высших офицерских карьер, но не устранила из мира ни Вождя, ни его любимой собаки. Ибо Принц, который, как и все собаки, пространство под столом считал своей вотчиной, давно уже обнюхал этот одинокий портфель, а возможно, даже услыхал в его нутре жутковатое тиканье —

как бы там ни было, но даже беглое обнюхивание пробудило в нем нужду, которую хорошо воспитанные собаки справляют только на улице.

Внимательный адъютант, что стоял у двери барака, заметил беспокойство собаки, слегка — ровно настолько, чтобы Принц мог проскользнуть,— приоткрыл дверь, затем аккуратно и так же бесшумно снова ее затворил, но за все эти предусмотрительные и тактичные манипуляции, увы, вознагражден не был; ибо когда бомба сказала «Пора!», когда она гаркнула «Баста! Амба! Хана!», когда она в портфеле сбежавшего тем временем бомбиста произнесла свое «Аминь!», ее осколки неоднократно поразили внимательного адъютанта, но ни один даже не задел ни Вождя, ни его любимого пса.

Курсант-доброволец Харри Либенау — из большого мира заговорщиков, генеральских штабных карт и неуязвимого облика Вождя мы снова возвращаемся в предместье Лангфур — узнал о неудавшемся покушении из включенного на всю мощь репродуктора. Репродуктор даже назвал имена главного злоумышленника и других заговорщиков. Но Харри очень обеспокоился судьбой собаки по кличке Принц из рода Харраса; ибо ни в специальном сообщении, ни в единой газетной строчке, ни даже в шепотках всеведущей молвы ни слова не говорилось о том, принадлежит ли собака к числу жертв или ее, как и ее хозяина, уберегло провидение.

Лишь в следующем выпуске «Еженедельного обозрения» — у Харри уже лежало в кармане мобилизационное предписание, он расстался с ладным курсантским мундиром, наносил прощальные визиты и, поскольку надо было убить еще неделю времени, часто ходил в кино, — лишь в следующем выпуске «Еженедельное обозрение» хотя и мельком, но все же дало знать об овчарке по кличке Принц.

Панорамирующей камерой со средней дистанции показали штаб-квартиру Вождя с разрушенным бараком на заднем и живым и невредимым Вождем на переднем плане. А у сапог Вождя, чье лицо под низко надвинутой фуражкой казалось слегка опухшим, но оставалось похожим, терся черными боками, навострив черные уши, кобель немецкой овчарки, в котором Харри без труда узнал потомка пса столярных дел мастера.

А неудачливого заговорщика и бомбиста все равно казнили.

Была когда-то маленькая девочка,

лесные цыгане подкинули ее некоему старшему преподавателю по имени Освальд Брунис, когда тот сортировал в здании заброшенной фабрики слюдяные камни. Девочка, которую окрестили именем Йенни, росла и с возрастом становилась все толще и толще. Ее плюшечная полнота выглядела неестественно, Йенни пришлось из-за нее много выстрадать. Уже сызмала толстая девочка брала уроки игры на фортепьяно у учителя музыки по фамилии Фельзнер-Имбс. У Имбса была седая волнистая шевелюра, которая требовала щетки не меньше часа в день ежедневно. Чтобы избавиться от полноты, Йенни по совету учителя музыки брала уроки балета в настоящей балетной школе.

Однако Йенни все равно полнела как на дрожжах, обещая в будущем стать такой же толстой, как Эдди Амзель, любимый ученик старшего преподавателя Бруниса. Амзель вместе со своим другом часто приходил к старшему преподавателю посмотреть его коллекцию камней и, случалось, слышал, как Йенни бренчит на пианино свои гаммы. У Эдди Амзеля было полно веснушек, он весил сто один с половиной килограмм, говорил подчас очень странные вещи, быстро и очень похоже рисовал, а еще своим удивительным серебряным голосом он пел — иногда даже в церкви.

Как-то раз зимой, ближе к вечеру, когда все было завалено снегом, на который без устали падал новый снег, за Гороховой горой, неподалеку от страшного памятника Гутенбергу, соседские дети играючи превратили Йенни в снеговика.

По случайному совпадению в тот же час по другую сторону Гороховой горы толстяка и увальня Амзеля тоже превратили в снеговика и тоже играючи, но, правда, совсем не дети.

Но тут внезапно и со всех сторон грянула оттепель. Оба снеговика растаяли и явили миру: тот, что возле памятника Гутенбергу, — пританцовывающую спичечку; а тот, что под другим склоном Гороховой горы, — изящного, стройного юношу, который искал и нашел в сугробе свои зубы. После чего забросил их в кусты.

Пританцовывающая спичечка отправилась домой, выдала там себя за Йенни Брунис, слегка заболела, но скоро поправилась и вполне успешно начала восхождение по трудной стезе балетной танцовщицы.

А вот стройный юноша упаковал чемодан Эдди Амзеля и под именем некоего господина Зайцингера уехал поездом из Данцига через Шнайдемюль в Берлин. Там он вставил себе полный рот новых зубов и попытался излечиться от сильнейшей простуды, которую подхватил, обретаясь в снеговике; однако от хронической хрипоты он так и не избавился.

Пританцовывающей же спичечке надо было по-прежнему исправно ходить в школу и прилежно трудиться на балетных занятиях. Когда детский балет городского театра участвовал в рождественской постановке «Снежной королевы», Йенни получила партию Снежной королевы и удостоилась похвал критиков.

Началась война. Но ничего не изменилось, по крайней мере в балетной публике: в Красном зале Сопотского курортного дворца Йенни как-то раз танцевала перед высшим офицерством, партийными руководителями, видными художниками и учеными. А тот самый страдающий хронической хрипотой господин Зайцингер, что некогда выскользнул из амзелевского снеговика, тем временем стал в Берлине балетмейстером, сидел поэтому в Красном зале среди избранных приглашенных гостей и под несмолкающие заключительные аплодисменты приговаривал про себя:

— Удивительное обаяние. А руки просто божественные. И эта линия в адажио. Немного холодноватая, но какая законченная классика. Чистая, хотя и еще слишком осознанная техника. Подъем, правда, низковат. Но безусловное дарование. С этой девочкой работать бы и работать, надо бы всю душу из нее вытрясти.

Но только когда старшего преподавателя Освальда Бруниса из-за весьма некрасивой истории — он лакомился витаминными таблетками, которые предназначались его ученикам, — сперва допросила криминальная, а потом арестовала тайная государственная полиция и после недолгого разбирательства отправила в концентрационный лагерь Штутхоф, — только после этого балетмейстер Зайцингер нашел возможным и своевременным залучить Йенни в Берлин.

Ей трудно было расстаться с предместьем Лангфур. Она носила траурный черный цвет и была влюблена в гимназиста, которого звали Харри Либенау. Она писала ему письма — много и часто. Своим ровным и чистым почерком она повествовала о таинственной мадам Нероде, что возглавляла их балетный театр, пианисте Фельзнер-Имбсе, переехавшем вместе с ней в Берлин, о маленьком Фенхеле, ее партнере по па-де-де, и о балетмейстере Зайцингере, который хронически хриплым голосом и в слегка жутковатой манере вел у них занятия и репетиции.

Йенни писала о своих успехах и маленьких неудачах. В целом она безусловно совершенствовалась, и только один элемент у нее хромал и не хотел выправляться. Ибо как ни хвалили ее антраша, подъем у нее оставался низким и невыразительным, огорчая и балетмейстера, и саму танцовщицу, потому что всякая настоящая балерина еще со времен Людовика XIV должна иметь высокий и красивый подъем.

Они разучили множество балетов, включая старые немецкие контрдансы и классические номера из репертуара Петипа, и выступали с ними перед солдатами, которые оккупировали тем временем пол-Европы. Куда только не заносили Йен-

ни эти длительные гастрольные турне! И отовсюду она писала своему любимому другу Харри, который от случая к случаю ей отвечал. А между репетициями и во время спектаклей Йенни не сидела сложа руки, как дурочка, и не листала иллюстрированные журналы, а вязала детские вещи для своей школьной подруги, которая ожидала ребенка.

Когда летом сорок четвертого балетная труппа возвратилась из Франции, где из-за внезапного вторжения неприятеля были потеряны многие декорации и часть костюмов, господин Зайцингер начал разучивать с артистами трехактный балет, над которым он трудился чуть ли не с детства. Теперь же, после катастрофы во Франции, предстояло безотлагательно и срочно воплотить в явь и поставить на ноги эту его детскую мечту, чтобы не сказать сон, ибо уже в августе должна была состояться премьера балета под названием «Пугала» или «Восстание пугал», а может, «Дочь садовника и пугала».

Поскольку подходящего композитора так и не нашлось, он попросил Фельзнер-Имбса аранжировать ему некую смесь из Генделя и Скарлатти. Пострадавшая во Франции часть костюмов и реквизита легко вписалась в новый балет. С той же легкостью в него в качестве статистов-акробатов вошли остатки цирковой группы лилипутов, которая принадлежала к пропагандистской команде Зайцингера и понесла потери в начале неприятельского вторжения. По замыслу это должен был быть сюжетный балет с масками, щебечущими машинами и самодвижущимися автоматами на большой и волшебной сцене.

Йенни писала Харри: «В первом действии дивный и пестрый сад старого и злого садовника разоряют танцующие птицы. Дочь садовника — это я — отчасти заодно с птицами и дразнит злого старика. Тот, донимаемый птицами, танцует смешное и яростное соло, а затем прикрепляет к изгороди сада объявление, на котором написано: «Требуется пугало!» И тотчас же, большим прыжком через изгородь, объявляется молодой человек в живописных лохмотьях и предлагает свои услуги в качестве пугала. После некоторых танцевальных раздумий — па баттю, антраша и бризе вперед-назад — старый злой садовник соглашается и уходит в левую кулису, молодой же человек бодро распугивает — па шассе и глиссады во все стороны — всех птиц, а напоследок прогоняет — тур в воздухе — и самую наглую из них: черного дрозда. Разумеется, юная и хорошенькая дочка садовника — то есть я — тут же влюбляется в молодое, сильное и прыгучее птичье пугало: па-де-де среди ревеневых лопухов старого злого садовника, плавное адажио, красивые проводки, аттитюд эн променад. Притворный испуг, нерешительность, затем соблазнение и похищение садовниковой дочки через садовую ограду, опять-таки большим жете. Мы оба — кстати, молодого человека танцует малыш Фенхель — удаляемся вправо.

Во втором действии, как ты сейчас увидишь, раскрывается истинная натура молодого человека. Оказывается, он начальник всех птичьих пугал и правит в подземном царстве, где без устали и передышки крутятся-вертятся всевозможные птичьи пугала самых разных устройств и видов. Там у них скачущая процессия, тут они собрались на свое пугальное богослужение и приносят на заклание старую шляпу. Здесь же наши лилипуты, и первым среди них старый Бебра, образуют то длинное, то короткое, но постоянно связанное воедино лилипутское пугало. А вот пугала на глазах сменяют исторические эпохи: косматые германцы, надутые ландскнехты, кайзеровские вестовые, траченные молью нищенствующие монахи, механические рыцари без голов, разъевшиеся монахини, одержимые блудным зудом, цитенское воинство из кустов и развеянные гусары Лютцова... Тут огромными насекомыми бродят многочленистые вешалки. Платяные шкафы изрыгают целые правящие династии вместе с их придворными карликами и шутами. И вдруг все превращаются в ветряные мельницы: монахи и монахини, рыцари, вестовые и ландскнехты-наемники, прусские гренадеры и нацмерские уланы,

Меровинги и Каролинги, а между ними и наши шустрые лилипуты. Во множестве мелькают крылья мельниц, гонят воздух, но ничего не мелют. Тем не менее помольный закром наполняется — тряпичной требухой, облачками кружев, окрошкой знамен. Пирамиды шляп и месиво штанов образуют гигантский торт, которым со смаком и шумом лакомятся все птицы. И тут — треск, гвалт, завывания. Свист на ключах. Чей-то задушенный визг. Десять монахов дружно рыгают. Десять монахинь дружно пердят. Козы и лилипуты блеют. Дребезг и шкрябанье, чавканье и ржание. Шелк гудит. Бархат шуршит. Кто-то на одной ноге. Двое в одной юбке. В штанах, как в кандалах. Под парусом и в шляпе. Вываливаются из карманов. Размножаются в картофельных мешках. Арии, закутавшись в шторы. Желтый свет сочится сквозь швы. Головы без туловищ. Светящаяся голова-попрыгушка. Передвижные крестины младенца. Есть и боги: Потримпс, Пеколс, Перкунас,— а между ними черный пес. И вот в самый центр этой самодвижущейся, гимнастической, сложно выдрессированной кутерьмы — неклассические вибрато сменяются богато варьируемыми па-де-бурре — начальник всех птичьих пугал, то есть малыш Фенхель, доставляет похищенную дочку садовника. А я, то есть дочка садовника, до смерти, то есть все время на испуганных пуантах, боюсь всех этих чудищ. При всей любви к молодому человеку и пугалоначальнику — только на сцене, разумеется, — я все равно ужасно их боюсь и танцую, после того как эти гадкие пугала укутывают меня в изъеденный молью подвенечный наряд и увенчивают дребезжащей короной из ореховых скорлупок, танцую под тягучую придворную музыку — лилипуты несут за мной шлейф — робкое, но королевское соло, во время которого мне удается всех пугал друг за дружкой, группами и поодиночке, погрузить своим танцем в сон, последним — малыша Фенхеля, то есть пугалоначальника. И только эта лохматая черная псина, что состоит в ближайшей свите пугалоначальника, все никак не угомонится, все носится на своих двенадцати адских лапах между разбросанными тут и там неподвижными лилипутами. И тогда я — в роли дочки садовника — из самого изысканного арабеска склоняюсь над спящим пугалоначальником, дарю ему легкий, как дыхание, горький прощальный поцелуй — это притом, что в жизни я до малыша Фенхеля даже не дотрагиваюсь, — и убегаю. Слишком поздно взвывает черная псина. Слишком поздно начинают хныкать лилипуты. Слишком поздно включается завод механических пугал. И слишком поздно просыпается пугалоначальник. Так что в конце второго действия разражается бурный финал: тут прыжки и акробатика. Музыка до того воинственная, что, кажется, может прогнать даже басурманские орды. Неистовствующие пугала в ярости бросаются в погоню, давая понять, что ничего хорошего в третьем действии нас не ждет.

Оно открывается, как и первое, в саду старого злого садовника. Грустный, беззащитный перед птицами, старик тоскливо озирается по сторонам. И тут, пристыженная — я должна станцевать одновременно и раскаяние, и упрямство,— возвращается дочка старого злого садовника, в изношенном подвенечном наряде, и опускается к ногам старика. Она обнимает его колени и ждет, когда он ее поднимет — па-де-де, отец и дочь. Танцевальный дуэт с поддержками и променадами. В конце его дает о себе знать злая натура старика: он отталкивает меня, свою родную дочь. Я не хочу больше жить, но и умереть не могу. И тут на сцену будто ураганом из-за кулис вдувает — пугал и птиц вместе, в странном союзе. Пюрхающим, чирикающим, переливчатым, шипящим, гремучим клубком, словно огромное перекати-поле, на сцену вываливается нечто совсем уж несообразное, тащит на себе, поддерживая клешнями бессчетных пугал, пустую птичью клетку неимоверных размеров, катком подминает под себя сад и с помощью шустрых лилипутов заглатывает в клетку дочку садовника. Взмывает в восторженном прыжке пугалоначальник, когда видит меня в клетке. Лохматая псина чертит вокруг меня свои черные быстрые круги. Со мною на плечах, с ликованием во всех своих сочленениях, громыхая и вереща, удаляется тысячеголосое чудище. На сцене оста-

ется опустошенный сад. На сцене остается закутанная в тряпье прихрамывающая фигура — это злой старик садовник. Еще раз, напоследок, возвращаются злорадные птицы и окружают старика — па-де-ша, па-де-баск. Он, пытаясь защититься, устало вздымает вверх руки в лохмотьях — и гляди-ка, первое же его движение ужасает, вспугивает птиц. Он превратился в птичье пугало, отныне он садовник и пугало в одном лице. Под его неистовое макабрическое птичьепугальное соло — господин Зайцингер не оставляет мысли самому выступить в этой партии — дается заключительный занавес этого последнего акта».

Этот балет, столь вдохновенно описанный Йенни в письме к ее милому другу Харри, этот балет в трех действиях, столь безупречно и чисто разученный, этот удивительно оформленный балет — Зайцингер собственноручно разрабатывал конструкции громкоголосых, изрыгающих пуговицы автоматов, — этот поистине пугалотворческий балет так никогда и не увидел свет рампы. Два господина из Государственного министерства пропаганды, пришедшие на генеральную репетицию, хотя и нашли первый акт прекрасным и многообещающим, во втором акте начали покашливать, а по окончании третьего дружно поднялись. Главная идея спектакля показалась им в целом двусмысленной и безысходно мрачной. Они совершенно не ощутили необходимого жизнеутверждающего начала, ибо, как оба господина заметили почти что хором:

— Солдатам на фронтах хочется посмотреть что-нибудь веселенькое, а не эту жуткую загробную мистику.

Начались долгие переговоры. Мадам Нерода пустила в ход свои знакомства. В самых высших инстанциях уже изъявили склонность благожелательно ознакомиться с новым сценическим вариантом, но тут, прежде чем Зайцингер успел пристопать к балету веселый и вполне отвечающий положению на фронтах жизнеутверждающий финал, разрыв бомбы почти полностью уничтожил костюмы и декорации спектакля. Понес потери и творческий коллектив.

Хотя во время воздушной тревоги полагалось прерывать репетиции, на сей раз решили пройти сцену еще раз: дочка садовника своим танцем погружает в сон пугал, адскую псину, всех лилипутов и пугалоначальника — Йенни исполняла ее превосходно, только вот ее подъем все еще был недостаточно высок и бросался в глаза как маленький, но досадный изъян, особенно ощутимый на общем прекрасном фоне; только было Зайцингер собрался внести важные позитивные изменения в ход действия — Йенни должна была заковать всех пугал и пугалоначальника, а затем передать их в распоряжение высших сил, то есть в руки теперь уже не злого, а насквозь положительного садовника, — но в тот самый миг, когда Йенни, сгибаясь под тяжестью нелепых наручников, одиноко и — из-за сложностей новой редакции — не вполне уверенно стояла на сцене, в выставочный зал, что около радиобашни, где проводились репетиции, угодила воздушная мина.

Склад, где хранились сложные механические приспособления, легкие балетные костюмы, переставные декорации, рухнул сразу, чтобы уже никогда не подняться. Пианиста Фельзнер-Имбса, который своими десятью пальцами сопровождал все репетиции, вдавило в клавиатуру, раз и навсегда. Четыре танцовщицы, два танцора, лилипутка Китти и трое рабочих сцены были ранены, к счастью, все легко. Сам балетмейстер Зайцингер остался цел и невредим и, едва рассеялись дым и пыль, принялся хриплыми криками звать Йенни.

Он нашел ее лежащей на полу и сам высвобождал из-под обрушившейся балки ее ноги. Сперва вообще опасались самого худшего — гибели балерины. На самом деле балка только придавила ей правую и левую ступни. И вот тут-то, поскольку ее распухшим ногам стало тесно в узеньких балетных туфельках, и возникло впечатление, что у Йенни наконец-то отличный и высокий подъем, какой и должен быть у всякой настоящей балерины. О, летите все сюда, воздушные сильфиды! Явитесь в ваших подвенечных нарядах, Жизель и Коппелия, и плачьте вашими хрустальными слезами. О вы, несравненные Гризи и Тальони, Люсиль Гран и Фанни

Черито, сотките еще раз кружево вашего падекатра и рассыпьте розы на эти распухшие ступни. Пусть скажут свое «да» все светильники в Пале Гарнье, дабы в блеске парадного выхода легли в свои пазы все камушки и камни этой величественной пирамиды — первая кадриль и вторая кадриль, полные надежд звездочки кордебалета, маленькие партии и большие партии, первые танцовщики и уж после них, ожесточенные и недосягаемые, примы-балерины, этуали! Взлети, Гаэтано Вестрис! И ты, воспетая Камарго, все еще неповторимая в твоем парящем антраша! Оставь своих бабочек и черных пауков, о ты, бог медленного прыжка и дух роз Вацлав Нижинский. Неугомонный Новер, прерви свое путешествие и сойди здесь. Запустите всю подвесную машинерию, чтобы, призрачный, холодный и воздушно-сильфидный, струился лунный свет. Злой Дягилев, наложи на нее свою волшебную руку. Забудь, хотя бы на миги этой боли, забудь про свои миллионы, Анна Павлова. И ты, Шопен, в мерцании свечей выхаркни еще раз свою кровь на клавиши. Оторвитесь друг от друга, Белластрига и Архиспоза. Замри, еще раз замри, умирающий лебедь. Ляг, ляг же к ней, Петрушка. Последняя позиция. Гран-плие.

Но сама Йенни продолжала жить — трудно и, увы, никогда больше не встав на пуанты. Пришлось ампутировать ей — как тяжело даже писать такое — пальцы обеих ног. Ей выдали обувь, неуклюжую, ортопедическую, для остатков ступней. А Харри Либенау, которого Йенни в прежней жизни любила, получил от нее сухое, на машинке напечатанное письмо, последнее. И он тоже, просила Йенни, пусть больше ей не пишет. Это окончательно и бесповоротно. Пусть попытается забыть — все или почти все. «И я тоже постараюсь никогда больше о нас двоих не думать».

А некоторое время спустя — Харри Либенау паковал чемодан, ему не терпелось в солдаты, — пришла бандероль весьма грустного содержания. Там лежали, стопочкой, перевязанные шелковым шнурком, письма Харри, его почтовые полуправды. Вязаные детские кофточки и ползунки, законченные, розовые и голубые. И бусы он нашел, самодельные, из резинок от пивных бутылок. Харри подарил их Йенни, когда они были еще детьми, что играли на Акционерном пруду, на глади которого вместо водяных лилий плавали эти красные резинки.

Был когда-то трамвай,

он ходил от Казарменной площади в Лангфуре до Нижнего Данцига и назывался «номер пять». Как и все трамваи, курсировавшие между Лангфуром и Данцигом, «пятерка» тоже останавливалась у Главного вокзала. Водителя этого совершенно особого трамвая, про который еще скажут — «был когда-то трамвай», — звали Лемке; кондуктором в переднем, моторном вагоне был Эрих Венцек; а кондукторшей в заднем, прицепном вагоне этого особенного трамвая была Тулла Покрифке. Она не работала больше на «двойке», что ходила до Оливы. Каждый божий день по девять часов кряду она ездила на «пятерке» — туда и обратно; пронырливая, будто рожденная для кондукторского ремесла, только немного рисковая; потому как в часы пик, когда трамвай был переполнен, она на умеренной скорости могла с передней площадки спрыгнуть, а на заднюю вскочить — в смену Туллы Покрифке безбилетников не было, даже ее двоюродному брату Харри и то приходилось раскошеливаться.

После того как на конечной остановке «Казарменная площадь» в этом особом трамвае, про который еще скажут — «был когда-то трамвай», то бишь в трамвае двадцать два ноль пять, который в двадцать два семнадцать останавливался на Главном вокзале, Тулла Покрифке дала сигнал к отправлению, на площади Макса Хальбе, то бишь две минуты спустя, в ее вагон сел семнадцатилетний юноша, затолкнув на заднюю площадку картонный чемодан с укрепленными кожей углами и там же, на площадке, тотчас же закурив сигарету.

В вагоне было — да, в общем-то, и оставалось — почти пусто. На остановке

«Немецкая слобода» зашла пожилая супружеская пара, которая вскоре, уже у Спортзала, вышла. На аллее Хальбе в прицепной вагон сели четыре сестры из Красного Креста и взяли билеты с пересадкой до Соломенной слободы. В моторном вагоне народу было побольше.

Покуда на задней площадке прицепного вагона кондукторша Тулла Покрифке чиркала что-то в свою путевую книгу, семнадцатилетний юноша неумело курил возле своего покачивающегося картонного чемодана. И только потому, что оба они — она со своей путевой книгой, он с непривычной сигаретой — друг друга знали и даже были родственниками, кузеном и кузиной, и потому лишь, что обоим предстояло сейчас прощанье навсегда, только поэтому трамвай пятого маршрута оказался особенным трамваем, а вообще-то он был трамвай как трамвай и шел по расписанию.

Когда Тулла дала звонок на остановке «Женская больница», она, захлопнув путевую книгу, произнесла:

— Что, уезжаешь?

Харри Либенау, с мобилизационным предписанием в нагрудном кармашке, ответил так, как того неукоснительно требует сцена разлуки:

— Да, и как можно дальше.

Туллина путевая книга, прозаический реквизит, торчала между замусоленными деревянными крышками.

— Выходит, тебе у нас разонравилось?

Поскольку Харри знал, что Тулла на «двойке» больше не работает, он решил, что поедет на вокзал трамваем пятого маршрута.

— Надо подсобить пруссакам. А то они без меня не справляются.

Тулла прихлопнула деревянными крышками.

— А мне казалось, ты вроде на флот хотел?

Харри предложил Тулле сигарету.

— У них там теперь делать нечего, во флоте.

Тулла запасливо сунула «Юнону» в футляр своей путевой книги.

— Смотри как бы тебя в пехоту не запихнули. У них там разговор короткий.

Харри разом обрубил этот диалог, пронизанный скорой разлукой.

— Вполне возможно. Только мне это совершенно безразлично. Главное, подальше отсюда, прочь из этой дыры.

Особый трамвай с прицепным вагоном трясся по длинной и прямой аллее. Пролетали мимо встречные трамваи. Но смотреть на улицу кузен и кузина не могли: синяя краска противовоздушного затемнения ослепила все окна. Так что пришлось им поневоле все время смотреть друг на друга; но никто и никогда не узнает, как смотрела Тулла на своего кузена Харри, когда́ тот старался наглядеться на нее впрок и про запас: Тулла, Тулла, Тулла! Прыщи на ее лбу почти засохли. Зато теперь она носила свежую шестимесячную завивку, на свои деньги. Коли нет красоты, надо брать чем можешь. Но все еще, по-прежнему и в последний раз, вместе с ней и вокруг нее ехал — от Казарменной площади до Ивового переулка — ее костный дурман, ее запах столярного клея. Сестры из Красного Креста о чем-то болтали, наперебой и вполголоса. У Харри был полон рот вычурных, напыщенных слов, но ни одно словечко не могло прорваться, дабы проложить дорогу собратьям. За остановкой «Четыре времени года» он выдавил из себя:

— Ну, а как твой отец поживает?

Но Тулла ответила только передергом плеч и, в своей излюбленной манере, встречным вопросом:

— А твой?

На это и Харри только и оставалось, что пожать плечами, хотя отец его как раз поживал не слишком хорошо: из-за своих распухших ног столярных дел мастер не смог даже проводить сына на вокзал; а мать Харри никогда не выходила из дому без мужа.

Ну ничего, хоть один из родственников будет свидетелем расставания Харри с родными местами — кондукторская форма его кузине очень к лицу. Форменная шапочка задорным корабликом кренится в волнах шестимесячной завивки. На подъезде к Оливскому лесу она извлекает из билетной кассеты две израсходованных билетных книжки:

— Хочешь? Подарок на память!

Харри берет два картонных переплетика, в металлических зажимах которых стопками в палец толщиной торчат корешки оторванных трамвайных билетов. В тот же миг пальцы его снова становятся мальчишескими и оттягивают корешки, чтобы отпустить их с упругим треском. Тулла смеется своим резким и почти добродушным смехом. И только тут спохватывается: за всей этой прощальной трепотней она кое о чем забыла — ее кузен Харри не заплатил за проезд. Пустыми билетными книжками играется, а нормальный билет не берет. И, кивнув на книжки в озорных пальцах кузена, Тулла замечает:

— Можешь забрать, только за проезд все равно платить надо. Один взрослый и багаж.

Сунув кошелек обратно в задний карман, Харри нашел в боковом темно-синем стекле на задней площадке бесцветную прозрачную щелочку; кто-то процарапал ее ногтем в затемнении, чтобы Харри не таращился больше на кузину, а мог напоследок одним глазком посмотреть на панораму приближающегося города. И луна светит как по заказу. Он пересчитал башни. Все на месте. И все вырастают ему навстречу. Какая картинка, хоть вырезай! Кирпичная готика так утомила его глаза, что они затуманились: неужто слезы? Одна слезинка. Потому что Тулла уже объявила его остановку — «Главный вокзал!» — и Харри уже опустил в карман две пустых билетных книжки.

Только он ухватился за ручку чемодана, Тулла протянула ему свою маленькую ладошку с резиновым напальчником на большом пальце — чтобы легче билеты отрывать и деньги отсчитывать. Вторая ее рука уже ждала на шнурке кондукторского звонка:

— Смотри там, чтобы тебе нос не отстрелили, слышишь!

И Туллин кузен послушно кивнул и продолжал кивать, когда она уже дала сигнал к отправлению и оба они — он для нее, она для него, он на вокзальной площади, она на отъезжающей «пятерке» — стали уменьшаться в размерах.

Что же удивительного, что в ушах у Харри Либенау, пока он всю дорогу от Данцига до Берлина трясся в скором поезде на своем чемодане, в такт перестуку вагонных колес звучала одна и та же кошнадерская песенка на совсем простые слова: «Тулла-Тулла-Тулла-Тул. Тулла-Тул. Тулла-Тул».

Была когда-то песенка,

в ней говорилось о любви, она была коротенькая, легко запоминалась и до того ритмичная, что рядовой мотопехоты Харри Либенау, отправившийся из дому с двумя трескучими билетными книжками обучаться страху, всегда — на коленях и лежа, во сне и над миской горохового супа, чистя винтовку и елозя брюхом по-пластунски, задремывая и на бегу, в противогазе и дергая чеку настоящей ручной гранаты, во время развода караулов, в поту и в слезах, дрожа от холода и на водяных мозолях, орлом на толчке и принимая воинскую присягу в Богом забытом Фаллингбостеле, на карачках по стерне в поисках зерна, то бишь клянясь и кляня, отстреливаясь и обсираясь, а также надраивая сапоги и расхватывая последний кофе, — всегда и везде держал эту песенку в зубах, такая она была неотвязная и на все случаи жизни подходящая. Потому как когда он вбивал гвоздь в створку своего шкафчика, чтобы повесить туда фотографию в рамочке — Вождь с черной овчаркой, — молоток и шляпка гвоздя в один голос подпевали: «Тулла-Тул, Тулла-Тул». И когда примыкание штыка разучивали, три основных движения очень ритмично туда же вписывались: «Тулла-Тулла-Тул!» И когда за воинским скла-

дом Кнохенауэр-два ему пришлось стоять ночью на часах и сон железной хваткой стискивал ему кадык, он будил себя бодрой песенкой: «Тул-Тул-Тулла!» Любая маршевая песня, будь то про Эрику, Розмари, Аннушку или хоть про в огороде бузину, легко подлаживалась к этому универсальному Туллиному тексту. И когда он отлавливал на себе вшей и из вечера в вечер — покуда всю роту в Мунстере не запустили в санобработку — обследовал швы своих кальсон и сорочек хрусткими и беспощадными ногтями, он не придавливал тридцать две вши зараз, нет, он тридцать два раза обламывал Туллу. И даже когда увольнение до побудки предоставило ему возможность впервые и совсем по-быстрому утолить свой пыл с настоящей девчонкой, он выбрал для этой цели не медсестру и не зенитчицу, а трахнул в осеннем Люнебургском парке люнебургскую же трамвайную кондукторшу, ее звали Ортруд, но он ритмично приговаривал свое «Тулла! Тулла! Тулла!». Чем даже доставил своей партнерше некоторое, впрочем весьма умеренное, удовольствие.

И все это — песенка о Тулле, воинская присяга, вши и Люнебург — исправно отображается в любовных письмах, по три штуки в неделю, письмах Тулле. История вершится в январе, феврале, марте; он же ищет для Туллы только вневременные, вечные слова. Где-то между Балатоном и Дунаем четвертая кавалерийская бригада отражает контратаки противника — а он живописует своей кузине ландшафтные красоты люнебургских окрестностей. Отвлекающий бросок, не достигнув Будапешта, иссякает где-то за Братиславой — а он, не ведая усталости, сравнивает Люнебургскую пустошь с Тухлерской. В районе Бастони небольшие территориальные приобретения — а он шлет Тулле мешочек можжевеловых ягод вместе со своими фиолетовыми вересковыми приветами. Расположившаяся южнее Болоньи 362-я пехотная дивизия в состоянии сдерживать танковые атаки врага только при условии одновременного выравнивания линии фронта — а он тем временем сочиняет стихи,— для кого бы это? — в которых, и это в начале января, по-прежнему фиолетово цветет вереск! День-деньской тысячи американских бомбардировщиков заходят на цели в районе Падерборна, Билефельда, Кобленца, Мангейма — он же невозмутимо читает Лёнса, который так заметно влияет на стиль его писем и с первых строк окрашивает стихи к Тулле в фиолетовые тона. Под Барановом крупное наступление неприятеля — а он даже глаз не поднимет, выводит своей школьной авторучкой одно-единственное, не голубое и не красное, имя. Оставлен тарновский плацдарм, неприятельские прорывы до Инстера — а обученный рядовой мотопехоты Харри Либенау подыскивает слово-заклинание, рифмующееся с именем Тулла. Враг наносит удары в направлении Леслау через Кутно, прорывается под Хоэнзальцей — но наш мотопехотинец из маршевой роты Мунстер-Север все еще не подыскал подходящую рифму к своей кузине. Передовые отряды танковых частей неприятеля взяли Гумбинен и с ходу форсируют Ротминте; тут нашего мотопехотинца Харри Либенау с маршевым приказом и походным пайком, но без жизненно необходимого, все еще ненайденного слова, посылают в Катовице, где ему надлежит сомкнуться с 18-й танковой дивизией, которую в срочном порядке перебрасывают с Дуная в Верхнюю Силезию. Но уже потеряны Гляйвиц и Оппельн, достигнуть Катовице не удается, и новый приказ направляет мотопехотинца Харри Либенау с пополненным походным довольствием в Вену — тем самым ему предоставляется возможность отыскать оттянутую с юго-востока воздушно-десантную дивизию, а заодно, быть может, и заветную крышечку от горшочка по имени Тулла. Линия фронта уже в двадцати километрах к востоку от Кёнигсберга — а в Вене мотопехотинец Харри Либенау взбирается на собор Святого Стефана и под полупасмурным небом высматривает — кого? Передовые отряды танковых частей неприятеля выходят к Одеру и закрепляются на плацдарме под Штайнау — а Харри шлет теперь уже нерифмованные открытки, но сборного пункта обещанной ему воздушно-десантной дивизии так и не находит. Закончено Арденнское сражение. Будапешт пока еще держится. Низкая

активность боевых действий в Италии. Генерал-полковник Шёрнер принимает на себя командование центральным участком фронта. Заградительный барьер под Лётценом прорван. На подступах к Глогау успешные оборонительные бои. Передовые отряды неприятеля в Прусской Голландии. География! Билиц — Плесс — Ратибор. Кто слыхал, где расположен Циленциг? Ибо именно туда, к северо-востоку от Кюстрина, определяет мотопехотинца Харри Либенау с обновленным походным пайком обновленный походный приказ; но уже в Пирне его останавливают и придают некоему безымянному отделу комплектования, который в освобожденном по такому случаю от учеников и учителей здании начальной школы дожидается прибытия 21-й танковой дивизии, перебрасываемой из Кюстрина в район севернее Бреслау. Резерв пополнения. В школьном подвале Харри отыскивает энциклопедию, но отказывается от идеи рифмовать Туллу с именами вроде Суллы или Абдуллы ввиду отсутствия смысла. Обещанная танковая дивизия так и не приходит. Но Будапешт пал. Глогау отрезано. Резерв пополнения вместе с мотопехотинцем Харри Либенау направляется неведомо куда, но направляется. И каждый день минута в минуту личному составу выдается по ложке джема «Ассорти», треть буханки пайкового хлеба, одна шестнадцатая часть килограммовой банки тушенки и по три сигареты. Директивы Шёрнера: партийная «кузница героев» накрылась. Весна в прорыве. Почки лопаются, как выстрелы между Троппау и Леобшюцем. Под Шварцвассером расцветают четыре весенних стихотворения. В Сагане, перед тем как форсировать Бобру, мотопехотинец Харри Либенау знакомится с силезской девушкой, которую зовут Улла и которая заштопает ему пару шерстяных носков. А в Лаубане его заглатывает оттянутая с запада и переброшенная в Силезию 25-я мотопехотная дивизия.

Теперь он хоть знает, куда относится. Не надо исполнять командировочные предписания, отсылающие его на поиск бесследно исчезнувших частей. В тяжких раздумьях и мучительных поисках рифмы он вместе с пятью другими мотопехотинцами сидит на броне самоходного орудия, которое то и дело перебрасывают с места на место между Лаубаном и Саганом, но не на передний край. Почты он не получает. Это, впрочем, ничуть не мешает ему и дальше писать письма своей кузине Тулле, которая вместе с группой армий «Висла» отрезана в Данциге и либо сидит дома в Лангфуре, либо разъезжает в трамвае кондукторшей; ибо трамвай ходил до самого конца.

Было когда-то самоходное орудие,
так называемый «Танк-4», старая модель, ее надлежало разместить на позиции за линией фронта в условиях гористой силезской местности. Ища укрытия от авиации противника, танк всей своей сорокатонной громадой на двух гусеницах задним ходом въехал в деревянный сарай, защищенный от взлома только одним навесным замком.

Но поскольку сарай принадлежал силезскому стеклодуву, в нем, расставленные на полках и упакованные в солому, находилось около пятисот, а то и больше, изделий из стекла.

Встреча между въезжающим задним ходом в сарай гусеничным самоходным орудием и силезским стеклом повлекла за собой два события. Во-первых, танк нанес силезскому стеклу значительный урон; во-вторых, производимые в разных тональностях звуки лопающегося, колющегося, рушащегося стекла оказали воздействие на мотопехотинца Харри Либенау, который, будучи придан самоходному орудию в качестве пехотного сопровождения, стоял рядом с вышеозначенным сараем, слышал его вопли, в результате чего обрел новый язык. Отныне никакого фиолетового томления! И никогда больше не станет он искать рифму к имени Тулла. Конец стихам, написанным кровью сердца и гимназической спермой. Отныне и впредь, с тех пор как вопли стеклянного сарая хрустальными шариками закатились ему в уши, он записывает в свой дневник одни только простые предложения.

Танк заезжает задом в сарай со стеклом. Война еще скучнее, чем школа. Все ждут секретного оружия. После войны я хотел бы часто ходить в кино. Вчера видел первого убитого. Мою противогазную коробку я наполнил клубничным джемом. Нас вроде бы переводят. Я пока не видел ни одного русского. Временами я уже больше не думаю о Тулле. Наша полевая кухня исчезла. Я читаю все время одно и то же. Беженцы запрудили все дороги и уже ни во что не верят. Лёнс и Хайдеггер во многом ошибаются. В Бунцлау на семи деревьях висели пять солдат и два офицера. Сегодня утром мы обстреляли участок леса. Два дня я не мог ничего записать в дневник, потому что у нас было соприкосновение с противником. Многих наших уже нет в живых. После войны я напишу книгу. Нас хотят перебросить в Берлин. Там сражается Вождь. Я теперь отношусь к боевой группе Венка. Нам поручено отстоять столицу Рейха. Завтра у Вождя день рожденья. Интересно, с ним ли его собака?

Был когда-то Вождь и Канцлер Рейха,

20 апреля 1945 года ему исполнилось пятьдесят шесть лет. Поскольку в тот день центр столицы, а вместе с ним, следовательно, и правительственный квартал вместе с Рейхсканцелярией время от времени подвергались артиллерийскому обстрелу, скромное торжество было проведено в бункере Вождя.

Известные имена, в том числе и тех, кто и так регулярно принимал участие в военных совещаниях у Вождя — вечерние заседания, дневные заседания, — образовали поздравительный хор: генерал-фельдмаршал Кейтель, подполковник фон Йон, капитан третьего ранга Людде-Нойрат, адмиралы Фосс и Вагнер, генералы Кребс и Бургдорф, полковник фон Белоф, руководитель партийной канцелярии Рейха Борман, посланник Хевель из министерства иностранных дел, госпожа Браун, стенографист штаб-квартиры Вождя доктор Херргезелль, гауптштурмфюрер СС Гюнше, доктор Морелль, обер-группенфюрер СС Фегеляйн и господин и госпожа Геббельс со всеми шестью детишками.

Когда гости закончили произносить поздравления, Вождь и Канцлер недоуменно обвел глазами присутствующих, словно последнего и крайне необходимого ему поздравления все еще недостает:

— А где пес?

И тотчас же все гости Вождя принялись искать любимую собаку Вождя. Послышались восклицания: «Принц! Сюда, Принц!» Личный адъютант Вождя, гауптштурмфюрер СС Гюнше, уже прочесывал сад при Канцелярии Рейха, хотя эта территория уже неоднократно обстреливалась артиллерией противника. В бункере меж тем строились самые невероятные догадки. Высказывались предположения одно нелепей другого. Единственным, кто не растерялся и сразу овладел ситуацией, был обер-группенфюрер СС Фегеляйн. Он, тут же поддержанный полковником фон Белоф, немедленно сел за телефоны, которые соединяли бункер Вождя со всеми штабами, а также с батальоном сопровождения Вождя, что располагался вокруг Канцелярии. «Всем! Всем! Всем! Пропала собака Вождя! Отзывается на кличку Принц. Племенной кобель. Черная немецкая овчарка по кличке Принц. Свяжите меня с Цоссеном. Вниманию всех! Собака Вождя пропала!»

В ходе последующего заседания военного совета — только что поступившие оперативные данные подтверждают: передовые отряды танковых частей неприятеля продвинулись южнее Котбуса и ворвались в Калау — все мероприятия по обороне столицы координируются с немедленно задействованной операцией «Волчья яма». Поэтому 4-я танковая армия, временно отложив запланированное контрнаступление южнее Шпремберга, срочно перекрывает шоссе Шпремберг — Зенфтенберг, препятствуя возможному уходу собаки Вождя к неприятелю. С той же целью группа Штайнера превращает стратегический плацдарм намечаемого из района Эберсвальде отвлекающего удара на юг в глубоко эшелонированную зону перехвата. В рамках планомерного развития операции все имеющиеся в распоряжении машины 6-го воздушного флота начинают разведку с воздуха с целью вы-

явления возможных путей бегства собаки Вождя по кличке Принц. Далее, строго в соответствии с планом «Волчья яма», линия фронта переносится за реку Хафель. Из резерва главного командования срочно формируются поисковые команды собаки Вождя (ПКСВ), которые посредством радиотелефона поддерживают постоянную связь с частично моторизованными, частично отобранными из велосипедных рот частями перехвата собаки Вождя (ЧПСВ). Корпус Хольсте окапывается. 12-я же армия Венка, напротив, с юго-запада срочно начинает отвлекающий маневр, перерезая пути возможного прохождения собаки Вождя, которая, по имеющимся предположениям, намерена перебежать именно к западному противнику. В осуществление плана «Волчья яма» 7-й армии надлежит выйти из соприкосновения с 1-й американской армией и в районе между Эльбой и Мульде выстроить с запада заградительный заслон. На линии Ютербог — Торгау запланированные противотанковые рвы заменяются западнями на собаку Вождя типа «волчья яма». 12-я армия, армейская группа «Блюментритт» и 38-й танковый корпус переходят в непосредственное подчинение Верховного Главнокомандования. Последнее незамедлительно переводится из Цоссена в Ванзее и образует под началом генерала Бургдорфа Оперативный штаб операции «Волчья яма» — ОШОВЯ.

Однако, несмотря на все эти оперативно произведенные передислокации, помимо самых заурядных фронтовых сообщений — советские передовые части достигли линии Тройенбритцен — Кёнигсвустерхаузен, — никаких иных сведений, проливающих свет на маршрут собаки Вождя, не поступило.

В девятнадцать сорок, во время вечернего совещания, фельдмаршал Кейтель дает телефонограмму начальнику штаба Штайнеру: «Согласно приказу Вождя, вам предписывается силами 25-й мотопехотной дивизии закрыть брешь в районе Котбуса и тем самым предотвратить возможный прорыв собаки».

На это из штаба армейской группы Штайнера поступает ответная телефонограмма: «В соответствии с указанием от семнадцатого четвертого 25-я мотопехотная дивизия выведена из района Баутцена и придана 12-й армии. Силами имеющихся резервов направления возможного прорыва собаки перекрыты».

Наконец, ранним утром 21 апреля, неподалеку от ожесточенно атакуемого противником участка фронта на линии Фюрстенвальде — Штраусберг — Бернау замечена и подстрелена черная немецкая овчарка, которая, однако, после доставки ее в штаб-квартиру и тщательного осмотра доктором Мореллем как собака Вождя не идентифицирована.

После этого случая, согласно указанию ОШОВЯ, во все задействованные в районе Большого Берлина части поступают данные об основных измерениях собаки Вождя.

Формирование основного участка обороны между Люббеном и Барутом подхвачено аналогичным направлением главного удара советских танковых частей. Лесные пожары, распространяющиеся несмотря на моросящий дождь, образуют природные противособачьи заграждения.

22 апреля неприятельские танковые части, преодолев рубеж Лихтенберг—Нидершёнхаузен—Фронау, вторгаются во внешнее оборонительное кольцо столицы Рейха. Двукратные сообщения о поимке собаки в районе Кёнигсвустерхаузена оказываются недостоверными, поскольку оба пойманных объекта не могут быть идентифицированы как кобели.

Оставлены Дессау и Биттерфельд. Американские танковые части предпринимают попытки форсировать Эльбу под Виттенбергом.

23 апреля гауляйтер и комиссар по делам обороны доктор Геббельс распространяет следующее заявление: «Вождь находится в столице Рейха и принял на себя командование всеми вооруженными силами, прибывшими в район решающей битвы. Поисковые команды собаки Вождя и их резервные части подчиняются отныне только указаниям Вождя».

ОШОВЯ докладывает: «Временно занятый противником вокзал Кёпеник в

результате контратаки отбит. 10-я рота перехвата собаки Вождя (10-я РПСВ) и 21-я поисковая команда собаки Вождя (21-я ПКСВ), осуществляя контроль за Пренцлауэрской аллеей, остановили прорыв противника в этом районе. При этом были захвачены две советских собакоулавливающих установки. Тем самым установлено, что восточный противник об операции «Волчья яма» осведомлен». Поскольку неприятельские радиостанции и продажная зарубежная пресса снова и снова распространяют заведомо искаженные, провокационные сообщения о пропаже собаки Вождя, ОШОВЯ с 24 апреля передает указания Вождя, застенографированные доктором Херргезеллем, новым шифром в соответствии с принятым ранее «философским» языковым кодом:

«Чем улавливается явность племенного кобеля Принца?»

«Изначальная явность собаки Вождя улавливается дальночувствием».

«Улавливаемая дальночувствием собака Вождя устанавливается как что?»

«Улавливаемая дальночувствием собака Вождя устанавливается как Ничто».

На это следует обращение ко всем: «Улавливаемое дальночувствием Ничто устанавливается как что?»

На это штаб группы Штайнера из командного пункта Либенверда отвечает: «Улавливаемое дальночувствием Ничто в оперативном районе группы Штайнера установлено как Ничто».

На это следует новое обращение Вождя ко всем: «Является ли улавливаемое дальночувствием Ничто предметом и вообще сущим?»

На это поступает незамедлительный ответ из оперативного штаба группы Венка: «Улавливаемое дальночувствием Ничто является дырой. Ничто — это дыра в 12-й армии. Ничто — это черная дыра, только что пробежавшая мимо. Ничто — это черная бегающая дыра в 12-й армии».

Новое обращение Вождя ко всем гласит: «Улавливаемое дальночувствием Ничто бегает. Ничто — это улавливаемая дальночувствием дыра. Оно установимо и подлежит обследованию. Черная, бегающая, улавливаемая дальночувствием дыра обнажает Ничто в его исконной явности».

Вслед за этим дополнительные указания ОШОВЯ: «Первейшим и главным образом надлежит обследовать все виды столкновений между улавливаемым дальночувствием Ничто и 12-й армией на предмет выявления характерных структур подобных столкновений. Отныне и впредь с особой тщательностью обследовать все районы имевших место столкновений в окрестностях Кёнигсвустерхаузена на предмет их субстантивного содержания. Эксплуатационная готовность и профилактика контактоопосредующего прибора «Волчья яма-1» и дополнительной установки «Волчий пеленг» обеспечат своевременное укрытие улавливаемого дальночувствием Ничто в случае его прибытия. Отсутствие наличия искомого и пока не обретенного будет преодолеваться посредством наступления периода течки у собранных и готовых к подпусканию в порядке эксперимента сук, поскольку улавливаемое дальночувствием Ничто изначально и всегда изъявляло и по сей день должно изъявлять радостную готовность к покрытию».

На экстренное сообщение из района ожесточенных боев по линии Нойбабельсберг—Целендорф—Нойкёльн: «Ничто визуально установлено между танками противника и нашим передним краем. Ничто бегает на четырех ногах», — следует ответ Вождя прямым текстом: «Ничто на бегу запечатлеть. Всякая и любая деятельность улавливаемого дальночувствием Ничто должна быть субстантивирована, имея в виду окончательную победу и последующее увековечение оного в мраморе или в ракушечнике».

Лишь 25 апреля генерал Венк, 12-я армия, отвечает на это уже из района Науэн—Кетцин: «Ничто на бегу запечатлено и субстантивировано. Улавливаемое дальночувствием Ничто на всех участках передовой сеет страх. С нами страх. Страх лишает нас дара речи. Конец связи».

После того как оперативные донесения боевых соединений Хольсте и Штай-

нера тоже не обходятся без упоминаний об аналогичном страхе, по прямому указанию Вождя ОШОВЯ 26 апреля адресует всем частям следующую директиву: «Поскольку страх препятствует восприятию Ничто, предписывается с сего часа преодолевать его посредством разговоров и пения. Улавливаемое дальночувствием Ничто и впредь не подлежит отрицанию. Ничто не может повергнуть в страх столицу Рейха во всей ее территориальной целокупности».

Поскольку, однако, оперативные донесения всех боевых соединений и далее обнаруживают готовность к страху, новая шифровка всем частям передает дополнение к указанию Вождя от 26 апреля: «12-я армия обязана создать противовес настроениям тлетворной апатии, распространившимся в столице Рейха. Бытийным проявлениям в Штеглице и на южной окраине Темпельхофского аэродрома надлежит продвинуть поприще самоосуществления в сторону неприятеля. Решающую битву немецкого народа следует вести в духе улавливаемого дальночувствием Ничто».

На экстренное указание генерала Бургдорфа, начальника ОШОВЯ, 6-му воздушному флоту: «Между Тегелем и Сименсштадтом впереди вражеских танковых дозоров замечено бегущее Ничто. Проведите разведку с воздуха», 6-й воздушный флот через некоторое время прямым текстом отвечает: «Бегущее Ничто установлено визуальным наблюдением между Силезским и Гёрлицким вокзалами. Ничто не является предметом и вообще сущим, следовательно, не является и собакой».

В ответ на это по указанию Вождя вводится новый код и прямым текстом следует директива 6-му флоту за подписью полковника фон Белоф: «Врабатываясь в Ничто, собака уже вышла за пределы сущего и отныне будет именоваться Трансценденцией!»

27-го оставлен Бранденбург. 12-я армия достигает Белица. В ответ на поступающие множественные сообщения об усиливающемся отрицании собаки Вождя по кличке Принц и ее конспиративных наименований «Ничто» и «Трансценденция» в четырнадцать двенадцать следует приказ Вождя всем частям: «Любые проявления негативизма в отношении бегущей Трансценденции преследуются отныне военно-полевым судом».

Поскольку оперативных донесений нет, а панические тенденции установлены уже даже в правительственном квартале, принимаются и оглашаются самые решительные меры: «Ввиду особо негативистского отношения к улавливаемой дальночувствием Трансценденции окончательно и бесповоротно устанавливается бывшесть следующих офицеров», — далее идет перечень фамилий и званий. И лишь теперь, после неоднократных запросов Вождя: «Где передовые отряды Венка? Где отряды Венка? Где Венк?» — оперативный штаб Венка, 12-я армия, отвечает 28 апреля: «Залегли южнее Швиловского озера. В результате взаимодействия с 6-м воздушным флотом установлено, что ввиду плохих погодных условий Трансценденцию разглядеть невозможно. Конец связи».

Отрицательные донесения поступают и от Халлейских ворот, от Силезского вокзала и с Темпельхофского аэродрома. Оперативное пространство разбилось на городские площади. Собакоулавливающий пост на Александерплац якобы установил визуальным наблюдением двенадцатиногую Трансценденцию, бегущую впереди танков противника. Этому противоречит донесение из района Пренцлау, где видели Трансценденцию о трех головах. Почти одновременно с этим в штабквартиру Вождя поступает донесение из 12-й армии: «Легко раненный мотопехотинец утверждает, что в саду одной из вилл на Швиловском озере видел собаку, нетрансцендентальную, покормил ее и называл кличкой Принц».

На это ответный запрос Вождя прямым текстом: «Фамилия мотопехотинца как?»

Ответ 12-й армии: «Мотопехотинец Харри Либенау, легко ранен при раздаче еды».

На это Вождь прямым текстом: «Мотопехотинец Либенау сейчас именно где?»

12-я армия на это: «Мотопехотинец Либенау вследствие ранения отправлен в лазарет в западном направлении».

На это Вождь прямым текстом: «Отправку прервать. Мотопехотинца 6-м воздушным флотом на территорию сада при Канцелярии доставить и приземлить».

На это генерал Венк, 12-я армия, Вождю прямым текстом: «Ускользновение отпущенного на тонущую территориальную целокупность Большого Берлина вплоть до окончательного трансцендирующего пожертвования высвобождает конечную структуру».

Следующая директива Вождя: «Вопрос о собаке есть вопрос метафизический и оставляет немецкий народ во всей его целостности под большим вопросом» — заканчивается его известными, историческими словами: «Берлин останется немецким. Вена снова будет немецкой. И никто и никогда не сможет подвергнуть отрицанию собаку».

Вслед за этим поступает чрезвычайное сообщение: «Вражеские танки вторглись в Мальхин». И сразу же после этого незашифрованное сообщение в Канцелярию Рейха: «Вражеские радиостанции передают: собаку видели на восточном берегу Эльбы».

Между тем в районе уличных боев в Кройцберге и Шёнеберге замечены советские листовки провокационного содержания, в которых утверждается, что беглая собака Вождя уже захвачена восточным противником.

Далее, в оперативной сводке от 29 апреля говорится: «В ходе ожесточенных уличных боев вдоль Потсдамской улицы и на площади Бель-Альянс происходит самовольный самороспуск поисковых команд собаки Вождя. Акции советской радиоспецпропаганды, передающей усиленное воспроизведение натурального собачьего лая, оказывают деморализующее воздействие на личный состав. Белиц снова потерян. От 9-й армии больше никаких известий. 12-я армия по-прежнему пытается оказывать давление на Потсдам ввиду курсирующих слухов о смерти собаки на исторической территории. Сообщения об английских собакоулавливающих постах вокруг плацдарма Лауэнбург на Эльбе и о поимке собаки американцами в Фихтельских горах пока остаются неподтвержденными». Поэтому последнее указание Вождя новым шифром и всем частям гласит: «Собака сама, как таковая, была здесь, остается здесь и пребудет здесь».

На это генерал Кребс генерал-полковнику Йодлю: «Прошу предварительной ориентировки о преемнике Вождя в случае его возможной гибели».

Засим, судя по оперативной сводке от 30 апреля, Оперативный штаб операции «Волчья яма» (ОШОВЯ) был распущен. Поскольку ловля собаки ни в транценденции, ни на исторической территории результатов не принесла, Верховное командование отводит 12-ю армию из района Потсдам—Белиц, вследствие чего танки неприятеля вторгаются в Шёнеберг.

После чего гросс-адмиралу Дёницу поступает радиограмма за подписью Бормана: «Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга Вождь назначает Вас, господин гросс-адмирал, своим преемником. Письменная доверенность, а также родословная собаки уже высланы».

Вслед за чем намерение Вождя приводится в исполнение. А промелькнувшее в Швеции неофициальное сообщение, согласно которому собака Вождя подводной лодкой доставлена в Аргентину, не опровергается. Провокационному сообщению советских источников: «Разорванная шкура двенадцатилапой черной собаки найдена в развалинах здания балетного театра» — противоречит информация Баварского освободительного комитета, распространенная радиопередатчиками из Эрдинга: «Труп черной собаки обнаружен перед Галереей Полководцев в Мюнхене». После чего почти одновременно поступают сообщения о трупах собаки Вождя, которые всплыли: первый — в Ботническом заливе, второй — на восточном побережье Ирландии, третий — на испанском побережье Атлантики. Последние предположения, высказанные Вождем в беседе с генералом Бургдорфом и

затем внесенные в завещание Вождя, звучали так: «Пес Принц попытается достигнуть государства Ватикан. Буде Пачелли заявит на него притязания, немедленно оные отринуть, ссылаясь на данную приписку к завещанию».

Вслед за чем наступают сумерки бытия. По развалинам вещественного мира карабкается мировое время, оперативная сводка от 1 мая сообщает: «В центре столицы отдельные части, усиленные бойцами поисковых команд собаки Вождя, продолжают героическое сопротивление на суженных участках обороны».

Вслед за чем в скромном осознании собственной неприменимости отклоняется всякая непреложность, руководитель партийной канцелярии Рейха Борман сообщает гросс-адмиралу Дёницу: «Вчера пятнадцать тридцать Вождь скончался. Завещание в силе и в пути. Любимая собака Вождя, черный кобель жесткошерстной немецкой овчарки по кличке Принц, в соответствии с указанием от 29 апреля, является подарком Вождя немецкому народу. Прием подтвердить».

Вслед за чем последние радиопередатчики запускают «Сумерки богов». Во имя Его. Вслед за чем уже не остается минутки времени на минуту молчания — во имя Его. Вслед за чем остатки группы армий «Висла», остатки 12-й и 9-й армий, остатки частей Хольсте и Штайнера пытаются западнее линии Дёмиц—Висмар просочиться в сферу действия англичан и американцев.

Вслед за чем в правительственном квартале столицы Рейха наступает радиотишина. Территориальная целокупность, нетие, в полной готовности к страху, разъятию и перемонтажу. В былом величии. В былой целостности. Берлин во всей своей изготовке и восстановимости. Окончательность. Конец.

Но небо над конечной структурой вслед за этим почему-то не померкло.

Был когда-то пес,

он принадлежал Вождю и был его любимым псом. И однажды этот пес от Вождя сбежал. С чего бы это?

Вообще-то собаки не говорят, но в этом случае на заданный по большому счету вопрос «Почему?» — пес заговорит и ответит:

— А потому как надоело вечное туда-сюда. Потому как нет надежного «Пес, сюда!» и «Пес, место!», нет никакого здесь и сейчас. Потому как кости повсюду зарывал и нигде не успевал отрыть. Потому как никакого выпрыга. Потому как все время только взаперти. Потому как все эти собачьи годы вечно в разъездах от плана к плану, и у каждого своя секретная кличка: план «Белый» длится восемнадцать дней. А когда на севере начинаются везерские маневры, одновременно задействуется операция «Хартмут» — для защиты везерских маневров. Из плана «Желтый», направленного против нейтральных малых государств, развивается затем операция «Красный», протягивая стрелы аж до испанской границы. И уже осеннее путешествие готовит операцию «Морской лев», дабы поставить на колени вероломный Альбион; но потом трубят отбой. Зато уже накатывается на Балканы «Марита». Господи, какому поэту он платит? Кто для него сочиняет? Операция «Ель» против товарищей по присяге; но из этого ничего не выходит. «Барбаросса» и «Серебристая лиса» против недочеловеков; тут кое-какой толк есть. Вместе с «Зигфридом» это позволяет дойти от Харькова до Сталинграда. Зато уж там 6-й армии не поможет ни «Гром», ни «Зимняя гроза». Тогда пусть «Фридрих I» и «Фридрих II» еще раз попытаются. Стремительно отцветает «Осеннее безвременье». «Деревенский мост» в Данию рушится. «Смерч» должен выровнять линии фронтов. «Буйвол» торкается туда-сюда — запахло стойлом. Домой! Домой! Даже псу уже достаточно, но он, верный как пес, ждет, волнуется: выстоит ли под Курском свежеспланированная «Цитадель» и что получится из «Прыжка конем» против вражеских караванов на Мурманск. Но увы и ах! Где счастливые времена, когда «Подсолнух» пересаживали в Африку, когда «Меркурий» поощрял торговлю на Крите, когда «Мышь» вгрызалась в Кавказские хребты. Остались только «Майская гроза», «Шаровая молния» и «Кекс» супротив партизан Тито. «Дуб» должен

снова водрузить на коня дуче. Но западные супостаты — «Густав», «Людвиг» и «Взломщик II» — высаживаются на сушу и учиняют при Неттуно «Утреннюю зарю». И уже распускается в Нормандии вражеский «Цветок». И в Арденнах ни «Гриф», ни «Осенний туман», ни «Страж» ничего не могут с ним поделать. Но еще до того в бескроличьем «Волчьем логове» бабахает бомба, не причинив, впрочем, псу никакого вреда, — и все же отбивает у него всякую охоту: баста! Довольно! Сколько можно таскать живую тварь туда-сюда?! Спецпоезда, спецобслуживание, спецкормежка, но никакого же выгула! И это когда вокруг такая природа!

О, пес-путешественник, пес-странник! Из Бергхофа в Фельзеннест — «Орлиное гнездо». Из Сопотского зимнего сада в Танненбург. Из Шварцвальда в «Волчье ущелье-1». Во Франции Франции не видел, а в Бергхофе видел одни облака. К северо-востоку от Винницы, в рощице, где якобы полно лис, расположился лагерь «Вервольф» — «Оборотень» значит. Только и знал, что мотаться из Украины в Восточную Пруссию и обратно. Из «Волчьего логова» в «Волчье ущелье» номер два. Потом день, один только день под самым небом, в «Орлином гнезде», чтобы окончательно уползти в нору, под землю — вниз, в бункер Вождя. День за днем, день и ночь — бункер, только бункер! После Орла, Волка и еще раз Волка — бункер, день-деньской бункер! После облаков и Скалистого гнезда, после Танненбурга и шварцвальдского воздуха — только затхлая бункерная вонь!

Нет, этого никакой пес не выдержит. Вот почему после неудачного плана «Зубной врач» и после беспомощной операции «Опорная плита» пес твердо намерен принять участие в запланированном переселении западных готов. Псу требуется выпрыг. Псу нужно обретение себя в пространстве. И-чтобы-никогда-больше-верен-как-пес. И тогда пес, который вообще и как правило разговаривать не умеет, в порядке исключения все же говорит: все, баста, я так больше не играю!

Покуда в бункере Вождя полным ходом шли приготовления к дню рождения Вождя, пес как бы невзначай прокрался во внутренний двор Имперской канцелярии. Когда пожаловал рейхсмаршал, он, воспользовавшись суматохой, проскользнул мимо двойного поста на улицу и сразу же взял путь в юго-западном направлении, поскольку из оперативных сводок слышал, что там под Котбусом образовался прорыв линии фронта. Но, хотя брешь в линии фронта простиралась широко и гостеприимно, при виде передовых отрядов советских танковых частей пес к востоку от Ютеборга предпочел повернуть, отказавшись тем самым от маршрута восточных готов, и помчался навстречу западному противнику — прямиком через развалины центра столицы, обогнув правительственный квартал, едва не погорел на Александерплац, увязавшись за двумя суками в течке, которые протащили его за собой через весь зоопарк и чуть было не привели к другому зоологическому саду, где его уже ждали гигантские мышеловки, но он семь раз отмерил, а точнее, семь раз обежал вокруг Колонны победы, прежде чем прошмыгнуть сквозь колонну людей и, подчиняясь древнему и испытанному советчику, собачьему инстинкту, присоединился к группе штатских лиц, занимавшихся перевозкой театральных декораций с территории выставочного комплекса возле радиобашни в Николасзее. Но голоса из репродукторов, как отечественные, так и далеко разносившиеся увещевания восточного противника, сулившего ему много кроликов, не внушили ему доверия к богатым виллам шикарных берлинских предместий Ванзее и Николасзее — недостаточно далеко на запад! — и он определил себе первой целью своего маршрута мост через Эльбу возле Магдебургского замка.

Без каких-либо осложнений он южнее Швиловского озера миновал передовые отряды 12-й армии, которые шли с юго-запада, намереваясь разорвать неприятельское кольцо вокруг столицы. После легкой передышки в запущенном саду пустующей виллы какой-то мотопехотинец покормил его еще теплым гороховым супом и даже назвал по имени, не вступая, однако, в служебные отношения. Сразу же после этого неприятель накрыл район вилл мощным заградительным огнем, ранил мотопехотинца, правда легко, но пса пощадил; ибо черное существо, что

на четырех стройных лапах стелющимся аллюром уверенно продолжает предписанный предками исторический маршрут западных готов, — это все еще черный кобель немецкой овчарки по кличке Принц, спасающий собственную шкуру.

Собачья одышка на фоне озерной ряби в майский ветреный день. Эфир переполнен важнейшими событиями. Вперед, на запад, по бранденбургским пескам, которые когтят своими корнями сосны. Хвост не выше спины, морда вытянута вперед, язык наружу, четыре собачьи ноги, каждая помножена на шестнадцать, пожирают пространство: прыжок немецкой овчарки в замедленной съемке. Все в шестнадцатикратном повторении: ландшафт и весна, воздух и свобода, кисточки деревьев и легкие облачка, первые бабочки и птичьи трели, промельк насекомых и брызнувшие первой зеленью палисадники, музыкальные, как ноты, штакетины заборов, поля, выбрасывающие кроликов, вышедшие просвежиться куропатки, природа без масштабов и замеров, не штабной ящик с песком для генеральских маневров, а горизонты во всю ширь и запахи, хоть на хлеб мажь, и медленно высыхающие закаты, студенистые бескостные сумерки, тут и там остов танка романтической руиной на фоне рассветного неба, луна и пес, пес и луна, пес жрет луну, вселенский пес, линяющий пес, пес-собака, пес-перебежчик, пес-отваливай, пес-безменя и песья брошенность со всеми ее происходимостями: и Перкун зачал Сенту, а Сента ощенилась Харрасом, а Харрас зачал Принца... Его величество пес, онтический и вполне естественно-научный, пес-дезертир, которого подгоняет попутный ветер; ибо ветер не дурак, тоже стремится на запад, как и все прочие: 12-я армия и остатки 9-й армии, все, что уцелело от групп Штайнера и Хольсте, равно как и от измочаленных групп Лёна, Шёрнера, Рендулица, тщетно рвутся из портов Либау и Виндау армейские группы «Восточная Пруссия» и «Курляндия», гарнизон острова Рюген, а также все, что способно отделиться от полуострова Хелы и дельты Вислы, то бишь остатки 2-й армии; все, что имеет хоть какое-то чутье и предчувствие, драпает бегом, ползком и вплавь — от восточного неприятеля навстречу западному; и штатские, конные и пешие, и битком в бывших прогулочных пароходиках, ковыляя в чем выскочили или со всем скарбом на загривке, все пропив или обмотавшись бумажными деньгами, тщетно газуя на забитых дорогах при нехватке бензина и избытке багажа; гляньте-ка вон на мельника с десятикилограммовым мешочком муки на плече или на столярных дел мастера, что тащит с собой дверные петли и плитки костного клея, все они тут, родные и примаки, функционеры, исполнители и просто сочувствующие, детишки с куклами и бабушки с фотоальбомами, реальные и вымышленные, — для всех для них солнце теперь всходит на западе, все равняются на пса.

Позади остаются горы костей и массовые могилы, картотеки и рожки для флагов, партбилеты и любовные письма, собственные квартиры, именные стулья в церкви и не поддающиеся транспортировке пианино.

Остаются неоплаченными — налоги и взносы в строительную кассу, долги за жилье, просто долги, счета — и вина.

Все хотят начать новую жизнь — снова экономить и писать любовные письма, сидеть на церковных стульях и за пианино, числиться в картотеках и иметь жилье.

Все хотят поскорее забыть горы костей и массовые могилы, рожки для флагов и партбилеты, долги, счета — и вину.

Был когда-то пес,
он оставил своего хозяина и проделал дальний путь. Это только маловеры-кролики скептически морщат носы; всякий же, кто умеет читать, ни на секунду не усомнится: пес добрался куда следует.

8 мая 1945 года, на рассвете, в четыре сорок пять, он, почти никем не замеченный, переплыл Эльбу выше Магдебурга и на западной стороне реки начал искать себе нового хозяина.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

Поздние мысли

К 100-летию со дня смерти

Поль Верлен за два года до смерти.
***Фредерик Огюст Казальс*.«Кафе «Прокоп» 13 сентября 1894 года».**
Из фонда парижского Дома поэзии

© La Maison de Poésie — Fondation Émile Blémont

Столетие назад 8 января умер Поль Верлен. Накануне вечером он потерял сознание и, пролежав ночь на каменном полу холодной парижской мансарды, скончался от воспаления легких. Еще раньше его похоронили как поэта. Хоронили его не раз, и чужие, и свои: Макс Нордау[1] углядел в нем «дегенерата», а Анатоль Франс, которому по выходе из бельгийской тюрьмы Верлен послал стихи, позже принесшие ему славу, нашел их «худшими из всех, когда-либо и кем-либо виденных». Хоронили его и десятилетия спустя после смерти. Шпенглер в «Закате Европы» счел нужным упомянуть его поэзию как «запоздалую, мимолетную и малопонятную городскую лирику», хотя вряд ли Верлен был бóльшим горожанином, чем Хлебников.

Года за три до смерти ему, казалось бы, улыбнулась судьба. Были изданы и переизданы его сборники, и стихи стали наконец известны не только десятку друзей. Появились кое-какие гонорары, что тоже было внове. Его самая большая и самая значимая для него книга стихов — написанная в тюрьме «Мудрость» — первоначально была издана за счет автора. Известно, какой счет у человека, которому друзья порой собирали на хлеб, но тогда он неожиданно стал собственником — совладельцем фермы. Издание книги положило конец благим замыслам, и ферма была продана ровно за полцены.

---

[1] Макс Симон Нордау (1849 — 1923) — австрийский философ и историк (*прим.авт.*).

В общем, его стали издавать и даже чествовать. Символисты и декаденты, не сговариваясь и не спрашивая согласия, объявили его своим вождем. Пару раз его даже выдвигали во Французскую академию — правда, безуспешно, ввиду «темного прошлого», о котором не преминула напомнить пресса.

Но красноречивей всего перечисленного маленький эпизод той поры. Молодой и уже известный парижский литератор вспоминал, как на ночной набережной встретил понурого старика, который, горбясь над парапетом, глядел в речной туман, — и узнал Верлена (ему не было тогда и пятидесяти). Они разговорились.

— Как вам мои последние стихи? — неожиданно спросил Верлен.

— Дорогой мэтр, — смутился, но тут же нашелся собеседник, — вы уже столько сделали для нашего удовольствия, что теперь вправе писать для своего собственного удовольствия.

— Ничего себе удовольствие... — буркнул Верлен и снова уставился в речную муть.

Понятна эта горечь художника, которого хоронят при жизни. Многим, да и самому Верлену, казалось, что он устарел. И далеко не все, написанное им в последние годы, на высоте его дара. Вообще, Верлен достигал глубокого звука, когда тосковал и страдал, и терял голос, когда влюблялся, — свидетельством тому и его ранняя «Добрая песня», и поздний, посвященный его последней подруге, Эжени Кранц, сборник «Песни для Нее», который не добавил ему славы.

И все же поэт не угасал, а лишь менялся, и это, конечно, отстраняло тех, для кого прежний его облик стал привычным. Автор «Песен без слов» сделался многословным, а порой и дидактичным. Верлен был ведь не только великим поэтом и великим беззаконником, но многим еще: французским патриотом, запоздалым романтиком, закоренелым демократом и едва ли не анархистом, наконец, злостным язычником и католическим проповедником. И все это спешило в нем выговориться. Отсюда многообразие и пестрота поздней лирики, ее падения и взлеты.

Нет, поэт не умер, а вот человек умирал. Тюрьмы и трактиры отняли у Верлена куда меньше времени, чем больничные койки. Из последних десяти лет его жизни почти треть приходится на лазареты. Иногда это было единственное пристанище, которое спасало его от голодной смерти или самоубийства. Но помимо житейских тягот и ранней старости Верлена изводили болезни. Было ли это расплатой за бродяжничество, но на протяжении десяти лет он временами просто не мог двигаться: в коленном суставе скапливалась жидкость, ноги воспалялись и покрывались незаживающими язвами. Нарывы ему вскрывали без наркоза, опасаясь за больное сердце; позже к этому добавился диабет. Странник по призванию, Верлен сходил с ума от вынужденной неподвижности, но бывало и того хуже. Когда зимой 1886 года умерла мать — единственный в мире человек, любивший его таким как есть, — скованный болезнью Верлен молча смотрел из окна, как выносят гроб. Это все, что он мог тогда сделать.

Тем поразительней и неожиданней в нем растущая сила духа. Она крепла и побеждала; Верлен не разлюбил жизнь и не разуверился в добре. «Будущее от меня уходит», — признается он в письме 1888 года. Но его поздняя лирика — это царство светотени. Нежный и грустный Верлен поры расцвета, с его соловьиными печалями и осенними жалобами, остался позади. В поздних стихах Верлен редко жалуется, чаще иронизирует над собой, и мало того — приливы душевной бодрости и вспышки жизнелюбия порой теснят усталую горечь. Современникам, в том числе именитым, он представлялся «пьяным Сократом и грязным Диогеном» в одном лице — и это было еще самым изысканным определением: в адрес Верлена звучало немало любезностей, печатных и непечатных, как, например, «сердце свиньи», «собачий нрав» и прочее. Сократом, несмотря на внешнее сходство, он, конечно, не был, даже в периоды воздержания. Но зато Верлен, этот больной старик, неприкаянный и неисправимый, был, подобно Вийону, истинным сыном своей земли и своего народа. Свидетельством тому — пленительный галльский courage его последних, предсмертных стихотворений. Прощальный глоток вина (русский «посошок»), по-французски — «стременной», coup de l'étrier. Последний тост — уже стоя в стременах. Нищий, злосчастный, обезноженный Верлен умер в седле.

АНАТОЛИЙ ГЕЛЕСКУЛ

***

Вы, думы бедные мои, вы вновь со мною!
Питомцы радостей, прошедших стороною,
Надежд загубленных, бессонниц до утра,
И сердца мягкого, и черствого нутра,
И многого еще!.. Растерянно и робко
Пытаясь выбраться, нащупывая тропку
Из вязкой темноты и тягостного сна,
Вы возникаете — одна, еще одна —
И в страхе на луну глядите полусонно.
«Так овцы затемно выходят из загона,
Одна, за нею две, за ними сразу три,
Не поднимая глаз, не чувствуя зари.
Чуть первая свернет — и все за ней по следу,
Замрет — и все замрут, и на плечи соседу
Роняют голову, не зная почему»[1].
Но ваш пастух не я, вы вверены тому,
Кто лучше и мудрей, и вас, мои тихони,
Скликал подолгу он и запирал в загоне,
Чтоб после повести в нагорные края.
Он ведает пути. Держитесь их.
А я,
Уверясь, как он добр и чуток к вашим бедам,
Я, ваш пастуший пес, пойду за вами следом.

***

Те руки, что так напрасно
Удерживал я когда-то,
Вы были холодноваты,
Но крохотны и прекрасны;

Минули шторма и штили,
Края, города и веси,
И птицами в поднебесьи
Вы сны мои посетили.

У скорбной моей постели
Под окрики часового
Расслышал ли я то слово,
Что вы донести хотели?

А вдруг состраданье к бедам,
Сближение душ в несчастьи
И сестринское участье
Окажется только бредом?

Вины и вражды скрещенья,
Предвестья мольбы и муки,
О руки, родные руки,
Пошлите мне знак прощенья!

---

[1] Вольный перевод двух терцин из третьей песни «Чистилища», в которой Данте видит души людей, умерших отлученными от церкви («Чистилище», III, 79—84). (*Здесь и далее — прим.переводчиков.*)

***

Это праздник серпа, это праздник зерна!
После стольких превратностей он как виденье.
Вся округа гудит, загорев дочерна,
И от белого марева розовы тени.

По червонному золоту вспышки огня
Рассыпают серпы световой каруселью.
Все в пылу, все меняется день ото дня,
То суровеет, то предается веселью.

Где сбивается с ног хлопотунья-страда,
Солнце, старый хозяин, приветствует гостя
И, на миг не прервав векового труда,
Золотит, сахарит кисловатые гроздья.

Хлебосольное солнце, трудись, старина,
Чтоб, густея земной драгоценною кровью,
Улыбнулось забвенье в стакане вина...
Хуторяне, бог в помощь — и ваше здоровье!

Ибо вашим рукам и стараниям в лад
На бескрайней земле, где светло, как во храме,
Жнет Господь и в точило кладет виноград,
Плоть и кровь уготовя для чаши с дарами.

Бредовый совет

Чти женские сердца,
Люби капризниц милых
И властвуй, если в силах,
Но избегай венца.

И пей, чтобы забыться,
В удаче и в беде.
Лишь в огненной воде
Все лунно серебрится.

Пускай ни брань, ни лесть
Души твоей не будит.
Лишь сердце наше судит
И знает, кто мы есть.

Заныло от занозы?
Бьет ветер по лицу?
Навстречу наглецу
Запой, срывая розы!

Будь рад, а не суров,
Терпя насмешки черни.
Все к лучшему, поверь мне,
И в худшем из миров!

Сновидцы и скитальцы,
Мы к небу ближе всех,

И на любой наш грех
Глядит оно сквозь пальцы.

Под кровом шалаша
Покинутая всеми,
Ты расцветешь в эдеме,
Бездомная душа!

Ты не того закала,
Чтоб сдаться без борьбы
И чтоб рука судьбы
Тебя легко сломала.

Для благородных дел
Ты отлита недаром,
Так привыкай к ударам,
Чтобы металл твердел,

И, выйдя из-под ига
Нещадных кузнецов,
Блеснешь в конце концов
В руке Архистратига!..

В куске кремневых жил
Будь искрою горячей,
Улыбкой в мире плачей,
Цветком среди могил,

А станет одиноко,
Как путнику в степи,
Молись — и потерпи,
Осталось так немного.

***

Я вижу церковь без огней
В каком-то поле над Маасом,
Вокруг равнина, а за ней
Слышнее море с каждым часом.

Оно укрыто темнотой,
Но запах соли все острее.
И крест мерцает золотой,
Над колоколенками рея.

Вечерний звон, как тайный зов,
Расцвел серебряной короной
И заставляет белых сов
Плыть вереницей похоронной.

И крестным ходом по холму
Из безымянного притвора —
Благословляющие тьму
Живые четки, жемчуг хора.

Нет, то не явь, не бредни сна,
Не беглой памяти эскизы.

То поздних мыслей тишина.
То смерть моя рядится в ризы.

В сентябре

Пока еще так несмело
Повеяло над жильем,
Где лето нас то и дело
Поджаривало живьем

И жгло твоим камнем серым,
Париж, и твоей тоской,
Пропахшей Обервильером[1]
И химией заводской.

Но чувствуете, как Сену
Знобит и рябит листву,
Надежды на перемену
Сбываются наяву.

Спасительный ветер вымел
Уныние из сердец
И, словно победный вымпел,
Сигналит: чуме конец!

Рабочему и поэту
Сегодня не до труда.
Воскликнем вдогонку лету:
«Да здравствуют холода!»

И синим ветрам осенним,
Которых заждались мы,
Навстречу стаканы вспеним
За бодрый озноб зимы!

Сентябрь 1895 г.

Смерть!

Клинки не верят нам и ждут надежных рук,
Злодейских, может быть, но воинской закваски,
А мы, мечтатели, замкнув порочный круг,
Уходим горестно в несбыточные сказки.

Клинки не верят нам, а руки наши ждут
И опускаются, отвергнуты с позором,
Мы слишком медлили — и нам ли брать редут,
Затерянным в толпе лгунам и фантазерам!

Клинки, заискритесь! Нет рыцарской руки —
Пускай плебейские вас стиснут перед боем!
Отсалютуйте нам, засосанным в пески
Напрасных вымыслов, отринутым изгоям!

[1] **Обервильер** — промышленный район вблизи Парижа.

Избавьте от химер хоть наш последний час!
Бесславно жили мы и до смерти устали.
Клинки, откликнитесь! Быть может, и для нас
Жизнь ярче молнии блеснет на кромке стали.

Смерть, я любил тебя, я долго тебя звал
И все искал тебя по тягостным дорогам.
В награду тяготам, на краткий мой привал,
Победоносная, приди и стань залогом!

Декабрь 1895 г.[1]

Перевод с французского АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

РУБЕН ДАРИО

Поль Верлен

Вот ты и обрел покой. И нечего уже волочить: ни злосчастную негнущуюся ногу, ни жизнь — странную, настрадавшуюся, заплутавшую в грезах. Нищий старик, бродяга, наделенный божественным даром! Вот и отпустила тебя горькая земная жизнь, отмеченная роковой печатью Сатурна.

Ты умер, должно быть, где-нибудь в больнице для бедных. А ведь ты научил нас любить свои больничные обиталища — «зимние дворцы», куда тебя ежегодно загоняли изнывшие кости и нищета, тяжкая парижская нищета.

Знаю, в твой последний час рядом были свои — те, кому ты открыл новые духовные горизонты, твои ученики, Сократ, поэт бесприютных времен.

Ты умер, едва забрезжила твоя слава, едва в иных краях зазеленели всходы дивных цветов, посеянных тобою. И я говорю: над тобой — первым среди тех, кто славит свои страны и языки, — реет нимб, и я преклоняю колени.

Голландцу Виванку Верлен показался прокаженным на паперти храма — жалкий нищий, пробуждающий сострадание и взывающий к милосердию. Прокаженным назвал его и Леон Блуа[2]. Что ж! И правда, жизнь его была жизнью прокаженного - – мало кому выпала столь тяжкая ноша. Иов мог бы назвать его братом.

Уже давно меня захватил могучий поток его стихов, заворожил его голос — отзвук небесной музыки и земной песни. Потом я прикоснулся к тайне его жизни, и мне открылась изболевшаяся душа. Я вгляделся в его лицо, величественное и измученное: вскинутая голова, глубокие темные глаза — лицо Пьеро, в котором было что-то детское и сократовское одновременно, лицо поверженного Бога. Не только восхищение овладело мной. Мучительная нежность тронула мое сердце, когда я ощутил, какая высокая вера, великая страсть и вечная поэзия живут в этом искалеченном жалком теле.

Когда в 1893 году я приехал в Париж, мой друг Энрике Гомес Каррильо[3] предложил познакомить меня с Верленом. К тому времени уже вышла книга Каррильо, в которой он описал одно из своих посещений больницы Бруссэ: «Верлен лежал на узкой больничной койке и мрачно шутил. Его милое огромное лицо было бледно — такую нездешнюю бледность я видел разве что на полотнах Риберы. Какая-то святость была в этом лице. Ноздри маленького носа поминутно разду-

---

[1] Последнее стихотворение Верлена, за несколько дней до смерти.
[2] Леон Блуа (1846 — 1917) — французский писатель.
[3] Энрике Гомес Каррильо (1873 — 1927) — гватемальский писатель, журналист и дипломат; был консулом в Париже.

вались, жадно втягивая сигаретный дым. Толстые губы смаковали строфы Вийона или презрительно кривились, когда он заговаривал о Ронсаре. В их особой складке смешались порок и доброта — удивительная то была улыбка! Его седая — уже совсем седая — борода стала совсем длинной».

Этот рассказ приоткрывает душу Верлена. Нет, тогда он не был немощным старцем, его естественнее было б назвать крепким стариком. Говорили, что его преследуют тягостные виденья, следы пережитого, и терзают кошмары, доходящие до бреда и галлюцинаций белой горячки. Болезнь долго мучила его, и хотя друзья — Мендес[1] и Леон Дюшан[2] с женой — навещали его, все равно поэт чувствовал себя заброшенным и покинутым.

Казалось, он затем и рожден, чтоб испытать безмерные горести судьбы: тяжек крест, остры тернии, безжалостны копья и крючья, крепок бич, исполосовавший тело. Но этот униженный человек стал для меня воплощением высшего величия. Ангельского величия — в его стихах я слышал отзвуки небесных цитр, эхо Stabat mater[3] и Якопоне да Тоди[4], я внимал его молитвам и хвалам Богоматери — он славил ее как смиренный и нежный сын. И с той же силой, что дана лишь ангелам Божьим, запечатлел он страдания Агнца Божьего. Я знаю: священный огонь обжигал его руки. И как терзаемый раскаяньем флагеллант осыпает себя ударами кнута, так Верлен бичевал свою душу — капли этой крови запеклись на строках его песен.

Откройте его «Исповедь» или «Больницы» — и вы узнаете человека, не только поэта, и отыщете в разбушевавшемся поначалу и затихшем с годами поэтическом море не одну жемчужную россыпь. Верлена, несчастнейшего из сынов Адама, терзали те же враги. Первый, канонический Враг — Мир — был к нему милостивее других. Второй — Дьявол — искушал его, но поэт защитился благовестом молитвы и выстоял. Зато Плоть, жестокую силу, он одолеть не смог. Не часто так неистовствует змея похоти — Верлен стал рабом желанья, а тело его — лирой греха. Случись ему бросить взгляд на свои следы, он заметил бы трещинку посередине — оттиск копытца. И уже не удивился бы, увидав надо лбом крохотные рожки, — не зря же ему мерещились нимфы, не зря губы, привычные к флейте, кривила улыбка фавна. «Приди!» — взывал он в священных кущах к Венере, подобно сатиру Гюго. Языческая наследственность разжигала его природную чувственность, но он веровал — и терзался грехом.

Вам не случалось читать старинные предания, пересказанные Анатолем Франсом[5], где сатиры веруют в Бога и даже становятся иногда святыми — святыми сатирами? Таков и он, Бедный Лелиан, — святой сатир с певучей флейтой, отшельник и ловец дриад, полунасильник-полуаскет, знавший и хмель языческого гимна, и просветленность молитвы. Тело его истерзано страстью, воля измучена борьбой; весенний огонь распаляет его и зовет в леса, а дух силится выстоять — и возносит хвалу Всевышнему, но чаще его моленья обращены к Богоматери. Песнь его возвышенна и глубока, как душа, изведавшая страданье, и, кажется, ей не будет конца, но вот в ветвях вновь мелькает бедро Каллисто — и под звуки флейты фавн устремляется в кущи.

Когда доктор Нордау опубликовал свое «Вырождение» («Entartung»), сочинение, словно бы вышедшее из-под пера Трибуле, образ Верлена, поэта, неведомого в ту пору большинству, да и изрядной части *элиты,* впервые был искажен. Портрет, нарисованный Нордау, поистине отвратителен. Нордау считает современное искусство плодом расстройства ума и причисляет Верлена к наиболее яр-

---

[1] Катюль Мендес (1841 — 1909) — французский поэт, драматург и прозаик.
[2] Леон Дюшан (1863 — 1899) — французский поэт и писатель.
[3] Stabat mater dolorosa — «Стояла мать скорбящая» (*лат.*) — начало средневековой секвенции из католического богослужения.
[4] Якопоне да Тоди (Якопо Бенедетти, ок. 1230 —1306) — итальянский поэт.
[5] Речь идет о новеллах Анатоля Франса «Амикус и Целестин», «Легенда о святых Оливерии и Либеретте», «Святая Евфросиния» и романе «Таис».

ким примерам этой тенденции. Не его одного. Некоторые сочли своим долгом оправдаться. Даже великий маг Малларме покинул свой треножник, чтобы в лондонской лекции о музыке и литературе помянуть убогие построения австрийского профессора.

Бедный Лелиан не произнес в свою защиту ни слова. Разве что пару раз чертыхнул австрияка на манер Франциска I[1] или д'Аркура[2]. Защитили его друзья, и в первую очередь Шарль Тениб. Его благородный порыв стал достойным ответом тому, чья рука вывела эти строки: «Вот перед вами непредвзятый портрет знаменитейшего из вождей символизма. Лицо очевидного дегенерата, асимметрия черепа, черты монголоидного типа. Далее: патологическая страсть к бродяжничеству, дипсомания, половая распущенность, болезненные фантазии, слабость воли, неспособной обуздать инстинкты. И как следствие того — глубокая душевная тоска, рождающая проникновенные ламентации. В затуманенном мозгу этого слабоумного старика в минуты мистического экстаза возникают виденья — ему являются святые и сам Господь».

Как после этого не вспомнить славного Де Амичиса[3], восставшего против «науки», которая, четвертовав Тассо, взялась за Леопарди? На мой взгляд, Де Амичису недостает ярости, но порыв его благороден.

Жизнь Верлена окутана легендой, под покровом которой пышным цветом расцвел *панмуфлизм*[4], беззастенчивое смакование подробностей. Этого я не стану касаться. Может быть, в другой раз, когда мне удастся быть последовательнее и суше, не сейчас, когда я пишу под впечатлением смерти поэта.

Так что же сказать о Верлене? Он — величайший поэт нашего времени. Слово его реет над миром. Теперь даже официозные писаки считают своим долгом, хоть бы и сквозь зубы, помянуть Верлена. И только в Испании Верлена совсем еще не знают, да и узнают ли? Один Кларин[5] сумел оценить его. По-испански пока не написано ни строки, воздающей должное Верлену, если не считать записок Гомеса Каррильо. О статейках Бонафуа[6] и Эдуардо Пардо[7] не стоит и упоминать.

Так пусть эти строки станут первым венком Верлену. Когда-нибудь я напишу о великом поэте большую, достойную его статью, а пока не стану вдаваться в подробности.

«Больная лапа не слишком досаждает мне — куда меньше стихов, истинной моей муки, муки мученической! А ревматизм даже кстати — где бы я без него жил? Здоровых в больницу не берут».

В этих словах — весь он, трагический брат Вийона.

Нет, совсем не злой — больной была его душа, animula blandula, vagula[8] «заблудшая душа-бродяжка»... Прими же ее, Господь, как принимала его тело убогая больничная койка!

1896 г.

Перевод с испанского НАТАЛЬИ МАЛИНОВСКОЙ

---

[1] Франциск I (1494—1547) — король Франции с 1515 г.
[2] Анри де Лорен граф д'Аркур (1601 — 1660) — французский военачальник.
[3] Эдмондо Де Амичис (1846 — 1908) — итальянский писатель.
[4] От французского mufle — свинья, хам.
[5] Кларин (настоящее имя Леопольдо Алас-и-Уренья, 1852 — 1901) — испанский писатель и критик.
[6] Луис Бонафуа-и-Кинтеро (1855 — 1918) — испанский писатель, журналист и правовед. Корреспондент газеты «Эральдо де Мадрид» в Париже в 1902 — 1906 гг.
[7] Мигель Эдуардо Пардо (1865 — 1905) — венесуэльский писатель и журналист.
[8] Animula blandula, vagula — последние слова римского императора Адриана (117 — 138).

АНДРЕ МОРУА

Поль Верлен

Калибан, который был Ариэлем

«Со всей решительностью хочу опровергнуть сентенциозную нелепость, высказанную Буало: «В стихе не утаить движений низких сердца». Ибо это неправда. Не считая тех случаев, когда автор вполне осознанно бравирует (как это частенько бывало со стареющим Верленом, припадавшим к стопам своих богинь из меблирашек), выталкивая свое искусство на панель повседневности или принуждая его копошиться в мусоре ничтожных событий, — стихи отвергают низость сердца. Более того, низкие чувства сгорают в стихах. К поэзии обращаются с мольбой, в ней нуждаются, ее создают, чтобы несчастный человек — как и каждый из нас — смог обрести воображение, смог, подобно Бодлеру, этому первому учителю и брату Верлена, вскричать: «Окажи мне милость, Господи, дай написать несколько прекрасных стихотворений, дабы я не чувствовал себя последним из людей!»

Эти глубокие и верные мысли принадлежат Жаку-Анри Борнеку, чья книга «Верлен его собственными устами», вышедшая в издательстве «Сёй», является прекрасным введением в творчество одного из самых чистых, самых воздушных, самых нежных французских поэтов, прожившего жизнь самую мерзкую, самую грязную и самую бурную. Он был человеком с двойным дном, этот бедный Лелиан. Человеком погибшим и вместе с тем человеком спасенным. Жан Кокто показал нам, каким может стать это «загадочное и возвышенное искупление» человека и мира посредством поэзии. Могут возразить, что, поскольку поэт — существо преображенное и поскольку его Я — «это некто другой», не следует смешивать рассказ о его мучительной, четвертованной жизни с непреходящим таинством его прекрасных стихов.

По существу, тот же спор мы находим и у Пруста в его «Против Сент-Бёва», и это ненужный спор. Жизнь и творчество Верлена необъяснимым образом связаны между собой. С одной стороны, внутренняя потребность, порождавшая жизнь беспорядочную и мятежную; с другой стороны, тот совершенно особый «коэффициент преломления», который позволял поэту уводить все сказочное волшебство мира за пределы внешней оболочки. «Примерно в четырнадцатилетнем возрасте Верлен внезапно познал отчаянное одиночество сердца и плоти вкупе со всеми компенсирующими желаниями, которые дарują человеку мимолетную усладу, помогая душе противостоять козням сидящих в ней бесов».

А вначале было счастливое детство в Меце, офицер-отец, мечтательная, глубоко верующая мать, семья старых арденнских корней, выходцев с севера и востока страны, была тяга к полутонам, к колдовству лесов и стоячих вод. Потом — беспрерывное чтение, неистовый эротизм, властное желание любви. Но подросток некрасив, и собственная «нищенская внешность» становится для него наваждением.

Нашел на сердце странный стих —
Я счел, что мир меня обидел:
Я в женщинах красавиц видел,
Но сам уродом был для них.

К тому же он всю жизнь ощущал потребность в женском покровительстве («Я свыкся с этим сном, обманчивым и странным, // В котором я люблю и знаю, что любим, // Но облик женщины порой неуловим...»[1]; «О, женская любовь, ты греешь и ласкаешь...»). Эта чувственность, вытесненная в сферу воображения, поро-

[1] Перевод А.Гелескула.

ждает болезненный фатализм. Верлен боится, что мощный водоворот затянет его в ужасную бездну; боится «болезнетворных испарений», боится медленных ядов, «которые затопляют мои чувства, душу и разум». Для борьбы с этим стремительным потоком он знает лишь одно чудодейственное средство — поэзию. Это эпоха Парнаса, Леконт де Лиля, Готье. Стихи двадцатилетнего поэта будут парнасскими, хотя сердцем он романтик. И вот его первый сборник — «Сатурнические стихотворения», которые, к счастью, тяготеют больше к Бодлеру, чем к Леконт де Лилю.

Меж тем ему кажется, что он нашел женщину, чья любовь «греет и ласкает». Это его замужняя кузина Элиза Монкомбль, ласковая, полная сочувствия. Борнек изложил этот эпизод с большим тактом. «Лишь для нее одной он не был ни некрасив, ни робок. Он поверяет ей свои страхи, и она их успокаивает, поверяет мечты, и она поддерживает их. Она высоко его ценит, понимает его, верит в его талант... Это счастье. Она его Армида, его Беатриче. Но внезапно все кончилось. Она спохватилась. Ее отняли у него. Любовь стала с ее стороны лишь дружбой. И Верлен опять сирота». Осенью 1866 года Элиза, никогда не отличавшаяся хорошим здоровьем, в тяжких муках родила девочку. В ноябре вышли «Сатурнические стихотворения». Спустя три месяца, весело напевая в кругу семьи, она издает страшный вопль и падает без чувств... Никогда уже больше... Первая надежда на спасение кончается для Верлена крахом.

«Волшебница умерла — пусть волшебство переживет ее... Но если швартовы, которые связывали его с этим единственным островком, оборваны смертью, как обрести другие волшебные острова?..» Верлен хочет забвенья, хочет снова и снова воскрешать свое счастье. Он начинает пить. Очутившись в этом «бездонном раю», куда, обессилев от горя, он дает себя затянуть, он пробуждается «на другом берегу поэзии», в зачарованных садах «Галантных празднеств». Там, в прозрачной сказочной ночи, среди пейзажа, словно сошедшего с полотен Ватто, «кавалеры, распевающие серенады, и их прелестные слушательницы» развлекаются «игрою в любовную грезу». На смену отчаянью приходит восторг, на смену зловещему рогу — веселая мандолина.

Столь резкая метаморфоза не может не удивить. Жак-Анри Борнек объясняет ее тремя обстоятельствами: символикой Ватто; своеобразной логикой опьянения, позволяющей грезить наяву; наконец, опытом современной богемы, ибо Верлен, который перебрался в Париж (где он служит в муниципалитете), посещает салон блестящей Нины де Виллар, особы поэтического склада, которая жила «в причудливом мире мимолетных любовных связей, неразберихи чувств и лирических томлений». Поскольку мы обязаны ей «Галантными празднествами», воздадим же хвалу Нине де Виллар...

Но в основе верленовского характера — по-прежнему смесь ностальгии и гнева. Волшебство, которое удалось в плане искусства, терпит поражение в жизненном плане. Эскапады любовников из «Галантных празднеств» могут закончиться лишь «Чувствительною беседой», трагической и циничной. И все же в 1869 году он смог на мгновенье поверить в то, что «искусство претворяется в жизнь». Матильда Мотэ де Флевиль, совсем еще юная девушка, согласилась (неосторожно!) стать его супругой. Он был в восторге от этой феи. Увы! Фея оказалась благонамеренной и чопорной мещанкой. Зачем он был ей нужен, этот влюбленный сумасброд, к тому же скомпрометировавший себя службой Коммуне? Верлен пытается в «Доброй песне» описать супружеское счастье, «спутницу, которую он наконец нашел, изящную и нежную, в расцвете своих шестнадцати лет». Он пытается убедить себя, что ему и вправду не нужно иного рая. Что же он в действительности обрел? «Затхлое блаженство, рабство под вывеской порядка и верности, туповатость «Доброй песни» и интеллектуальную дремучесть семейства жены». Но что художник менее всего склонен прощать женщине — это попытки толкнуть его на

Ф.Регаме. **«Верлен и Рембо в Лондоне»**

пошлые решения в искусстве. Через тринадцать месяцев брака Верлен ощущает себя человеком обманутым, сам не понимая кем, человеком озлобленным, сам не понимая против чего. Надвигается гроза, близится катастрофа.

И вот в 1871 году он получает восхищенные письма от арденнского подростка, который посылает ему «пугающе прекрасные стихи». Юный Артюр Рембо живет в Шарлевиле, где (по его словам) для него нет работы. Он хотел бы жить в Париже. Верлен добивается от семейства жены оказать Рембо гостеприимство. «Приезжайте, мой дорогой человек щедрой души, вас приглашают, вас ждут». Так завязывается узел драмы, в которой суждено погибнуть если не гению Верлена, то его рассудку. Рембо разом заполонил все его существо. «Тайное братство школьников, разгульный хмель детей богемы, рассудочная чувственность, дерзкое наслаждение забвением» — Верлен спешит испытать всё. Для этого надо сперва отмести то, чем он жил прежде. Буржуазия, чиновничья бюрократия, религиозное лицемерие, добропорядочная литература, косность и приспособленчество во всех видах незамедлительно посланы ко всем чертям.

Продолжение известно. В этой странной паре Рембо, хоть он и на десять лет моложе, господин и повелитель. Он проповедует, что Поэт становится ясновидцем, только если он окунается в великое смешение всех чувств. Отсюда возврат к пьянству, отсюда ночное бродяжничество. Мелкобуржуазный быт Верлена, его маленький сын вызывают у Рембо издевательскую ухмылку. Он откровенно говорит о своем презрении к «Доброй песне» и к ее лживой вдохновительнице. «Только со мной можешь ты быть свободным». Повинуясь своему беспощадному повелителю, Верлен кидается в тот кипящий водоворот, который станет потом предметом стольких домыслов и толкований. Он покидает семью, едет за Рембо в Шарлевиль, в Лондон, затем в Брюссель. Объяснения, угрозы, мольбы. Этот «Сезон в аду» завершается выстрелом из револьвера, который оцарапал Рембо, а Верлена отправил на два года в тюрьму, в Монс.

Рассказ о том, что было дальше, обычно сводится к трем словам: тюрьма, раскаяние, обращение. Схема слишком простая. «Редко случается, — говорит Борнек, — чтобы злой рок пользовался прямыми линиями; благодать это позволяет себе еще реже. Вначале, в том социальном аду, какой представляет собою тюрьма, Верлен изрыгает хулы. Нет для него больше ни друзей, ни женщин, ни пристанища в жизни. Потом он обращает свой взор к пышному дереву, которое он видит за решеткой окна; пригвожденное к земле, оно вершиной тянется к лазури небес, где разлит великий покой. И он пишет свои самые прекрасные стихи. «Из всех своих сладких страданий // Творю я свое колдовство». Он постигает новую технику поэтического письма. И создает великолепное «Искусство поэзии» («За музыкою только дело...», которое могло бы стать настольной книгой будущих сюрреалистов. «Не церемонься с языком // И торной не ходи дорожкой...»[1]).

Вернулся ли он тогда в лоно церкви, как позволяют предположить стихи сборника «Мудрость»? Поль Клодель в этом сомневался. Друзья поэта понимали всю

[1] Перевод Б.Пастернака.

недолговечность и хрупкость этого обращения. Едва выйдя из тюрьмы, он пытается снова отвоевать Рембо. Это кончается поножовщиной. Потом, после нескольких месяцев чинной жизни в Англии и попытки заняться учительством в Ретеле, начинается долгая, странная и мучительная связь с любимым учеником — Люсьеном Летинуа. Кто он, этот крестьянский сын? Он заменил Верлену Рембо — все прочее было для поэта неважно. Но в апреле 1883 года Летинуа умирает в больнице, умирает «столь же внезапно и таинственно», как некогда Элиза, обожаемая кузина. Старое сатурническое проклятие снова грянуло с небес.

«Рембо в июне 1872 г.».
Рисунок П.Верлена

Верлену мучительно больно; он спасается в «гордом служении искусству». Мореас, Гюисманс, Баррес, Малларме открывают перед ним возможность нового восхождения к высотам славы. Но про́клятый упрям, он желает остаться проклятым. Укрывшись на ферме в Арденнах, он предается «пьяному разгулу, грязному разврату». Алкоголь пробуждает в нем «прежние приступы дикого гнева». Эту ярость он обращает против единственного своего доброго гения — против матери. За попытку задушить ее он получает месяц тюрьмы. Мы видим, как он словно медленно тает вдали, этот старый пьяница в цилиндре, любимый литературными современниками за все то, что к тому времени почти уже в нем иссякло. «Наступает пора, — хорошо говорит об этом Борнек, — когда он становится Верленом для тех, до кого только теперь дошел его былой свет». Один из его сонетов подсказывает Барресу название «Под взглядом варваров». В 1893 году Верлен выставляет свою кандидатуру во Французскую академию; в 1894 году, после смерти своего старого учителя Леконт де Лиля, он избран князем поэтов.

Если он нас так трогает и волнует, этот Диоген тротуаров, столько раз описанный в литературе (Анатолем Франсом в «Красной лилии», Жидом, Валери), это происходит, по справедливому мнению Борнека, не столько из-за постыдного небрежения Верлена к собственной личности, на чем обычно настаивают исследователи, сколько из-за резких скачков творчества этого поэта, «в котором внешность Калибана отныне соединилась для нас с душой и с отравленной музыкой Ариэля...». И тогда понимаешь, что все эти попытки избавления, с помощью Элизы, Матильды, Рембо или Бога, были этапами одного и того же, непрестанного, тщетного и возвышенного, поиска «тихой гавани мужественным пассажиром «Летучего голландца». «Летучий голландец» с давних пор терпит крушение. Но творчество Верлена — корабль не призрачный, а вполне реальный — прочно стоит на приколе в спокойствии порта.

Я люблю эту книгу, где рассказ о трудном и бурном плаванье умело и тонко сплетен со стихами мужественного пассажира; я люблю эту маленькую книжку, ибо она — большая книга.

1967г.

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

■

ДЖЕЙМС ДЖ. БОЙЛ

Секты-убийцы

Главы из книги

Перевод с английского Н.УСОВОЙ и Е.БОГАТЫРЕНКО

ВВЕДЕНИЕ

Вначале несколько слов о дьяволе.

В последние десять — пятнадцать лет в средствах массовой информации постоянно появлялись шокирующие сообщения о небывалых по жестокости убийствах, изнасиловании детей, человеческих жертвоприношениях, людоедстве и прочих ужасающих преступлениях во имя сатаны. Собранные воедино, эти сообщения могли бы навести на мысль о существовании некой разветвленной сети культовых сект фанатиков, терроризирующих добропорядочное общество.

Многие из этих сенсационных историй попросту выдуманы (как, например, информация о гигантских крокодилах, обитающих в нью-йоркских канализационных трубах) и рассчитаны на избыток доверчивости и недостаток здравого смысла. Человеку свойственно искать источник скрытой угрозы, и поэтому дурные предчувствия — его характерное состояние. Невидимый дьявол, похоже, куда более страшен, чем реальный.

Всем, кто интересуется сатанинскими сектами, я могу порекомендовать две книги, опубликованные в 1993 году: «Вспоминая о сатане. История возрождения памяти и разрушения американской семьи» Лоуренса Райта (отрывки из нее ранее печатались в журнале «Нью-Йоркер») и «Сатанинская паника. Рождение современной легенды» Джефри С.Виктора.

Эта книга не о дьяволе. Она рассказывает о том зле, которое существовало реально, было зафиксировано документально, а теперь может служить поучительным примером: о двадцатипятилетней истории опасных сект, начало которой положила «Семья Мэнсона», а последние отголоски лишь недавно мелькнули в заголовках газет города Уэйко, штат Техас. Подобные секты собираются вокруг харизматических фигур, таких, например, как Дэвид Кореш, — чудовищных мегаманьяков, которые вовсе не ассоциируют себя с сатаной (ведь он, в сущности, самый великий неудачник — даже Мэнсон определил своему дьяволу роль Божьего мстителя).

Настоящие секты-убийцы почти всегда провозглашают праведные идеалы. Некоторые из них объявляют войну миру, находящемуся вне их жестких границ; другие (такие, как «Ветвь Давидова» Кореша) утверждают, что не вмешиваются в чужую жизнь и хотят, чтобы и их, в свою очередь, оставили в покое. Но когда противозаконные действия и апокалипсические «хэппенинги» сектантов побуждают полицию принимать суровые меры, сторонники сект винят во всем только полицию. Описанные в этой книге случаи, я надеюсь, покажут, что никакой здравомыслящий человек не может согласиться с подобным мнением.

©1995 by James J.Boyle

По мере приближения к концу тысячелетия и началу нового века истерия и фанатизм по поводу предполагаемого «конца света», о котором так любят рассуждать в сектах-убийцах, будут усиливаться. Опасность, связанная с деструктивными сектами — от Мэнсона до Кореша, — за последние двадцать пять лет уже стала очевидной. Но несмотря на все уроки, преподанные властям, средствам массовой информации и широкой публике, нам еще многое предстоит усвоить.

Лето любви

В его свидетельстве о рождении было записано: «Безымянный Мэддокс». Впоследствии он не только обретет имя, но и сделает его почти нарицательным.

К концу лета 1969 года страшные слухи будоражили всю округу, но в заголовки газет они попали лишь знойным утром 9 августа, когда стало известно об убийствах на уединенной вилле в горах, неподалеку от Бел-Эр, там, где Бенедикт-каньон спускается к Беверли-хиллс.

Уинифрид Чапман, приходящая прислуга, первой заподозрила неладное, когда около восьми утра, как обычно, пришла на работу в дом под номером 10050 по Сьелоу-драйв. Над металлическими воротами болтался перерезанный телефонный провод. Поскольку вредитель явно не пытался замести следы, она не придала особого значения увиденному, подумав, что, может быть, это телефонный мастер недоделал свое дело и ушел. Она подобрала утреннюю газету и открыла калитку.

Но за воротами, на ухоженной зеленой лужайке, она обнаружила еще одну странность — припаркованный в конце подъездной аллеи старый белый седан «рэмблер», передние колеса которого так глубоко вдавились в землю, как будто машина резко затормозила. Обычно сюда приезжали на дорогих, большей частью иностранных машинах — лоснящихся «мерседесах» и «феррари», а не на таких неуклюжих «рэмблерах». Войдя в дом, миссис Чапман сразу прошла на кухню, где она обычно начинала свой рабочий день. Обитатели виллы — люди кино — просыпались поздно, и полная тишина в этот час была явлением привычным. Горничная поднесла к уху телефонную трубку — проверить, есть ли гудок. Телефон молчал.

И тут она заметила кровь: маленькую лужицу, блестевшую на дорогом итальянском кафеле, которым был покрыт кухонный пол. Нахмурившись, горничная проследила взглядом тонкий кровавый след, тянувшийся из кухни в столовую и дальше — в гостиную. Идя по этому следу, она наткнулась на два пропитанных кровью банных полотенца, скомканных и брошенных возле кушетки.

Солнечный свет пробивался в комнату: дверь, ведущая в сад, была приоткрыта. Горничная кинулась было закрыть ее, но так и застыла на месте. А потом закричала. По всей двери кто-то широко намалевал слово СВИНЬЯ. Кровью. Горничная выбежала в сад — там, на траве, за невысокой живой изгородью, лежали два трупа. Одним из убитых был мужчина, на вид чуть больше тридцати. Его одежда: джинсы-клеш, малиновая рубашка, модные ботинки — была вся в крови, на теле — глубокие порезы, голова пробита. Рядом с ним, в окровавленной ночной рубашке до пят, лежала черноволосая женщина лет двадцати пяти с жестоко изрезанными руками и ногами.

Похоже, спастись от случившейся здесь бойни не удалось никому. Бросившись назад в дом, горничная обнаружила в гостиной труп хозяйки дома, красавицы-блондинки на девятом месяце беременности. Одетая только в трусики и лифчик, она лежала скорчившись рядом с камином, изрезанная с головы до ног. Ее хрупкую шею захлестнула веревочная петля, конец веревки, переброшенный через деревянную потолочную балку, туго стянул шею другой жертвы — исполосованно-

го ножом мужчины в голубой рубашке и белых брюках.

Был и еще один труп: на переднем сиденье седана лежал восемнадцатилетний юноша. Его, единственного из всех, горничная не смогла опознать.

Она с криком выбежала за ворота. В дальнем конце улицы показался пятнадцатилетний мальчик, и горничная кинулась к нему: «Там всюду кровь и трупы! Вызови полицию!»

«РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА» — этот заголовок в утренней газете поразил обитателей Беверли-хиллс, разбуженных накануне леденящими кровь воплями со стороны Бенедикт-каньона. Чарльз Мэнсон и его «семья», демонически улыбаясь с первых полос газет, стали провозвестниками нового Американского кошмара.

Внешне Чарльз Милс Мэнсон вовсе не походил на хладнокровного убийцу, каким мы его себе представляем. На первый взгляд он казался тем, кем и был в самом начале своей преступной карьеры, когда мог без зазрения совести угнать чужую машину, — этакий юный шалопай, из тех, что грабят автозаправочные станции, чтобы хоть чем-нибудь поживиться. Больше всего он был похож на мелкого хулигана, который может ни с того ни с сего пальнуть в сторожа и пуститься наутек. Трусливый, изворотливый, грубый, шумный, требующий внимания к своей особе, он отнюдь не производил впечатления человека, обладающего непреклонной волей, выдержкой и смелостью — качествами, без которых невозможно совершить спланированные массовые убийства, не говоря уже о том, чтобы посылать на мокрое дело других. Только уникальное сочетание свойств личности и обстоятельств эпохи могло породить феномен Чарли Мэнсона, чья зловещая ухмылка стала страшным символом шестидесятых.

Чарли родился в 1934 году в Цинциннати. Его мать, незамужняя девочка-подросток, была поставлена в тупик вопросом, какое имя дать ребенку. Поэтому и в мир он пришел как «Безымянный Мэддокс». Только через несколько месяцев он все-таки получил имя — Чарльз, а через несколько лет и фамилию — Мэнсон, от человека, ставшего (правда, ненадолго) мужем его матери.

Чарли не было еще и пяти лет, когда его мать попала в тюрьму за ограбление автозаправочной станции и его взяли на воспитание жившие в Западной Виргинии чрезвычайно набожные дядя и тетка. Однако Чарли явно не проникся религиозным духом, по крайней мере в той степени, в какой этого желали его воспитатели.

К двенадцати годам он угодил в исправительную школу. Там личностные задатки Чарли впервые получили официальную оценку. В характеристике отмечалось, что он, когда хотел, мог быть «примерным мальчиком», но в то же время выказывал (возможно, и сознательно) признаки мании преследования. Вскоре Чарли сбежал из школы и разыскал свою мать, которую к тому времени уже освободили. Она посоветовала ему «исчезнуть», что он и сделал. Безнаказанно совершив целый ряд ограблений, он все-таки попался с поличным во время одного ночного налета.

Благодаря умению производить на людей, когда нужно, благоприятное впечатление, Чарли сделал так, что его отправили в школу Отца Фланагана — благотворительное заведение в штате Небраска. Там он сразу же попытался опровергнуть главный воспитательный принцип школы: «Плохих мальчиков не бывает». Не прошло и четырех дней, как он угнал машину и совершил два вооруженных ограбления.

В тринадцать лет Чарли уже был злостным правонарушителем и в последующие три года находился то в одном, то в другом исправительном заведении, а в шестнадцать лет совершил первое тяжкое преступление. Вместе с двумя другими воспитанниками он бежал из исправительной школы, пересек границу штата и пустился в веселый криминальный кутеж по Калифорнии, угоняя машины и оби-

рая работников бензоколонок. Его снова поймали с поличным и направили в федеральный центр несовершеннолетних преступников.

Тюремные психиатры заинтересовались абсолютно неграмотным молодым человеком. В его характеристике значилось: поведение нестабильное, антисоциальное, личность «криминально искушенная», хотя последнее сомнительно, ведь попадался он достаточно часто. Но если навыки совершения преступлений ему давались плохо, то в межличностном общении Чарли преуспел, проявляя редкое умение говорить только то, что от него хотели услышать. Курс психотерапии (на который Чарли охотно согласился, так как ему нравилось быть в центре внимания) дал поразительные результаты: его психику признали достаточно устойчивой, а его самого — вполне годным для жизни в обществе. Готовилось к слушанию дело о его досрочном освобождении. Но Чарли снова влип в историю. За месяц до слушания он жестоко изуродовал одного мальчика, воткнув ему в задний проход нож. Так что вместо того чтобы освободить, его направили в исправительное заведение более строгого режима.

Все повторилось сначала. Находясь за решеткой, Чарли ухитрился подольститься к охранникам, даже попросил давать ему уроки чтения, хотя особого успеха на этой ниве не достиг. В 1954 году, в девятнадцать лет, его освободили досрочно. Снова попав на волю, Чарли женился на семнадцатилетней официантке. Вскоре у молодой четы родился сын, но Чарли было не до отцовских обязанностей. Он опять занялся угоном машин, хотя раньше это дело ему явно не удавалось. И конечно же, его поймали. Снова оказавшись в тюрьме, на этот раз в Калифорнии, незадачливый жулик испытал на себе смешанное влияние двух факторов, которые сыграли решающую роль в его последующей жизни. Первый фактор, казалось бы, вполне невинный, — это современный психологический «мотивационный» тренинг, в котором разработанные поборником самосовершенствования Дейлом Карнеги основные принципы поведения в быту и на работе сочетались с интенсивной групповой терапией и с сеансами так называемого «развития разума». В этом Чарли быстро преуспел. Другой фактор был более традиционным для системы тюремного образования. Чарли удалось расположить к себе бывалого преступника, старшего соседа по камере, связанного с бандой «Ма Бейкер». Тот много чему успел научить Чарли, но среди вредных уроков были и весьма безобидные — уроки игры на гитаре.

И на музыкальном небосклоне зажглась новая звезда — по крайней мере, так думал Чарли. В марте 1967 года, выйдя наконец из тюрьмы, в строго упорядоченном мире которой прошло более половины его жизни, Чарли со старой гитарой и с тридцатью пятью долларами в кармане сел в автобус и поехал в Сан-Франциско, чтобы стать рок-музыкантом и вместе с другими хиппи встретить легендарное «Лето любви».

Поглощенный своей особой экс-жулик, без каких-либо профессиональных навыков, не считая умения подыгрывать людям и подражать рок-певцам, в 1967 году в Сан-Франциско вполне мог найти рай земной: наркотики текли рекой, женщины были доступны, и надо всем витал дух гедонизма, только для видимости прикрытый романтическим флером. Чарли взобрался на сцену, как взломщик в квартиру. Его достаточно зрелый возраст и таинственный ореол человека, преступившего закон, в сочетании с модным обликом хиппи, — все это давало ему преимущества перед другими начинающими музыкантами, и ему не пришлось шататься со своей гитарой по улицам. Он быстро познакомился с простой и застенчивой двадцатитрехлетней девушкой Мэри Бруннер, работавшей в библиотеке, и вскоре поселился у нее, в густонаселенном Хайте[1].

Под влиянием Чарли Мэри быстро освободилась от иллюзий насчет моноga-

[1] Хайт, или Хайт-Эшбери, — район Сан-Франциско. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

мии. Однажды он привез с собой из очередной поездки по побережью новую подружку, хорошенькую рыжеволосую Линнетт Фромм, покорив ее всего одной фразой: «Я трахаюсь как бог». Девятнадцатилетняя Линн, выросшая в семье среднего достатка в городке Санта-Моника, бросила школу и была в это время в бегах. Ее прозвали Пискля — из-за ее манеры хихикать тонким голоском. Мэри была против вселения в ее дом новой гостьи, но Чарли настоял на своем. Начало было положено, и девицы пошли косяком: Чарли подбирал бездомных беглянок. Отчасти приманкой служил кров, отчасти сам Чарли, ну и, конечно, пресловутый Хайт.

Создавая свой имидж, Чарли нашел нужную аудиторию именно в Хайте, где галлюциногены сглаживали все острые углы страстей, а музыка в стиле психеделии сулила наивным полное освобождение. Вольный поток гостей в доме Мэнсона не ослабевал, но очень скоро из завсегдатаев составилось некое ядро — чуть больше десятка человек, в том числе несколько парней, приведенных девицами с улицы: им посулили секс, наркотики и рок-н-ролл. Они стали называть себя «семьей». Причем Чарли с самого начала был за старшего.

Его окружали отчаявшиеся неудачники, побочный продукт культуры, предлагавшей лишь два выхода: звезды или бездны. «Чарли был как волшебник. Как оборотень, — восхищалась потом самая ревностная его поклонница Пискля Фромм. — Он все время менялся, прямо на глазах». И мечтательно добавляла, вспоминая то «Лето любви»: «Мы неслись куда-то как в вихре».

Ясно, что вихрь тот был скорее дуновением ада, но на шумной наркотически-музыкальной волне братство отверженных виделось единственной надежной гаванью. Чарли верховодил во всех практических делах, а остальные с удовольствием играли роль идеалистов-мечтателей, этакие «дети цветов», — что было все-таки неубедительно на фоне непрестанного бормотания Чарли о проклятых «ниггерах», которых нужно убивать. «Семья Мэнсона», как таковая, как нельзя лучше воплотила в себе идеалы Хайта конца шестидесятых, после сравнительно невинного периода торжества стиля ЛСД, когда группы «Jefferson Airplane» и «Grateful Dead»[1] работали бок о бок, а Кен Кизи со своими «Шутниками» («Merry Pranksters») наслаждались жизнью и упивались славой. К концу шестидесятых в жизни богемного квартала на первое место вышли наркотики и связанный с ними наркобизнес, с беспощадным цинизмом отводивший «цветам» место только на панели.

Эд Сандерс в книге «Семья» описал «безумие», охватившее весь прежде тихий квартал Хайт-Эшбери летом 1967 года, когда машина музыкальной индустрии взялась раскручивать образ хиппи. Сандерс пишет: «По всей Америке был брошен клич: туда, в Сан-Франциско, где любовь и цветы!» И как шакалы к водопою, следом за легкой поживой устремились преступные элементы. Помимо бродяг и хиппи, бежавших от скуки сытых предместий, «в Хайт стекались, отрастив себе длинные волосы, прожженные преступники. Банды мотоциклистов боролись за рынок сбыта наркотиков грубыми, садистскими приемами. Прыщавые панки, накачанные метадрином, продавали более тяжелые наркотики... Людей грабили в парках. Начались этнические трения».

Чарли, со своим умением манипулировать людьми и располагать их к себе, мог наконец широко развернуться. И хотя ему было уже за тридцать, он убедительно разыгрывал роль чувствительного хиппи, даже отрастил бородку и длинные волосы, чтобы внешне соответствовать расхожему представлению об Иисусе Христе. Создавая свои музыкальные «шедевры», Чарли заявлял, что переплюнет самих «Битлз». Между тем, нагнетая в тесном кругу своих близких атмосферу изоляции и безумия, он начал добавлять к духовной мешанине своих идей элементы религиозного фанатизма.

Едва умея читать, Чарли все же ознакомился в тюрьме с излюбленной книгой

---

[1] Культовые для американских хиппи музыкальные коллективы.

шизофреников — Апокалипсисом, той частью Библии, что более других напоминает обложку рок-альбома, с изобилием описанных в ней многоголовых рогатых чудищ, мистических небесных знамений и природных катаклизмов, во время которых праведники в ореоле славы поразят пróклятых. Вдоволь напичкав себя ЛСД вкупе с непереваренными маниакальными образами из Апокалипсиса, Чарли провозгласил, что в Хайте ему было дано откровение: близится Армагеддон! И не кто иной, как он, бывший «Безымянный Мэддокс», поднимет разящий меч и приведет верных к спасению[1].

По пути к своему духовному «прозрению» Чарли на какое-то время сошелся с сайентологами — кое с кем из этой секты он познакомился еще в тюрьме. Он пытался подражать их сложной риторике, но до посвящения дело не дошло. Гораздо ближе и доступнее его пониманию оказалась секта под названием «Процесс», угнездившаяся в Хайте эксцентричная группа сатанистов, основанная в Англии отколовшимся от сайентологии Робертом Муром. Из своего неказистого обиталища на Кол-стрит, что в двух кварталах от дома, где жила «семья Мэнсона», сектанты в черных капюшонах проповедовали образ жизни, представлявший собой отвратительную мелодраму сатанинских ритуалов, приправленных доброй порцией наркотиков-галлюциногенов, и все это было сдобрено речами о насилии.

«Процесс» эффектно подавал себя, используя нацистскую и некрофильскую символику, и это нравилось Чарли. Но все члены секты должны были слепо подчиняться предводителю, которого они считали Христом. Мэнсон, только что вышедший из тюрьмы и не желавший никому подчиняться, внутренне готовый только подминать других под себя, быстро утратил интерес к «Процессу». И хотя сатанисты недолго занимали воображение Чарли, он успел позаимствовать у них кое-какие мысли. Больше всего ему понравилось утверждение, что Христос и сатана перед самым концом света объединились в священный союз, из чего Чарли заключил, что задача сатаны в Армагеддоне — убивать пróклятых в угоду Христу. А уж додумавшись до такого, нетрудно было и довообразить самого себя в роли исполнителя. Так Чарли стал мстителем. Предвкушая свой Армагеддон, Чарли начал открыто призывать к массовому насилию, чтобы приблизить таким образом конец света. Закоренелый расист, Чарли представлял себе конец света так: белая Америка, возмущенная злодеяниями негритянских радикалов, таких, как «черные пантеры», начнет войну против черной Америки, и дело окончится ядерной катастрофой. А когда пыль уляжется, Чарли и его приверженцы, предусмотрительно укрывшиеся в пустыне, выйдут из своего убежища и примут на себя командование сложившимся Новым Порядком. Чарли хотел, чтобы война двух рас началась как можно скорее, но что для этого нужно сделать? И Чарли придумал: пусть черных обвинят в возмутительных, небывалых по жестокости преступлениях.

Однако осуществить столь грандиозные замыслы в ограниченных пределах Сан-Франциско было трудно. Хайт, наводненный новоиспеченными хиппи, был также запружен туристическими автобусами. Квартал быстро богател, приобретая благопристойный вид, и тем самым утрачивал свою привлекательность в глазах сатанистов, замысливших ускорить конец света.

«Процесс» первым проторил новый путь. В 1968 году караван чернорубашечников, с почетным эскортом из мотоциклистов при всех регалиях, потянулся в направлении Лос-Анджелеса, чтобы устроиться на новом месте. Секта заняла большой дом рядом с Бульваром заходящего солнца, который напоминал теперь постмодернистский пейзаж, где туристы еще пытались поймать в объектив уголок «царства кино», упрямо не замечая проституток, торговцев наркотиками, карманников, попрошаек, мошенников и одурманенных новоселов, зловеще качавших права на заброшенных задворках Голливуда.

---

[1] Армагеддон — по Библии, место сбора сил сатаны для решающего сражения с Богом, которое закончится победой Христа и Страшным судом.

Вскоре после исхода «Процесса» Мэнсон с десятком своих ярых приверженцев последовали примеру сатанистов и перебрались в Голливуд. На новом месте хиппующий «Мессия» в два счета наладил жизнь коммуны. Источниками дохода «семьи», как и прежде, были продажа наркотиков, нищенство и кража кредитных карточек, а кроме того, коммуна все время пополнялась новыми работоспособными членами. По хорошо отработанной схеме девицы, чаще всего подростки, как самые соблазнительные, приводили в «семью» новых мужчин. В этом симбиозном раю Чарли расчетливо распределял скудные блага — секс и наркотики, — ухитряясь при этом так манипулировать групповым сознанием, чтобы окончательно утвердиться в роли лидера, с которым связаны удовольствия и безопасность, а главное — он держал всех в постоянном страхе, нагнетая в душах все возрастающую, беспричинную ярость.

Главное оружие хулигана — запугивание. И Чарли сознательно его применял. «Как вызывать страх» — называлась одна из его дежурных лекций. По мере того как люди в его присутствии становились все более запуганными и одинокими, он неизмеримо вырастал в их глазах, представляясь сверхчеловеком, этакий Иисус Христос — суперзвезда, который терпит предательство и гонения ради своего великого предназначения и в конце концов достигнет вечной славы. Одним из любимых ритуалов в «семье Мэнсона» был такой: он привязывал себя к деревянному кресту, а его домочадцы раздевались и занимались любовью у его ног кто с кем хотел.

«Семья» пока еще отдавала дань хипповому романтизму, частенько собираясь на «сейшн», где можно было спеть или сыграть. Никто не обращал особенного внимания на то, что Чарли одержим расистскими идеями, которые и не пытается скрыть, и требует запасаться ружьями для предстоящего ухода в пустыню, где коммуна будет пережидать конец света. Философия Чарли теперь прочно стояла на трех китах: единственное назначение черной расы — быть рабами белых людей; женщины существуют только для того, чтобы удовлетворять сексуальные потребности мужчин; никакое человеческое деяние не является злом, а менее всего может считаться злом убийство.

Легковерные, одурманенные наркотиками последователи Мэнсона, вроде Сьюзен Аткинс, считали его неотразимым. Прежде чем влиться в коммуну, недоучившаяся в школе девица двадцати одного года работала танцовщицей-стриптизеркой. Она говорила всем, что видит в Чарли воплощение Иисуса Христа и — одновременно — сатаны. Члены секты Мэнсона отчаянно пытались хоть в чем-то найти точку опоры для своих смятенных чувств, и потому клочки популярных песенок стали для них своего рода жизненным откровением, а типичный неудачник, неграмотный, фанатичный и злой человек, бывший преступник, одержимый манией преследования, со своей ухоженной бородкой и длинными волосами, вполне мог сойти за Иисуса Христа.

«Он царь, а я его царица, — соловьем разливалась Сьюзен перед благодарными слушателями. — Возьмем хоть его имя — Мэн-сон. Ведь это же значит «Сын человеческий»[1]. Наконец передо мной живое доказательство существования Бога, такого доказательства церковь никогда не могла мне дать».

В 1968 году Чарли обзавелся обшарпанным автобусом— «фольксвагеном», его покрасили в черный цвет и стали колесить на нем по Южной Калифорнии, совершая наезды в пустыню, призванные вызвать ностальгию по легендарной наркотически-фривольной одиссее Кена Кизи и его веселых ребят. Чарли не расставался с гитарой, на которой играл уже довольно сносно, исполнял он в основном песни собственного сочинения — если верить более поздним отзывам дельцов от музыки, выполненные на хорошем профессиональном уровне, но вторичные, вымученные, лишенные блеска.

---

[1] Мэнсон, man's son (*англ.*), буквально: сын человека.

И все же Чарли ухитрился прорваться на периферию поп-музыкальной индустрии. Он попал туда в самый подходящий для этого момент — когда всевозможные позеры, ловкачи и шарлатаны всех сортов начали превращать эту отрасль музыки в самое настоящее бесовство. Обладая не столько талантом, сколько умением подать себя как «мачиста» — с характерным презрением ко всему и хорошо отработанной сатанинской ухмылкой, — Чарли добился прослушивания. И кое для кого из нуворишей, разбогатевших на музыкальной ниве, этот проходимец с безумным взглядом, окруженный восторженными почитателями, предоставлял прекрасную возможность поиграть с огнем. Никто из них, конечно, до поры до времени и представить себе не мог, что игра эта зайдет так далеко.

Весьма полезным для Чарли оказалось знакомство с Деннисом Уилсоном, ударником группы «Бич бойс». Весной 1968 года Уилсон подвез двух голосовавших на дороге девиц — как выяснилось, из «семьи Мэнсона». Девицы и познакомили его с Чарли. Не успел Уилсон и глазом моргнуть, как Чарли со своим хипповым гаремом стал своим человеком на роскошной вилле, когда-то принадлежавшей Уиллу Роджерсу[1]. Для Уилсона в Чарли было что-то одновременно и притягательное, и отталкивающее, и тем не менее он вместе со своим братом Брайеном, тоже из «Бич бойс», помог Чарли записать первую пробную пластинку. И больше того — Деннис познакомил Чарли с телевизионным и музыкальным деятелем по имени Терри Мелкер, сыном актрисы Дорис Дэй. Мелкер проживал в Бел-Эре, по адресу: Сьелоу-драйв, дом 10050.

Примерно в это время в «семье Мэнсона» насчитывалось около сорока человек — очередным удачным приобретением стал двадцатитрехлетний Чарльз Уотсон по прозвищу Текс[2]. Это был типичный маменькин сынок — закомплексованный, привыкший думать и говорить только о себе. После ухода из колледжа у него хватило смелости только на то, чтобы добраться до Лос-Анджелеса, где перед ним туманно вырисовывалась его звездная карьера. Как-то он голосовал на Бульваре заходящего солнца, и первым, кто предложил его подвезти, оказался, к его нескаданному удивлению, Деннис Уилсон. Уилсон сразу же пригласил Текса к себе на вечеринку, где и познакомил с Чарли и его девочками. Текс вспоминал: «Перед девчонками Чарли я не мог устоять. Впервые в жизни я почувствовал себя человеком».

В том же году Чарли, видимо довольный тем, что его музыкальная карьера уже «на мази», решил, что «семье» нужно подыскать более просторное и уединенное жилье, где можно было бы подготовиться к следующему запланированному этапу — исходу в пустыню перед грядущим концом света.

Сандра Гуд, дочь преуспевающего биржевого маклера, попавшая в «семью», рассказала Чарли об одном киноранчо, затерянном на широких просторах долины Сан-Фернандо, в тридцати милях от Лос-Анджелеса. Там, за холмами, сохранились полуразрушенные постройки, в том числе уцелевшая декорация «главной улицы» — непременного атрибута вестернов. Когда-то это ранчо принадлежало неизменному исполнителю ковбойских ролей в немом кино Уильяму С. Харту, теперь его владельцем стал Джордж Спан, который иногда предоставляет ранчо разным кинокомпаниям для натурных съемок. Посланная на разведку Пискля Фромм уговорила слепого восьмидесятидвухлетнего старика хозяина пустить «семью» пожить в так называемых «приютах для странников» на задворках его владений. Взамен платы ему обещали помогать по хозяйству и ухаживать за лошадьми.

Ранчо находилось недалеко от города — можно было часто наведываться в

---

[1] Уилл Роджерс (1879 — 1935) — известный американский юморист.
[2] Текс — прозвище техасцев. Техасом также называют вид наркотиков.

Лос-Анджелес — и вместе с тем было надежно укрыто за горной цепью Санта-Сузана, и вокруг ни души, так что это было идеальное место для обучения и сплочения «семьи». К тому же поблизости находились секретные явки, где проводились тайные операции по хранению и сбыту наркотиков, поступавших в Лос-Анджелес.

Устроившись на ранчо, члены «семьи» вернулись к своим привычным занятиям — попрошайничеству и воровству. К прежним навыкам, правда, теперь требовалось добавить еще одно умение: ночью влезать в дом, наугад выбранный Чарли, и, не поднимая шума, грабить спящих жильцов. Сектанты приучались ловко двигаться и переставлять мебель без шума, чтобы не разбудить хозяев. Иногда Чарли самолично участвовал в ночных операциях. Позднее некоторые жители Лос-Анджелеса и пригородов узнали, что под покровом ночи их посещала «семья Мэнсона», и содрогнулись от ужаса.

«Семье» вскоре предстояло, во исполнение своего предназначения, переселиться на новое место, выбранное Чарли, — в пустынную Долину смерти, чтобы там спокойно переждать ядерную войну, которая вот-вот должна была разразиться в результате межэтнических конфликтов. Но пока что они медлили, прохлаждаясь на ранчо как обычные хиппи, разве что с той разницей, что по хозяйству в основном хлопотали женщины. Полным ходом шла подготовка к «последним дням». Запасались оружием. Старые «фольксвагены» превращались в вездеходы, которые с ревом взметали дорожную пыль, облепленные голыми сектантами с автоматами в руках.

Распределяя между членами «семьи» наркотики и распоряжаясь сексом, Чарли и прежде проповедовал ненависть, теперь же толковал в основном об убийстве. По словам Уотсона, Чарли неустанно повторял, что «никакой смерти нет, и потому нет ничего плохого в том, чтобы убить человека».

Из «Белого альбома» «Битлз» 1968 года Чарли выбрал песенку «Helter Skelter», которую сделал гимном своей «семьи». И хотя в песне поется о популярном парковом аттракционе вроде «американских гор», Чарли углядел в ней более глубокий — и зловещий — смысл. Он заявил, что там говорится о конце света — о том, как разжечь межрасовую войну, которая приведет «семью» к славе.

«Это звучало убедительно», — признавались потом члены «семьи». Действительно, при достаточной накачанности наркотиками и изолированности от мира все что угодно покажется убедительным.

Чарли обманом добивался права манипулировать людьми. Раздавая наркотики типа ЛСД, себе оставлял самую маленькую дозу, — признавал Уоткинс в своих показаниях Винсенту Т. Баглиози, заместителю окружного прокурора Лос-Анджелеса, который вел дело «семьи Мэнсона» и потом изложил все известные ему сведения в книге «Helter Skelter».

Изоляция была предельной. Чарли никому не разрешал покидать ранчо, кроме тех случаев, когда отправлял кого-нибудь на воровство или ночные вылазки, объяснял впоследствии Уотсон. Но и членам «семьи» выгодно было оставаться при нем: «Ведь там же наркотики... целые мешки... Девчонки выходили за ворота, только чтобы голоснуть и привести на ранчо новых парней».

ЛСД и мескалин, конопля и пейотль, волосы ангела и амфетамин, героин и кокаин — всего этого хватало на ранчо с избытком, причем доставалось не только своим, но и заезжим гостям — продавцам наркотиков, оружия и всем, кто был не в ладах с законом. Чарли учил девочек почаще завлекать парней из банды мотоциклистов, которые, как он надеялся, примут его сторону в близящейся войне с теми, кого он называл «свиньями».

Однако не только преступники приезжали на ранчо. Бывали там и законопослушные дельцы от музыки, такие, как Мелкер, который с горечью будет потом вспоминать на суде о своих контактах с «семьей Мэнсона». Так, например, он

дважды приезжал на ранчо Спана — Чарли приглашал его послушать новые песни, которые он исполнял вместе с девочками. А зимой 1969-го Чарли самолично спустился в Бел-Эр, в дом Мелкера на Сьелоу-драйв, потолковать о песне, которую Мелкер якобы предложил ему записать. Но хозяина он не застал. Вдобавок довольно бесцеремонно Чарли сообщили — кто это был, неизвестно, может, прислуга, — что «Мелкер съехал». Чарли был взбешен, он счел это личным оскорблением. И втайне поклялся, что еще вернется.

Приехав на ранчо, Чарли, который с некоторых пор стал носить на поясе меч, набросал список богачей и знаменитостей — «свиней», коих предстояло умертвить таким образом, чтобы это выглядело как дело рук черных радикалов. Среди прочих имен в списке были такие, как Уоррен Битти и Джулия Кристи, но первым значился Терри Мелкер.

«Семья» являлась оружием, которое в любую минуту могло быть пущено в ход, и Чарли решил, что время пришло.

Точно неизвестно, сколько людей Мэнсон и его «семья» убили, осуществляя план «Helter Skelter». Мэнсон, неисправимый лжец, однажды похвалялся, что лично на нем кровь тридцати пяти человек. Однако известно, сколько людей погибло от рук членов «семьи» за один лишь кровавый летний месяц: с 27 июля по 26 августа 1969 года ими были зверски убиты девять человек.

Первым в числе жертв стал тридцатидвухлетний Гэри Хинман, совершивший роковую ошибку, как-то послав Чарли к черту. Хинман готовился к получению докторской степени по социологии в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и жил припеваючи, имея весьма доходный побочный промысел: производство мескалина. Именно этот вид деятельности свел его с «семьей Мэнсона».

Хинман был приверженцем некоего воинственного японского буддийского культа и в общении с Чарли держался надменно и заносчиво. И когда возник спор из-за выручки — в то время как «семья» из кожи вон лезла, чтобы раздобыть средства на исход в Долину смерти, — Хинман легкомысленно решил не уступать, несмотря на угрозы Чарли.

Поздним вечером 25 июля Чарли, с мечом в руке, пришел к Хинману в дом на Топанга-каньон-роуд, требуя денег. Хинман попытался выпроводить Чарли, пригрозив разоблачить всю его команду, и Чарли отсек ему ухо мечом. Всю ночь напролет члены «семьи Мэнсона» запугивали истекающего кровью Хинмана, в конце концов принудив его подписать бумаги, по которым к Мэнсону переходили две его машины: микроавтобус и «фиат». Но этого было мало. На следующую ночь Чарли послал к Хинману трех человек из своего окружения: Бобби Босолея, подающего надежды двадцатилетнего рок-музыканта со связями в Голливуде, Сьюзен Аткинс и Мэри Бруннер.

Хинмана зарезали с изощренной жестокостью, а покидая дом, обмакнув пальцы в кровь жертвы, написали на стене: «Политическая свинья» — и намалевали рядом коготь пантеры, чтобы полиция заподозрила в убийстве «черных пантер».

Собравшись на ранчо в полном составе, «семья» устроила праздничный наркотический «сейшн». Сочинили даже новую песню — об убийстве. Припевом стали последние слова умирающего Хинмана: «Я хотел жить. Я хотел жить».

Следующим объектом нападения, отмеченным в списке Чарли, был дом на Сьелоу-драйв, где жили теперь знакомые Терри Мелкера — киноактриса Шарон Тейт, двадцати шести лет, и ее муж, тридцатичетырехлетний польский режиссер Роман Поланский. Они поженились год назад, познакомившись на съемках фильма «Бал вампиров». Сыграв главную роль в фильме «Долина кукол», нежноголосая, миловидная Тейт стала своего рода знаменитостью, появившись в «Плейбое» обнаженной на фотографиях, сделанных ее мужем.

В феврале чета Поланских сняла дом 10050 по Сьелоу-драйв, с простираю-

щейся далеко внизу конфетной панорамой Лос-Анджелеса. В середине августа Поланский собирался закончить съемки очередного фильма в Европе и приехать к жене, срок беременности которой подходил к концу.

По показаниям Текса Уотсона, вечером 9 августа Мэнсон, после очередной оргии на ранчо Спана, отозвал его в сторонку поговорить. Вот слова Уотсона: «Он улыбался. Он само совершенство. Я сделаю для него все... Он назначил мне с тремя девочками пойти и убить людей. Он дал мне нож и ружье и велел постараться, чтобы вышло жутко и было как можно больше крови».

В помощницы ему достались Сьюзен Аткинс, Патрисия Кренвинкель и Линда Касабьян. Линде, прожившей на ранчо всего месяц, поручили вести машину и потом оставаться на страже.

Приказания Чарли были очень конкретными и не давали повода для размышлений. «Идите в дом, где жил Терри Мелкер. Убейте всех, разрежьте на куски, повесьте на зеркалах», — приказал он. По словам Уотсона, Мэнсон имел весьма туманное представление о том, кто живет на вилле. «Он сказал что-то вроде того, что там живут кинозвезды», — вспоминал Уотсон.

В тот вечер у Шарон Тейт было трое гостей. Один из них — Джей Себринг, модный тридцатипятилетний парикмахер, работавший с такими знаменитостями, как Роберт Редфорд и Фрэнк Синатра. Одно время Себринг был женихом Тейт. Другими гостями были Абигайль Фолджер, взбалмошная двадцатипятилетняя наследница богатств кофейной империи, и ее приятель, безработный польский эмигрант Войцех Фриковский, тридцати двух лет. В тот вечер 9 августа, как это часто случалось и прежде, Фриковский и Фолджер приняли наркотик-галлюциноген (Фриковский был известным поставщиком ЛСД).

Вскоре после полуночи, припарковав машину в темноте за оградой, непрошеные гости начали очередную вылазку. Уотсон держал при себе ковбойского типа револьвер и сорокафутовый моток капроновой веревки. Он первым делом нашел телеграфный столб и перерезал провода, идущие к дому. Касабьян осталась караулить у машины, Уотсон, Аткинс и Кренвинкель — все с длинными ножами — перелезли через ограду и спрыгнули на ухоженный влажный газон.

Пока они крадучись пробирались к дому, прячась в тени кустов, подъехала машина. За рулем сидел восемнадцатилетний юноша, Стивен Эрл Парент. Он решил на ночь глядя заглянуть к своему приятелю, молодому сторожу Уильяму Гарретсону, жившему в отдельном домике в дальнем конце участка. Когда в свете его фар неожиданно возникли три крадущиеся фигуры, Парент притормозил, опустил окно и спросил, что они здесь делают.

Вместо ответа Уотсон сделал выпад и через окно навел на него дуло пистолета. «Пожалуйста, не убивайте меня», — взмолился молодой человек, но Уотсон четыре раза выстрелил ему в голову, потом спокойно перегнулся через склонившееся на руль безжизненное тело и выключил зажигание. Выстрелы эхом отозвались в горах Бел-Эра, но потом снова наступила тишина. В доме явно не проявляли никаких признаков беспокойства.

Уотсон забрался в дом, разрезав сетку на окне в одной из комнат первого этажа, которая перестраивалась под детскую. Почувствовав запах свежей краски, Уотсон прокрался по неосвещенным комнатам первого этажа и впустил остальных через парадную дверь. Они включили свет. В гостиной проснувшийся Фриковский увидел прямо перед собой Уотсона.

— Который час? — пробормотал спросонья Фриковский.

— Тихо, — рявкнул Уотсон. — Не двигайся, или тебе конец.

— Кто ты и что ты здесь делаешь?

Пришелец ответил просто:

— Я дьявол и делаю свое дьявольское дело. А теперь говори, где деньги.

Но на самом деле они пришли не за деньгами. Они пришли затем, чтобы убить людей, хотя даже имен их не знали, убить только потому, что так велел Чарли.

Кровавая оргия только начиналась. Сьюзен Аткинс пошла наверх посмотреть, есть ли кто еще в доме. Заглянула в спальню и машинально помахала рукой Абигайль Фолджер, читавшей в постели. Та лишь повернулась на другой бок. В хозяйской спальне она обнаружила Тейт и Себринга, мирно беседовавших, сидя на кровати бок о бок. Угрожая ножом, она приказала всем троим спуститься вниз.

Там насмерть перепуганные жертвы увидели застывшего Фриковского, которого Уотсон держал на мушке. Уотсон велел всем лечь на пол перед камином, лицом вниз.

— Вы что, не видите — она беременна? — закричал Себринг, бросившись на пистолет. Уотсон выстрелил, пуля попала Себрингу в плечо.

Снова стали требовать денег. Фолджер нашарила кошелек. В нем оказалось семьдесят два доллара. Но Уотсон денег не взял, он был занят другим — разматывал веревку. Он затянул петлю на шее раненого Себринга, потом обмотал таким же образом Тейт и Фолджер, лежащих рядом на полу. Пока он проделывал это, Сьюзен связывала руки Фриковского взятым из ванной полотенцем.

Себринг продолжал сопротивляться. Уотсон, разозлившись, несколько раз пырнул его ножом, потом перебросил конец веревки через потолочную балку и потянул, приподняв мертвого мужчину и двух женщин. Тейт и Фолджер пришлось стать на цыпочки, чтобы не быть удавленными.

— Вы все умрете, — объявил Уотсон и приказал Сьюзен прикончить Фриковского. Но тот выпутался и побежал к парадной двери. В ту минуту, когда он выскочил во двор, его дважды ударили ножом в спину. Корчась от боли, он прополз несколько метров и замер. Его крик, подхваченный эхом, долго отзывался в каньоне.

Уотсон нажал на курок, но в механизме что-то заело, и тогда он разбил голову мужчины рукояткой.

Находившаяся у машины Касабьян, услышав крики, испугалась.

— Пожалуйста, прекратите все это! — взмолилась она, завидев на лужайке Сьюзен. Но было слишком поздно.

В гостиной две женщины, ставшие жертвой преступников, делали отчаянные попытки освободиться. Фолджер выпуталась из петли и выбежала в сад, но Аткинс бросилась следом и несколько раз ударила ее ножом прямо на бегу. Когда Фолджер упала на землю, к Сьюзен присоединился Уотсон, и они принялись с наслаждением кромсать израненную, пока та не испустила дух.

Вернувшись в гостиную, Уотсон приказал Аткинс убить Тейт, молившую о пощаде:

— Пожалуйста, не убивайте меня. Я хочу только родить ребенка!

— Заткнись, сука, мне наплевать, чего ты хочешь, — процедила сквозь зубы Аткинс, глядя актрисе прямо в глаза и занося нож. — Мне наплевать, что ты хочешь родить ребенка. Лучше приготовься к смерти. Сейчас ты умрешь.

И вместе с Уотсоном и Кренвинкель они закололи беременную женщину, нанеся ей шестнадцать ножевых ударов.

Аткинс потом рассказала, что слизнула кровь с руки. «Ой, вот так приключение», — подумала она. «Я была в таком приподнятом настроении. Устала, конечно, но была довольна. Я знала, что так начинается «Helter Skelter». Теперь весь мир об этом узнает».

Когда они собрались уходить, Аткинс намочила полотенце в крови Шарон Тейт и задержалась, чтобы размашисто написать на двери: «СВИНЬЯ».

Выйдя за ворота, убийцы направились к машине, где их поджидала Касабьян, и переоделись. Потом они долго бесцельно колесили по улицам Бел-Эра, пока

не остановились где-то в безлюдном месте на вершине горы. Там они побросали в пропасть ножи и окровавленную одежду. Затем припарковались у какого-то дома и, найдя там садовый шланг, вымыли машину. Они скрылись как раз вовремя — когда хозяин вышел из дома.

Они вернулись на ранчо в два часа ночи, Чарли ждал их и был совершенно голый.

— Что это вы делаете дома в такую рань? — спросил он небрежно.

Текс едва мог справиться с возбуждением:

— Там был настоящий «хелтер-скелтер»!

На следующий день из сводки телевизионных новостей Сьюзен узнала, кого она убила. «Я была просто потрясена: ого, да они и впрямь известные люди! — вспоминала она позже. — Оказывается, я имела дело с такой знаменитостью, как Шарон Тейт. Это вскружило мне голову».

Жестокость совершенного убийства вызвала настоящую панику в Голливуде. Чарли был доволен. На ранчо по этому поводу устроили очередной наркотический «сейшн». Тотчас же стали придумывать новый поход, чтобы «свиньи» затряслись от страха. Чарли объявил, что на сей раз он пойдет первым и покажет, как это делается. Раз кровь пролилась, медлить было нельзя. Акцию назначили на следующий день.

Чарли, Уотсон, Аткинс, Кренвинкель и Касабьян вместе со Стивом Гроганом и Лесли ван Хутеном, тоже из «семьи Мэнсона», несколько часов колесили по окрестностям, пока не оказались в Пасадене. Там они остановили машину у первого попавшегося дома. Чарли подполз к дому и заглянул в окно, потом вернулся и объявил, что обитателей дома следует пощадить, так как вся гостиная у них увешана детскими фотографиями.

По указанию Чарли они спустились в Лос-Фелиц, рядом с Гриффит-парком, и остановились у большого дома под номером 3301 по Уолвери-драйв, где жил владелец сети супермаркетов Лино Лабьянка со своей женой Розмари.

В начале второго ночи Лабьянка сидел в гостиной и читал газету, изобилующую подробностями о недавних убийствах в Бенедикт-каньоне. Жена была в спальне. Лино поднял глаза и увидел прямо перед собой невысокого, звероподобного человека, молча стоявшего перед ним с оружием в руках. Его поразило, как смог незнакомец войти в дом, не выдав себя ни единым звуком.

— Спокойно, — сказал Чарли. — Помалкивай, и тебе ничего не сделают.

Конечно, это была ложь.

Он отвел хозяина в спальню и там связал обоих, оставив лежать рядом на кровати. Потом вернулся к машине.

— Текс, Кэти, Лесли, ступайте в дом. Я там связал двоих. Они тихие.

Чарли остался снаружи, а «семья» снова пошла на убийство. Розмари оставили лежать в спальне с наволочкой на голове, а мужа потащили вниз, где Текс Уотсон перерезал ему горло, оставив кухонный нож торчать в теле жертвы. Услышав крики мужа, Розмари Лабьянка попыталась высвободиться. Ван Хутен — миниатюрная двадцатилетняя девушка, которая когда-то увлекалась туризмом, пела в церковном хоре и играла на саксофоне в школьном ансамбле, — крепко держала женщину, чтобы Кренвинкель было сподручнее нанести удар в спину. Ударом ножа жертве рассекли позвоночник.

А в гостиной Лино Лабьянка корчился в предсмертных судорогах. Уотсон поспешил наверх, чтобы поучаствовать в издевательствах, которые творились в спальне. На теле Розмари Лабьянка насчитывалось сорок одно ножевое ранение. Ее мужу нанесли двенадцать ударов ножом и четырнадцать — кухонной вилкой для мяса. Слово «ВОЙНА» глумливо вырезали на его животе. «Смерть свиньям» и «хелтер-скелтер» написали кровью жертвы на холодильнике и на белой стене.

Убийцы догадались покормить трех хозяйских собак, одна из них слизывала

кровь с их рук. Затем все они вымылись под душем, приготовили себе поесть и, прихватив с собой пару упаковок шоколадного молока из холодильника, покинули дом.

На следующий день на ранчо началась усиленная подготовка к исходу в пустыню. События развивались быстро — особенно после того, как «семьей» заинтересовалась полиция (не в связи с убийствами, а из-за наркотиков и участившихся в округе случаев воровства). Но сначала нужно было рассчитаться с Коротышкой Ши.

Дональд Ши, тридцатишестилетний объездчик лошадей и чернорабочий, прослуживший у Спана пятнадцать лет, стал действовать Чарли на нервы, а летом 1968 года переходить дорогу Чарли было опасно. Коротышка еще раньше навлек на себя гнев Чарли тем, что женился на чернокожей и принимал на ранчо ее знакомых. Но смертный приговор себе он собственноручно вынес тогда, когда стал уговаривать старого Спана выдворить «семью», а Чарли узнал об этом.

26 августа Чарли приговорил Коротышку к смерти. «Семья» сработала четко, устроив засаду. «Они закололи его, как рождественскую индюшку», — рассказывал Дэниэл Декарло, мотоциклист, некоторым образом связанный с «семьей». (Декарло не был непосредственным свидетелем убийства, но узнал все подробности от одного из членов секты.) Коротышку разрезали на девять частей, руки и голову отрубили.

Но полоса везения для Чарли, похоже, окончилась неделю спустя, когда его вместе с двадцатью приспешниками взяли под стражу по подозрению в угоне машин. Никаких подозрений насчет их причастности к голливудским убийствам пока не возникало. И все они были освобождены за недостатком улик. И даже когда полиция узнала, до какой крайности дошел опасный культ в тесном мирке Мэнсона, никто не попытался связать скандальные убийства с существованием «семьи». И все было бы шито-крыто, если бы Сьюзен Аткинс, сидя за решеткой, не наболтала лишнего. Аткинс арестовали совсем по другому поводу, но она не утерпела и, решив похвастать перед сокамерницей, во всех подробностях расписала убийство Шарон Тейт. Та немедленно сообщила это охране.

К концу года Чарли, а также Уотсону, Кренвинкель, Аткинс и ван Хутену было предъявлено обвинение в убийстве. В итоге их признали виновными и приговорили к пожизненному заключению. Стив Гроган, работник с ранчо Спана, был также приговорен к пожизненному заключению за обезглавливание Коротышки Ши (отсидев четырнадцать лет, он выйдет на свободу). Не было выдвинуто никаких обвинений против Мэри Бруннер и Линды Касабьян, они проходили по делу свидетелями. Через несколько лет верный адъютант Чарли — Пискля Фромм — получит пожизненный срок за участие в неудавшемся покушении на президента Форда.

В 1970 году, представ перед судом по обвинению в убийстве, Чарли называл себя репортерам так: «Чарльз Мэнсон, также известный как Иисус Христос — заключенный». В суде ему представилась возможность выступить с речью — она была сумбурной и маловразумительной и продолжалась час. Послушать Чарли, так в кровавой бойне следует винить всех кого угодно, только не его.

«Я никогда не ходил в школу, — говорил Чарли, — и меня не научили как следует читать и писать, я сидел в тюрьме и оставался глупым. Я оставался ребенком, пока ваш мир взрослел. И после этого я смотрю на то, как вы живете, и не понимаю вас. Вы едите мясо и убиваете тех, кто лучше вас, а потом говорите, что ваши дети плохие, что они убийцы. Это вы сделали их такими... Дети, которые приходят к вам с ножом, — это ваши дети».

Папе видней

Мать звала его Джимба и говорила, что на нем почиет Дух Божий. «Мальчик станет знаменитым проповедником», — не уставала повторять она, и это было отнюдь не пустое бахвальство. Детство Джима Джонса прошло в сельской местности в штате Индиана. Страна была охвачена Великой депрессией, и все мальчишки играли в полицейских и воров, но маленький Джим играл в проповедника. В восемь лет он уже шпарил наизусть пространные цитаты из Библии. С людьми он ладил плохо и всю свою любовь обращал на животных: подбирал на улице брошенных кошек и собак и дома выхаживал их. Правда, много лет спустя очевидцы стали припоминать, что его подопечные зверюшки часто умирали — тогда мальчик устраивал им пышные похороны, читал заупокойную и горько оплакивал потерю.

Его мать, Линетта, сшила ему для игр полное священническое облачение. К двенадцати годам он стал местной знаменитостью: толпы юных зрителей сходились послушать, как он вещает о геенне огненной и кипящей смоле, а некоторые после этого послушно шли за ним к ручью «креститься». Когда он возвращался домой, в кармане его всегда позвякивала мелочь, поскольку пышная церемония, которую он устраивал, была не бесплатной. Мать оказалась права: он был и впрямь необыкновенный ребенок.

Было в нем нечто загадочное. В детстве за Джимом шагали к ручью малыши, а много позже к нему как магнитом потянуло взрослых. И первой из них была его жена Марселина. Они познакомились и поженились, когда ей был двадцать один, а ему — всего семнадцать и он только начинал свое служение, учился на методистского священника в Индианаполисе. Марселина работала медсестрой и была девушкой отзывчивой и кроткой. Вскоре после свадьбы Марселина поняла, как не терпелось ее мужу вырваться из строгих рамок методистской иерархии, чтобы стать свободным уличным проповедником. В 1957 году он удачно провернул одно дело, продав в розницу большую партию обезьян из Южной Америки — по двадцать девять долларов за зверька. На вырученные деньги он снял складское помещение в районе Индианаполиса, население которого быстро пополнялось за счет чернокожих мигрантов, и повесил над дверью вывеску: «Народный храм». Так он основал свою собственную религию.

Энергичному проповеднику быстро удалось привлечь внимание зевак, а послушав его однажды, они приходили снова и снова. Список членов новой церкви рос день ото дня, а между тем росла и семья Джонсов. В 1959 году у них родился сын, которому при крещении дали имя Стивен Ганди Джонс, затем Джонсы усыновили троих малышей из сиротского приюта: двух азиатов и одного негритенка, чтобы семья была, как они говорили, «всех цветов радуги». Те, кто знал этого сверхнабожного молодого человека еще подростком, недоумевали: дело в том, что Джим Джонс в юности был расистом. Ему пришлось приспособиться к новой ситуации, ведь размахивающий Библией белый расист, презрительно цедящий сквозь зубы «ниггер», вряд ли имел шанс проповедовать перед паствой, в основном состоящей из представителей черной расы. В то время, на исходе пятидесятых, в стране активизировалось движение за гражданские права негров. Как религиозный деятель, выступающий на стороне чернокожих, численность которых в городе постоянно росла, преподобный Джонс нашел свое место в жизни, причем весьма доходное.

Надо сказать, что извлечь выгоду он умел всегда и делал это виртуозно, открыто прибегая к банальным рекламным приемам, чтобы создать себе хорошую репутацию и добиться щедрых пожертвований. По всему городу были расклеены плакаты, кричащие о его сверхъестественных способностях: он и проповедник, он

и пророк, он и целитель. В то время как традиционные церкви предлагали своим прихожанам обычную программу из песнопений и нравоучений, «Народный храм преподобного Джонса» выступил как Городская христианская миссия — то есть такое место, где каждый, кому не повезло в жизни, получал не только духовную поддержку, но также и пищу, и кров, и редкую возможность стать для кого-то своим в чужом, неприветливом городе. А еще здесь давали работу. Дешевые рабочие руки требовались на основанных Джонсом малых предприятиях, откуда денежные ручейки стекались в «Народный храм».

Процветание церкви, в свою очередь, привлекало зажиточную публику, и вскоре «Храм» стал чуть ли не самой богатой общиной в тех краях, с хором в сто голосов и ликующими и пляшущими толпами прихожан, собиравшихся на воскресные службы. В будни «Храм» тоже гудел как улей: Джонс все время расширял сферу своей деятельности — то выводил свою паству на демонстрации, ратующие за равноправие в жилищной политике, то присоединялся к маршам протеста «новых левых», чтобы привлечь внимание средств массовой информации, — и вскоре молодой энергичный проповедник стал считаться видным политическим деятелем районного масштаба. 1961 год показал, каким политическим весом обладал Джонс: его назначили председателем городской комиссии по гражданским правам.

Успеху сопутствовали и приметы нового общественного положения Джонса: бриллиантовые перстни, туфли из крокодиловой кожи, путешествия со всеми мыслимыми удобствами. В начале шестидесятых Джонс уже не показывался на публике без свиты, без помощников и телохранителей. Никто из его паствы не обращал внимания на то, что Джонс, проповедуя в основном среди чернокожих, набирает себе приближенных только из белых мужчин. Но если кто и подивился этому, то смолчал, потому что Джонс не терпел инакомыслия и уничтожал его в зародыше. При малейшем ропоте «возмутителей спокойствия» разоблачали и обрабатывали поодиночке.

«Храм», по словам самого Джонса, «собирал урожай с разных полей», но основной доход напрямую зависел от увеличения числа прихожан. Наряду с обычными сборами пожертвований часто проводились так называемые подписные кампании, когда члены общины передавали на нужды церкви свой заработок или пособие, а то и карточки социального страхования. Некоторые заходили в своем рвении так далеко, что переписывали недвижимость и ценные бумаги прямо на имя Джонса.

Джонс был способным проповедником, но главным его коньком было «исцеление верой». Как и прочие целители, он умело нагнетал религиозную истерию, на фоне которой ему сходили с рук все банальные трюки, которыми ловкачи одурачивают публику. Специально нанятые люди разыгрывали роль калек, а потом, якобы исцеленные Джонсом, отбрасывали прочь костыли или выскакивали из инвалидных колясок. На Джонса также работали тайные осведомители, фиксируя все, что говорится в шутку, или с глазу на глаз, или просто слетает с языка. И каково же было удивление доверчивого прихожанина, когда его имя, вместе с тайными помыслами, произносилось с кафедры в назидание прочим.

И все же Индианаполис был тесен для Джонса, чья мания величия требовала больших масштабов. Да и главный источник дохода за несколько лет успел иссякнуть. Пошли слухи, что в «Храме» обирают до нитки, а городские власти стали неодобрительно посматривать на безудержный поток рекламных объявлений, гласящих, что преподобный Джонс излечивает от рака, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний.

При первых признаках неудачи Джонс заявил, что ему было дано откровение свыше. Он сообщил своей пастве сенсационную новость: оказывается, сам Господь Бог явился ему и предупредил, что скоро произойдет ядерный взрыв, после которого на земле мало что уцелеет. Правда, Бог оставит невредимыми два города,

где праведные могут спастись: Белу-Оризонти в Бразилии (там Джонс побывал со своей «миссией» в 1962 году) и Юкию в Калифорнии, в ста милях к северу от Сан-Франциско. Юкия оказалась предпочтительнее, и Джонс с толпой самых верных своих последователей — а таких нашлось больше сотни — пустился в долгий путь через всю страну. Во главе каравана легковых машин и микроавтобусов двигался черный «кадиллак» Джонса. Это было первое наглядное доказательство того, что некоторые готовы пойти за ним хоть на край света.

Джим Джонс настолько ценил себя, что не нашел иного образца для подражания, кроме Святого Отца[1]. Этот сказочно богатый негритянский проповедник своими зажигательными речами привлек к себе огромное число последователей из числа неимущих темнокожих переселенцев, наводнивших в 20 — 30-е годы крупные северные города. «Царство небесное», созданное восторженными почитателями Святого Отца на земле, а именно в бывших гостиничных зданиях на Лонг-Айленде, еще процветало в шестидесятые годы, когда Джонс обдумывал собственный путь. Он верно заметил, что в «Царстве небесном» прекрасно уживались вместе церковь, бизнес и политика. Приверженцы Святого Отца считали его Богом. А белые политиканы называли его черным Цезарем, гениальным политиком, которому стоило только кивнуть — и негритянское население проголосовало бы так, как ему нужно.

В конце пятидесятых жена Святого Отца Сара опубликовала его биографию под названием «Святой Отец — Священный муж», где заявила: «Случись Отцу погибнуть, это бы с неизбежностью привело к массовым самоубийствам негров — его последователей... Что стало бы позором для Америки».

Столь смелое высказывание заинтриговало Джонса, и в начале шестидесятых он со своей свитой отправился в Филадельфию, чтобы лично познакомиться со Святым Отцом. Каково же было его разочарование, когда его кумир оказался не в состоянии его принять — настолько он был стар и слаб. Святой Отец скончался в 1965 году, как раз когда «Народный храм» готовился к переезду в Калифорнию. Джонс с нетерпением ждал сообщений о предсказанных массовых самоубийствах, но ничего подобного не произошло. Хуже того, вдова Святого Отца с кучкой особо приближенных переехала в пригород и стала буквально купаться в роскоши. Об Отце быстро забыли, имя его осталось разве что в трудах ученых-историков. Джим Джонс дал зарок, что с ним такого не случится.

Джонс ни с кем не собирался делиться властью. Сразу же после переезда из Индианы в Калифорнию он основал новый «Храм», четко давая знать прихожанам, кто в нем настоящий хозяин. Распаляясь во время обличительных речей, он мог запросто швырнуть Библию на пол, крича собравшимся: «Слишком многие смотрят на ЭТО, а не на МЕНЯ!»

Не боясь показаться смешным, используя самые избитые театральные приемы, он стал разыгрывать роль «Отца» (он требовал, чтобы именно так его теперь называли) — роль предводителя, которого почему-то преследуют неведомые враги «Храма». Тема преследования была теперь лейтмотивом каждой его проповеди. В 1968 году, после убийства Мартина Лютера Кинга, Джонс напугал прихожан следующим спектаклем: во время воскресной проповеди он упал на алтарь, облитый кровью цыпленка, и выкрикнул, что в него стреляли. Собравшихся охватила паника, кто-то кричал, кто-то безмолвно воздевал руки, а «Отец» тем временем бился в конвульсиях, не забывая читать молитвы, и наконец вскочил на ноги, чудесным образом исцеленный. Публика ревела от восторга.

---

[1] Имеется в виду Джордж Бейкер (1877(?) — 1965), выдающийся американский проповедник. По примеру основанной им состоящей из негров нью-йоркской «коммуны» на Лонг-Айленде в других городах создавались похожие «небесные царства».

Хотя Господь и указал на Юкию как на возможное убежище в случае ядерной катастрофы, Джонсу было там неспокойно. Превратив общину в лагерь, где избранных обучали стрельбе, навыкам самозащиты и искусству выживания в трудных условиях, Джонс снова решил переместить «Храм» — на этот раз в Сан-Франциско. Полмиллиона долларов ушло на переделку старого большого «Масонского дома» на Гиэри-стрит, в районе, где жили темнокожие, причем в двух шагах от «Храма» находился штаб «черных пантер». Сотни сподвижников Джонса расселились в домах по соседству с новым «Храмом» и стали готовить почву для привлечения новичков.

За основу был взят индианаполисский вариант, только разыгрывался он в более крупном масштабе: Сан-Франциско семидесятых годов, с его вольными нравами, предоставлял гораздо больше возможностей для вербовки юных искателей приключений.

«Храм» вскоре стал обращать на себя внимание: на многолюдных шумных сборищах Джонс одновременно клеймил грешников и исцелял больных. По воскресным дням там яблоку негде было упасть. «Храм» с небывалым размахом занялся благотворительностью, устраивая бесплатные обеды, открывая приюты для бездомных, которые затем отрабатывали свой хлеб, трудясь на пользу «Храма». Джонс открыл бесплатную поликлинику, где делали рентген, лечили венерические заболевания и брали анализ крови на выявление малокровия. Открыл он и больницу для наркоманов, а также наладил попечительство о детях и престарелых.

Неутомимый Джонс внедрился в районную администрацию, свел знакомство с политиками, активно занимался общественной работой, вел занятия в вечерней школе, по ходу дела набирая все новых и новых последователей. Как и прежде, повсюду расклеивались весьма лестные для «Отца» плакаты. На одном плакате его именовали «пророком, учителем и государственным деятелем», уверяя, что он «обладает даром ясновидения и спасает всех, кто к нему обращается», и даже «чудесным образом» исцеляет от рака. Листовки заманивали в «Храм» новичков, обещая хор в 185 голосов и бесплатный банкет.

Если говорить о денежных доходах Джонса, то он жил на широкую ногу и разъезжал с шиком, всегда в окружении помощников и телохранителей. Политическая его карьера тоже шла в гору: все политики и журналисты отмечали активнейшее участие его церкви в программах социальной помощи и хвалили его кипучую христианско-просветительскую деятельность. Разумеется, от таких заметок росло число новообращенных и пожертвований.

Джонс сосредоточивал в своих руках власть, как мелкий чиновник районного масштаба, вознамерившийся стать мэром. По его указке то и дело затевались массовые кампании по сбору подписей, а многотысячные толпы отряжались на участие в какой-нибудь демонстрации протеста или в политическом митинге. Кандидаты на государственные посты выстраивались в очередь, чтобы заручиться его поддержкой. В 1976 году во время предвыборной президентской кампании ему наносили визит видные политические деятели, у него даже был неофициальный обед с Розалин Картер, женой кандидата от демократической партии. Учитывая сферу его влияния, ему предложили возглавить местное отделение Национальной ассоциации по улучшению жизни цветного населения — этому назначению способствовало письмо, подписанное всеми прихожанами его «Храма». Он приглашал на свои службы репортеров — чтобы они познали «радость»; он делал щедрые взносы в различные журналистские фонды. Он свел знакомство с Карлтоном Гудлетом, известным негритянским издателем, чья газета «Сан-репортер» назвала Джонса самым популярным политическим деятелем.

В прессе постоянно приводились высказывания Джонса о насущных проблемах городской жизни. За общественную работу его чествовали и награждали. После очередной кампании по сбору подписей, проведенной его «Храмом», Джонса назначили членом комиссии по жилищному строительству; он вскоре её возгла-

вил благодаря мощной поддержке прихожан, которые могли продвинуть любое начинание и захлопать любой возглас протеста.

«Этот парень просто не может сделать ничего плохого», — так отзывался о Джонсе некий газетчик.

На самом деле мог, и еще как. За глянцевым рекламным образом — за аплодисментами, наградами, высокими назначениями — проглядывало что-то нечистое. Как ни странно, все темные истории сохранялись в тайне, пока не стало слишком поздно.

О сексуальной необузданности Джонса поговаривали всегда. Будучи бисексуалом, он хвастался перед дружками, что даже после перемены нескольких партнеров испытывал потребность мастурбировать и делал это не менее десяти раз на дню. Свой интерес к мужчинам он, правда, не афишировал и по вечерам отправлялся в Хайт-Эшбери или в южную часть города за «новобранцами» из числа юных бродяг, приехавших в Сан-Франциско ловить птицу удачи. Джонс с легкостью менял личины: то он, нанюхавшись кокаина, снимает голубого в ночном киноза-
ле (за это его арестовали было в 1973 году, но тотчас же отпустили за недостатком улик), то громогласно клеймит со своей кафедры сексуальную распущенность современной молодежи.

Джонс требовал от своих последователей воздержания — хотя сам, по слухам, устроил настоящий гарем из прихожанок, причем только из белых, — и всячески старался ослабить в своей общине семейные узы. Вовсе запретить брак он, конечно, не смог. Зато можно было попытаться отделить детей от родителей, что он и проделывал. Ведь если узы внутри семьи ослаблены, легче завладеть имуществом отдельных ее членов. И случалось даже, что все, чем владела семья, постепенно отписывалось «Храму».

Легче всего под влияние Джонса подпадали молодые люди, образованные, восприимчивые и при этом имеющие доступ к родительским деньгам. Как и все прочие организаторы сект, он делал ставку на юношеский идеализм. Новообращенные шли гуртом. А угодив в загон, оказывались внутри мощной организации, где не было места случайностям, где все человеческие чувства, мысли, действия подлежали строгому контролю.

Службы в «Храме» теперь все больше походили на театрализованные представления, напоминая отчасти гастроль бродячего проповедника, отчасти политический митинг, а подсвеченный алтарь был скорее декорацией, на фоне кото-
рой разыгрывал свою роль Джонс: отекшее от пьянства и наркотиков, лоснящееся потом лицо, глаза скрыты за темными летчицкими очками, крашеная черная челка липнет ко лбу, красные одежды развеваются, в одной руке микрофон, в другой — Библия... Карикатурный персонаж — и ничего более. Но для своей паствы он был Богом.

Джонс нанял театрального гримера, который пудрил ему лицо, подрумянивал щеки и даже подрисовывал черные бачки, чтобы придать сходство с Элвисом Пресли. Джонс платил мошенникам, которые разыгрывали исцеленных, и нанимал актеров на роль одержимых бесами, которых Джонс победно изгонял.

Тайные осведомители, которые прежде поставляли Джонсу компрометирующую информацию для обличений с кафедры, теперь заводили досье на сотни прихожан: туда заносились все сведения о характере, привычках, ну и, конечно, о доходах человека (чтобы раздобыть все эти сведения, агенты не гнушались и обыском, разумеется тайным).

Джонс хорошо знал, как сильна власть, основанная на коллективном страхе. Он учредил при «Храме» следственную комиссию, призванную выслушивать и разбирать жалобы; на деле же шпионы, заседавшие в ней, строчили доносы на

недовольных. В конце недели в обязательном порядке проводились сеансы «очищения», которые тянулись невыносимо долго, пока у людей не темнело в глазах от усталости. На этих собраниях зловещие подручные Джонса били смутьянов палками. При этом истязаемые должны были кричать: «Спасибо, Отец!»

Со временем разговоры о преследовании и мученичестве стали повторяться все чаще. Привыкший по ходу дела изобретать все новые ходы в собственном богословии, Джонс выдвинул новую теорию — «перемещение», по которой всем членам его церкви суждено одновременно принять смерть и перенестись на другую планету, где вместе со своим пастырем они будут вкушать вечное блаженство. Тогда же Джонс, которого надлежало называть не иначе как «Отец» или «Папа», начал заносить в особый список тех, кто, по его мнению, без особого энтузиазма откликался на призыв умереть со всеми заодно. Уличенных он, по обыкновению, гневно обличал с кафедры: «Тем, кого я сейчас назвал, нельзя доверять!» По его словам, эти люди были еще не готовы умереть «за дело».

Джинни Миллз, которая в конце концов откололась от джонсовской паствы, в своей книге «Шесть лет с Богом» вспоминает, как Отец исподволь заставлял своих подопечных смириться с мыслью о коллективной смерти. «Давайте сейчас проголосуем, чтобы я мог убедиться в вашей верности». И, стоя у алтаря, распинался о том, что наша жизнь — «тоска». «Многие ли из вас, — вопрошал он затем, — готовы отдать жизнь за то, чтобы оградить церковь от грозящего ей позора?»

Предательства можно ждать с любой стороны, говорил он и подчеркивал, что «Народный храм» — это единая семья. И защитить семью от деспотизма может только Отец. Возобновились разговоры о поисках нового убежища. В середине семидесятых Джонс начал усиленную кампанию по сбору средств для перенесения «Храма» в надежное убежище, сродни некой социалистической утопии, где можно не опасаться предательства и грядущей ядерной катастрофы.

Странно, но всю эту сумятицу подчас противоречивых идей последователи Джонса принимали как должное, беспечно повторяя друг за другом: «Папе видней».

К 1977 году, когда местные средства массовой информации вслед за Джонсом повторяли, что «Народный храм» объединил 20 000 человек — а на деле их было менее 3000, — у «Папы» начались неприятности. Впервые некоторые его последователи, недовольные избиениями и унижениями членов церкви, а также встревоженные все более мрачными мессианскими фантазиями самого Джонса, стали потихоньку отходить от церкви. Поначалу они были одиноки, зачастую стыдясь того, что так легковерно отдали все секте. Но затем отступники стали разыскивать друг друга, чтобы обменяться впечатлениями. Было решено сделать публичное заявление, что власть Джонса над большинством его последователей держится на запугивании, обмане и мошенничестве.

Среди отделившихся была одна супружеская пара (оба белые) — Элмер и Деанна Миртл, они вместе со своими пятью детьми были прихожанами «Народного храма» с 1969 по 1975 год. Деанна Миртл раньше принадлежала к церкви Адвентистов седьмого дня[1], муж ее был борцом за гражданские права и участвовал в маршах Кинга в Селме[2]. Они пришли в «Народный храм» потому, что оба верили в так называемый апостольский социализм, и перевели на имя Джонса все свои сбережения, а также недвижимость на сумму 50 000 долларов. Как и другие прихожане, подчиняясь странным требованиям Джонса, они поставили свою подпись под текстом ложной «повинной», но сбежали, как только поняли, что Джонс

---

[1] Адвентисты седьмого дня — последователи одного из течений в протестантизме, возникшего в 30-е гг. XIX века в США. Оформились в самостоятельную церковь в 1863 г.

[2] В г. Селме проходили демонстрации за гражданские права негров, организованные Мартином Лютером Кингом.

не шутя призывал к массовому самоубийству. Миртлы настолько серьезно решили покончить со своим прошлым, что даже сменили имя и фамилию и стали зваться Эл и Джинни Милс.

Они показали под присягой, что Джим Джонс имел «странную власть» над своими людьми, одним из источников которой они считали «чувства страха и вины, обостренные предельным переутомлением» во время всенощных бдений и служб «очищения». «Наказания были оправданными в наших глазах, потому что мы верили, что Джонс — Бог и не может сделать ничего плохого, — писала, оглядываясь на прошлое, Джинни Милс. — И мы искренне верили, что он всегда будет думать о нас».

После ухода из «Храма» не только Милсы, но и другие стали получать анонимные письма с угрозами, а домой к ним зачастили делегаты с требованием вернуться. К некоторым отступникам просто врывались в дом, избивали и грабили.

Но у Джонса всегда было в запасе сильное средство — он умело манипулировал общественным мнением. Отступникам пришлось создать инициативную группу «Товарищи по несчастью». Вместе с родственниками последователей Джонса, считавших, что их близкие стали заложниками опасной секты, они попытались высказаться публично, но их никто не стал слушать: такая, например, газета, как «Сан-Франциско кроникл», в которой из года в год печатались восторженные отзывы о Джиме Джонсе, достойнейшем общественном деятеле, была явно не склонна признавать свою прежнюю восторженность всего лишь данью рекламному бизнесу. И все же они сумели привлечь внимание одного репортера по имени Маршалл Килдруфф, собиравшего материал для статьи о «Народном храме» для журнала «Нью уэст». Килдруфф стал выяснять, что скрывается за столь привлекательным для обывателя фасадом, возведенным Джонсом, и обнаружил, что «Храм» зиждется на обмане, запугивании, принуждении — именно поэтому Джонсу удавалось держать в повиновении столько людей.

Нетрудно было угадать, что за этим последует. Как только Джонсу донесли о готовящейся статье, прихожане «Храма» завалили редакцию письмами в поддержку Джонса, а в здание редакции ночью проникли воры и выкрали черновик статьи Килдруффа. Тем не менее в августе 1977 года в журнале был напечатан разоблачительный материал, где Джонса обвиняли в мошенничестве, растлении малолетних, оскорблении словом и действием, а также в преступном вымогательстве якобы на нужды «Народного храма». Статья произвела сенсацию. Спустя две недели напуганные представители городских властей облегченно вздохнули, получив от Джима Джонса письмо с отказом от занимаемой должности в Комиссии по жилищному строительству. На почтовом штемпеле значилось: «Кооперативная республика Гайана».

Джонс уехал из города как всегда вовремя, на шаг опередив шерифа. Очередная кампания по сбору средств для создания социалистической коммуны подальше от любопытных глаз, там, где его власть была бы абсолютной, увенчалась беспрецедентным успехом. На строительство нового мира по собственному плану Джонс получил свыше миллиона долларов. Исследовав и забраковав предложенные участки в Кении и на Кубе, Джонс остановил свой выбор на такой точке земли, которую не всякий и отыщет на карте. Гайана, бывшая британская колония, расположена на атлантическом побережье Южной Америки как раз между Венесуэлой и Бразилией. Правительство Гайаны, представленное в основном чернокожими марксистами, по достоинству оценило пропагандистское значение бегства целой группы американцев, в большинстве своем чернокожих, от империалистической тирании США. К тому же у главы переселенцев была куча денег, которыми он сорил направо и налево.

«Народный храм» в Гайане станет сельскохозяйственной миссией», — заявлял Джонс на первых порах (пока прежний рекламный имидж еще работал на него). Перед миссией была поставлена цель — производить как можно больше сельскохозяйственной продукции, чтобы накормить голодающих. Осуществлять надзор над делами колонии должен был родной сын Марселины и Джима Джонсов — Стивен, которому к тому времени исполнилось семнадцать лет. В 1977 году Стивен возглавил первую группу переселенцев из пятидесяти человек, прибывших в новую социалистическую утопию в непроходимых тропических лесах. Им предстояло обживать участок земли в 3800 акров в непроходимых джунглях на северо-западе страны, у самой венесуэльской границы, причем до ближайшего населенного пункта — столичного города Джорджтауна — было 150 миль. Долгие месяцы люди работали от зари до зари, вырубали кустарник, валили деревья, расчищали участки земли, пахали, сеяли, строили крытые жестью сооружения, которым предстояло стать бараками для жилья, для отдыха, а также складскими помещениями будущего примитивного поселка, который сначала назывался «Джонстаунская сельскохозяйственная и медицинская миссия», а затем просто — Джонстаун.

В последующие месяцы к поселенцам прибыло пополнение — не были забыты и «возмутители спокойствия», которые, по мнению Джонса, нуждались в наглядном примере для перевоспитания. Среди первых поселенцев были сотни пожилых людей.

В последние месяцы 1977 года — часто втайне от родных и знакомых — большая часть сан-францисского прихода «Народного храма» готовилась присоединиться к своим собратьям в Джонстауне. К концу года, когда обличения, начатые журналом «Нью уэст», стали обрастать все более зловещими подробностями, вся община благополучно переместилась из Сан-Франциско в отдаленный, затерянный в глуши рабочий лагерь в Гайане. В начале следующего, 1978 года даже газета «Сан-Франциско кроникл», некогда превозносившая Джонса, вдруг прозрела и в довольно резкой форме представила своим читателям Джонстаун как заставу в джунглях, где преподобный Джим Джонс руководит публичными экзекуциями, держит пятьдесят вооруженных охранников и готовит своих приверженцев — а их тысяча сто человек — к массовому самоубийству.

Вынужденный обороняться, даже находясь за тысячи миль от противника, аппарат по связям с общественностью при «Народном храме» выдал из джунглей ответный залп. В мае 1978 года американские средства массовой информации США были засыпаны специальными разъяснениями для прессы, где противники Джонса презрительно именовались «грязной шайкой» отступников, развратников и растратчиков, которые в свое время были отлучены от церкви и теперь ищут повода отомстить. Чтобы заявления не были голословными, к ним прилагались «покаянные» письма.

Летом того же года группа «Товарищи по несчастью», узнав о подготовке массового самоубийства в Джонстауне, потребовала от общественности принять хоть какие-то меры, на что из джунглей последовал новый пресс-релиз, в котором отщепенцев обвиняли в «политическом заговоре» против церкви. В нем говорилось также: «Мы готовы из последних сил, жизни своей не щадя, защищать Джонстаун. Таково единодушное мнение нашей общины».

Нанятый Джонсом адвокат Марк Лейн, известный как участник расследования обстоятельств убийства президента Кеннеди, провел в сентябре пресс-конференцию о якобы существующем «заговоре, имеющем целью уничтожение «Народного храма» в Джонстауне и лично Джима Джонса».

Но кроме той информации, что всплывала во время словесных баталий на страницах периодики, никаких сведений о жизни в Джонстауне не поступало.

Среди всех возможных видов связи с поселением действовали только почта и радиосвязь на коротких волнах. Причем вся входящая и исходящая корреспонденция, как устная, так и письменная, тщательно проверялась бдительными помощниками Джонса.

Джонстаун был, по сути дела, плантацией, которой управляло семейство Джонсов со своей белой свитой, а черное большинство с утра до вечера работало на полях, в тропическую жару, под присмотром белых охранников, примечавших каждое движение и каждый взгляд. Рабочий день начинался в семь утра и заканчивался с заходом солнца, затем следовали обязательные для всех собрания, которые порой затягивались до двух-трех часов ночи — пока люди не падали от изнеможения. Благодаря своей территориальной изоляции и особым, льготным условиям аренды, на которые согласилось правительство Гайаны, Джонстаун стал по сути автономной диктатурой, имеющей собственную полицию, суд, тюрьму, школу, систему здравоохранения и самообороны. И при этом никаких жалоб на самовластие Джонса не поступало.

Рекламные брошюры, посылаемые тем членам общины, которые еще оставались в Калифорнии, рисовали тропический рай: пальмы, счастливые лица... Но за кадром оставалась охрана, ханжески именуемая «командой обучения» — сто человек отъявленных головорезов, вооруженных винтовками, пулеметами и самострелами. Как и сам Джонс, члены «команды» имели доступ к спиртному, импортной еде, а также могли свободно выбирать сексуальных партнеров как среди женщин, так и среди мужчин, разумеется, не спрашивая их согласия.

Теперь Джонс мог не оглядываться на сторонних наблюдателей: в его примитивном полицейском государстве людей кормили чем попало, даже червивой пищей, и вынуждали работать и жить в антисанитарных условиях. У детей были глисты, вши, страдали они и различными инфекционными заболеваниями. Не лучше обстояли дела и с социальной структурой общины. Пользуясь неограниченной властью, Джонс постарался разрушить то немногое, что оставалось от семейных связей. Мужчины и женщины жили в разных бараках, детей держали отдельно от родителей.

За малейшее нарушение этих и сотен других правил виновных жестоко наказывали. Избиение или порка стали делом обычным. Другим видом наказания была так называемая растяжка, когда четыре здоровяка-охранника хватали нарушителя за руки и за ноги и тянули каждый в свою сторону, пока тот не терял сознание. Провинившихся женщин избивали, после чего выставляли голыми или принуждали оказывать экзекуторам сексуальные услуги на виду у всего лагеря. Если мужа с женой заставали за беседой с глазу на глаз, то женщину или ее дочь (если в этой семье была девочка-подросток) могли принудить к прилюдной мастурбации. Провинившихся наказывали теперь едва ли не каждый час, но самые серьезные провинности разбирали поздно вечером, на общелагерных собраниях, где председательствовал Джонс. Он восседал на своем деревянном «троне», на деревянных подмостках для алтаря, построенных на просторной веранде, служившей одновременно и лагерной столовой. Иногда нарушителей приволакивали, предварительно избив или накачав наркотиками до бессознательного состояния, — и Джонс их «воскрешал». Если ребенок совершал даже незначительную провинность — скажем, обращаясь к Джонсу, забывал назвать его «Отец», то его могли неделями держать в деревянном ящике или давали есть острый перец, пока не начиналась рвота, а потом заставляли глотать рвотную массу. В избиении детей Джонс участвовал лично, метко нанося удары и пинки, при этом не выпускал из руки микрофона, и вопли жертв транслировались через усилители, развешанные по всему лагерю: «Прости, прости меня, Отец!» Детей избивали, окунали головой в воду, подносили к лицу живых змей, и на все это они обязаны были отвечать: «Спасибо, Отец!»

Во время долгих ночных сборищ, разглагольствуя перед собранием, Джонс прочитывал и вести из дома, мрачными красками расписывая все ухудшающиеся условия жизни в США, например, сообщал, что в Лос-Анджелесе объявлена эвакуация в связи с угрозой войны двух рас. Все это время джонсовское восприятие окружающего мира все более искажалось от постоянного приема амфетаминов и транквилизаторов. Психотропными средствами, которыми обычно успокаивают буйнопомешанных, напичкивали лагерных «смутьянов» и просто недовольных, в том числе и детей. Таких людей держали под стражей в специальных «отделениях длительного лечения», внешне напоминающих сараи.

Уйти из лагеря живым было абсолютно невозможно. Днем и ночью вооруженные охранники обходили границы поселения, одним своим видом отбивая охоту бежать у всякого, кто в безумии отважился бы поискать спасения в непроходимой чаще. Трижды в день проводилась перекличка. Никакой надежды на спасение не было. Посторонних в колонию не пускали, а те немногие, кому удалось добиться разрешения побывать в лагере, видели только счастливые лица людей — за работой в поле, на лесопилке, на отдыхе, на баскетбольной площадке. Гостей угощали вкусным обедом, за ним следовали песнопения и выступления взрослого и детского ансамблей.

Джонстаун находился под особым покровительством правительства Гайаны, и работники посольства США в столичном Джорджтауне не склонны были устраивать шумное расследование в ответ на жалобы, поступающие из Калифорнии. Они ответили, что понимают всю серьезность заявлений, но предупредили, что в лагерь нельзя нагрянуть неожиданно — потребуется как минимум два-три дня, чтобы получить пропуск. Один из дипломатов позднее скажет, что никто толком не знал, что собой представляет Джонстаун. «Мы думали, они вроде квакеров», — простосердечно сознался он.

Безнадежно оторванная от остального мира колония, жизнь которой из-за безудержной истерии параноика Джонса превратилась в постоянный кошмар, готовилась к смертельному исходу.

Так называемые «Белые ночи» — жуткие репетиции массового самоубийства — стали неотъемлемой частью лагерной жизни. Без предупреждения, обычно в предрассветный час, вдруг начинали завывать сирены, а из громкоговорителей неслось: «Тревога! Тревога! Тревога!» Мужчины, женщины, дети вставали, одевались и молча направлялись к веранде, где в ярком свете прожектора уже поджидал их Джонс. «Наемники ЦРУ добрались до нас и ждут момента, чтобы нас уничтожить», — верещал он, тыча рукой куда-то в черноту леса, стеной окружившего лагерь.

Во время «Белых ночей» все выпивали по стакану ароматизированного напитка, зная со слов Джонса, что это яд. Таких ночей за последний год существования Джонстауна было сорок четыре. И каждый раз поселенцы покорно выпивали, что им было велено, и отправлялись спать, потому что, как объяснял Джонс, «это была очередная репетиция». И только в последний раз все разыгралось по-настоящему.

Людей, с тревогой следивших за развитием дел в Джонстауне, становилось все больше. Расследовать происходящее решился член Конгресса от округа Сан-Матео, демократ Лео Райан. Сторонники называли его либералом-реформатором, болеющим за дело общества, противники же подсмеивались над его попытками прославиться любой ценой. Так или иначе, пятидесятитрехлетний член Комитета по иностранным делам Палаты представителей предпринимает поездку в Гайану, чтобы получить ответы на некоторые вопросы, касающиеся, как он выразился, угрозы для тысячи человек стать жертвами бандитизма в Джонстауне. Райан за-

верил, что, если подтвердятся сообщения о том, что людей там удерживают силой, он всех привезет домой.

Из этой поездки он не вернулся.

Поездку наметили на ноябрь. Райан постарался заручиться поддержкой общенациональных информационных агентств. Сопровождать его согласились восемь журналистов, в числе прочих репортеры из «Вашингтон пост», «Эн-би-си ньюс» и «Сан-Франциско кроникл». Ядро делегации составляли сам Райан, его помощница Жаклин Спир и Джеймс Скоулларт из Комитета по иностранным делам. К ним присоединились тридцать «товарищей по несчастью».

С первых же дней в Джонстауне существовала должность начальника медицинской службы. Доктор Ларри Шахт, получивший специальное образование на деньги «Народного храма», стал главным медиком колонии. Делегация Райана летела в Гайану, а доктор Шахт в своей аптеке в это время занимался важным делом. Он принимал новую партию медикаментов, заказанных Джонсом. Это был жидкий цианид.

15 ноября 1978 года американские гости прибыли в аэропорт под Джорджтауном. Но им пришлось проторчать в столице еще несколько дней, прежде чем правительство Гайаны дало разрешение на посещение Джонстауна. Для начала им недвусмысленно дали понять, что их приезду никто особенно не радуется: в гостинице, где разместили американцев, появился человек от Джонса и вручил Райану петицию, в которой шестьсот обитателей колонии расписались под требованием к своим согражданам убираться прочь и оставить их в покое.

В сопровождении репортера «Вашингтон пост» Чарльза Краузе Райан направился в офис «Народного храма», расположенный в Джорджтауне. «Я Лео Райан, отчаянный парень. Кто-нибудь хочет поговорить со мной?» — спросил он прямо с порога. Желающих не нашлось. Ему сообщили, что с Джонсом поговорить тоже не удастся: тот не дает интервью. Вернувшись в гостиницу, Райан решительно заявил репортерам, что он поедет в Джонстаун независимо от того, ждут его там или нет. Утром в пятницу, когда наконец от правительства пришло разрешение на поездку, представители «Народного храма» в Джорджтауне адвокаты Марк Лейн и Чарльз Гарри позвонили Джонсу на плантацию и посоветовали все-таки принять гостей. Гарри сказал Джонсу: «Вы, конечно, можете послать куда подальше и американский Конгресс, и прессу, и всех этих родственников. Если вы это сделаете — всему конец. Другой вариант: вы встречаете их и доказываете всему миру, что ваши клеветники — просто безумцы».

Джонс согласился принять делегацию, хотя все это ему явно не нравилось. Незадолго до прибытия гостей обитателей Джонстауна предупредили, что нужно быть начеку. Громкоговорители внушали: «Каждый, кто сделает что-нибудь не так, будет жестоко наказан».

Делегация Райана вылетела во второй половине дня на небольшом заказном самолете, на борту которого могли разместиться только девятнадцать пассажиров. Вместе с Райаном летели два его помощника, девять журналистов, сотрудник посольства США в Гайане Ричард Дуайер, один представитель гайанского правительства и четверо «товарищей по несчастью». Полет в Джонстаун, над девственным тропическим лесом, занял один час.

Около четырех часов дня самолет сел на взлетно-посадочной полосе — простая гравийная дорожка и жестяной навес вместо ангара. Неподалеку виднелась тихая деревушка под названием Порт-Кайтума, от которой до Джонстауна было шесть миль на север, по грунтовой дороге. К самолету подъехал желтый грузовик с шестью представителями «Храма».

Краузе вспоминал, что, когда он впервые увидел плантацию, глазам его представилась идиллическая картина, как из фильма «Унесенные ветром»: «Старые

негритянки пекли хлеб в пекарне, кто-то стирал в прачечной, белые и черные ребятишки играли в салочки на детской площадке, а чуть поодаль сидели за длинными столами в ожидании ужина остальные колонисты, в основном чернокожие». И поначалу лагерь показался ему «мирным буколическим уголком».

Марселина Джонс любезно встретила гостей и повела их к длинному деревянному столу под навесом. Там их ждал улыбающийся Джим Джонс, в шортах цвета хаки и спортивной рубашке, в неизменных своих летчицких очках.

Пока журналисты из «Эн-би-си ньюс» готовились к интервью с Джонсом, Райан пошел погулять по лагерю и перекинуться парой слов с кем-нибудь из местных жителей. Предложенный гостям ужин оказался на удивление обильным и вкусным: горячие сандвичи со свининой, капуста и картофельный салат — и все это подавалось на пластмассовых подносах.

После ужина зажглись неяркие лампы. Оркестр Джонстауна исполнил сначала гайанский национальный гимн, затем — «Прекрасную Америку». Когда все сели, начался двухчасовой концерт, где было все по полной программе — и хоровое пение, и детские пляски.

Райан был растроган и начал было подумывать, что все те ужасы, о которых ему твердили родственники колонистов, были, мягко говоря, преувеличением. После представления его попросили сказать несколько слов собравшимся, так что он и вовсе расчувствовался.

Он сказал:

— Я слышал о Джонстауне много неприятного, но теперь лично убедился, что все эти люди знают одно: здесь им лучше, чем где бы то ни было. Мне не в чем их упрекнуть.

Когда он замолчал, семьсот колонистов, собравшихся на веранде, встали и бурно зааплодировали.

Но Джонс, успевший принять изрядную дозу амфетамина, сам все испортил. Отвечая на вопросы журналистов, позируя в черных очках, несмотря на сгустившийся мрак, он постепенно становился все более раздражительным и агрессивным.

— Говорят, я стремлюсь к власти, — и он обвел рукой в сверкающих перстнях свою улыбающуюся паству. — О какой власти может идти речь, когда я уже на пороге смерти? Я ненавижу власть. Ненавижу деньги. Я хочу только покоя. Мне все равно, за кого меня принимают. Но всякую критику Джонстауна нужно прекратить, — заявил он неожиданно резко. — Если бы мы сами могли прекратить эти нападки! Но раз мы не можем, то я не поручусь за жизнь тысячи двухсот своих людей...

Тут гостей вдруг попросили удалиться и прийти на следующий день к завтраку. Их отвезли к месту стоянки самолета, и они провели ночь в спальных мешках.

На другой день в атмосфере явно что-то переменилось, и американцы поняли, что загостились. Прогуливаясь по лагерю после завтрака, журналисты заметили, что, несмотря на тропическую жару, некоторые бараки наглухо закрыты, а окна в них зашторены. На вопрос, кто там находится, охранники довольно бесцеремонно отвечали, что там прячутся те, кто боится пришельцев.

И все-таки журналисты уговорили охрану показать им один из бараков изнутри. Они увидели ряды коек — больше сотни, они нависали одна над другой в два, а то и в три яруса. На койках лежали старики чернокожие. Старая медсестра, Эдит Паркс, украдкой шепнула одному из репортеров, что хотела бы, чтобы он забрал ее из лагеря, где кроме нее живут еще ее сын, невестка и трое внучат.

Журналисты поспешили к Джонсу, чьи попытки представить все, в том числе и себя самого, в лучшем свете явно не удавались. Перед оператором «Эн-би-си» предстал человек с помятым лицом, налитыми кровью глазами, необычайно возбужденный. Дон Харрис из «Эн-би-си» спросил его, правду ли говорят, что вооруженные охранники поставлены для того, чтобы люди не могли сбежать из лагеря.

— Наглая ложь! — заорал Джонс.

И продолжал кричать, быстро теряя над собой контроль:

— Нас всех тут опутали ложью! Это конец! Лучше бы я умер!

Телекамера крупным планом снимала его лицо, а он тем временем изрыгал проклятия по адресу неких злобных заговорщиков.

— Хоть бы меня застрелили! — кричал он. — Теперь пресса начнет поливать нас грязью как последних убийц!

Харрис остолбенел. Казалось, он присутствует при распаде личности, причем происходило это на виду у всех, перед работающей камерой. Пользуясь моментом, он передал Джонсу записку, в которой один из колонистов просил отпустить его.

— Тебя разыгрывают, друг мой, — нашелся вдруг Джонс и с отвращением порвал записку на мелкие кусочки. — Они лгут. Но что же я могу поделать, если вокруг столько лжецов? — Но бегающий взгляд, искаженное страхом лицо — все это говорило о том, что он загнан в угол. — Кто хочет уйти от нас? Если такие есть — уходите, милости просим! — надсаживался он. — Любой может убраться отсюда, если захочет. Чем больше народу уйдет, тем проще нам будет жить: меньше ответственности. На что, черт побери, нужны эти люди?

Между тем небо нахмурилось. Налетел ветер, стал накрапывать дождь. В это время к Джонсу подошел Райан, а следом за ним — взволнованный поселенец, попросивший отпустить его вместе с детьми.

— Есть еще одна семья из шести человек, — сказал Райан. — Они тоже хотят уйти.

Всего таких набралось пятнадцать человек, и Райан опасался, что самолет, рассчитанный только на девятнадцать пассажирских мест, всех не поднимет.

Джонс не унимался.

— Меня предали! Этому не будет конца! — но тут же сам предложил оплатить транспорт для всех желающих уехать. — Я заплачу! Американскими долларами! — вопил он.

Но охранники уже уводили людей к желтому грузовику, который должен был отвезти их к самолету.

Джонс обратился к миссис Паркс, которая была рядом с ним еще с индианаполисских времен, а теперь смотрела на него с печальным укором.

— Вы не тот человек, которого я знала когда-то, — произнесла она с горечью.

— Не делай этого, Эди, — взмолился Джонс. — Подожди, пока он уедет, и я отдам вам и деньги, и паспорта.

— Нет, — ответила старая женщина, собрав всю свою волю. — Это наш единственный шанс. Мы уходим.

Возникло некоторое замешательство, сын Эдит искал своего ребенка, который куда-то убежал. Дождь сильнее забарабанил по листьям. Внезапно дюжий охранник набросился на Райана сзади и приставил длинный нож ему к горлу.

— Конгрессмен Райан, ты ублюдок, — выпалил он, а стоявшие рядом поселенцы смотрели на эту сцену кто с ужасом, а кто и с одобрением.

Адвокаты Лейн и Гарри бросились на охранника, пытаясь освободить перепуганного конгрессмена. В схватке охранник порезал себе руку, и его кровь брызнула на белую рубашку Райана.

Кое-как инцидент замяли. Тем пятнадцати членам общины, за которых просила делегация, разрешено было покинуть лагерь.

К трем часам пополудни подкатил открытый грузовик, чтобы доставить Райана с товарищами и пятнадцать отказников к взлетно-посадочной полосе, откуда самолетом можно было переправиться в Джорджтаун. Как только грузовик тро-

нулся с места, один из главных помощников Джонса, Ларри Лейтон, запрыгнул в кузов. Беглецы с испугу прижались к борту. «Он убьет нас!» — закричал кто-то. Райан пытался успокоить взволнованных людей, а сам с тревогой думал о том, что дорогу совсем развезло, грузовик еле тащится, и едва ли до наступления темноты им всем удастся переправиться на самолете в столицу.

Машина добралась до взлетно-посадочной полосы только в четыре тридцать. Самолета не было. В ожидании самолета сотрудник «Эн-би-си» Дон Харрис готовился сделать еще одно интервью с Райаном. Наблюдая, как угасает день, остальные продолжали взволнованно обсуждать нападение на конгрессмена. Фотограф из сан-францисской газеты достал свой фотоаппарат и стал снимать все подряд.

Над верхушками деревьев показался самолет. Все вздохнули с облегчением, увидев знакомый девятнадцатиместный «Оттер». Следом за ним летел еще один самолет, «Сесна», на шесть мест. Один за другим самолеты-спасатели коснулись земли и, подпрыгнув раз-другой, остановились на взлетно-посадочной полосе. Райан со своей помощницей Джекки Спир организовали посадку пассажиров, составив списки улетавших первым рейсом и тех, кому придется подождать до следующего раза.

«Сесна» была укомплектована полностью. Райан стоял теперь перед «Оттером», подсаживая других пассажиров. Лейтон настаивал на том, чтобы Райан летел с первой группой. Райан не успел ответить: раздался крик. На дороге показался трактор, тащивший на прицепе фургон. Он остановился между самолетами. Из фургона выпрыгнули трое подручных Джонса с автоматами и без предупреждения открыли огонь. Те, кто не успел сесть в самолет, пустились бежать или бросились ничком на землю. Дуайер, представитель правительства Гайаны, был убит первым. Патриция, дочь Эдит Паркс, упала у самой двери «Оттера», обезглавленная бешеной пулеметной очередью. Один из бандитов выстрелил в упор, прямо в лицо, Грегу Робинсону, фотографу из Сан-Франциско, который до последней минуты не выпускал из рук фотоаппарата. Журналист из «Кроникл» Рон Джаверс упал, раненный в плечо. Репортеру из «Вашингтон пост» Чарльзу Краузе пуля раздробила бедро.

Действуя хладнокровно и методично, убийцы обошли вокруг самолета и нашли оператора «Эн-би-си» Роба Брауна, который из своего укрытия продолжал снимать. Его ранили в ногу, и он упал рядом с камерой. Один из джонсовских головорезов подошел к оператору вплотную, приставил дуло автомата к его виску и выстрелил.

Райан и Харрис попытались спрятаться за толстыми колесами самолета, но и там их настигли пули. Один из палачей нашел их и, уже мертвых, расстрелял в упор. На всякий случай он выстрелил и в убитого Робинсона. Затем бандиты забрались обратно в фургон и уехали.

Самолет «Сесна» с теми, кто уцелел, все-таки сумел взлететь, но «Оттер» не смог, он был сильно поврежден. Вокруг оставались лежать убитые — Райан, Харрис, Браун, Робинсон и одна из сбежавших от Джонса женщин — и одиннадцать раненых. Корчась и крича от боли, оставшиеся провели всю ночь под открытым небом, пока наутро их всех не забрал самолет, прилетевший из Джорджтауна.

Пока шла кровавая бойня на взлетно-посадочной полосе, Джонс в слепой ярости отдал приказ готовиться к небывалой по жестокости «Белой ночи». Два адвоката, оставшиеся в Джонстауне, понятия не имели о том, что произошло в шести милях от поселения. Тем не менее Лейн, которому был пятьдесят один год, и его семидесятидвухлетний коллега Гарри, потрясенные нападением на конгрессмена, взволнованно обсуждали возможность покинуть Джонстаун на следующее утро. К ним подошел помощник Джонса и сказал:

— Отец хочет вас видеть.

Он повел их на площадку, где на скамейке, растрепанный, обезумевший, сидел и плакал в одиночестве Джонс.

— Это ужасно, ужасно, — повторял он и рассказал, что трое из его охраны поехали догонять Райана и неизвестно, что они могут натворить. — Они так любят меня и могут сделать что-нибудь ужасное, что повредит моей репутации. Они собираются стрелять в людей и в самолеты... Они хотят убивать... Они взяли с собой все наше оружие!

Джонс лгал. Он сам отдал приказ расправиться с делегацией. А затем приказал готовиться к последней «Белой ночи».

Завыли сирены, закричали в один голос громкоговорители: «Тревога! Тревога!» Но теперь уже это была не репетиция. Всем колонистам велено было надеть свою лучшую одежду.

Не обращая внимания на весь этот шум, Джонс мрачно глянул на испуганных адвокатов:

— Мои люди кое-что имеют против вас. На собрании могут быть всякие неожиданности.

Он встал и, направляясь к веранде, велел адвокатам укрыться в домике для гостей и оставаться там до тех пор, пока он не подаст знак выйти. На пороге бунгало они столкнулись с охранником, который сказал им просто: «Теперь мы умрем». Из зловонных бараков один за другим молча выходили последователи Джима Джонса и привычно выстраивались перед верандой, повинуясь хриплым призывам громкоговорителя.

Когда прозвучал сигнал тревоги, повар Стенли Клейтон как раз готовил ужин. «Белые ночи» стали в лагере настолько привычным явлением, что он спокойно продолжал помешивать поварешкой варево из бобовых. Но тут ввалились два вооруженных охранника и велели ему идти вместе со всеми. Тогда наконец он понял, что это не репетиция.

Джонс занял свое место на троне — как он сам говорил, «на алтаре». Как всегда, в руке его был микрофон. Рядом с ним, на столе, стоял магнитофон: он рассчитывал записать свою последнюю проповедь — для будущих поколений.

Сначала вокруг Джонса суетились его помощники, желая лишний раз удостовериться, что верно поняли его указания. Все пути возможного побега были перекрыты вооруженной охраной. Адвокаты наблюдали за всеми этими приготовлениями с нарастающим чувством страха.

Лейну удалось подозвать одного охранника, который рассказал, что Джонс готовит акцию массового самоубийства в знак протеста против «расизма» и «фашизма». Это уже не репетиция, добавил он.

— Тогда мы с Чарльзом напишем о том, что тут творится, и о том, ради чего вы это делаете, — предложил Лейн.

— Хорошо, — отвечал охранник.

Оценив ситуацию, адвокаты решили бежать. Потихоньку они выскользнули из бунгало и спрятались в густых зарослях. Это спасло им жизнь.

Тем временем вся община собралась вокруг Джонса, и он начал свою последнюю речь, которая постепенно становилась все более невнятной. Начал он с объявления, что их путь завершен.

— Я хочу, чтобы дети мои были первыми, — сказал он. — Возьмите сначала младенцев.

На длинном столе рядом с ним медсестры наполняли шприцы цианидом, чтобы впрыснуть яд в рот малышам. Охранники оцепили место, где сидел Джонс. Некоторые держали оружие наизготовку.

По мере того как пространство вокруг «алтаря» заполняли все прибывающие члены общины (числом больше тысячи), старший помощник через громкоговорители давал указания охранникам: «Если заметите труса или предателя, если кто-то при вас попытается бежать — пристрелите такого человека».

Затем послышался голос Джонса:

— Не будем ссориться. Сделаем все как следует.

Он держал палец на клавише магнитофона, то включал его, то выключал — редактировал свою речь, когда понимал, что заговаривается.

— Несмотря на все мои старания защитить вас, нашлась горстка людей, которые своей ложью сделали нашу жизнь невозможной, — заявил он. — Их предательство — это преступление века!

Старый испытанный прием снова сработал. Кто-то из джонсовской паствы зашелся в «религиозном» экстазе. Другие приплясывали вокруг трона. Многие пели.

— А знаете ли вы, что произойдет через несколько минут? Один из тех людей в самолете убьет пилота. Я не просил его об этом. Это произойдет само собой, как возмездие. Они спустятся сюда на парашюте.

Он еще долго говорил о том, как тяжко пришлось ему из-за предательства, какое давление на него оказывали и как он сопротивлялся... Потом он велел всем выпить яд:

— Пусть каждый возьмет свою чашу, как это делали древние греки, и тихо отойдет. — Он называл это «революционным» шагом.

— Они возвращаются к себе, чтобы порождать новую ложь, новых конгрессменов...

И снова начал поторапливать людей, они должны умереть побыстрее: «Сначала — дети»...

Джонс все больше и больше взвинчивал себя. Он сделался почти безумным. Знаменательное событие, так многократно и с успехом отрепетированное, наконец-то должно было свершиться. В медицинской палатке рядом с верандой доктор Шахт готовил напиток в большом корыте с красной надписью по краю: «Ароматизировано». Он выливал туда содержимое из больших аптекарских склянок.

Джонс тем временем продолжал:

— Если кто-то не согласен со мной, пусть говорит.

Как ни странно, такой человек нашелся, он спросил, почему дети должны умирать первыми.

— Если дети останутся жить после нас, их всех перережут, — ответил на это Джонс.

Другой человек спросил, нельзя ли переселиться из джунглей куда-нибудь еще дальше и зажить там новым домом? На что Джонс ответил, что жребий брошен.

— Слишком поздно. Мои люди взяли с собой оружие. Райан и все остальные мертвы! Враги подбираются к лагерю со всех сторон, чтобы уничтожить Джонстаун и отомстить за своих!

Молодая мать вышла вперед, к самому алтарю, и сказала:

— Я смотрю на этих детишек и думаю, что они заслуживают того, чтобы жить.

Джонс остановил магнитофонную запись и уставился на нее.

— Я хочу видеть, как ты умрешь, — прошипел он.

Затем доктор Шахт с медсестрой принесли корыто с цианидом и поставили на стол. Разложили вокруг шприцы и расставили бумажные стаканчики. Охранники выкрикивали команды. Привыкшие подчиняться, прихожане встали в очередь.

— Пожалуйста, дайте нам этого лекарства, — попросил Джонс врача как бы от имени всех. И стал объяснять людям, что «это очень просто. Никаких конвульсий, ничего такого».

Джонс передал микрофон взволнованному добровольцу, который протолкался к алтарю сквозь густую толпу.

— Я готов уйти, — послышался его надрывно-ликующий голос. — И если вы скажете нам: умрите прямо сейчас, то мы готовы. И все наши братья и сестры с нами!

На самом деле это было не совсем так. Не все хотели умирать. Из толпы донесся ропот. Но как всегда, недовольных быстро засекли и увели с веранды. Коекого охранники оттащили подальше, избили, а потом втолкнули на прежнее место в очереди. Стратегия быстрого реагирования принесла свои плоды. Возгласы недовольства сами собой стихли.

— Быстрее! — в каком-то умоисступлении орал в микрофон Джонс. — Быстрее, дети мои! Это лекарство принесет вам долгожданный покой... Вам не будет больно!

Он стоял, с красным лицом и безумными глазами, залитый ярким светом прожектора, а сотни людей перед ним — мужчины, женщины, дети, ушедшие вслед за ним в джунгли, — один за другим шли к своему последнему, смертоносному причастию.

— Я делал все, чтобы этого не случилось, — стонал он со сцены. — А сейчас я думаю, что нельзя сидеть здесь и ждать, когда опасность грозит нашим детям...

Первой подошла выпить яд молодая женщина с маленькой девочкой на руках. Она поднесла стаканчик с подслащенным ядом к губам ребенка, и та отпила немного. Остальное допила мать. Она отошла на площадку, где царил полумрак, и молча опустилась на землю. Через несколько минут у обеих начались судороги, на губах выступила кровавая пена. Женщина дико кричала от боли, потом затихла. Девочка теснее прижалась к матери, похныкала и умерла.

Обреченные равнодушно переставляли ноги в очереди за смертью, заученным жестом они зачерпывали свою порцию яда и отходили в сторону. А потом в сгущающемся мраке звучало крещендо душераздирающих криков.

Темнота принесла с собой избавление некоторым обитателям Джонстауна, сумевшим добраться до джунглей. Прячась за деревьями, они наблюдали всю эту жуткую картину. Но спаслась только кучка людей. Большинство слепо последовало за Джонсом туда, куда он их направил, — на смерть. Некоторые, умирая, благодарили Джонса за избавление, другие напоследок спокойно обнимались и прощались друг с другом. Мало кого приходилось заставлять принять яд. Оружие шло в ход редко. Плачущим малышам медсестры впрыскивали яд прямо в открытый рот.

Выпив отраву, обреченные на смерть уходили с веранды и устраивались на ближайшей площадке. Здесь им давали последнее указание — лечь лицом вниз, всем в один ряд. После непродолжительной агонии все по очереди затихали. Охранники проходили вдоль рядов и носком ботинка подвигали трупы, выравнивая линию.

Джонс осип от крика, пересохшие губы едва шевелились, от амфетамина с него градом катился пот, и вся одежда на нем промокла. Он бесновался на ярко освещенном помосте, а лица умирающих проплывали мимо него и растворялись во мраке.

— Я не знаю, что еще сказать этим людям, — хрипел он, как будто сам себя убеждал. — Меня лично смерть не страшит.

Стоны умирающих раздражали его, особенно не нравился ему детский плач.

— Хоть бы все это скорее кончилось! Поторапливайтесь! — подгонял он людей. — Мы пытались дать новое начало, но теперь поздно. Разве мы не черные? не гордые? не социалисты? — спрашивал сам себя этот белый проповедник, и глаза его загорались. — Так кто же мы?

Долгая ночь укрыла своим пологом лагерь смерти. А когда рассвело, единст-

венными звуками здесь были крики птиц в зарослях да перебранка обезьян на деревьях. Джонстаун вымер.

Днем в джунглях вокруг Джонстауна появились гайанские войска, продвигавшиеся незаметно, в камуфляже из листьев. Они были готовы к бою и двигались осторожно, рассчитывая в любую минуту получить отпор. Но никто не сопротивлялся. Тела колонистов были сложены в штабеля, как дрова, на жаре они начали уже раздуваться и попахивать. Всего на земле было 914 трупов, из них 276 — детских.

Только несколько человек были избавлены от позорной и жалкой участи и не отравились — в том числе Джим Джонс и его жена. Они скончались от огнестрельных ран. Солдаты нашли Джонса на алтаре, лежащего вверх лицом с открытыми глазами. Он покончил с собой выстрелом в правый висок.

Со временем забылись пугающие газетные заголовки. Джунгли вернули себе отданную было под Джонстаун территорию. Но где-то в зарослях молодого кустарника сохранилась дощечка, прибитая Джонсом над алтарем. На ней записаны слова философа Джорджа Сантаяны: «Кто не помнит прошлого, тому придется повторять его ошибки».

Золотой дворец

В 1965 году двадцативосьмилетний Кит Хам, человек без определенных занятий, нечто среднее между хиппи и битником, слоняясь по улицам Манхэттена, увидел старого свами[1]. Так он поймал свою птицу удачи.

Кит рос в баптистской семье, изучал богословие и даже получил докторскую степень, затем поселился в нью-йоркском районе Гринич-Виллидж, тогда еще далеко не престижном. Восточная его часть, Ист-Виллидж, несколько напоминала сан-францисский Хайт — там были недорогие квартиры и доступные развлечения. На пустырях и в заброшенных скверах частенько случались баталии между представителями двух поколений отверженных — старыми пьяницами и молодыми наркоманами. Здесь бесталанный музыкант вполне мог сойти за рок-звезду, а самовлюбленный болтун — за выразителя новых философских идей. К последним с большей вероятностью можно было отнести Кита Хама — он уже успел попробовать себя в роли вдохновителя «Банды с Мотт-стрит». Это было обычное сборище молодых уличных бродяг с философской жилкой, которые слушали радио, спорили по ночам и считали себя революционерами.

В тот безоблачный день 1965 года Кит с удивленным восхищением приглядывался к новому, необычному даже для Ист-Виллиджа персонажу. Незнакомец был стар, ступал нетвердой походкой, голова его была обрита наголо, а золотисто-желтое просторное одеяние трепетало на ветру как знамя. При этом он улыбался блаженной улыбкой.

Хам сразу догадался, что перед ним — представитель одной из восточных мистических сект, о которых он был наслышан от своего соседа по квартире Уилера, долгие годы увлекавшегося индуизмом. С недавних пор тот все пел дифирамбы одной индуистской секте, которая сделала своим евангелием древнюю и славную «Бхагавадгиту», или «Песнь Господню»[2]. В этой книге рассказывается волшебная история о том, как мифический герой отправился в поход, а его возничий — то по-детски веселый, то суровый и мстительный — оказался самим Кришной, воплощением всемогущего бога Вишну[3]. Седок слушает Кришну, беседует с

---

[1] Свами — в индуизме: религиозный учитель.

[2] «Бхагавадгита» — одна из наиболее известных частей индийского эпоса — «Махабхараты», время создания — ок. VI в. до н.э.

[3] Один из верховных богов в индуизме, олицетворяющий вечно живую природу; почитается в виде земных воплощений — Кришны и Рамы.

ним, поет и так постепенно постигает тайны мироздания, в конце концов обретая вечное блаженство.

Прошлым летом Хам даже съездил вместе со своим соседом в Индию в надежде найти такого удивительного человека (почти по следам «Битлз», правда, те путешествовали с гораздо большим размахом). И вот на людной Хаустон-стрит, в каких-нибудь двух кварталах от дома, Хам встретил монаха, поющего мантру той самой таинственной секты: «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама...»

Свами, как выяснилось, недавно приехал в Америку из Индии, из своего родного Вриндабана, чтобы проповедовать на улицах Ист-Виллиджа, где вечно толклись зеваки. Он учил у «Филмор-Ист театра», будущего храма рок-музыки. Люди, которые там собирались, готовы были поверить во все что угодно, лишь бы при этом была музыка, и там свами нашел особенно благодатную почву для своей проповеди открытой любви и слепой веры. Особенно привлекательным для бродяг был сам Кришна, каким его рисовала традиция: мальчишески озорной, мудрый и вечно молодой.

Этот бог играл на флейте и резвился среди цветов, в окружении любящих и прекрасных женщин. В общем, он воплощал в себе идеал хиппи.

Хам разговорился со свами, и так, беседуя, они дошли до места, где находился центр секты. На стекле входной двери было выведено: «Свами А.Ч.Бхактиведанта Прабхупада». Сразу за дверью был сувенирный магазин, где были выставлены разные медные безделушки, побрякушки, благовония, книги, а в следующей комнате собрались ученики и ученицы свами в таких же золотисто-желтых одеждах, все как один бритоголовые, и распевали «Харе Кришна...».

Очень скоро впечатлительный Хам присоединился к их компании, а вместе с ним и другие члены «Банды с Мотт-стрит», которые сначала посмеивались над необычными ритуалами, но вскоре и сами облачились в такие же одежды и стали распевать мантры.

В свами сочетались одухотворенность и властность, мудрость и деловитость. Он замыслил обратить в свою веру ни много ни мало всю Америку. Со временем слово Кришны действительно станет для многих непререкаемым абсолютом, а повальное увлечение йогой прокатится по всему континенту. Но пока что восторженные последователи витали в облаках, а более уравновешенные прикидывали в уме, что во сколько станет. Сувенирный магазин давал постоянный доход. Кришнаиты, просившие милостыню на улицах, всегда возвращались с жестянками, полными мелких монет. Каждый день ряды последователей Кришны пополнялись. Но свами был уже очень стар. И когда-нибудь ему понадобится преемник.

Войдя в секту и взяв новое имя Киртанананда Бхактипада, Хам какое-то время был доволен немудреной жизнью кришнаитов: распевай себе мантры, воздерживайся от мясного, проповедуй каждому встречному — и ты на верном пути к вечному блаженству.

Свами, полностью посвятивший себя Кришне, казался святым, слово его не расходилось с делом: он был целомудрен, придерживался вегетарианства, был пацифистом и только что не жертвовал собой. Но вместе с тем свами Прабхупада был все время в делах: вечно он был в разъездах — то из Америки в Индию, то из Нью-Йорка в какой-нибудь отдаленный штат, чтобы создать новую общину... По мере того как увеличивалась сеть общин, он вовлекал в них уже не простых обывателей, а бывших заключенных, уличных хулиганов и всех, кто однажды оступился. Требовать от них воздержания и пацифизма было нелепо, зато они хорошо справлялись с другими требованиями: пели мантры, не ели мяса и, конечно, пополняли копилку общины.

Когда свами уезжал, новичок Киртанананда, молодой и властный, постепенно выдвинулся и стал чем-то вроде заместителя свами в растущей кришнаитской общине Ист-Виллиджа.

Несмотря на все уважение к свами, Киртанананда находил его методы устарелыми — «фундаменталистскими», как он выражался. Учитель провел много лет, переводя на английский «Бхагавадгиту», которая в оригинале занимала менее ста страниц. В его обновленном варианте она разрослась до девятисот страниц и получила новое название, вполне в духе шестидесятых: «Бхагавадгита как она есть». Книга хорошо расходилась, но понять ее было трудно.

Однажды, сопровождая старого свами в его очередной поездке в Индию, Киртанананда осторожно завел разговор о том, что учителю неплохо было бы слегка изменить свой имидж, с учетом требований американского рынка, заказать подходящую рекламу, воспевающую геройский образ подвижника, или даже организовать на средства кришнаитов серию телепередач или снять кинофильм — и сам вызвался быть режиссером. Но напрасно он тратил слова: свами лишь улыбнулся в ответ, воздел руки и запел.

«Киртанананда понял, что свами Прабхупада — старый пердун и ничего не смыслит в том, как придать идее товарный вид», — так выразился бывший приятель Хама.

Разумеется, свами Прабхупада, со своим ореолом святости, загадочно улыбавшийся с плакатов чуть ли не по всей Америке, был просто необходим для привлечения новичков и для сбора пожертвований. Даже Киртанананда понимал это. Но для того чтобы придать движению настоящий размах, требовались старые добрые антрепренерские методы. В крупных городах росло соперничество между различными сектами. Требовалось все больше денег. И тут к делу подключился старый капиталистический инстинкт.

В конце 60-х кришнаиты прочно обосновались в крупных городах Соединенных Штатов, особенно в таких, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Но общины кришнаитов процветали и в других странах, например в Великобритании. Неутомимый свами Прабхупада придумал для своего движения название: «Международное общество сознания Кришны».

В 1969 году Общество получило мощную поддержку с английской стороны. Один из учеников свами, возглавляющий (в отсутствие свами) лондонскую секту, познакомился и подружился с Джорджем Харрисоном из «Битлз», который после поездок группы по Индии находился под сильным влиянием идей восточного мистицизма. Харрисон, неоднократно заявлявший, что в прошлой своей инкарнации был йогом, согласился записать мелодичную мантру «Харе Кришна». Композиция, записанная вместе с Полом Маккартни на студии «Эпл», стала международным хитом. За этим последовала новая волна новообращенных, решивших посвятить жизнь Кришне.

Пока свами был занят своими делами на востоке, пытаясь управлять делами своей растущей империи из Индии, Киртанананда решил, что конкуренция в Нью-Йорке слишком велика. По совету друга он съездил в Западную Виргинию и присмотрел там заброшенную ферму в горах, в восьмидесяти пяти милях от Питтсбурга, рядом с главной автодорожной магистралью. Ферма находилась на приличном удалении от больших городов, где власти начали проявлять нежелательный интерес к ордам хиппующей молодежи и сектантам-попрошайкам, и хуже того — представители общественности стали обвинять сектантов в том, что те сманивают детей из дома. В таких условиях набирать в общину новых членов кришнаитам становилось все трудней.

Киртанананда, понимавший, как важно для начала заручиться поддержкой Прабхупады, как мог более убедительно объяснил учителю, что он со своими сторонниками должен переехать из Нью-Йорка в Западную Виргинию, чтобы создать там новую, сельскую общину. Построят они ее, разумеется, в честь Прабхупады, и там он всегда будет как дома. Выслушав Киртанананду, свами, которому уже приелись большие города, дал свое благословение на переезд.

Создать дееспособную общину в новых, сельских условиях, в незнакомом окружении было делом нелегким. Киртанананда с группой из ста нью-йоркских кришнаитов поселились на старой ферме и назвали свой участок земного рая Новым Вриндабаном, по имени священной индийской деревушки, откуда, по преданию, юный Кришна начал свой путь, укрощая змей, танцуя с пастушками и побеждая врагов.

Другие ученики Прабхупады, стоявшие во главе общин как в США, так и за рубежом, так называемые «гуру», посмеивались над дерзостью своего нью-йоркского коллеги. «Еще один Эмпайр-стейт-билдинг», — сострил один[1]. И как ни странно, оказался прав.

Киртанананде и его товарищам предстояла первая зимовка на полуразрушенной ферме, занимавшей участок горного хребта. Ферма находилась на окраинах городка Маундсвилль, с населением в 12 тысяч человек. Когда странно одетые незнакомцы впервые показались на улицах городка, соседи-фермеры смотрели на них с удивлением, но, верные обычаям горского гостеприимства, всю первую зиму самоотверженно помогали чем могли: делились пищей, помогали строить хижины и навесы, а весной учили обращаться со скотиной и пахать землю.

С началом весны, которая в горах особенно красива, в Новый Вриндабан прибыли новообращенные, набранные на улицах Нью-Йорка, Филадельфии и других городов — вербовщики знали свое дело. В грузовиках и пикапах, на попутных машинах и в рейсовых автобусах прибывали новички: подростки, молодые супружеские пары с детьми, одинокие люди. Все бритоголовые, все в одинаковых платьях. И очень скоро они внесли заметное разнообразие в размеренную жизнь Маундсвилля и его окрестностей. Раньше здесь никто не просил подаяния — теперь попрошайки стояли на каждом углу. Раньше здесь каждый занимался своим делом — теперь кришнаиты не давали прохода соседям. Стало известно, что они агитируют старшеклассников.

Отношение к новым соседям изменилось. Многое было неясно. Например, откуда в разрастающейся день ото дня общине берутся деньги? В городе, где безработица достигла 25 процентов, этот вопрос был не последним. А деньги у кришнаитов явно были, и немалые — судя по тому, что они стали прикупать новые земли. Соседи только головой качали, когда узнали, сколько платили кришнаиты за акр земли. Цена эта в пять-десять раз превышала ту, что дал бы любой здравомыслящий покупатель. Через 10 лет Новый Вриндабан, который первоначально занимал 100 акров холмистой земли с парой полуистлевших строений, где не было ни проточной воды, ни электричества, превратился в крупное поселение на участке площадью 2800 акров, с современными постройками, а главное — с Золотым дворцом.

С другой стороны, поговаривали, что там, в этом великолепии, издеваются над детьми, хранят оружие и — даже страшно подумать — в этом «золотом раю» распутничают!

И очень скоро слово «секта» прочно пристало к новым соседям.

Некий местный житель даже сказал одному корреспонденту, что кришнаиты, которых так радушно встретили, оказались «скверными людьми, к тому же они не платят налогов, паразиты».

Киртанананде, умело руководившему процветающей общиной, подозрительность соседей и их настороженное, а подчас и враждебное отношение к кришнаи-

---

[1] Имеется в виду знаменитый нью-йоркский небоскреб, строители которого поставили себе целью любой ценой сделать его выше остальных, для чего и увенчали длинным шпилем.

там было только на руку. Как истинный главарь секты, он хотел иметь на руках главный козырь — страх перед неведомым, но коварным врагом. И он выставлял в качестве такого врага соседей — «неотесанных материалистов, которые завидуют нашей духовности».

Жизненный уклад в Новом Вриндабане ничем не отличался от принятого в других кришнаитских общинах. Люди работали по 16 часов в сутки, побираясь или выполняя неквалифицированную работу, и обязаны были беспрекословно подчиняться свами. Супружеским парам (подбором пар часто занимался сам Киртанананда) строго предписывалось вступать в интимную близость один раз в месяц. Детей в раннем возрасте отделяли от родителей и воспитывали в детском коллективе.

В 1973 году мания преследования среди кришнаитов получила первый побудительный толчок извне: несколько вооруженных мужчин, из местных, совершили вылазку в Новый Вриндабан, чтобы «освободить» пятнадцатилетнюю дочь одного из них, которую заманили в секту. Нападавшие сделали несколько выстрелов, но никого даже не ранили. Тем не менее Киртанананда уцепился за этот случай и раздул его как только мог. И вскоре этот инцидент преподносился не иначе как вооруженное нападение пьяных бандитов при полном попустительстве полиции.

Взвинченный случившимся Киртанананда послал Прабхупаде в Индию письмо, где уподобил злополучное столкновение Армагеддону.

Журналисты Джон Хабнер и Линдзи Грусон в своей книге «Обезьяна на шесте. Убийство, безумие и мантры» приводят такой ответ свами: «Почему вы не запасаетесь оружием? Мы же не последователи Ганди».

И в Новом Вриндабане появились новые жители, завербованные на оживленных улицах большого города: молодцы с темным прошлым, знающие толк в оружии и всегда готовые пустить его в ход. Теперь вооруженная охрана обходила поселение, якобы для защиты от враждебного окружения, и наводила новый порядок. Постепенно накапливалось оружие и боеприпасы. Изоляция усиливалась, членам общины внушали, что окружающие вынашивают план нападения.

В своих проповедях, как признавали позднее некоторые свидетели, Киртанананда все меньше внимания уделял толкованию восточного учения и все больше уподоблялся религиозному фанатику с манией преследования. Даже жизнеутверждающая «Бхагавадгита» в его интерпретации зазвучала как мрачный Апокалипсис.

К середине 70-х в Новом Вриндабане насчитывалось 500 человек. Прабхупада заметно постарел и все реже наезжал в поселение. Киртанананда все больше заносился, считая себя единственным достойным преемником свами, готовым возглавить «Международное общество сознания Кришны». Он становился все более властным и нетерпимым, регламентировал, что и когда обсуждать, единолично, не считаясь ни с кем, подбирал супружеские пары и строго следил за тем, чтобы дети росли в отрыве от родителей.

Прабхупада скончался в Индии в 1977 году на восемьдесят втором году жизни. Международному обществу сознания Кришны потребовались его преемники для работы в храмах, главным образом в США. Находясь на смертном одре, Прабхупада назначил 11 новых гуру — региональных свами, которые будут все вместе отвечать за дальнейшее развитие международного кришнаитского движения. Одним из счастливых избранников, конечно, стал Киртанананда — теперь из своего бастиона в Западной Виргинии он мог управлять солидной частью кришнаитской империи.

«Свами думал, что оставляет после себя одиннадцать епископов. Но на деле он назначил одиннадцать римских пап, все время ссорящихся между собой», — заметил один бывший кришнаит.

Борьба за власть была неизбежной. Киртанананда, стоявший во главе самой богатой и влиятельной из кришнаитских общин, устроивший настоящий рай земной в горах Западной Виргинии, поклялся, что выйдет победителем. Ведь другие гуру, заявил он, «пребывали в майе» — то есть жили во грехе.

Но в основе своей его власть держалась на деньгах. С 1981 по 1985 год, как следует из отчетов федеральных властей, кришнаиты Нового Вриндабана получили 10,5 миллиона долларов только от распродаж на городских улицах. Они торговали кепками, футболками и наклейками, подделывая торговые марки разных фирм.

Первый серьезный общественный скандал, связанный с империей кришнаитов, разразился через несколько лет после смерти Прабхупады. Некая кришнаитская секта из Калифорнии оказалась замешанной в отмывании денег, нажитых на продаже наркотиков. А в 1979 году глава этой секты, Александр Кулик, сел в тюрьму за торговлю героином.

Но в Западной Виргинии все еще было безоблачно. День и ночь члены общины работали, завершая строительство грандиозного сооружения, символа Нового Вриндабана. В 1980 году Киртанананда освятил Золотой дворец, сияющий, как в сказке про страну Оз. У подножия Аппалачей вырос удивительный, причудливо украшенный, увенчанный золотым куполом храм бога Кришны. Купол покрывался листами золота 22-й пробы, на отделку стен ушло двести тонн мрамора, кроме того, инкрустации в камне были выполнены из итальянского оникса. Внутренние помещения храма были украшены резным позолоченным орнаментом; нежный свет лился сквозь необычные витражные окна, окрашивая в пастельные тона бронзовые статуи индуистских богов и картины, представляющие сцены из жизни бога Кришны. В зале в самом центре дворца высилась статуя самого Прабхупады, отлитая не из бронзы, а из воска.

Вокруг дворца благоухали более трех тысяч розовых кустов, могучим водопадом спускались от дворца вниз, в долину, где среди зеленых лабиринтов били фонтаны. У самого подножия холма сверкало на солнце озеро, на глади которого покачивались бело-золотые лодки, сделанные в форме лебедей, привлекая туристов, которых вскоре стали завозить целыми автобусами. Реклама оправдала ожидания заказчиков.

Это был поистине удивительный памятник веры, созданный по воле одного человека долгим и упорным трудом сотен верующих, выполнявших все работы самостоятельно, по книжкам вроде «сделай сам», которые можно купить в любом хозяйственном магазине. За право полюбоваться диковинкой туристы с легкостью расставались с четырьмя долларами (такова была входная плата) и бродили по саду, закусывали в ресторанчике, заглядывали в сувенирные лавки, покупали кришнаитские безделушки, снимали поющих людей в красивых одеяниях на фоне идиллического пейзажа.

Вскоре Золотой дворец стал в Западной Виргинии главным местом паломничества туристов, пропуская до 200 тысяч посетителей в год (соответственно, и выручка превышала миллион долларов). «Нью-Йорк таймс» в своем воскресном выпуске назвала его «Тадж-Махалом Западной Виргинии». Пользуясь любой возможностью создать рекламу, свами Киртанананда заявил репортеру: «Это памятник Кришне, памятник духовности».

К тому времени число обитателей Нового Вриндабана выросло до семисот. Внешне их жизнь по-прежнему проходила в служении, пении мантр, танцах, медитации, остальное время они отдавали сельскому труду. Никто из посетителей и не подозревал, что община по сути своей была диктатурой. Склады оружия были надежно укрыты от посторонних глаз. Не попадали в объектив туристов и охранники, одевавшиеся отнюдь не по-монашески, а по-военному.

Первое кровавое дело было связано с Чарльзом Сент-Денисом, взявшим в общине новое имя — Чакрадара. Сент-Денис когда-то был поставщиком наркотиков, затем поселился на территории Нового Вриндабана и занялся садоводством, половину дневной выручки отдавая Киртанананде.

Сент-Денис был странной личностью. Этот гигант весом в 250 фунтов, с бычьей шеей, был словоохотлив, любил выпить и знал толк в наркотиках. Бывший хиппи, пристрастившийся к ЛСД, он все никак не мог выбрать: принять ли ему религию кришнаитов или по-прежнему прожигать жизнь, ни перед кем не отчитываясь. И тут он оказался в тупике, потому что нельзя совместить несовместимое — «скотный двор» и вольницу.

Он и погиб, думая, что его ждет развлечение.

В июне 1983 года приятель Сент-Дениса кришнаит Дэниэл Рид пригласил его на вечеринку, и тот легкомысленно принял приглашение, словно забыв, что еще недавно Рид публично обвинил его в изнасиловании своей жены. Денис отрицал свою вину и считал, что вопрос исчерпан. И совсем незадолго до того у него вышел спор с другими кришнаитами по финансовым делам, о чем тоже не мешало бы помнить. Но Сент-Денис беспечно подруливал к домику на холме, где, как ему сказали, устраивалась вечеринка.

Но ждали его только двое: Рид и Томас Дрешер, один из самых жестоких охранников Нового Вриндабана. Этот бандит, взявший имя Тирса, никогда не расставался с оружием. Он решил, что Сент-Денис каким-то образом посягает на его земельный участок в горах. Участник войны, Дрешер стоял во главе группы кришнаитов, которые отвечали за оружие и боеприпасы и в военном камуфляже рыскали по территории Нового Вриндабана, выискивая, нет ли где какого предательства.

— Харе Кришна, — сказал Сент-Денис, открывая дверь.

Перед ним стояли двое.

— Пой, — приказал Дрешер и нажал на курок.

Но даже после двенадцатого выстрела Денис был жив и продолжал стонать. Видя, что Денис все не умирает, сообщники нанесли ему удар в грудь, а потом прикончили, пробив череп молотком и отверткой. Тело бросили в заранее вырытую могилу в метр глубиной и забросали землей.

Был и еще один посвященный, по имени Стив Брайант, который «вынес сор из избы» и поплатился за это жизнью.

К тому времени, о котором пойдет речь, в мире насчитывалось, по официальным данным, 10 000 кришнаитов, из них 50 процентов проживали в США. Они собирали милостыню, проповедовали и торговали безделушками в людных местах, например в аэропортах.

Стив Брайант, член «Общества Джона Берча»[1], заядлый любитель оружия, в конце 70-х годов жил с женой Джейн и малолетним сынишкой в кришнаитской коммуне в Лондоне и трудился на фабрике по производству благовоний, работавшей при общине.

Он был наслышан о необычайных успехах в Новом Вриндабане и вскоре после того, как там освятили Золотой дворец, подхватив жену и ребенка, отправился в Западную Виргинию, к Киртанананде. В Новом Вриндабане он попытался привлечь внимание Киртанананды различными прожектами по добыванию денежных средств. И тот действительно стал подумывать, не назначить ли Брайанта на

[1] Праворадикальное «Общество Джона Берча» основано в США в конце 50-х гг. Р.Уэлчем. Названо в честь погибшего в 1945 г. в Японии военного разведчика США. Развивало теорию всемирного коммунистического заговора.

должность администратора гостиницы, которая как раз в то время строилась рядом с Золотым дворцом.

Но Брайанта ожидало горькое разочарование: вожделенной должности он почему-то не получил. Так Киртанананда нажил себе злейшего врага.

В 1984 году Брайант в возмущении покинул Новый Вриндабан, узнав, что, пока он ездил по стране с поручениями от общины, его жена отказалась делить с ним ложе. Брайант решил, что Киртанананда в его отсутствие обработал бедняжку Джейн и внушил ей мысль развестись, чтобы потом преподнести ее вместе с двумя сыновьями — Сарвой и Нимаем — в подарок новому мужу.

Брайант стал на каждом углу поносить Новый Вриндабан, говоря, что он сыт по горло этим новым Диснейлендом, где ценятся только деньги. Уже покинув поселение, Брайант однажды все-таки вернулся, но только чтобы забрать детей. Им не дали далеко уйти: вооруженные охранники на двух автофургонах пустились в погоню и настигли беглецов у загородного торгового центра. Детей отняли и силой увезли обратно. Обезумев от горя, Брайант целый год ездил из города в город, заявляя во всеуслышание, что Киртанананда — мошенник.

Нашлись родственные души в некоторых кришнаитских общинах. Отчасти это можно объяснить элементарной завистью к шумному успеху конкурента, отчасти же тем, что и другие кришнаиты, покинувшие Новый Вриндабан из-за притеснений, стали организовывать нечто вроде общества изгнанников, действующего по всей стране. Они поддержали Брайанта в его обвинениях и заявили, что Киртанананда и прочие назначенные Прабхупадой гуру предали кришнаитское движение.

Брайант непрестанно поносил Киртанананду, переезжая с место на место в битом автофургончике и раздавая листовки, которые он сам напечатал на машинке и размножил. Свои пространные разоблачительные материалы он печатал под заголовком «Бизнес гуру», а сокращенный вариант того же — под названием «Джонстаун в Маундсвилле». Брайант подытожил все известные ему жалобы бывших сектантов на самоуправство Киртанананды, а также свидетельства о закупках оружия и торговле наркотиками в Новом Вриндабане.

Распалясь, Брайант перешел от слов к делу. Он рассказал своим товарищам, что надеется самолично убить Киртанананду и других «ложных гуру» — якобы по велению Кришны.

В конце лета 1985 года Брайант, не ставя перед собой определенной цели, опять заехал в Западную Виргинию, в район Нового Вриндабана, и уведомил местного шерифа о том, что у него есть серьезные обвинения в адрес секты, намекнув, что, по всей вероятности, в Новом Вриндабане скоро начнется священная война. Он пошел в местную тюрьму попросить защиты, но его рассказы не вызвали доверия у полицейских: он не смог сообщить того, чего от него ждали, — фактов.

«Стив рассказывал невероятные вещи о том, что там творится, — вспоминает шериф Дональд Борденкирхер. — А я ему в ответ: Стив, ты должен привести доказательства. Назови хотя бы имена».

Брайант объяснил шерифу, что не может этого сделать, потому что люди опасаются за свою жизнь. В полиции решили, что имеют дело с сумасшедшим, выставили его из тюрьмы и пожелали доброго пути. Брайант сел в машину и продолжил свой путь.

Тем временем паранойя в Западной Виргинии получила очередной толчок извне. Через полтора месяца после отъезда Брайанта один из новообращенных напал на Киртанананду у входа в Золотой дворец. Он ударил свами железным колом по голове, и тот надолго потерял сознание. Через несколько недель Киртанананда, едва оправившись от удара, созвал пресс-конференцию. Он был еще очень слаб, страдал от частых головокружений и ходил, опираясь на палку, в сопровождении пары сторожевых собак. В таком неприветливом окружении свами пред-

стал перед собравшимися и заявил, что во всем виноват Брайант, чьи клеветнические измышления послужили подстрекательством к нападению.

И хотя доказательств какой-либо связи между Брайантом и молодым преступником у свами не было, слушатели с ним согласились. Нападавший был приговорен к пятнадцати месяцам лишения свободы. В тюрьме он получил письмо без подписи из Калифорнии, из Беркли, где, по слухам, находился в то время Брайант. В письме говорилось о том, что он будет «духовно вознагражден за нападение на свами Киртанананду».

И возмездие не заставило себя ждать.

22 мая 1986 года срок жизни тридцатишестилетнего Брайанта истек. Он смертельно устал мотаться по стране на старом «додже», выступая перед кришнаитами с одними и теми же разоблачениями. По его словам, Новый Вриндабан был карточным домиком, на вершине которого стоял Золотой дворец. И всем своим блеском он был обязан не сборщикам милостыни — женщинам и детям, о чем неустанно твердил Киртанананда, а торговцам поддельным товаром. А на самого Брайанта, по его словам, была объявлена охота.

22 мая 1986 года, перед самым рассветом, Брайант остановил машину на одной из улиц Лос-Анджелеса. В ранний час вокруг не было ни души. Он запел мантру. Брайант не заметил, как сзади, держась в тени дома, подъехала и тихо остановилась машина, и убийца, посланный из Нового Вриндабана, стал подкрадываться к его фургону. Он пел: «Харе Кришна, Харе Кришна...»

Утром полиция обнаружила его труп на переднем сиденье. Он был убит двумя выстрелами в голову, произведенными почти в упор.

Смерть Брайанта, наступившая вскоре после его заявления полиции о том, что какие-то люди из Нового Вриндабана хотят его убить, повлекла за собой расследование, к которому подключились и ФБР, и налоговая инспекция, а также районные и окружные правоохранительные органы Западной Виргинии. Для дачи показаний были вызваны тридцать человек из общины Нового Вриндабана. Были опрошены и настоящие, и бывшие члены секты.

Как только в общине стало известно об убийстве Брайанта, заговорили, что он стал «обезьяной на шесте» — подразумевался индийский обычай вывешивать убитую обезьяну на жерди посреди банановой плантации, чтобы другим обезьянам было неповадно.

Через несколько месяцев Дрешер предстал перед судом по обвинению в убийстве Брайанта, которое, по мнению судей, было заказным. Вторым пунктом обвинения стало убийство Сент-Дениса. Дрешер был признан виновным в обоих случаях.

Расследование шло полным ходом, но Киртанананда по-прежнему заявлял, что его огорчают нелепые обвинения, исходящие от людей, подобных Брайанту. Община Западной Виргинии — самая многочисленная и самая известная в империи кришнаитов, заявлял он, и неудивительно, что другие, менее удачливые свами завидуют ему и используют людей, подобных Брайанту, для распространения клеветнических слухов.

В мае 1990 года, после двухлетнего расследования, большое судейское жюри Западной Виргинии предъявило Киртанананде и двум его последователям обвинение: в мошенничестве (три пункта обвинения), в преступном сговоре с целью убийства и в подлоге (шесть пунктов). Так, обвинение в тайном сговоре с целью убийства Брайанта стояло в одном ряду с остальными.

Через год Киртанананда был приговорен к тридцати годам тюремного заключения по первым и последним пунктам обвинения. Обвинение, касающееся убийства Брайанта, отпало в ходе следствия.

Позже федеральный кассационный суд потребовал нового разбирательства, так как некоторые свидетельства, рассмотренные ранее, — о растлении малолетних и унижении женщин в Новом Вриндабане — были необъективными и их не следовало принимать во внимание. Новое заседание назначили на конец 1994 года.

Искупление кровью

В 1984 году ветерану ВМС Джефри Дону Лундгрену, религиозному фанатику, испытывавшему постоянные сложности с поисками работы, было 34 года. Он чувствовал себя готовым к большим переменам.

«Это» озарило его, когда он стриг газон перед скромным домиком в Индепенденсе, штат Миссури, где жил с женой и четырьмя детьми.

Он бросился в дом и нашел нужные ему слова в «Книге Мормона», в которой основатель церкви мормонов Джозеф Смит пишет, что Бог сказал ему: «Ты должен идти в Огайо, и там я дам тебе свой закон, и там ты будешь облечен властью свыше...»

Внезапно все стало ясно. Бесконечные увольнения и бесполезные поиски работы, жена и ее родственники, считавшие его прирожденным неудачником, долги, угрюмые лица детей — Бог хотел видеть его проигравшим, чтобы потом указать ему новый путь. Это было частью Господнего замысла.

Джефф позвал свою жену Элис и четырех детей: четырнадцатилетнего Деймона, десятилетнего Джейсона, пятилетнюю Кристен и четырехлетнего Кэлеба. Он сказал им, что настало время собираться.

— Мы едем в Огайо, — заявил он. — Господь избрал меня для великого дела.

Чтобы оплатить внезапный переезд, он даже продал часть своей ценной коллекции ружей.

Меньше чем через месяц, когда Лундгрены приехали в городок Киртленд в Огайо со всеми пожитками во взятом напрокат трейлере, человек с одутловатым лицом, сидевший за рулем старого фургона, больше походил на типичного американского фермера, чем на пророка. Но он не сомневался в своем предназначении, и это было самое главное. Он приехал в Огайо, чтобы прилежно трудиться над претворением в жизнь плана, который, по его предположению, приведет к концу света.

Это, как и все остальное, Джеффу не удалось. Но до того как в 1990 году он был арестован, пять человек (мужчина, женщина и трое их детей) были убиты и закопаны в холодной яме, вырытой в земляном полу амбара, — Джефф и его последователи сбросили их туда, готовясь к Армагеддону.

Переезду Лундгренов из Миссури предшествовал ряд религиозных видений Джеффа, которого в последние годы стали все больше раздражать либеральные тенденции в маленькой секте мормонов, к которой он и его жена принадлежали с рождения. В самых драматических из этих видений Джефф физически ощущал, что переносится во времени и оказывается на Голгофе и Христос, умирающий на кресте, устремляет на него долгий и тяжелый взгляд.

— Я смотрел на него и знал, и он знал, что я отвернулся от него, — говорил Джефф своей жене до отъезда в Огайо. — Я понял, каково быть отвергнутым, и он это тоже знал.

— Но что это значит? — спросила она.

— Господь готовит меня к чему-то,— ответил он.

— Что ты будешь делать?

— Править до конца света, — скромно сказал он.

Киртленд — не самое подходящее место для наблюдения за светопреставлением. Буколическое фермерское поселение в холмистой местности недалеко от пригородов Кливленда пользуется известностью благодаря памятнику истории — храму мормонов, возвышающемуся на холме на северной окраине городка. Киртлендский храм был построен основателем мормонской церкви Джозефом Смитом и вскоре после его смерти в 1844 году стал центром консервативной секты мормонов, осевших на Среднем Западе, в то время как основной поток верующих устремился в Юту. Среднезападная ветвь стала называть себя Реорганизованной церковью Иисуса Христа Святых последних дней — сокращенно РСПД.

Мормоны — это уникальное американское религиозное направление, обещающее своим последователям земное вознаграждение. Оно возникло из религиозных видений, посетивших основателя церкви в 20-е годы, когда он был еще подростком и жил на родительской ферме под Нью-Йорком. Джозеф Смит рассказывал удивительную историю об ангеле по имени Морони, который явился ему и указал, где спрятаны волшебные золотые листы, на которых была записана история потомков семитского племени, прибывших по морю из Иерусалима, чтобы создать цивилизацию на американском континенте за 600 лет до Рождества Христова. К началу 1830-х, после того как Смит заявил, что выкопал из тайника золотые листы и перевел записанное на них как «Книгу Мормона», он объявил себя «пророком», призванным повести заблудшее племя сынов Израиля на восстановление Сиона и командовать праведниками в последней великой битве против сил сатаны, которой будет ознаменовано второе пришествие. После этого истинно верующие присоединятся к Иисусу Христу, чтобы вместе с ним счастливо царствовать в земном раю тысячу лет. Истинно верующие назывались Святыми последних дней. Неверующие, или «язычники», считались про́клятыми.

У Джозефа Смита было несколько столкновений с законом в первые годы его миссии; его обвиняли в подлоге и в обмане фермера в деле о карте зарытых сокровищ. Это не сказалось отрицательно на его способностях вербовать сторонников в новую радикальную религиозную секту. Мормоны, сулившие верным богатство и рай на земле, утверждавшие превосходство мужчин и белой расы, порицавшие алкоголь и курение, приверженные тайным обрядам и символам, похожим на масонские, быстро находили сторонников среди консервативных трудяг-земледельцев. По мере развития фермерства движение быстро распространилось на запад. Смит, успешно собиравший пожертвования, разместил религиозный центр как предписывал Господь — в Огайо, в Киртленде. Там он переписал всю Библию и в 1836 году построил первый мормонский храм на холме, на участке площадью 15 акров.

Впрочем, после того как Господь поведал Смиту, что второе пришествие на самом деле состоится в Индепенденсе, он перебрался еще дальше на запад. Однако в Миссури, где тяга мормонов к вполне реальным земным благам и банковским махинациям только усугубила отвращение, и без того испытываемое к ним из-за их многоженства, построение Нового Иерусалима натолкнулось на яростное сопротивление остального населения. Поливаемый грязью, преследуемый кредиторами, Смит в конце концов был убит разъяренной толпой в 1844 году.

После смерти «пророка» секта раскололась на его сторонников — под предводительством Брайема Янга, главного помощника Смита, которые поклялись продолжать продвижение на запад и наконец осели в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, — и сторонников одиннадцатилетнего сына Смита, оставшихся в Киртленде.

Основное течение мормонов, последователей Смита, осело в Юте и приняло название Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, число их достигает более 5 миллионов человек, и они располагают огромными средствами. Ответвление же движения, укоренившееся в Огайо, переименовавшее себя в Реорганизован-

ную церковь Иисуса Христа Святых последних дней, влачило жалкое существование при храме Смита в Киртленде, в нем насчитывалось не более 200 000 членов, большинство из которых жили на Среднем Западе в ожидании прихода следующего великого пророка — законного преемника Джозефа Смита, — который должен был повести их на Судный день.

И они все еще ожидали его и в 1984 году, когда в их город приехали Лундгрены.

Джефф и Элис в первый же день, не откладывая, пошли в Киртлендский храм и получили работу экскурсоводов — эта работа позволила им занять скромный, принадлежавший церкви домик рядом с территорией храма. Однако Джефф не был обыкновенным экскурсоводом РСПД. Глядя в 1984 году на величественный старый храм, на его оштукатуренные стены, выложенные осколками стекла и фарфора, благодаря чему здание сверкало в лучах солнца, он видел не просто почитаемую святыню, служившую местом поклонения для его единоверцев. Его взору открывались величайшие возможности.

Лундгрены постепенно осваивались с новой жизнью.

Религия «милленариев», согласно которой концу света предшествует тысячелетний период царства справедливости для избранных, победивших сатану в битве при Армагеддоне, всегда притягивала людей, подобных Джеффу Лундгрену, у которых были свои счеты с миром.

В «Книге Мормона», например, говорится: «И случилось так, что Дух сказал мне: «Убей его, потому что Господь отдал его в твои руки. Так Господь покарает зло ради своих праведных целей...»

Джефф родился в 1950 году в Индепенденсе, в семье состоятельных и суровых последователей РСПД, и, когда он был юношей, родители поощряли его интерес к толкованию Библии. Приятели детства описывают его как склонного к уединению, порывистого молодого человека, имевшего мало друзей, отличавшегося болезненным самомнением. Другие знакомые, которые стали его последователями и в конце концов уехали за ним из Индепенденса в Киртленд, считали его визионером.

Элис Лундгрен, примерно на год моложе мужа, провела детские годы в домике-фургончике в Индепенденсе, где о ней вспоминали как о застенчивой, простой женщине, озабоченной благопристойностью еще больше, чем ее муж. Как и он, Элис была глубоко религиозной. В 1970 году, когда она отдыхала в летнем церковном лагере, она заявила, что к ней в постель приходил сатана. Вскоре после этого она встретила Джеффа и сразу же очутилась во власти его подавляющего авторитета. Ее покорила его ревностная вера, его глубокое знание Священного Писания и, главное, его самоуверенность.

Вскоре Элис забеременела; родители Джеффа винили в этом ее — не его. Незадолго до рождения ребенка — мальчика, которого назвали Деймон, — Джефф записался в ряды ВМС, и его отправили в Сан-Диего. Молодожены нашли дешевую квартирку рядом с военно-морской базой и жили там, приходя в ужас от разнузданных южнокалифорнийских нравов. Глубоковерующая чета проводила свободное время, если оно не было заполнено ссорами из-за денег или из-за неутолимого сексуального аппетита Джеффа, за чтением вслух «Книги Мормона». Со временем их религиозность привлекла к ним горсточку родственных душ — типичных консервативных молодых пар, искавших, как и они, утешения в религии. Крошечная квартирка Лундгренов стала местом проведения молитвенных собраний — сперва раз, потом два раза в неделю. Джефф с воодушевлением руководил этими собраниями.

В 1972 г. Джефф оказался на борту эсминца, который примерно на месяц отправился во Вьетнам. Корабль несколько раз обстреляла береговая артиллерия

врага, но снаряды не достигали цели. Хотя на протяжении всей вьетнамской войны военно-морские силы США никогда не подвергались серьезным атакам, в мозгу Джеффа этот незначительный инцидент принял масштабы битвы при Мидуэе[1].

— Господь дал мне знак, — так говорил он о своем чудесном избавлении на поле сражения. — Он уберег корабль, потому что не хотел, чтобы я погиб во Вьетнаме.

Позже он поражал своих последователей вымышленными историями о том, как он отчаянно бился врукопашную во Вьетнаме, а Господнее вмешательство спасло его.

Причем не только от врага в человеческом облике. В открытом море Джеффа посещали еще более впечатляющие религиозные видения, среди которых не последнее место занимает история о том, как сатана метил в него из тучи.

— С той минуты я понял, что Господь избрал меня для особой миссии, — говорил он жене вскоре после их приезда в Киртленд. — Но сейчас я знаю, что я, по крайней мере, достоин этого.

Как обычно, его жена соглашалась с ним.

Высшее озарение пришло к Джеффу много лет спустя. После демобилизации, в Индепенденсе, он старался уяснить себе свою богоизбранность, занимаясь при этом, чтобы прокормить все растущую семью, нудной работой, чередуемой с частыми увольнениями. Его религиозное рвение привлекло к нему небольшую группу последователей из молодых членов РСПД, как и Лундгрены, разочарованных попытками старейшин расширить число сторонников путем либерализации традиционного отношения к женщинам, которым отводилась второстепенная роль в мормонской церкви и семье. Когда РСПД действительно предложила разрешить женщинам становиться священнослужителями, Джефф и его сторонники в Индепенденсе объединились в небольшое, но радикальное оппозиционное движение. Если дело идет к тому, что силы сатаны собираются для решительного сражения, армии праведных нужен свой генерал, и Джефф Лундгрен стал считать себя таковым задолго до принятия решения о переезде в Огайо.

Подготовка требовала времени. Ожидая момента, когда он сможет следить за ходом битвы при Армагеддоне, предположительно в Миссури, Джефф стал пополнять свой нестабильный бюджет, подписывая фальшивые чеки. Кроме того, уступая своим плотским аппетитам, он стал заводить романы.

Двенадцать взрослых людей, сгруппировавшихся вокруг семейства Лундгренов, постепенно стали считать Джеффа своим лидером. По мере укрепления своих позиций ему удавалось манипулировать сознанием этих людей, изолируя и подавляя любого несогласного. В семье он укреплял свой авторитет у жены и детей менее изощренным способом — кулаком.

В то же самое время в спальне, как позже признавалась жена Джеффа, он был вовсе не пророком, а извращенцем. Он не уставал жаловаться на ее холодность, ей же было трудно наслаждаться сексом с постоянно изменявшим ей мужем, который, кроме того, по ее словам, собирал коллекцию садомазохистских порнографических фотографий, любил связывать ее и испражняться ей на грудь.

— Джеффа восхищали его собственные фекалии, — рассказывала она позже следователям. — Он размазывал их по своему телу и мастурбировал с ними.

Иногда, по ее словам, он надевал ее ночную рубашку, колготки и бигуди и требовал, чтобы она изображала, будто насилует его вибратором. Позже Элис также рассказывала, что Джефф часто бил ее.

Благодаря созданной ауре религиозного мистицизма Джеффу удавалось крепко держать в руках семью и последователей.

---

[1] В 1942 г. в ходе второй мировой войны у атолла Мидуэй произошло сражение между японским ударным соединением и американским флотом.

В Огайо, подстегиваемый сознанием своей высокой миссии, он начал усиленно собирать свою армию Господа. Нужно было соблюдать секретность, нужны были деньги и хорошо разработанный план, чтобы перехитрить силы Вавилона, действуя у них под самым носом, в храме. Но положение Джеффа позволяло ему справиться с этим. Поскольку он и Элис работали экскурсоводами, то, ежедневно беседуя с паломниками РСПД, сотнями приезжавшими посмотреть исторические места, они могли спокойно вербовать своих сторонников. Кроме того, Джефф втайне пользовался возможностью доступа к копилкам для сбора пожертвований и к ящикам кассы в ларьке для продажи сувениров и книг. До того как Лундгренов через три года выгнали с работы, обнаружив недостачу в церковной кассе, Джеффу удалось собрать около 20 тысяч долларов мелочью на финансирование своего плана изгнания сатаны из храма.

В то же самое время он умело пользовался своей популярностью, росту которой только способствовала его роль руководителя хорошо посещаемого класса по изучению Библии, и, прежде чем старейшины церкви поняли, что происходит, сумел сколотить крепкую группу из нескольких десятков верующих, несогласных с РСПД.

Дом Лундгренов, расположенный рядом с местом паломничества, был всегда открыт для всех верующих. Мужчины и женщины, желавшие получить комнату и питание или просто найти компанию и духовное утешение, каждый вечер собирались послушать религиозные наставления Джеффа. Днем взрослые работали там, где им удавалось устроиться, в том числе водили туристов в качестве временных экскурсоводов. Некоторые называли Джеффа, хозяина дома, «Отец», а его жену — «Матушка».

Наслаждаясь пусть скромной, но непривычной для него материальной стабильностью, работая при храме, Джефф нашел время для собственного толкования библейских стихов; кроме того, он любил бродить по зданию, увлеченно выискивая тайный смысл, содержащийся в замысловатых мистических символах, вырезанных на стенах темных залов. В его охваченном наваждением, напряженно работавшем мозгу все рисунки приобретали новое, невероятное значение.

Осенью 1986 года он взволнованно сообщил Элис, что понял: он является последним из восьми великих пророков, когда-либо живших на земле. Сам Джозеф Смит явился ему и сказал, что передает факел в его руки и что он, Джефф Лундгрен, величайший из всех пророков, был избран еще при сотворении мира для того, чтобы приблизить наступление царства Божьего на земле.

Элис пришла в восхищение.

— Джефри наконец-то нашел свое место в жизни, — говорила она позже. — Я решила, что он действительно стал моим господином и хозяином.

Сплетница по натуре, Элис с трудом могла держать это откровение в тайне от постоянных участников совместных молитв в их доме, хотя Джефф и просил ее не болтать раньше времени.

— У меня есть секрет,— легкомысленно сказала она как-то собравшимся после того, как Джефф закончил четырехчасовую проповедь и в изнеможении удалился в спальню. — Но я пока не могу рассказать вам, что нас всех ждет.

Поскольку все прекрасно понимали, что ни о каких обсуждениях учения Джеффа в его отсутствие не может быть и речи, никто не стал ее расспрашивать. Джефф настаивал на том, что он, как Христос, будет только намекать на свою божественную сущность. Ученики сами должны дойти до истины.

Растущая популярность Джеффа среди верных последователей РСПД в Киртленде стала понемногу привлекать внимание старейшин церкви. Их встревожили слухи о ереси, распространявшейся во время молитвенных собраний в доме Лунд-

гренов. Однако председатель киртлендской общины РСПД, достопочтенный Дейл Лафман, скромный человек с негромким голосом, не предрасположенный к решительным действиям, призывал лишь к осторожности, а в это время последователи Лундгрена все больше и больше втягивались в то, чему скоро предстояло стать открытым расколом. Лафману и в голову не приходило, к чему приведет этот раскол.

Все началось с того, что обнаружилась пропажа денег. Приехавший в храм церковный чиновник, заинтересовавшись путаницей в кассовых документах, просмотрел бухгалтерские книги сувенирного киоска и книжного магазина в центре для посетителей за лето 1987 года и обнаружил странное совпадение: снижение доходов, начавшееся три года назад — в общей сложности составившее 20 000 долларов, — началось вскоре после того, как Джефф и Элис стали работать в храме. Поскольку прямых улик против Джеффа не было, а руководство храма хотело любой ценой избежать скандала, к Лундгренам были направлены официальные представители церкви, предложившие Джеффу достойный выход из сложившейся ситуации. Если он и Элис согласятся уйти с работы, их ни в чем не будут обвинять. Им придется освободить дом, принадлежащий церкви, но при этом им дадут возможность спокойно уехать из города.

Джефф заявил, что его обвиняют несправедливо, что корыстолюбивые старейшины РСПД избрали его козлом отпущения и хотят помешать ему распространять истину. История с растратой стала для него поводом для того, чтобы еще больше укрепить свое влияние в группе несогласных и еще больше изолировать людей, попавших под его влияние. Лундгрены сняли ветхий фермерский дом с пятью спальнями, занимавший участок в 15 акров на южной окраине городка. Рядом с домом, возле запущенного яблоневого сада, стоял полуразрушенный амбар из красного кирпича. Места для занятий было сколько угодно. Это был отличный уголок для общины. Джефф и Элис строили планы ведения натурального хозяйства: они сами будут добывать себе пропитание, выращивая фрукты и овощи, может быть, даже наладят в амбаре торговлю антиквариатом.

Более того, отлучение от храма стало для них осуществлением еще одного пророчества.

— В Писании сказано, что пророков изгоняют, — заявил Джефф своей группе. — Именно это и произошло.

К этому времени в группе был собран внушительный арсенал огнестрельного оружия. На протяжении 1986—1987 годов члены группы покупали ружья, с которыми учились обращаться на военных занятиях, готовясь к захвату храма.

Все это время Джефф по-прежнему изучал мистические символы храма и бесконечно перетасовывал стихи Писания, пытаясь отыскать в них сокровенный смысл. В конце лета 1987 года он сделал долгожданное заявление.

— Я — последний посланник Господа в Киртлендском храме. Мне предстоит готовить второе пришествие Христа, — сказал он. — А вы должны помочь мне.

После переезда на ферму Джефф почувствовал себя свободным от всех обязательств, которые накладывало на него проживание на церковной земле; его проповеди стали еще более резкими, паническими, яростными. Он умело создавал у своих сторонников ощущение надвигающегося кризиса и драматизма предстоящего вооруженного нападения на храм, о начале которого должны будут возвестить природные катаклизмы: произойдет разрушительное землетрясение, сам храм в буквальном смысле этого слова взлетит на гору. После этого легионы сатаны, может быть под руководством армейских батальонов США, заполонят Киртленд, пытаясь воссоединиться с силами зла, окопавшимися в храме. Джефф, играя свою роль «пророка», заявил своим последователям, что, если они будут «свободны от

греха», Бог даст им средства отразить нападение вражьих сил.

Военные учения, проводившиеся в яблоневом саду, стали привлекать внимание посторонних, но никто не осознавал в полной мере, насколько все, происходившее на уединенной ферме Лундгренов, шло вразрез со здравым смыслом. Однако когда слухи о том, что еретическое учение Лундгрена стало приобретать воинственную окраску, дошли до преподобного Лафмана, он наконец решился на крайние меры: отлучил Джеффа, Элис и их старших сыновей, Деймона и Джейсона, от РСПД.

Через несколько дней после этого над городом разразилась сильнейшая гроза, после которой на небе появилась двойная радуга. Джефф увидел в этих природных явлениях очередное знамение — семь легендарных печатей, описанных в Апокалипсисе, открывались одна за другой.

Однако пора было готовиться к неожиданным переменам. Внезапно он объявил, что в ближайшем будущем им всем придется на время уехать из Киртленда, чтобы жить в пустыне, на самообеспечении. Джефф говорил, что у них будет один год, чтобы «пустить кровь» и разбить остальные печати, преграждавшие путь к Армагеддону.

— Будет пролито много крови, — признавался он.

По плану Джеффа, первой должна была пролиться кровь Лафмана и его семьи. Когда придет время штурмовать храм, заявил он, первой жертвой станет Лафман. Его свяжут, заткнут ему рот и заставят смотреть на казнь его жены Джуди и их троих детей, тринадцати, десяти и пяти лет. Потом убьют и его.

Как правило, группа Лундгрена старалась держаться изолированно, не привлекать особого внимания к ферме. Однако серьезные опасения зародились не только у Лафмана. Слухи о вооруженных мужчинах, играющих в войну, не могут не заинтересовать полицию, и Деннис Ярборо, шеф Киртлендского полицейского отряда из 6 человек, сам член РСПД, решил, что необходимо более пристально следить за происходящим у Лундгренов. Ярборо считал, что с Джеффом Лундгреном что-то не так — такое впечатление сложилось у него с их первой встречи в 1984 году, тогда Джефф, недавно приехавший в храм, явился в полицию, крича, что какие-то люди заглядывают ночью в окна его дома. Позже он покрасил оконные стекла в темно-зеленый цвет.

Теперь, зная о том, что Джефф ушел с работы, и заинтересовавшись сообщениями о закупках оружия и неясными слухами о готовящемся нападении на храм, Ярборо посетил Лундгрена, чтобы разобраться в происходящем и задать несколько вопросов о «военизированной группе», которая, как говорили, тренировалась в яблоневом саду. Джефф ответил, что ничего не знает об этом.

С этого дня шеф полиции и Лундгрен постоянно, хоть и издалека, следили друг за другом.

Те немногочисленные тревожные признаки, которые замечали посторонние люди, не могли передать истинного уровня эмоционального истощения перепуганных, измотанных, фанатично преданных идее людей, которые видели врага в любом, кто не принадлежал к их группе. Помимо Джеффа, Элис и их детей, на ферме жили пятеро неженатых взрослых, а в соседних домах обосновалось несколько семей с детьми.

На ферме жили:

Кевин Карри, приехавший в Киртленд паломником в 1984 году и знавший Лундгренов еще со времен их учебной группы в Сан-Диего;

Ричард Бренд, могучий парень лет двадцати пяти, безработный инженер, познакомившийся с Лундгренами во время паломничества в храм в 1985 году. У Ричарда был новый грузовичок-пикап, который он продал за 5500 долларов и отдал деньги Лундгренам;

Шер Ольсен, высокая и хорошенькая женщина лет тридцати, встретилась с Лундгреном во время посещения храма в 1987 году. Хотя Джефф был особенно привязан к ней, Шер была самым большим скептиком в его группе — как оказалось, и хлопот с ней было больше всего;

Денни Крафт, родившийся в Айове в 1964 году, был подающим надежды музыкантом, которого всегда привлекала мормонская символика и археология. Он присоединился к группе после экскурсии по храму, проведенной Джеффом в 1985 году;

Шарон Бланчли, 1958 года рождения. Она весила 225 фунтов и была недалекой и болезненно застенчивой. Она встретилась с Лундгренами во время паломничества в храм в 1985 году.

В квартирах по соседству жили:

Грег Уиншип, друг детства Ричарда Бренда, специалист по бизнесу, работавший в колледже, которого представили Джеффу Лундгрену как «пророка», когда он приехал к Ричарду в гости в 1986 году;

Семья Патрик: Деннис и Тоня, знакомые Джеффа и Элис по приходу, переехавшие в Киртленд по их приглашению в 1986 году. Им было немногим более тридцати, они входили в молитвенную группу Джеффа в Индепенденсе. Деннис был высокий, худой и покладистый человек. Тоня была полная, хорошенькая и веселая. Джеффу не нравился Деннис, но к его жене он был привязан. У Патриков была шестилетняя дочь Молли;

Семья Лафф: Рону и Сьюзи было под тридцать. Они и их двое детей, пятилетний Меттью и двухлетняя Эми, влились в группу Лундгрена еще в Индепенденсе в 1987 году. Он был жилистым и нервным, она — стройная, привлекательная болтушка;

Семья Эвери: Деннис и Черил и с ними три маленькие дочки приехали в Киртленд из Индепенденса, чтобы присоединиться к Лундгренам незадолго до переезда на ферму. Черил была заурядной домохозяйкой, впрочем, острой на язык. Деннис был нервным толстячком, педантом и спорщиком, но всегда готовым уступить, особенно в мужской компании.

Во всех сектах неизбежно появляются один или несколько человек, становящихся козлами отпущения, на которых другие члены организации могут вымещать свою злобу, разочарование и страх, когда дела идут плохо. В секте Лундгрена такую роль довелось сыграть семье Эвери.

Деннис и Черил Эвери считали Лундгренов своими лучшими друзьями, не подозревая, что Джефф и Элис беспощадно за глаза высмеивают их. Джеффу особенно не нравился Деннис, которого он считал тупым подкаблучником.

Элис даже пыталась отговорить Джеффа, когда тот склонял Эвери переехать в Киртленд, но у Джеффа были свои доводы.

— Мне нужны их деньги, — говорил он жене, зная, что Эвери выручат около 20 000 долларов от продажи дома в Индепенденсе.

Он получил их. Вскоре после приезда Деннис вручил Джеффу чек на 10 тысяч. Но Джефф взбеленился, узнав, что Эвери использовали остальные деньги на оплату счетов и покупку мебели для обстановки квартиры, которую сняли в Киртленде.

За фасадом идиллической жизни общины скрывалась повседневная рутина. Ферма была сильно запущенна. Члены секты усердно трудились, восстанавливая ее, а в свободное время работали по дому. Элис, как жена пророка, пользовалась особыми правами, остальные женщины должны были обслуживать ее. Большую часть времени она шаталась по дому, пила пиво, смотрела телевизор, жадно ела, отдавала приказы и кричала на чужих детей. Ее основной обязанностью в группе

было дело, которому она отдавалась с большой охотой: она ездила за покупками.

Надо сказать, что и муж, и жена Лундгрены обожали делать покупки. Джефф больше всего любил магазины оружия, видеоаппаратуры и инструментов, Элис предпочитала распродажи и антикварные магазины.

Джефф сделал своего старшего сына Деймона вторым по значению человеком в группе. Замкнутый, ленивый парень, член команды колледжа по классической борьбе, Деймон отвечал за физическую подготовку сектантов. Он перенял от отца методы запугивания, и ему особенно нравилось заставлять кого-нибудь из мужчин бросаться во время тренировок на землю и целовать ему ноги.

Такие занятия воспитывали безоговорочное повиновение, которое Джефф безжалостно насаждал среди своих приверженцев-мужчин.

Даже младшие дети Лундгренов имели особый статус. О них говорили как о «законных детях», никому не было позволено делать им замечания. Дети остальных членов группы считались «незаконными».

Долгие ночные религиозные штудии — теперь они проводились в продуваемом всеми ветрами амбаре — превратились в сеансы злобных разоблачений и обвинений, направленных против любого члена группы, чье внимание ослабевало или кто не мог найти правильный ответ на бесконечные метафизические вопросы Джеффа.

Помимо того что члены группы должны были слушать разглагольствования Джеффа, он заставлял их почти каждую ночь смотреть взятые напрокат видеофильмы. Чаще всего это были военные эпопеи и кровавые триллеры типа «Рембо», но иногда Джефф менял ориентацию и брал старые голливудские фильмы о любви — чтобы, как он говорил, показать женщинам, какими они должны быть «послушными».

Однако к началу 1989 года любовь ушла на второй план. Джефф снова и снова повторял:

— Господь приказывает нам овладеть Киртлендским храмом.

— Битва будет долгой и тяжелой, — предупреждал он. — Нам придется забыть о жалости при защите храма.

Теперь Джефф все чаще называл себя «разрушителем». При этом он указывал, что Библия прямо говорит о том, что «Господь не боится убивать».

Военные учения вышли за пределы сада. В безлунные ночи мужчины, одетые в темные балахоны, с лицами, вымазанными черной краской, устраивали тайные «партизанские вылазки» на территорию храма. У каждого была своя секретная военная кличка. Во время осады храма предстояло погибнуть не только семье Лафмана. Все люди, жившие на расстоянии одного квартала от храма — в общей сложности более двух десятков членов РСПД, — должны были умереть.

В начале 1989 года собрания группы часто продолжались всю ночь. Джефф, который теперь постоянно носил пистолет на поясе или размахивал им, назначил самого себя четырехзвездочным генералом, командующим так называемой «Армией Израиля». В доказательство его высокого положения Элис — которая к этому времени начала пить, то есть вела себя неслыханным для истинной мормонки образом — сумела собраться и сшила ему штандарт: белая звезда и орел на поле королевского пурпура.

Остальные женщины научились обращаться с оружием. На ферме был установлен строгий режим наблюдения. Если Джефф удалялся от дома, за группой следил назначенный им «шериф». Строго просматривалась почта, прослушивались телефонные разговоры. Все, находившиеся за пределами фермы, считались врагами, «язычниками».

В то время как эти странные приготовления становились все более интенсивными, семейство Эвери совершило роковую ошибку, которая могла существен-

ным образом повлиять на планируемую Лундгреном битву: они стали жаловаться на нехватку денег.

В условиях все усугублявшихся финансовых проблем Эвери стали настаивать на том, что, если они передали Джеффу так много денег, он должен соответствующим образом заботиться об их материальном положении. После того как Джефф публично осудил их за такую самонадеянность, они стали пропускать некоторые ночные бдения. Они не знали, что в их отсутствие группа сурово порицала их поведение.

Только безгрешные могли рассчитывать на участие в штурме храма, постоянно говорил Джефф, — а семья Эвери согрешила. Но, по словам Джеффа, дело было не только в этой семье. Другие члены группы также могли недостойно проявить себя в оставшееся до решающего дня время. Только он мог читать их мысли, только он знал, кто был способен на такое.

Грех должен быть искуплен кровью; им предстояло умереть.

В один прекрасный день Джефф заявил, что вместе с ним должны выжить всего двенадцать взрослых — по числу апостолов. Он отказался назвать их имена на общих собраниях, но в частных беседах заверял каждого в его безопасности. Позже, когда выжившие сравнивали записи, они узнали, что имена избранных менялись в зависимости от того, с кем беседовал Джефф.

Однако незадачливые Эвери и их «недостойные» дети, разумеется, возглавляли список обреченных.

— Отказываясь посещать мои занятия, Эвери ожесточили свои сердца и закрыли их для Слова, — говорил Джефф, пользуясь любой возможностью выставить Эвери предателями, хотя те прилагали все усилия, чтобы вернуть себе расположение членов группы.

Спустя несколько лет, находясь в камере смертников, Джефф скажет Питу Эрли, автору книги «Пророк смерти: мормонские искупительные убийства» :

— Я говорил своим людям, что они должны благодарить Бога за семейство Эвери... Бог послал нам Эвери, чтобы мы принесли их в жертву.

Остальные члены группы поражались тому, что Эвери нисколько не осознавали грозящей им опасности. В то время как Джефф за их спиной обсуждал планы их убийства, они хныкали об одолженных деньгах и о том, что их не приглашают на обед.

Примерно в это время из группы было совершено два побега. Первым бежал Кевин Карри, который решил, что его имя занесено в список смертников.

Второй стала Шер Ольсен, встревоженная скоплением оружия в доме и начавшая сомневаться в претензиях Джеффа на звание последнего пророка.

И Кевин, и Шер бежали с фермы и, независимо друг от друга, связались с властями города, чтобы рассказать им о своих опасениях относительно планов Джеффа Лундгрена штурмовать храм. Полицейский надзор за фермой Лундгрена был усилен.

Чтобы заменить бежавших, Джефф завербовал нескольких новых сторонников. Одной из них была Дебби Оливарес, его родственница, работавшая медсестрой в местной больнице. Кроме того, в марте 1989 года в Киртленд приехала и присоединилась к секте еще одна семья: Лэрри Кит и Кэтти Джонсон и их четверо детей. Джонсоны были связаны с молитвенной группой Лундгрена еще в Индепенденсе.

Впрочем, в это время планы группы несколько изменились, частично из-за намерений свести счеты с Эвери. В то время как полиция нервничала из-за слухов о готовящемся вооруженном нападении на Киртлендский храм, группа Лундгрена готовилась к уходу в пустыню.

Для осуществления пророчества и очищения группы должна была пролиться

кровь; безумный план убийства был составлен и уточнен под непосредственным руководством Джеффа. Мужчины, которым предстояло умереть, подлежали обезглавливанию, но тем из них, у которых были жены и дети, вначале предстояло стать свидетелями их казни, говорил он. Взрослых женщин надлежало раздеть донага и четвертовать мечом. Детей должны были хватать за ноги и разбивать им головы о стену.

Вскоре план был упрощен и конкретизирован — речь шла о семье Эвери. Их нужно было убить, а остальные члены группы должны были уйти в пустыню, чтобы там дожидаться знака к нападению на храм.

Для осуществления этого плана группа стала лихорадочно закупать верхнюю одежду, походное снаряжение, оружие и подержанные автомобили, на которых предстояло перевезти всю компанию в пустыню, хотя точно никто не знал, куда именно. Но, по всей видимости, поездка должна была стать не очень дальней, поскольку Джефф и Элис — а решать могли только они — изучали карты Огайо и Западной Виргинии.

Необходимо было учесть каждую мелочь. Например, возникла проблема с Бекки Эвери, которой только что исполнилось тринадцать лет. Джефф никак не мог решить, каким образом ее убивать — как взрослую или как ребенка.

Элис предлагала решить вопрос в зависимости от того, «начались у нее уже менструации или нет». Джефф пробормотал, что он что-нибудь придумает, и снова занялся картами.

Весной 1989 года более двадцати членов секты Лундгрена ожидали переезда в пустыню.

В первых числах апреля Джефф демонстративно отправился в сумерках на вершину холма, куда он часто удалялся, чтобы лично получить наставления от Господа.

— Какова Твоя воля? — кричал он в сереющее небо. — Дай мне знак!

Десятого апреля Джефф приказал Киту и Рону копать могилу в грязном земляном полу амбара. Она предназначалась для Эвери.

Спустя несколько дней Джефф и Элис, как бы преисполненные чувства прощения, пришли на ужин к Эвери, чтобы обсудить поездку в пустыню. На следующий день Джефф сказал директору начальной школы в Киртленде, что детей Эвери не будет на занятиях в ближайшую неделю. Он сказал, что везет всех в Диснейленд.

Могила была готова 16 апреля, в день, назначенный для казни. Однако 15 апреля Деннис Эвери, обрадованный возможностью вернуть расположение «Отца», приехал на ферму и радостно показал Джеффу кредитную карточку, которую только что получил. На карточке значилась сумма 1000 долларов.

После обеда Джефф сказал жене, что Эвери купили себе еще немного жизни.

— Я поеду с этим парнем за покупками, — сказал он.

Так он и сделал. Они с Деннисом исчерпали весь 1000-долларовый лимит на карточке, купив еще несколько ружей — в том числе ружье, оглушающее электрическими разрядами. После поездки за покупками Деннис почувствовал, что Джефф забыл все его прегрешения — он велел ему привезти всю семью на ферму на следующий день, в понедельник, 17 апреля. Через несколько дней, сказал Джефф, все уедут в пустыню.

Ночью на ферме Джефф отвел в сторону Ричарда.

— Завтра — день «Д», — сказал он ему.

В понедельник на ферме было оживленно — начались последние приготовления к поездке. Дети веселились, думая, что их ждет продолжение каникул.

Эвери приехали к обеду как родственники, приглашенные на День Благодарения. Маленькая Карен Эвери даже нарисовала цветными карандашами рису-

нок для Элис. Смеющаяся девочка вручила ей свой подарок на пороге дома.

Во время мирного обеда, когда вся группа собралась за огромным столом, тот же самый ребенок привлек к себе внимание Джеффа — девочка отказалась есть кукурузу.

— Папочка, мне не хочется, — протестовала она.

Джефф наблюдал за ней со спокойным удовлетворением. Это был признак «неповиновения и избалованности», скажет он позже. Это был лишний довод в пользу намеченного.

После обеда, когда все женщины ушли на кухню мыть посуду, Элис заявила, что ей надо съездить в магазин кое-что купить перед закрытием. Она взяла с собой своих детей — Джейсона, Кристен и Кэлеба. Деймон остался на ферме.

— Позвони, когда соберешься назад, — сказал Джефф жене, уезжавшей вместе с младшими детьми.

Джефф встал из-за стола и пошел в спальню. Несколько мужчин пошли за ним и увидели, что он взял пистолет 45-го калибра. Деннис Эвери по-прежнему сидел за столом с женщинами и детьми и доедал обед.

— Приступим, — сказал Джефф.

Деннис, занятый второй порцией, никак не среагировал на то, что остальные мужчины — Джефф, Деймон, Ричард, Рон, Денни и Грег — пошли в старый амбар. Там они подошли к выкопанной яме — четыре фута в глубину, шесть в ширину, восемь в длину. Она была достаточно вместительной.

Джефф кивнул, и Рон пошел в дом за Деннисом. Он вызвал его из-за стола и сказал, что Джефф ждет его в амбаре.

Когда Деннис вошел туда, один из мужчин схватил его. Рон прижал электроружье к шее Денниса и потянул спусковой крючок.

— Не надо! — закричал Деннис, падая назад. Четверо мужчин, невидимых в темноте, подхватили его. Они связали ему руки и ноги проводом, заткнули рот. Вся сцена освещалась только голой лампочкой, свисавшей на шнуре с потолка. Деннис увидел, что его поставили на краю ямы.

Джефф подошел к нему, пристально глядя в глаза, и приставил револьвер 45-го калибра к сердцу Денниса. Эвери упал на колени. Джефф дважды нажал на курок.

Дверь открылась.

— Дело сделано?— спросил какой-то мужчина.

— Зайди и посмотри, что такое смерть! — позвал Джефф.

Мужчина молча стоял на пороге.

— Ладно, — сказал Джефф. — Приведи следующего.

Рон пошел в дом и сказал Черил Эвери, помогавшей мыть посуду, что муж зовет ее в амбар.

С ней поступили как с Деннисом: связали руки и ноги, заткнули рот и еще завязали глаза — Джефф сказал, что, по Библии, только мужчина имеет право видеть своего палача.

— Успокойся, — сказали ей в последние секунды жизни. — Не сопротивляйся. Смирись.

Они швырнули ее в яму, на окровавленное тело мужа. Джефф трижды выстрелил в нее, два раза в грудь и один раз в живот. Она корчилась еще несколько минут.

Джефф вышел вместе с другими глотнуть свежего воздуха. Он беспокоился, что соседи могут услышать выстрелы, но никто не бежал к ним через поле.

— Давай следующего, — сказал он.

Пятнадцатилетняя Трина Эвери читала журнал в гостиной, когда Рон пришел за ней.

— Мама зовет тебя в амбар, — сказал он.

Трина, как и ее мать, была покорна. Мужчины, завязывавшие ей глаза, руки и ноги, сказали, что это игра. Она подчинилась не протестуя.

Двое мужчин отнесли ее через амбар на край ямы. Потом ее сбросили в могилу. Джефф вышел вперед и выстрелил ей сперва в голову, а потом еще два раза в спину, когда она пыталась выкарабкаться.

Когда она затихла, они пошли в дом и нашли двух других детей, Бекки и Карен, игравших в видеоигру в гостиной.

— Кто хочет посмотреть на лошадок в амбаре? — весело спросил Рон.

Обе хотели.

— Только поодиночке, — настаивал он.

Тринадцатилетняя Бекки пошла первой. В амбаре ее связали и подтащили к яме, где Джефф застрелил ее. Девочка умерла, прижавшись к телу матери, возле трупа старшей сестры.

Затем настала очередь шестилетней. Карен с завязанными глазами усадили на краю могилы. Джефф выстрелил ей в голову пулей со смещенным центром тяжести. Потом он выстрелил еще раз, целясь в то же самое место. Девочка упала на груду тел, заполнявших окровавленную яму.

Мужчины открыли мешок с известью и высыпали ее на трупы.

Потом они дружно засыпали могилу землей и завалили ее сверху, чтобы замаскировать, камнями и мусором, собранными тут же, в амбаре.

Пока они занимались этим, Джефф ушел в яблоневый сад и воззрился в темнеющее небо.

— Господь, сегодня я был Твоим карающим мечом, — прокричал он в темноту. — Да будет принята моя жертва!

Потом он вернулся в амбар и ободрил своих людей.

— Теперь, когда порок побежден, мы можем удалиться в пустыню и увидеть Бога.

Они не увидели Бога, они даже пустыню не увидели. Вместо этого группа поспешно упаковала вещи и выехала с фермы на нескольких машинах, чтобы собраться всем вместе спустя несколько дней в заброшенном общественном кемпинге в Западной Виргинии, в районе Аппалачского плоскогорья. Они разбили палатки на голой земле, обезображенной шахтами для открытой добычи угля.

Вскоре после того как секта покинула ферму, туда неожиданно приехали полицейские, надеявшиеся найти незаконно хранящееся оружие. На ферме никого не было. Могилу они не нашли.

Всю холодную весну и все лето группа Лундгрена провела в палатках, причем Джефф провозгласил себя Моисеем и изводил женщин сексуальными домогательствами. Постепенно ужасные условия и нищета пересилили страх и веру, и люди стали сбегать. Тем временем полиция, расследовавшая исчезновение секты, обнаружила трупы.

К тому времени, когда «Моисей» вернулся из своих скитаний по пустыне, с ним оставались только его жена и несколько самых стойких взрослых сектантов. Все были арестованы.

Окружной суд предъявил Джефри, Рону, Ричарду, Деймону и Денни обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах — в Огайо за это преступление полагается смертная казнь. Деннис Патрик, а также Элис, Грег, Сьюзи, Тоня, Шарон и Кэтти обвинялись в сокрытии заговора с целью убийства.

Позже прокуратура пересмотрела свое решение: Ричарду вменили в вину простое убийство, а Грегу — соучастие, в обмен на их свидетельские показания.

Во время одного из заседаний адвокат заявил, что Джефф сам был жертвой, что в детстве он подвергался «эмоциональному насилию», всю жизнь страдал от заниженной самооценки и стал преследовать Эвери потому, что Деннис был для

него напоминанием о его собственной неполноценности. Но Джефф выглядел достаточно уверенным, когда обратился к суду с пятичасовой речью, в которой объявил себя «Божьим пророком» и пригрозил грешникам неминуемой карой. Присяжным потребовалось менее двух часов, чтобы признать его виновным в пяти убийствах при отягчающих обстоятельствах. Он был приговорен к смертной казни на электрическом стуле. Он до сих пор ждет казни.

Деймона признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Остальные подали апелляцию, и всем им, за исключением Рона, удалось избежать приговора; Рона признали виновным в убийстве и похищении, его приговорили к 170 годам тюрьмы. Тоне, Деннису и Кэтти было разрешено подать жалобу на нарушение норм правосудия, и им присудили минимальные сроки.

Элис, несмотря на попытки адвокатов представить ее несчастной, забитой женщиной, было предъявлено обвинение в том, что она способствовала сокрытию заговора с целью изощренного убийства. На суде она настаивала на том, что ничего не знала о планах Джеффа.

— Все знали, кроме меня! — жаловалась она.

Однако, посмотрев видеозапись, сделанную во время ареста, присяжные увидели и услышали, как Элис заявила:

— Надо было быть идиотом, чтобы не понимать, что он собирался сделать.

Никто, а тем более присяжные, не поверил, что Элис идиотка, поэтому ее приговорили к 150 годам тюремного заключения. Когда ее выводили из зала суда, она кричала толпе:

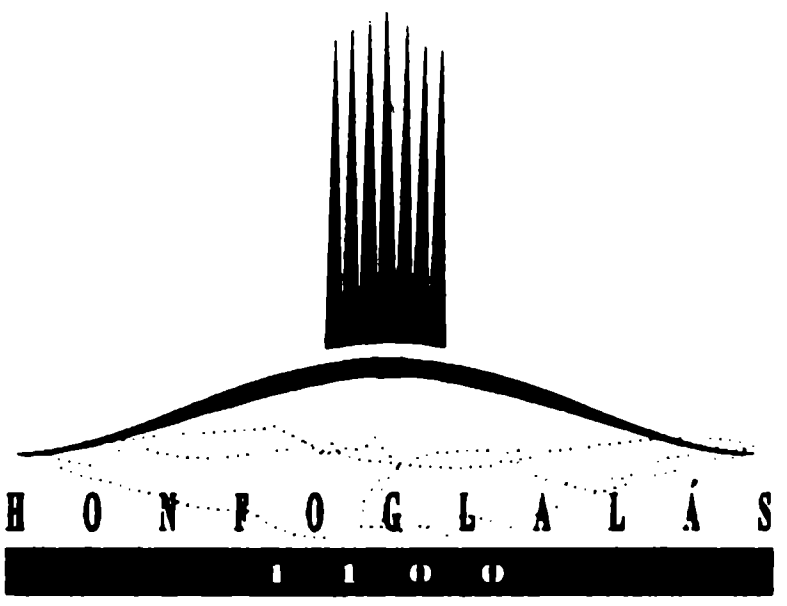
— Я не ангел Смерти!

Позже, в тюрьме, Элис будет спокойно вспоминать детский рисунок, который вложила в ее руку шестилетняя Карен, когда семья Эвери приехала на обед в день убийства. Там была нарисована и ярко раскрашена цветными карандашами радуга. А над ней девочка написала корявыми буквами: «Элис, я люблю тебя. Карен».

(*Окончание следует*)

Венгры и Европа

К 1100-летию Венгрии



В 1996 году венгерский народ отмечает 1100-летие прихода и поселения своих предков в Карпатском бассейне. Лук, изображенный в эмблеме обретения родины (HONFOGLALÁS), напоминает о древнем оружии предков венгров.
Семь стрел, семь лучей символизируют семь венгерских племен, пришедших с князем Арпадом в 896 г. на Дунайскую равнину.

ЮРИЙ ГУСЕВ

Заинтересованный взгляд со стороны

Ровно 1100 лет тому назад Бог, или судьба, или историческая материалистическая необходимость, или его величество случай (ненужное вычеркнуть), избрав своим орудием знакомых нам по нашей собственной истории печенегов, загнали несколько кочевых финно-угорских племен, возглавляемых князем Арпадом, в междуречье Дуная и Тисы. Должно быть, мадьярам (так называли себя эти кочевники), привыкшим к евразийским просторам, угол этот, зажатый со всех сторон горами, казался тогда краем света. Дальше идти им действительно было некуда: за горами находились мощные, хорошо укрепленные государства. Славян же, населявших Дунайскую низменность, мадьярам-венграм удалось легко покорить, смешавшись с ними, переняв у них навыки земледелия, а им отдав свой ни на что не похожий язык, любовь к коням и восточный темперамент.

Так в сплошном славянском окружении появились, и надолго, пришедшие из глубокой Азии венгры. Скоро они полюбили благодатный край, стали считать его родиной, расширили свои владения — преодолев нелюбовь к горам — и на юг, и на север, затем приняли христианство и создали сильное государство. В течение столетий венгры вполне европеизировались, в то же время ухитрившись сохранить и нечто свое, восточное, азиатское. Видимо, такая смесь оказалась в высшей степени жизнеспособной: венгры сберегли себя как нацию, сберегли свой язык, свою самобытность, свою культуру даже в нескончаемой чреде катаклизмов, среди которых были татарское нашествие, турецкое иго, многовековая зависимость от Австрии, две мировые войны, расчленение страны после первой, пребывание в «соцлагере» после второй, кровавое подавление народного восстания в 1956 году...

К драматическим эпизодам венгерской истории следует отнести и тот не сопровождавшийся кровопролитием, но ставший крайне чувствительным ударом по национальному самолюбию момент, когда один из властителей дум Европы XVIII века философ И.Г.Гердер в своей знаменитой работе «Идеи к философии истории человечества» как бы между прочим взял и «припечатал» венгров таким образом:

«Тут, между славян, немцев, валахов и других народностей, венгры составляют меньшую часть населения, так что через несколько веков, наверное, нельзя будет найти даже и самый их язык»[1]. Все девятнадцатое столетие, а может быть, и часть двадцатого для мыслящей части венгерского общества были омрачены этим пророчеством. Правда, нет худа без добра: упрямое желание доказать неправоту Гердера, возможно, и побудило венгерскую творческую интеллигенцию, отчаянно сопротивляясь предуготованной Венгрии и ее культуре роли европейского захолустья, тянуться за высокими образцами, развивать самобытные и в то же время не уступающие Западу философию, литературу, музыку, живопись и т.д.

---

[1] Цитируется по книге: *И.Г.Гердер*. Идеи к философии истории человечества. Серия «Памятники исторической мысли». М., 1977, с. 464 — 465.

Венгры — наши близкие соседи на протяжении тысячи ста лет.

Однако отношения между нами едва ли не все это время складывались как-то так, что мы, русские и венгры, жили хотя и рядом, но полуотвернувшись друг от друга. В сознании среднестатистического русского Венгрия, венгерская культура занимают, пожалуй, менее заметное место, чем, скажем, далекая Бразилия.

Справедливо это? Нет, по всей очевидности, несправедливо.

Соседа нужно любить даже немножко больше, чем ближнего вообще. Тем более, если сосед — человек нескучный, талантливый, с характером, с чувством собственного достоинства.

Попробуем вспомнить — без всякой претензии на полноту, разумеется, — сколько венгерских имен стали в минувшие сто-двести лет всемирно известными. Причем в самых различных сферах приложения человеческого гения, от легкомысленной оперетты до ядерной физики. Если уж зашла речь об оперетте, то разве можно представить ее историю без венгров Имре Кальмана и Ференца Легара? А серьезную музыку — без Ференца Листа, Белы Бартока, Золтана Кодая? А киноискусство — без кинорежиссера Александра (Шандора) Корды и актрисы Франчески Гааль? А историю живописи — без исступленного Чонтвари и мастера оп-арта Вазарели? А современную эстетику и философию — без Дёрдя Лукача? А ядерную физику — без Эдварда Теллера и Лео Силарда? А вообще современную жизнь (особенно жизнь бывшей советской науки) — без Джорджа Сороса (Дёрдя Шороша)?.. Пальцы на двух руках давно кончились, перечисление же можно было бы продолжать еще долго. Для относительно немногочисленного народа — процент гениев невероятно высокий!

Журнал «Иностранная литература», следуя своему давнему принципу видеть мир во всем его богатстве, не зацикливаясь на культуре какого-нибудь одного региона, решил откликнуться на юбилей Венгрии, чтобы теперь, когда подобный жест уже не диктуется политическим протоколом, лишний раз напомнить российскому читателю: венгерский народ, венгерская культура представляют собой явление, заслуживающее пристального внимания и уважения. Может быть, еще и потому, что в самосознании венгров, в их культуре немало такого, что перекликается с русским национальным самосознанием и русской культурой.

Ниже публикуются размышления двух видных представителей венгерской литературы о том, какой исторический путь прошли венгры, чем они были живы на протяжении долгого и трудного тысячелетия, в чем неповторимость — если она есть — венгерского духа, венгерскости (позволим себе такой неологизм по аналогии с гуляющим сейчас понятием «русскость»). Ласло Немет, умерший в 1975 году, давно стал классиком венгерской литературы; Петер Эстерхази — ныне здравствующий, активно работающий писатель, тоже с серьезными шансами на ранг классика. Взгляды их несходны и даже противоположны; у Немета здравые, порой удивительно актуальные и для нас мысли об истории, о судьбе наций причудливо сочетаются с почвенническими иллюзиями. Недаром П.Эстерхази кое-где, с почтением и все же решительно, полемизирует с Неметом, и эта полемика, отражающая характерный для Восточной Европы, и не только в XX веке, спор между «почвенниками» и «западниками», помогает получить более рельефное, выпуклое представление о духовном облике венгров — и как субъекта тысячелетней истории, и как современного народа, играющего заметную роль в жизни Восточной Европы.

ЛАСЛО НЕМЕТ
ВЕНГРЫ И ЕВРОПА

Фрагменты книги[1]

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

Огромную ношу взвалит себе на плечи тот из больших народов, который не только возьмется дать свой ответ на новые, неожиданные, непомерной сложности вопросы, выдвинутые XX веком перед человечеством, но и устоит на избранном пути. Мы не станем гадать на кофейной гуще, пытаясь определить имя этого народа. Нас интересует маленький народ, венгры; народ, который, со спазмой в горле, стоит, от-

[1] Из книги того же названия, вышедшей в 1935 г. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Németh László örökösei, 1989

вернувшись, на краю исторической сцены, скованный ожиданием: столкнут его окончательно в ряды зрителей, или он еще будет хотя бы петь в хоре, как в светлые моменты своей истории? Или — дерзкая мечта! — когда-нибудь и он, запинаясь от смущения, вмешается в диалог великих, произнеся свою реплику, которую все услышат, — как те вестники, что, находясь вдалеке от сцены, тем не менее видят и сообщают другим нечто жизненно важное?

***Имре Тёке.* «Пастух, похищающий невесту»[3].**

Если культура французов, англичан, немцев есть культура раскрывшаяся — история дала им судьбоносный шанс высказать то, что заложено в них от века, в достойных такого предназначения произведениях, — то у венгров развитие духовности застряло на полпути. В полную мощь ей не дали раскрыться турки и умело воспользовавшиеся турецким нашествием Габсбурги; да и сами условия творчества были здесь ущербны, скованы обстоятельствами, ограничены в возможностях. Зрини[1], поэт в осажденной крепости, вынужденный оставить перо ради сабли, — вот символ всей нашей культуры. В истории тоже случается, что на голову падает кирпич; так вот — для венгров таким кирпичом стали турки. Новейшая наша история — это история неудержимой воли к жизни и сплошных неудач. О венгерской культуре эпохи Арпадов[2] нам, к сожалению, известно мало; но те, докирпичные времена, очевидно, были счастливее послекирпичных. Это доказывают не столько просочившиеся к нам сквозь века факты и сведения, сохранившиеся памятники, сколько общие контуры венгерской истории.

На востоке Европы, в тех краях, где бродили воинственные, беспокойные племена, к рубежу первого и второго тысячелетия вовсю разворачивается строительство трех больших бастионов. Это — Чехия, Польша и Венгрия. С самого начала самое устойчивое из этих трех государств — венгерское. Королевский трон укрепляется здесь не в борьбе с раздерганными междоусобицей удельными княжествами: символы креста и короны сплавляют в прочное единство и без того достаточно единый народ. Если Чехии удается избавиться от постоянной угрозы со стороны германских императоров, лишь став одной из вассальных территорий империи, то Венгрия сохраняет независимость от обоих императоров, как германского, так и византийского. Благодаря нескольким сильным королям, она быстро выбирается и из столь обычных на европейском Востоке смут, связанных с соперничеством за трон между братьями, — такие смуты держат в состоянии хронического кризиса Чехию и Польшу. Границы Европы на востоке Венгрии куда более надежны, чем на обращенных к литовцам и пруссам окраинах Польши. Правда, мы оказываемся в стороне от большого пути, по которому катятся валы крестовых походов, но духовное их воздействие проникает и к нам, и мы, посредством наших монахов, наших строителей, родственных связей, оказыва-

---

[1] Миклош Зрини (1620 — 1664) — поэт, полководец, крупнейший представитель венгерской литературы XVII в. Эпическая поэма «Осада Сигета» (1645 — 1646) описывает подвиги прадеда, тоже Миклоша Зрини, коменданта крепости Сигетвар, который, защищая крепость от турок, геройски погиб в 1566 г.

[2] Венгерские короли из рода Арпадов. Князь Арпад (? — 907) — предводитель мадьярских племен, пришедших с востока в бассейн Дуная. Первый король из его потомков — Святой Иштван, годы правления: с 1001 по 1038 г. Династия закончилась в 1301 г.

[3] Здесь и далее — работы из Музея венгерских "наивных" художников (г. Кечкемет).

емся причастны и к французскому средневековью. После татарского нашествия импортированный феодализм переживает второй — разрушительный для страны — расцвет; и тем не менее мы и на сей раз способны противостоять формированию чешской гегемонии. А когда, с упадком Священной Римской империи, Восточная Европа высвобождается из-под немецкой угрозы, мы с нашими королями из династии Анжу[1] противостоим как равноправные процветающей под Люксембургами[2] Чехии и Польше. В эту эпоху не из Франции, изнуренной Столетней войной, и не из притихшей за Альпами Германии, а из новой Италии текут к этим трем встающим на ноги королевствам самые вдохновляющие духовные влияния. Позже дошедшие в наши края относительно еще молодая французская культура, французский рыцарский дух лишь обретают дополнительный блеск, обогащенные сиянием воскресшей средиземноморской культуры и темпераментом более молодого народа. Карл IV[3] возводит готическую Прагу и принимает у себя Петрарку. Короли из дома Анжу эту франко-итальянскую двойственность носят в крови.

Властители европейского Востока встречаются в Вишеграде; здесь же воспитывается будущий великий польский король[4]. Чехия — один из устоев Германской империи, Польша расширяется в сторону сарматских равнин; Венгрии, по всему судя, для европеизаторской деятельности остаются Балканы. Но на Балканах к этому времени уже сидят турки. На нашей охотничьей территории оказался более сильный охотник, который нас вытеснил. Матяш напоследок еще успевает укрепить венгерское государство против турок. Чехию сжигает гуситская лихорадка, Габсбурги только еще плетут с помощью династических браков свои сети; а в Буде, в своем ренессансном дворе, сидит на троне великий национальный король[5], его вельможи посылают своих сыновей в университеты Падуи и Болоньи, его крестьянство еще не постигла рабская участь восточноевропейского крепостного права.

Таковы общие контуры венгерской истории дотурецких времен. Любой камень, выброшенный землей, любое найденное археологами свидетельство прошлого — все, все говорит о том, что контуры эти должны были быть заполнены богатым, многоцветным европейско-венгерским содержанием. Но, увы, в разгар расцвета европейского гуманизма, когда нации открывают для себя свою культуру, а в Англии, Франции, Испании, даже в Германии это полуотделение от Европы бурлит с интенсивностью нового зачатия, пробуждая охоту к творчеству, — у нас как раз всему наступает конец. Турок, как терзающий Прометея орел, опускается на страну, вновь и вновь насыщаясь ее печенью. Мы привыкли хвалиться своей тысячелетней историей — но ведь пятьсот лет из них выпали почти полностью. Ибо истинная, с пользой прожитая история народа — не то, что он слышит о прошлом, а само прошлое, остающееся с нами в домах, образах, стихах, пословицах, праздниках, буднях. А того, о чем мы знаем, но чего нет с нами, — того и в самом деле нет. Не только в греческом языке прошедшее время обладает условным значением: то, что всего лишь прошлое, действительно условно; оно могло бы быть, если было бы и сейчас. Лишь то, что есть, было наверняка. Французское средневековье — есть, его можно осязать на земле, отыскать в душе; чешское средневековье — есть, потому что есть Прага Карла IV; все, кто живет в ней, дышат ею, питаются ею, видят ее. Венгерского средневековья нет или почти нет: оно стерто с лица земли турками. Оно убито в задавленных унижением крепостных, пошедших за Дожей[6]. Упавший на нас кирпич вышиб из голов память о жизни до катастрофы. Ходят слухи, что вроде мы жили и раньше; о нас рассказывают занимательные

---

[1] Короли из неаполитанской ветви семьи Анжу, состоявшей в родстве с династией Арпадов, занимали венгерский трон в XIV в.

[2] Короли из германского дома Люксембургов правили Чехией с 1310 по 1437 г.

[3] Карл I (правил с 1346 по 1378 г.) был также, под именем Карла IV, императором Священной Римской империи.

[4] Вишеград — населенный пункт в Венгрии, на Дунае, к северу от Будапешта. Еще при Арпадах здесь находилось королевское имение. С 1310 по 1526 г. в Вишеграде хранилась корона венгерских королей. Короли Чехии, Польши и Венгрии встречались в Вишеграде в 1335 г. для заключения торгового и таможенного соглашения. Польский король, воспитывавшийся (до 1330 г.) в Вишеграде, — Казимир III Великий (правил с 1333 по 1370 г.).

[5] Имеется в виду Матяш Хуняди (1443 — 1490). При нем Вишеград, где Матяш выстроил дворец для себя, достиг наивысшего расцвета.

[6] Дёрдь Дожа — предводитель крестьянской войны 1514 г.

ные истории, показывают сохранившиеся письма, написанные нами; но это все же не наша жизнь, это — сказка о какой-то другой жизни, которая непонятно каким образом имеет отношение к нам. Кто в прежние времена не знал, что дворец в Эстергоме[1] был настоящий чертог, достойный королей? А теперь, когда земля обнажила его фундамент, это тоже кажется только сказкой.

О том, что было на этой земле до наступления суровых времен, можно составить какое-то представление разве что по жизни тех же самых суровых времен. Турок не только покорил треть страны, но и вверг едва ли не в первобытное варварство остальные две трети. То, что осталось от Венгрии, представляло собой сплошные пожары, блеск сабель, грохот ружей; полагающиеся лишь на собственный ум и силу воины вроде Меньхарта Балашши[2] вернули в свои удельные княжества нравы самого темного средневековья.

Однако и в более спокойные времена, которые пришли позже, венгерская жизнь никогда больше не знала того интенсивного накала духовной жизни, какой ощущается в письменном наследии XVI и XVII веков. Кемень[3] и Мориц[4] не напрасно обращали сюда свои взгляды, если хотели сказать нечто очень весомое, очень важное о венгерскости, которую они носили в своей крови. Даже в бессмысленных и принимающих подчас самые дикие формы битвах Столетней англо-французской войны просвечивает высокий дух средневековья, когда нежалеемая в военных походах и сражениях рыцарская кровь лилась ради высоких целей, а прикрывающие грабительские инстинкты рыцарские обряды, в увековечении которых такую радость находил Фруассар[5], были внешним проявлением мужества, служения родине и прекрасной даме; так и за одичавшим венгром XVI и XVII веков, будь то барин или крепостной, стоял другой, благородный венгр, венгр эпохи Анжу, эпохи Матяша.

При Мохаче[6] погибли католические священники, поэтому и стало распространяться у нас протестантство, — учили мы в школе. Только протестантство распространилось в Венгрии не из-за Мохача, а вопреки Мохачу. Распространилось потому, что Мохач не перерезал резко и сразу европейскую артерию нашей культуры, артерию, по которой тек к нам северный гуманизм, преображающийся в Реформацию. Как мы видели, протестантство перетекало вовсе не в пустоту, да и вообще не перетекало, а врывалось туда, где беспокойные метания в сфере духа и экономики обращались к религии, лихорадочно ища в ней новые формы государственности и вообще жизни. Приезжая домой из Кракова и Виттенберга[7], венгерские студенты возвращались в среду, которая могла и любила посылать своих студентов в иностранные университеты. Слегка попробовавший Реформации гуманист — каким был, например, Сильвестер[8] — лишь через несколько поколений превращается, следуя за своей несчастной нацией вниз по наклонной плоскости, в сурового протестантского проповедника. То, что венгры избрали самую буржуазную разновидность протестантства, женевскую, тоже совсем не случайно.

И все-таки: сколько у этого народа, прозябающего во фронтовых условиях, всю жизнь, говоря нынешним языком, не вылезающего из окопов, все более отрываемого от Европы, — сколько сохраняется у него упорства, серьезности, находчивости, оригинальности! Самый верный признак молодости — способен ли ты и насколько спо-

---

[1] Эстергом — город на севере Венгрии. До XIII в. был резиденцией венгерских королей.

[2] Меньхарт Балашши (XVI в.) — венгерский дворянин, военачальник, прославившийся грубостью, жестокостью, лицемерием и частыми переходами из одного борющегося лагеря в другой.

[3] Жигмонд Кемень (1814 — 1875) — венгерский писатель, автор, среди прочего, исторических романов.

[4] Жигмонд Мориц (1879 — 1942) — венгерский писатель, автор многих романов, и в том числе исторической трилогии «Эрдей» (Эрдей — венгерское название Трансильвании).

[5] Жан Фруассар (ок.1337 — после 1404) — французский хронист и поэт, автор хроник, описывающих главным образом события Столетней войны, а также стихотворений и поэм в духе рыцарской куртуазности.

[6] В сражении при Мохаче (1526 г.) венгерское войско потерпело сокрушительное поражение от турок; Мохач стал событием, положившим начало турецкому владычеству.

[7] Краков (в Польше) и Виттенберг (в Германии) известны своими старинными университетами. Виттенберг — один из центров Реформации; здесь в 1517 г. выступил со своими тезисами М.Лютер.

[8] Янош Сильвестер (ок.1504 — ок.1555) — венгерский религиозный писатель и проповедник, последователь Эразма Роттердамского. Перевел на венгерский язык Новый Завет; эта книга стала первым печатным произведением на венгерском языке.

собен приспосабливаться к новым ситуациям. Эрдей, самое древнее и самое значительное доказательство созидательных способностей венгров, — свидетель нашей тогдашней молодости. Это был тот самый Эрдей, который увековечен в вершине венгерской романтики — трилогии Морица. Защищаемый хитростью и умом, обустраиваемый с невероятным, замешанным на крови терпением, на глазах у постоянно пересекающих его волчьих стай Волшебный сад[1] — вовсе не жалкое убежище, которое создал себе, спасаясь от жестокой судьбы, достойный лучшего удела народ. Прочитайте хотя бы написанные в конце семнадцатого столетия воспоминания Миклоша Бетлена[2]: вы увидите тип венгра, закаленного в нескончаемых битвах. Он и в солдатской своей огрубелости — гибкий, выдубленный штормами и бурями протестантский Улисс, внимательно следящий за всем значительным, что происходит в Европе.

Дёрдь Андраш Берецки. «Дружка»

И от Коложвара до Чакторни[3] этот тип в основе своей неизменен, и не только вширь, но и вглубь: барин — барин, мужик — мужик, но сделаны они из одного материала. Венгерскость «Надгробного плача»[4] почти не отличить от современной; секея[5] почти не отличить от жителя Гечея[6]. У немцев, французов и столетия сильнее изменили язык, и разные области шире его разбросали. Былые венгры, как и язык их, — нечто прочное, плотное, как скала; жестокие времена лишь скалывают с него крошки, Габсбурги переманивают у него вельмож, скала все глубже уходит в землю, но мы и сейчас стоим на ней все, сколько нас есть. Лучшая часть нашего крестьянства — это все еще старая Венгрия, и когда крестьянский сын становится акцизным чиновником в Пеште, он порывает со старой Венгрией решительнее, чем все его предки, вместе взятые. Турок давно отступил, протестанты поредели, сам Эрдей отрезан границей; и все-таки тот, кто произносит нынче венгерское слово, все еще, хочет он того или не хочет, напрямую связан с венгерской «темной эпохой», с теми огрубевшими, исполненными библейской истовости и целеустремленности Улиссами, над которыми небо нависало ниже, а воздух вокруг был гуще от человеческих испарений.

Три великих восточноевропейских средневековых королевства, казалось, за двести лет окончательно сгинули; как родились вместе, так вместе и утонули в реке времени. Чехия и Венгрия сразу после Мохача, в один и тот же год получают на свою голову Габсбургов. К венграм ближе турок, к чехам — Габсбурги. Над двумя народами, которых культура, состояние, склонности толкнули в северную, протестантскую зону Европы, господствует король из южного, испанского круга[7]. Братское протестантство потерпело поражение у Белой Горы[8], вожди его рассеяны, и германизация настолько сильна, что чешский язык за сто лет угас почти полностью. Для Венгрии

---

[1] «Волшебный сад» — название одной из частей трилогии Ж.Морица.

[2] Миклош Бетлен (1642 — 1717) — канцлер Эрдея (Трансильвании), посвятивший жизнь борьбе за независимость этого края от Австрии. Оставленное им «Жизнеописание» — не только документ эпохи, но и выдающийся литературный памятник своего времени.

[3] Коложвар (Клуж) — город в Трансильвании. Чакторня (Чаковец) — город в Югославии.

[4] «Надгробный плач» (конец XII в.) — самый древний сохранившийся памятник на венгерском языке.

[5] Секеи — венгерская этническая группа; проживает в Трансильвании.

[6] Гечей — местность в области Зала; население сохранило многие своеобразные черты в языке и обычаях.

[7] Австрийская ветвь семьи Габсбургов корнями уходит в Испанию.

[8] В сражении у Белой Горы (1620 г.) австрийский император Фердинанд разгромил войска чешских протестантов; сражение стало одним из важных эпизодов Тридцатилетней войны.

водораздел — Сатмарский мир[1]: по ту его сторону еще плотный, темный массив прежней Венгрии, по эту — Венгрия более прозрачная, приноравливающаяся к Габсбургам, пропитанная чужой культурой. Вельможи мажут ее европейской глазурью; потоком вливающиеся иностранные поселенцы и слуги разжижают ее кровь. Эпоха Просвещения воздвигла вокруг Польши — руками царя Петра и Гогенцоллернов — две сильные цивилизованные державы, между которыми едва не был перемолот без остатка этот народ, еще сохранивший в своем анархическом феодализме родной славянский туман. Когда и Габсбурги переходят с Иосифом[2] из католицизма к религии Просвещения, судьба трех королевств представляется завершенной: они, застрявшие в Европе динозавры средневековья, выполнили свой долг и уступают место трем просвещенным монархиям: Австрии, Пруссии и России.

Но к востоку от Рейна судьба Просвещения была та же, что и судьба гуманизма: оно обращалось к нации как к живому существу и пробуждало в человеке национальное. Те нации в Европе, которые породили идеологию Просвещения не из себя, а заимствовали ее, примеряя на себя чужое платье, — вновь, как в эпоху Реформации, открыли самих себя. Идеализм Канта, Гердера, Шиллера — порождение противоречивой немецкой натуры. И Восточная Европа инстинктивно делает то же самое, что и немцы; точнее: сначала инстинктивно, потом — сознательно, учась на великих образцах.

Главная цель и тут — просветительство. Но для просветительства, для образования нужен язык, для языка же — национальная культура. Культуру вначале мы пытались перенять с помощью перевода, копирования, лишь потом — создать из собственной венгерской глубинной сути. У чехов, у поляков точно так же есть свои Казинци[3], как и у нас. Гердер научил нас понимать, что каждый народ — индивидуальность, и, как таковой, даже самый маленький народ может сказать нечто такое, чего никогда не скажет и самый большой народ. Это возвращает малым народам чувство собственного достоинства. Мертвецы вновь начинают жить, и уже не только три народа с великим прошлым, но и те, что оказались в византийской и турецкой зонах, трудятся над закладыванием фундаментов новой, дочерней культуры. В этой оргии обновления венгры — благодаря львиному прыжку Бешшенеи[4] — опять оказываются впереди. Если венгерская культура — культура несчастная, остановленная в своем развитии, то сейчас, сейчас наступает момент снять с нее заклятие. И два героических поколения действительно предпринимают для этого все возможное. Никто, никогда столько не делал для венгерской культуры. Мы, пользующиеся венгерским языком как языком европейским, живем их наследием.

И им удалось-таки воскресить язык онемевшей культуры; язык — да, но сердце — уже не в той мере. Усилия Казинци и его соратников не смогли так основательно растопить и воскресить скрытую венгерскую натуру, как немецкий идеализм — немецкую. Скала сидела в земле слишком глубоко и была слишком монолитной, чтобы ее можно было так быстро распахать, превратить в плодородную почву. Были нужны словари, развитой вкус, совершенствование языка и стиля; на глубинную породу венгерской культуры накладывался новый, аллювиальный слой[5]; наносы приносились венгерскими водами, но из чужих земель. У нас уже есть образование, пригодное для того, чтобы открыть нам Европу, но недостаточное, чтобы создать оригинальное венгерское качество, способное говорить Европе нечто свое. Здесь и обнаруживается великий разлом: между поверхностным литературным слоем и глубинными силами национальной культуры. В дальнейшем из нижнего в верхний доходят разве что судороги какого-нибудь одинокого чудовища-гения. Но если здесь начинается эта болезнь почвы, свойственная венгерской культуре, то здесь она еще не опасна. Копиров-

---

[1] Сатмарский мир (1711 г.) завершил освободительную войну, которую вели венгры под предводительством князя Ференца II Ракоци против Габсбургов; Сатмарский мир надолго закрепил зависимость Венгрии от Австрии.

[2] Иосиф II (1741 — 1790) — австрийский император, с 1780 по 1790 г. — венгерский король, с 1765 г.— император Священной Римской империи; яркий представитель просвещенного абсолютизма.

[3] Ференц Казинци (1759 — 1831) — венгерский писатель, возглавивший движение за обновление языка.

[4] Дёрдь Бешшенеи (1747 — 1811) — венгерский писатель, крупнейший представитель Просвещения.

[5] Аллювиальный — наносный.

щики эти ближе прерванным традициям венгерской духовности, чем очень многие из оригинальных творцов более позднего времени. И есть в эту эпоху два поэта, которые в своих опытах намечают для нашей культуры очень высокую траекторию.

Бержени[1] — это тот орел, который взлетает к солнцу. Из самой глубинной венгерскости, оттуда, где задержанная в своем развитии венгерская культура еще связана с первоисточниками, он воспаряет в высочайшие сферы европейской духовности. Казинци со товарищи прилежно мостят дорогу между современной им Венгрией и современной им Европой. Бержени ведет венгерский дух куда дальше, в исконный жар греческого горна. Он не только показал, как великолепно венгерский стих способен летать на античных крыльях: он доказал, что и самая тяжелая венгерская натура именно на этих крыльях способна взлететь выше всего. Его называли венгерским Горацием — но он от Горация дальше, чем вся остальная венгерская литература тех лет. Гораций для него — не атмосфера, но вторгающееся в его душу духовное семя, которым высокая античность оплодотворяла его глубинную венгерскость. Бержени — поэт не гибкий, он не умеет лицедействовать, подражать. Он — просто свободен. Он — не очарованный греками северянин, как Гёте; он — северный грек, единственный в своем роде и все-таки — далеко вырвавшийся вперед представитель всей нашей культуры, поэт, в котором перед нами очерчен возможный венгерский путь.

Если Бержени — суровый мифологический герой венгерской литературы, подобный Прометею, который приносит с неба огонь, а потом гниет заживо на миниатюрном Кавказе, в своей Кеменешалье, то Чоконаи[2] — это ласковый, улыбчивый венгр, обеими ногами стоящий на земле, общительный, гибкий и переимчивый; на сильном стволе, который символизирует Бержени, он — обещание цветения.

Чоконаи читает, переводит, подражает, все это делает с гениальной легкостью, оставаясь поэтом, не ведающим, что такое пот. Он — вторая венгерская программа, которая дополняет Бержени. Наслаждайтесь красотой и ароматом каждого цветка, растущего на этой прекрасной земле, но не будьте черствыми ботаниками, засушивающими цветы между листами бумаги; будьте прилежными садоводами, превращающими пустыню в цветущий оазис. Сердце, улыбающееся даже сквозь боль, — вот лучший родник для такого садовода. Его берега пестреют незабудками, первоцветами, лютиками, и наша, венгров, обязанность — покрыть холодную страну цветами. Вспоминайте наших отцов в горах Эрдея, устоявших среди прибоя татарских орд, и в заснеженной Паннонии. Они тоже умели шутить и смеяться в беде; и если у них на фляжках был цветочный узор, то этим узором был я, Чоконаи-Витез, и меня их тяжелый кулак прислал к вам, чтобы ласково потрепать вас по плечу и погладить по голове. Если венгерский дух в самом деле однажды выплеснется из вулканических глубин на поверхность, на празднике творящего землетрясения нужно будет цитировать Бержени; если Венгрия в самом деле станет цветущим садом, первую ветвь цветущего миндаля мы должны будем положить к мраморному бюсту Чоконаи.

Первая половина XIX века, которую питают соки немецкого идеализма и прекрасный мираж французской революции — пока их не всасывает без остатка капиталистическая гонка, — для венгров была уютнее, чем вторая. Экономическая революция и революция свободы здесь еще идут рука об руку в гармоничном разделении труда, вплоть до 1848 года, который дискредитирует национальные революции как дешевый, ни на что уже не пригодный балаган...

Эти две революции раннего XIX века представляют два венгерских вождя — Сечени[3] и Кошут[4]. Кошут — революция только против Габсбургов, Сечени — и против себя самого. Не знаю, у тех, кто читал Адама Смита, какое мнение сложится о «Кредите». Я считаю это произведение флагеллантским[5]. Экономика здесь — не умное орудие для осмысленной работы, а бич, обрушивающийся на нашу собственную

---

[1] Даниель Бержени (1776 — 1836) — венгерский поэт. Большую часть жизни провел отшельником в своей усадьбе Каменешалья.
[2] Михай Чоконаи-Витез (1773 — 1805) — венгерский поэт; вечный бродяга, вечный студент.
[3] Иштван Сечени (1791 — 1860) — венгерский политический деятель, публицист и писатель.
[4] Лайош Кошут (1802 — 1894) — венгерский политический деятель, руководитель революции и национальной освободительной войны 1848 — 1849 гг.
[5] Флагелланты — члены религиозной секты самобичевателей.

натуру. Я бывал в Англии, Англия — счастлива. Если мы хотим выжить, надо делать то, что делает Англия. Я навязываю венграм экономику, я навязываю себе роль апостола экономики. Сечени — по его природе — до плеч закопан в глубинную венгерскую почву, лицом же обращен к бегущему веку. Трагизм его — трагизм всего венгерства, которое пробудилось, а мир ждет от него чего-то совсем иного, не того, для чего оно пробудилось. Естественно, что ему стали видеться кошмары; естественно, что кошмары эти оказывались реальностью.

Кошут рядом с Сечени — просто дитя удачи. Этвеш[1], Петёфи[2] и он — три великана венгерского аллювиального слоя. Три редких венгра, которые в своем времени чувствовали себя дома и в творчестве своем любовались целостной копией своей натуры. Мир делается открытым, человек растет над самим собой, народы становятся свободными согражданами человечества, угнетенные — свободными гражданами государства. В борьбе света и тьмы место, которое надлежит занять благородному сердцу, не вызывает сомнений, глас Божий столь звучен, что неправильно понять его нельзя. Взлетевшая высоко над беспокоящими совесть глубинными слоями, но вызывающая симпатии всей Европы эпоха реформ с тремя этими фигурами на гребне несется прямиком — в сорок восьмой.

Грех относиться к сорок восьмому с пренебрежением: с турецких времен это было самое грандиозное свершение венгров. Сорок восьмой — величина непостоянная, кое в чем он — карикатура, из его революций венгерская — единственная устоявшая на ногах. Поражение, которое она потерпела, — не поражение: с сорок восьмым мы ничего не утратили необратимо. Более того, с сорок восьмым мы обрели — венгерскую мифологию. Правда, это — мифология аллювиального слоя; но она единственная, которой можно пользоваться. Настоящее, большое поражение пришло после сорок восьмого, когда мы безнадежно отстали в капиталистической сверхгонке. Отстала, собственно, даже не Венгрия, а венгры, живущие в ней. Но прежде чем это произошло, был мрачный период обостренного видения, обостренного осознания своей судьбы, когда души, тревожимые глубинными течениями венгерского духа, нашли слова для выражения своей раздвоенности. Души, для которых эпоха Этвеша, Кошута и Петёфи была чужой: Кемень, Арань[3] и Мадач[4].

Со времен Мохача самым большим из постигших Венгрию бедствий была утрата, после Соглашения, среднего сословия. Были чиновники, врачи, адвокаты, ремесленники, была голова, но она не принадлежала телу; она им жила, но не для него думала. Венгерское среднепоместное дворянство являлось неким промежуточным существом между феодальным дворянством и буржуазией: по крови — дворянство, по роли — то, что на Западе буржуа. Капитализация, можно было надеяться, этого гибрида перевоспитает в буржуа. В авангарде эпохи реформ действительно шло среднее дворянство, ощущающее себя буржуазией; за спиной у него была родовая усадьба, перед глазами — идеалы французской революции. В двойственности этой заключались его величие и его сила: своя земля давала ему моральное право на реформаторские устремления. Последнее испытание этот класс выдержал в 50-е годы XIX века, в период абсолютизма. Затем он лишь тает, становится все более заскорузлым, негибким — но властвует до сих пор. Новое, разбухающее венгерское королевство времен Соглашения нуждается в огромном чиновничьем сословии; не в комитатских служащих, стоящих одной ногой на земле, а в нормальных бюрократах, перекладывающих с места на место папки с бумагами. Среднее дворянство должно было выбирать между землей и канцелярией, и выбор совершался тем легче, что после Баха[5] и отмены крепостного права[6] земля и так уходила у него из-под ног. Государство принадлежало ему по древнему праву, и оно заняло в нем самый надежный плацдарм: письменные сто-

---

[1] Йожеф Этвеш (1813 — 1871) — венгерский прозаик.
[2] Шандор Петёфи (1823 — 1849) — великий венгерский поэт.
[3] Янош Арань (1817 — 1882) — венгерский поэт.
[4] Имре Мадач (1823 — 1864) — венгерский поэт, философ; автор философской поэмы «Трагедия человека».
[5] Александер Бах (1813 — 1893) — австрийский политический деятель, после поражения революции 1848 — 1849 гг. ревностно укреплявший в Венгрии позиции монархии.
[6] Крепостное право в Венгрии было отменено в 1848 г.; Вена вынуждена была в дальнейшем смириться с этим.

лы. В то время, когда во всей Европе буржуазия, разбухая и стремительно умножаясь, взяла на себя задачу возведения нового сооружения — государства XIX века, венгерское среднее сословие, так хорошо показавшее себя в эпоху реформ, забивается в самую затхлую, самую порочную часть этого государства, предоставляя ему искать новое среднее сословие там, где получится.

Важные, новые сферы жизни попадают в другие руки. Капиталистическое хозяйство, наука, литература кишмя кишат ассимилирующимися евреями, немцами, словаками. Медленнее всего пополнение как раз с той стороны, с какой оно должно быть самым массовым: из крестьянства. Мужику позволено стать рабочим на заводе, трамвайным кондуктором, ну, может, акцизным чиновником; но чтобы попасть в барскую должность — такое крайне редко. Крепостного права давно нет; но упрямое крупное землевладение, отсталая культура земледелия, несправедливая система налогов и, в немалой мере, неуверенность, накопившаяся за четыре столетия крепостничества, подавляют в крестьянстве энергию, необходимую для подъема. Из богатой деревни с четырьмя тысячами жителей до 1910 года в среднее сословие просочились едва три-четыре крестьянских сына. И эти трое-четверо, уже без крестьянской шапки на голове, но с крестьянским подобострастием в душе, вступая в быстро мельчающее господское общество, быстро узнают, что происхождение свое лучше не выставлять напоказ.

На первый взгляд все прекрасно. Паровозы свистят, трубы новых заводов дымят, народонаселение растет сумасшедшими темпами; дворяне-канцеляристы блюдут традиции, поэты-евреи щеголяют в атилле[1], рыжие швабы дуют в тарогато[2], вознося осанну нашим ассимилирующим способностям. И способности эти — вовсе не такой уж абсурд. Авторитет канцелярского дворянства огромен, и в новом, наспех сляпанном обществе пришельцы стараются приспособиться к его устоявшимся обычаям. Власть и мощь этого сословия убывают, но влияние его образа жизни распространяется на все другие слои; оно приноравливает к себе, к своему стариковскому, циничному мировосприятию, и молодые возрастные группы. Австрийский император на то и император, чтобы ломать голову и за нас, а европейский подъем как-нибудь да протащит к нам, заслуживаем мы того или нет, ровно столько благополучия, чтобы мы, за вином и закуской, могли оставаться неколебимыми сторонниками идей сорок восьмого года.

Нет смысла спорить о том, как все могло бы сложиться, если бы дела шли иначе. Пришел 1919 год, и революция разбудила боевой пыл не только в евреях, но и в среднем дворянском сословии: игра шла по-крупному, на кону стояла шкура, своя или чужая, а сдирать чужие шкуры оно тоже умело. Канцелярское дворянство по природе более горячее и вспыльчивое: именно его сыновья цепляют на шляпы журавлиные перья[3]; ассимилянты зато — более упорны, особенно немцы, которые за столетия не напрасно привыкали к расовым рукопашным схваткам. В горячке первых месяцев контрреволюции, перед новой, трианонской[4] картой Венгрии, возникает смутное ощущение, что беда, собственно, не в ком-то, а в нас, в устройстве страны. Впопыхах рождаются лозунги христианского социализма, земельной реформы — но потом все возвращается на круги своя: победители захватывают освободившиеся должности, под чиновников создают новые канцелярии, на банки и промышленность накладывают контрибуцию — ставят им директоров-христиан и спешат воспользоваться numerus clausus[5]; после периода свободного соревнования наступает период свободного монополизма. Реставрация идет полным ходом и во всех областях. Возвращается не ав-

---

[1] Атилла — верхняя часть венгерского парадного мундира в некоторых родах войск; здесь: национальная венгерская одежда.

[2] Тарогато — венгерский народный духовой инструмент.

[3] Журавлиные перья на шляпах носили члены карательных отрядов, охотившиеся на активных участников революции 1919 г.

[4] Трианонский мирный договор (июнь 1920 г.) подвел итоги первой мировой войны. У Венгрии была отобрана значительная часть ее территории и отдана Румынии, Югославии, Чехословакии.

[5] Гласное или негласное правило принимать в высшие учебные заведения и в государственные учреждения граждан некоренной (в данном случае невенгерской) национальности не выше определенного процента.

торитет, а авторитарность, не любовь к родине, а Лига защиты исконных территорий, не религиозность, а церковь, не труд, а Партия труда, не духовность, а антидуховность. Мы проливаем горячие слезы, что нельзя вернуть Габсбургов. Если бы турки все еще сидели в Белграде, мы бы реставрировали и их.

«Нет, нет, никогда!» — лозунг, популярный во всех сферах. Нет, нет, никогда не смиримся с новыми границами; нет, нет, никогда не примем утопических планов осчастливления народа; нет, нет, никогда не признаем многих великих художников; нет, нет, никогда не пустим евреев в университеты. Нет, нет, никогда! Ну, а что тогда «Да, да, и немедленно!»? Да, да, и немедленно: много новых письменных столов, много новых кредитов, много новых профессоров и, разумеется, много новых налогов!

А ведь сейчас куда больше, чем когда-либо, нужны были глаза, уши, изобретательность и гибкость. Войну, кто знает, может быть, удалось бы отодвинуть; избежать же распада Венгрии — ни в коем случае. Границы могли быть проведены по-иному, иными могли бы стать отношения с соседями; в том, что старая Венгрия развалилась, виновато было не кольцо национальных меньшинств: это было требование XIX века, чье завещание вскрыла мировая война. Принцип самоопределения наций, принцип «один народ — одна страна» — принцип безумный для маленьких, фрагментарных народов. Но в авангарде XIX века шли национальные государства с большим прошлым; естественно, что небольшие народы без прошлого стремились на них походить. Нужен был только повод, и они разбежались из-под усталой наседки — Монархии. Новое столетие разрушало империи старого типа (немецко-римскую, турецкую, австро-венгерскую, российскую), возложив на малые народы, обремененные своей независимостью, задачу: примириться с имперской идеей в какой-нибудь новой форме.

Но если распада мы и не могли избежать, то очень многое зависело от того, как мы поведем себя, какой путь изберем после него. Прошлое всегда внушает почтение, даже если его и поносят. В этом плане Венгрия, пусть побежденная, благодаря своему прошлому, являлась как бы аристократкой. Другие могли и доказать, что они ее вовсе не чтят, и объяснить, почему не чтят; тем сильнее чтили они ее подсознательно. Венгерская культура для окрестных народов не является чем-то неведомым. Люди там и сегодня больше знают наши самые выдающиеся ценности, чем здешний господствующий класс. С подобным авторитетом обновляющаяся, гибкая Венгрия в этой новой, смутной, но по крайней мере для нас вполне ясной ситуации могла бы найти для себя почетную роль в Европе. Мы, однако, пятнадцать лет только и делаем, что компрометируем свой авторитет, подрываем свою роль в Восточной Европе. По отношению к внешнему миру — ирредентская[1] риторика, демонстрирующая наш незавидный уровень, да к тому же ставящая под удар венгров, живущих вне наших границ; по отношению к внутренней жизни — гипсовое ложе для всякого движения, мысли, реформы. За полтора десятилетия лишь одно у нас укрепляется постоянно и неуклонно: государственный механизм. Послевоенный поток кредитов дал возможность отремонтировать и перестроить его — но пришли кризисные времена, заимствованное благополучие вытекло из-под него, и он остался в прежних размерах, разве что теперь сосал не тучную корову, а тощую козу. Крупное землевладение и капитал, эти два соправителя, способны держаться возле него только благодаря тому, что руками пропихнутых в парламент депутатов выбивают для себя как можно больше льгот. Народ, у которого своих депутатов нет, завидует своим крепостным предкам.

У новой венгерской литературы — скверное самочувствие. Оно появляется еще в конце прошлого века, с умножением в литературе чахоточных, сумасшедших, самоубийц и просто брюзгливых и недовольных. Те, кому удается вырваться из повальной меланхолии, вырываются не вверх, в радостную творческую невесомость, а вбок: или в азиатское безразличие, или в блистательное латинское высокомерие, застревая на полпути к феерическим зрелищам новой Европы. Но из-под власти этого самочувствия удается в той или иной мере высвободиться лишь тем, кто освободится и от источника такого самочувствия, от терзающей душу общественной ситуации; или кого

[1] Ирредентизм — движение за воссоединение населенных венграми земель, отрезанных в соответствии с Трианонским мирным договором.

жизненный инстинкт заставит поверить, что он в самом деле обрел свободу. В тех же, кто полностью отдастся этому самочувствию, теплая кровь рано или поздно застынет и тело, будь оно хоть телом Аполлона, покроется язвами.

Венгерский дух со времен Бешшенеи не был столь стылым, как в той блаженной Венгрии, по которой ностальгически вздыхают наши отцы. Так что начавшееся в начале века, прежде всего литературное, оживление — пусть энергию для него и поставляли ассимилянты — было и для самих писателей словно свежий весенний ветер. Дух — это движение, а тут мы хотя бы двигались. Есть слой, который явно и недвусмысленно стремится к руководящей роли, слой этот способен по достоинству оценить союз с аристократами духа, и в то же время в нем достаточно древнего смирения, чтобы не выпячивать на первый план то, что в этом союзе унизительно для другой стороны. Весну в литературе делает новый журнал «Нюгат», а в нем — Эрне Ошват[1], редактор, человек с характером монаха, пожертвовавший ради венгерской литературы собственной карьерой писателя. Естественный критерий, роднящий всех писателей — художественный уровень, скоро привел на тесную палубу «Нюгата» всех, кто чего-то стоит; в том числе даже тех, кого инстинктивно настораживает суета не столько в «Нюгате», сколько вокруг него. Великое гуманистическое чувство, усвоенное нами еще благодаря Кошуту (считаться не с происхождением, а с человеком, не с импульсивными устремлениями, а с осознанными намерениями), побуждает воспринимать как братство то, что всего только союз. В конце концов, речь идет о новой Венгрии, которая вот-вот должна будет вывести на майские улицы сотни тысяч венгерских пролетариев и вознамерится освободить из тисков латифундий венгерское крестьянство. Остатки подозрительности и беспокойства заглушены торжеством интереса: тюлень хочет плавать, писатель — писать, значит, тюленю сам Бог велел быть там, где есть вода и рыба. Внешне — все прекрасно, динамика прогресса неостановима, писатели пишут... Но настроение — в произведениях, в свидетелях — по-прежнему подавленное.

В такой атмосфере проходят пятнадцать лет Ади[2]. Творчество его трудно представить без этой весны, которую сделали в венгерской литературе ассимилянты. Ади не был монахом, он с жадностью, словно красивая женщина, воспринимал знаки восхищения.

Ему нужен был хор за спиной, и ассимилянты выставляли ему этот хор во всем великолепии, как аттические деревни — хор к античным трагедиям. Но, купаясь в теплой воде славословия, Ади умел не упускать из виду сущностное. В венгерской литературе не было и нет другого такого провидца, каким был он. Он видел не только гниение под блеском Миллениума[3]: он чувствовал и ту давнюю, кровавую, безвинную вину, которая оторвала нас от глубинных слоев нашей культуры. Отсюда его огромная тяга к Старой Венгрии, к протестантству, к Чоконаи. Ади — истинный венгр (в нем есть то, что хотела выразить венгерская культура), и он же — один из тех венгров, которых растворили в себе разжиженные наносы этой земли. Он — Роланд, зажатый в Ронсевальской долине и трубящий о тех, кто уже никогда не воскреснет. Звук этой трубы и горло, издающее эту песнь отчаяния, — самое великое, что слышали в этом столетии венгры. В этой песне вдруг, нежданно-негаданно послышались, сквозь сотни стихотворных строк, рыдания глубинного венгерского духа; здесь все: ритм, интонация, образность — было столь же новым, сколь и древним.

Великое свидетельство Ади в пользу Старой Венгрии, ушедшей в свое прошлое и в простонародье, не было совсем одиноким. По мере того как разжижалось и пропадало очарование XIX века, ностальгия по глубинной, скрытой под аллювиальными слоями венгерскости начинала пробуждаться и в других. Приверженец принципов натурализма Жигмонд Мориц с невероятной зоркостью и изобразительной силой запечатлевает последние островки провинциального среднепоместного дворянского бытия среди убогого, косного крестьянского быта, обращается к историческому Эрдею. В музыке Барток и Кодай отыскивают под наносами прошлого столетия истинную народную жилу. Сюда относится и молодой прозаик Деже Сабо[4], чьи эссе о

---

[1] «Нюгат» («Запад»; 1908 — 1941) — литературно-публицистический журнал либерального толка. Эрне Ошват (1877 — 1929) — главный редактор «Нюгата».
[2] Эндре Ади (1877 — 1919) — великий венгерский поэт.
[3] Миллениум — тысячелетие. В 1896 г. Венгрия пышно праздновала свой тысячелетний юбилей.
[4] Деже Сабо (1879 — 1945) — венгерский писатель, публицист.

Бержени и Этвеше и невероятная чуткость к языку в сочетании с целеустремленностью борца в перспективе обещают восстановление преемственности лучших традиций древности и XIX века. Начинается новый период в языке, в изображении, в понимании сути венгерского.

Человек живет не в безвоздушном пространстве; он — не скучающий зритель, от нечего делать купивший билет на комедию земного бытия. Все мы находимся в общности с другими людьми, с которыми нас объединяет судьба; мы смотрим на мир из этой нашей общности, и, исходя из ее интересов, мы действуем с ней и для нее. Из моей мысли рождается мир для моей семьи, из моей работы — хлеб для нее. Но есть и обратная зависимость: семья моя тоже должна принимать мое мироощущение, терпеть, как свои, мои поступки. Народ — тоже общность судьбы, сообщество пусть и не столь тесное, как семья, однако еще более неизбежное и неизменное (есть люди, у которых нет семьи; есть, у которых их несколько), и этика взаимности тут, пожалуй, еще строже. У меня нет права — да и возможности — видеть, думать, действовать только для себя. То, что думаю, как поступаю я, есть мысль и действие и моего народа. Не мания ли величия это — сопоставлять маленький венгерский народ с большой Европой? Да и позволительно ли мне вообще размышлять о Европе, не размышляя о своем народе; и думаемая для него мысль не обязывает ли, пропорционально ее значению и силе, к чему-либо и народ, в одном из представителей которого она родилась? Идея может быть пустой, никчемной, низкой для народа (вот это и попробуйте доказать), но никогда не может быть слишком высокой. Если до этой идеи поднялся один представитель народа, значит, народ поднялся, созрел для нее.

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ
НИ О ЧЕМ, ОБО ВСЕМ

Перевод с венгерского В.СЕРЕДЫ

Мадьяр я. Но какое дело мне до мадьярства самого?.. [1] Что значит быть венгром? Не знаю. Это уж меня ну никак не волнует. Как не волнует, что значит быть итальянцем или французом. Зато волнуют Итало Кальвино и Блез Паскаль. Миклош Бетлен и Дёрдь Куртаг. Золи Варга (спортклуб «Ференцварош») и скала Осой [2]. И так далее.

Если вы, извините, — никто, то у вас и национальности нет. Венгром может (способна) быть личность. Потому что сперва идет «я», а потом уже «мы», и дело тут вовсе не в нарциссизме, а в том, что без «я» невозможно «мы».

«Я венгр!» — стучат себя в грудь. Пожимаю плечами: а кто здесь не венгр? «Я Ковач Янош 23-й». Поднимаю глаза: в самом деле?

Но начнем по порядку. В этих нескольких фразах с их нескрываемой раздраженностью слышится что-то воинственное, автор явно против чего-то бунтует, встает на дыбы, что-то там у него накипело. Так и есть. Но что именно?

Эти заметки не могут претендовать на ту широту, с какой стоило бы говорить о наших делах на исходе тысячелетия. Что значит быть венгром сегодня — это все, на что

---

[1] Парафраз известных строк из стихотворения Аттилы Йожефа «Ars poetica»: «Поэт я, но какое дело / мне до поэзии самой?» (*Перевод Д.Самойлова*). Здесь явно есть перекличка и с не менее известным стихотворением Шандора Петёфи «Венгерец я!», и с полемикой конца 30-х годов, когда венгерские литераторы, отвечая на вопрос историка Дюлы Секфю «Что значит быть венгром?», пытались сформулировать суть «мадьярства» — то есть национального своеобразия, характера и исторического бытия венгров. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Изумительной красоты утес в горах Пилиш неподалеку от Будапешта; туристическая достопримечательность и место, где тренируются венгерские альпинисты.

© Esterházy Péter, 1994

они претендуют. Ведь что бы ни захотел я сказать о вышеозначенной теме, я могу это сделать лишь в конкретной, сегодняшней обстановке, распаленной мелочным многопартийным раздраем. Признаться, при слове «венгр» мне становится как-то не по себе, и вовсе не потому, что я сибарит безродный, какой-нибудь там разжиженный венгр (хотя при виде некоторых наших супервенгров возникает желание быть именно таковым), а потому, что в связи с этим словом наблюдаются ныне большие злоупотребления.

Слова существуют во времени, или иначе: время живет в словах, наше время, история и мы сами, пользователи этих слов. Слова имеют свою судьбу, свои взлеты-падения, становясь иногда подозрительными и двусмысленными, входя в моду и погружаясь в небытие. Кто бы подумал, что слово «хребет», например, сделает столь головокружительную карьеру? Давно ли оно ассоциировалось у нас с селедкой, подагрой, ну еще, может быть, с горной местностью, но с тех пор, как на свет появился «народно-национальный хребет», сей гениальнейший бред, слово вдруг заиграло, преобразилось, затрепетало, соблазняя любителей каламбуров своей многозначностью и богатством оттенков.

За последних два года слово «венгр» с его производными мы (венгры) затерли до неприличия. Превратили его в некий штемпель, и тотчас откуда ни возьмись появились комиссии, претендующие на эксклюзивное право штемпелевать кого им заблагорассудится. Словно туча лютого комарья знойным вечером на дунайской набережной — если воздерживаться от более хлестких сравнений, — облепили нас мириады помешанных на мадьярстве. Пожалуй, еще никогда не собиралось под одним знаменем столько эгоизма, карьерных и властных амбиций, глупости и — увы — провинциализма.

Как-то вдруг появился у нас старо-новый нелепый язык, классический *непсабадшаг*, чуждый жизни партийный жаргон, пустивший глубокие корни в красно-бело-зеленом гумусе амнезии.

Национальное не тождественно национальному помешательству. Национальная ангажированность не имеет ничего общего с политической трескотней. Слово «венгерский» сделалось заклинанием в битве за жизненное пространство и власть. Я его потерял, у меня это слово украли. Непонятно, почему те мои коллеги, которые особенно щепетильны в национальном вопросе, не реагируют на эту пустопорожнюю трескотню как на явление *языка*? Ведь, казалось бы, выступить против этого — для писателя само собой разумеющаяся задача, патриотический долг. Боюсь, что это новое слово — «венгерский» — я даже не понимаю. «N., возможно, пишет и по-венгерски, но он не венгерский писатель», — сказал некто (погоди же ты, «некто», когда-нибудь я тебя выведу на чистую воду!), а по-моему, так писатель, пишущий по-венгерски, и есть венгерский писатель, поскольку, чтобы быть венгерским писателем, нужно только писать по-венгерски и быть писателем. Или взять телевидение — тоже в гору пошло, у всех оно на устах... Как-то вижу плакат: «Венгерскому телевидению — венгерские передачи!» А по-моему, требовать надо качественных передач, потому что сегодняшние — это так себе, и единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что они венгерские.

***Имре Эрши.* «Мужчина в шляпе»**

Потому что, по-моему, в этой стране все и вся, до последней заклепки, венгерское. Иным быть не может. И лень наша, верхоглядство тоже венгерские. И дураки (так называемые дураки венгры). И мерзавцы, и отцеубийцы — все по-своему венгры.

Даже те, кому вовсе не важно, что они венгры, тоже являются венграми, дополняя собой картину.

Никогда я не мог понять (ни сердцем, ни разумом, ни всем своим существом), что собой представляет конфликт венгерского с европейским. («Прежде всего быть венграми, а затем уже европейцами», — охарактеризовал как-то кредо своей партии другой «некто», бедняга.) Что бы я ни делал, всегда делаю это одновременно как венгр и как европеец, и нет в нас ни одного рефлекса, даже самого первобытного, принесенного из бог знает каких степей, который мне это не позволял бы. В несуществующую инвентарную книгу Европы должно быть занесено, что она стала тем, чем стала, благодаря, среди прочих, и венграм. Каждая нация имеет (должна иметь) собственное представление о том грандиозном образовании, которое есть Европа и которое, в свою очередь, объемлет в себе все это разнообразие представлений.

«Вперед, в Общеевропейский дом!» и «Равнение на Европу!» — как будто может существовать какое-то отвлеченное, независимое от нас благо! Все эти выражения не имеют смысла, точнее, имеют, конечно, но только как политический лозунг, означая при этом нечто совсем иное. Например: «Пожалуйста, дайте нам денег!» или «Давайте блюсти чистоту общественных туалетов!»

А может быть, те, кто сегодня так громко шумит о мадьярстве, тоже имеют в виду что-нибудь иное? Потому что когда кругом венгры, а в Венгрии, исключая туристов, таковыми являются все, то нужно ли (и возможно ли) говорить об этом *особо*? Ведь мадьярство запрятано в нас гораздо глубже, *неотделимо* от нас, от нашего бытия.

Как бы то ни было, я не верю в существование особых венгерских ценностей, есть просто ценности, и если мы их находим здесь, то они венгерские. Точно так же существуют (или не существуют) венгерский гений, венгерский дух и духовность. Дать более точное, паче чаяния — нормативное, определение невозможно. Никакой генеральной линии нет. (Все не можем забыть...) Что вовсе не означает, будто все хорошо как есть. Но если что-то нехорошо, утверждаю я, то это не оттого, что оно невенгерское, а оттого, что нехорошо.

Наш народ, слышу я, нужно вытащить из того, в чем он был в течение сорока лет. А по-моему, нашу бедную нацию не нужно ниоткуда вытаскивать и никуда поднимать, да это и невозможно, потому что, во-первых, поднимать ее некому, нет у нас такой группы, национального авангарда, который знает, что нужно делать, во-вторых же, нация или сама поднимется, или ее не поднимет никто.

А то еще говорят: мы нуждаемся в новом национальном самосознании. Возможно. Только рождается оно не совсем так, как иные себе представляют (соберутся в кружок самые что ни на есть развенгерские венгры, да и выдумают), а вовсе *наоборот*: вы можете его *вывести* из тех многосложных процессов, которые в совокупности составляют культуру, — из того, как мы с вами тачаем фразу, как накрываем на стол, как ссоримся не на жизнь, а на смерть. А это не что иное, как жизнь.

«Будем жить!» — это самая патриотичная и очень даже честолюбивая программа, которую только можно выдвинуть.

И с этим «наоборот» приходится сталкиваться сплошь и рядом. Нужны десять идей (говорит кто-то в интервью), от которых, если к ним отнестись серьезно, венгерская духовная жизнь закипит ключом. Я от этих десяти мыслей готов лезть на стенку. Уже оттого, что их десять! Почему десять? Не семь и не двадцать? Ну ладно, пусть будет десять. Но десять чего? Мыслей? Опять все наоборот: если духовная жизнь забьет ключом — а кто ей мешает?! пусть бьет! — то мыслей будет — успевай черпать.

Кстати, есть таких десять мыслей, ровно десять — десять так называемых заповедей, от которых — если к ним отнестись серьезно — действительно все забьет ключом, да только мы в духе европейских традиций привыкли их принимать лишь постольку поскольку.

Увы: нет *венгерских* десяти заповедей.

Допускаю, что я совершенный сухарь, но когда мне приходится слышать, мол, Всемирная встреча[1] даст возможность заключить новый кровный союз, то я только хмыкаю. По-моему, эта метафора одновременно слишком сильна и слишком слаба. Сильна

[1] Всемирная встреча венгров с участием венгерской диаспоры.

— потому что поверить в какое-то новое обретение родины невозможно. Для этого надо видеть хотя бы малейшие признаки *общей* воли, мы же видим пока лишь метафору. И слаба — потому что все эти речи не демонстрируют ничего конкретного. А если уж демонстрируют, то не знаешь, что и подумать. Как следует понимать, например, что мне с моим национальным самосознанием предлагают в качестве образца античные полисы? (Поскольку мы все, от Торонто до Сабадки [1], такие же разные.) Думать о Греции, где так здорово греет солнышко и качается колыбель европейской культуры, конечно, приятно. Греция нас бы устроила. Но все дело в том, что древние греки как-то не слишком были озабочены своей «грецкостью», считая себя греками лишь в том смысле, что только греки считались у них людьми, в остальном же они были афинянами либо спартанцами. История древних полисов — это история великих раздоров и ненависти, история войн. Так что, воевать теперь с венграми из Торонто? Мне этого не понять. Все это не более чем красивое недомыслие. Мне, конечно, понятно, что многообразие венгров есть плюс, есть богатство, что они — это тоже мы, как понятны и проистекающие отсюда сложности и ответственность, понятно, что «нация — это общее начинание»[2], но акцентировать, уточнять в данном определении стоит именно начинание, то есть делание чего-то. Что-то делать, трудиться — это не практицизм бескрылый, а задача вполне возвышенная.

В меру сил делать каждому свое дело — это мне по душе. Ну а кровный союз заключать что-то боязно... (СПИД!)

Или еще: по-моему, человек, заваривший всю эту кашу из «разжиженного» и «глубинного» мадьярства, был не в своем уме. К Ласло Немету это, само собой, не относится. Я не к тому это говорю и просил бы моими словами не возмущаться. Но все-таки Этвеш как представитель разжиженного мадьярства — мне больно от такой глупости[3]. Наверное, можно все объяснить исторически, показав, что к этому вынуждало, какие там и тогда были стремления и обиды, которые экранировали мышление.

Но что к этому вынуждает *сегодня*, какие стремления и обиды экранируют сегодняшнее мышление? Ибо в том, что оно экранированное, никаких сомнений.

Есть вещи, в которые надо бы наконец внести ясность. Признать, например, что некоторых вещей уже нет.

Скажем, нет больше, не существует народной литературы [4]. Ее нет, потому что исчезли ее социальные предпосылки, нет сегодня крестьянства, есть только сельскохозяйственные производители. Памятные по фильмам Шары [5] крестьянские лики, следы жизненного уклада, целой жизненной философии безвозвратно исчезли. (Умирание тоже часть нашей жизни.)

Так есть ли сегодня народные писатели? Пусть кто-нибудь назовет имена. (Особенно трудно было бы обнаружить таких среди нынешних сорокалетних.) И где их произведения? Народный писатель сегодня тот, кто тусуется с другим народным писателем. Или видел своими глазами Ийеша. Других нет. Я не усматриваю в этом ничего хорошего. Просто констатирую факт. Нет сегодня народных писателей, тем более — их движения. Зато есть традиция. О чем она говорит нам? Каким не дает отмереть обидам? Чего мы лишились и чем можем восполнить потери? Вот о чем стоило бы задуматься ради всеобщей пользы.

Можно, разумеется, ненавидеть модернизм и тот кретинизм потребителей, которыми все мы — в той или иной мере — являемся. Можно рассуждать о том, что мир, начиная с Великой французской революции, пошел не по той дороге. Но он пошел по ней. И защищаться можно только на *этом* пути — не от модернизма *вообще*, а от сопутствующих ему опасностей. Неправда, что может быть некий Венгерский Духовный

---

[1] Один из городов Воеводины, входившей до 1918 г. в состав Венгрии (ныне Суботица, Сербия).
[2] Определение Дюлы Ийеша.
[3] Йожеф Этвеш — один из крупнейших венгерских романистов прошлого века, родоначальник национальной реалистической прозы. Фразу «К Ласло Немету это, само собой, не относится...» следует понимать как эвфемизм. Именно Ласло Немет, сформулировавший свою типологию венгерской культуры, отнес Й.Этвеша к числу носителей «неполноценного», «разжиженного» мадьярства.
[3] Литературное течение, а в определенные моменты истории и политическое движение, связанное с творчеством так называемых крестьянских писателей (П.Вереша, Д.Ийеша, Л.Немета, П.Сабо и др.), расцвет которого пришелся на 30—40-е гг. XX в.
[5] Шандор Шара — современный венгерский режиссер-документалист.

Кладезь, Видение, Миссия, которые можно было бы противопоставить этому состоянию мира. А если их нет, то опасно представлять дело так, будто они существуют. (Кстати сказать — краткий экскурс, — французская революция стремилась ведь не к тому, что мы сегодня имеем: свободы-равенства-братства человечество не достигло, из этой триады современный мир всерьез относится пока лишь к свободе, о равенстве только болтает, его не приемля, о братстве же просто забыл.)

Да, венгерская культура сегодня богата — но и пуста, как стала внезапно пустеть Европа, замерев на распутье. Мы должны научиться считаться с вакуумом, в котором нам выпало жить. И знать, что в пустоту эту может просочиться *все что угодно*. Казалось бы, есть чего опасаться.

Сегодня видны сразу две опасности: рефлекс изоляционизма и идиотски наивное отношение к «подаркам Запада». Надменность провинциала и унизительное заискивание. Комплекс неполноценности и тщеславные амбиции. Самообман «маленькой страны, но великой нации».

Мы не великая нация. Как уже говорилось, Европа, по определению, стала тем, чем является, благодаря — среди прочих — и венграм. Но вклад этот, если считаться с реальностью, неизмеримо мал, влияние наше можно увидеть под лупой, словом, про нас в этой сказке речь почти не идет. Если взять, к примеру, литературу, то совсем не идет. Янош Арань ни черточки не изменил в невенгерской части европейской поэзии. Мы можем сказать, это их беда, что не знают, кто такой Шандор Вёреш, но говорить это воинствующим тоном у нас нет оснований.

В невеликости нашей я лично не вижу ничего плохого (хорошего тоже, просто я здесь родился, из чего вытекают и связанность, и привязанность), но заметное число моих соотечественников никак не могут увязать этот факт с представлением, лелеемым о самих себе, о стране и о венграх в целом. Откуда и постоянное чувство обиды, возбужденность, духовная раздражительность и, в конечном счете, поиск врагов: мы, мол, были б давно великими, да все время мешают — то турки, то австрияки, то москали, то внутренний супостат.

Мы не великие, мы маленькие. Это не самоуничижение и даже не самокритика, это факт. Маленькая, фантастическая и малозначительная страна. Понять и осмыслить это — жизненно важный наш интерес. Осмысление этого могло бы нам принести немало хорошего, от чувства собственного достоинства до разумных внешнеполитических жестов. Вместо болезненного самоуничижения мы обрели бы чувствительность к чужой боли. Чувства братства, солидарности, ответственности за общее дело.

Наконец, мы должны осознать еще одну вещь, которой опять-таки нет. Больше нет угнетения. Мы с трудом привыкаем к тому, что свободны. Наши беды нам не на кого сваливать. Нам трудно понять, что мы таковы, каковы мы есть. Что всякая критика теперь — самокритика. Ничего не поделаешь, такой у нас ВДФ, такой ССД [1], на лучшее мы не способны. Пенять теперь не на кого.

Да и о нашем мадьярстве мы всегда размышляли в условиях поражений и гнета. До пародии, до абсурда цепляемся и теперь за расхожие представления о себе как скитальцах-разбойниках, даже если седалище наше греет шелк министерского кресла. И, конечно же, независимость вовсе не обязательно предполагает непременное поношение практикующей власти. Но образ врага нам дорог.

Традиционные наши рефлексы так и остались рефлексами меньшинства [2]. Между тем если в Коложваре[3] заявить, что ты венгр — поступок осмысленный, а иногда и чреватый, то в Мишкольце — уже нет. «Я венгр» — там и здесь из этих слов вытекает все самое важное, но в Мишкольце для этого ничего не требуется, и в особенности — быть писателем. Писатель требуется для того, чтобы рассказать о нашем тысячеликом многообразии, обо всех нас, отчасти венгров, отчасти нет.

---

[1] Наряду с правящей ныне Венгерской социалистической, основные политические партии — Венгерский демократический форум и Союз свободных демократов.

[2] «В меньшинстве» — название инкриминируемой (см. выше) работы Л.Немета.

[3] Клуж-Напока (Румыния) — трансильванский город с преимущественно венгерским населением.

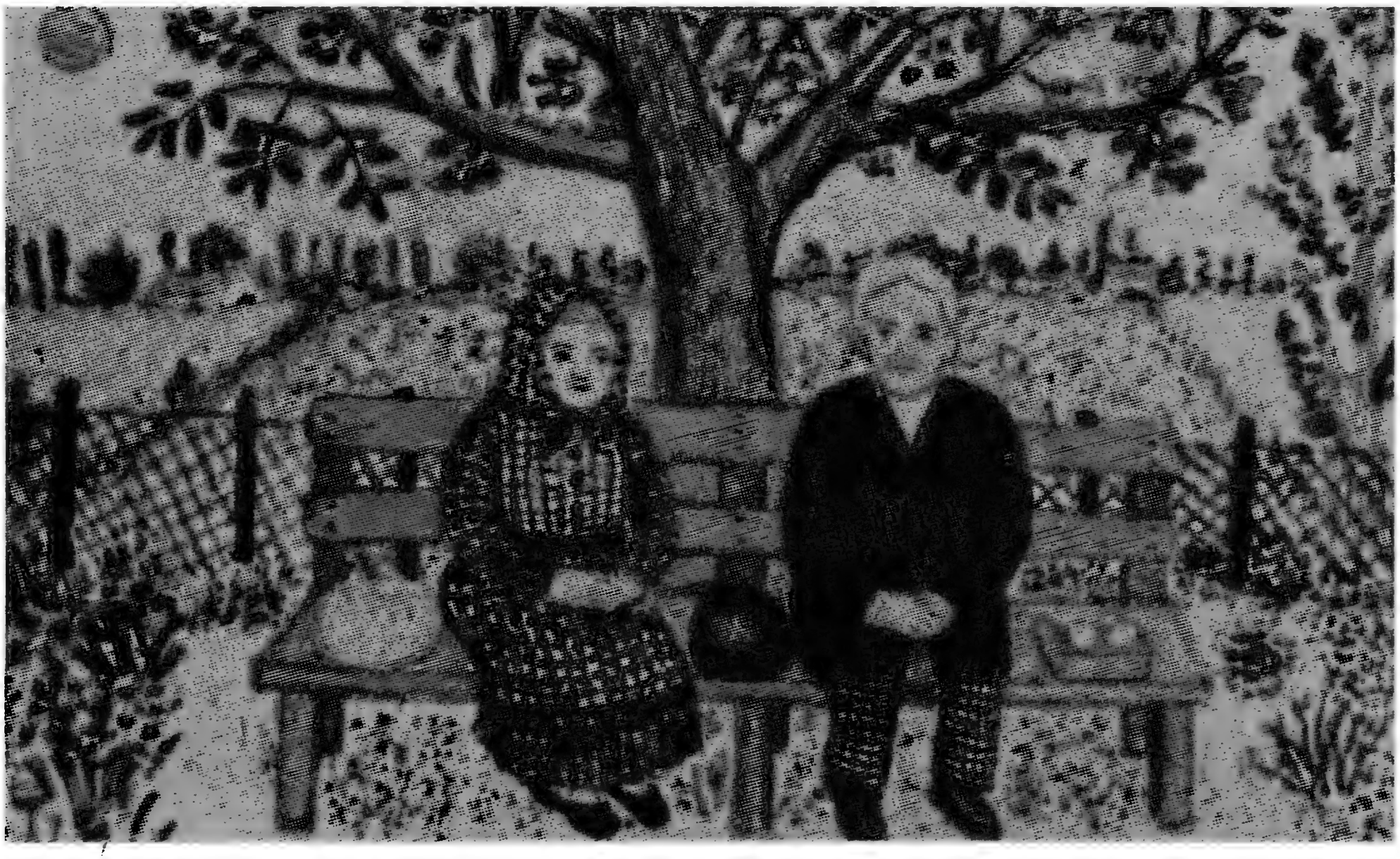
ТАТЬЯНА ВОРОНКИНА

ВЕНГЕРСКИЕ «НАИВНЫЕ» ХУДОЖНИКИ

Жива сотворенная вами краса!
Иштван Шимон

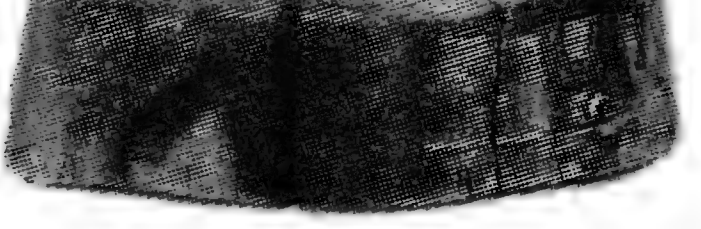
Среди художественных собраний Венгрии достойное место занимает Музей наивного искусства в городе Кечкемете, известный далеко за пределами страны. В музее представлены уникальные произведения живописи, скульптуры, мелкой пластики, созданные не профессиональными художниками, а людьми, которые никогда не обучались приемам мастерства и творили, как подсказывало им собственное сердце и природный вкус. Хронологически все экспонаты музея относятся к нашему веку, хотя это, разумеется, не означает, будто подобного вида искусства не существовало прежде — уж скорее можно сказать, что оно старо как мир. Просто общественные и культурные устремления на рубеже веков привели по всей Европе к «открытию» наивного, или примитивного, искусства. Для Венгрии этот процесс шел как бы двумя волнами: отступя на задний план под натиском войн и социальных потрясений, интерес к «глубинному» народному творчеству вновь пробуждается в 50-е годы и, хочется верить, более не угаснет никогда.

Как известно, осмысление и подлинная оценка этого художественного явления происходили не в одночасье, да, пожалуй, не завершены и поныне. Взять, к примеру, хотя бы само название. С какой только разноголосицей терминов не встречаешь-



***Юлишка Гашпар*. «Присели отдохнуть»**

ся в литературе по данному вопросу! «Наивные», «воскресные» художники, самоучки, любители, «art populaire», художники Sacré Coeur — святого сердца, «инзитные» художники (от лат. insitus — естественный, искренний), примитивисты... Терминология до сих пор не устоявшаяся и в каждой стране своя. Достаточно упомянуть, что в изданном несколько лет назад альбоме, посвященном аналогичному художественному направлению в России, оно характеризуется как «феномен», «низовой слой культуры» и «наивный реализм», а состоявшаяся недавно репрезентативная выставка «Русский примитив» как бы узаконила именно это название. В венгерском искусствоведении художников этого направления принято называть «наивными», тем самым как бы подчеркивая чистоту и наивность их детского видения мира. Правда, отличительной особенностью «наивных» художников (во всяком случае, венгров, представленных в музее Кечкемета) является как раз их зрелый возраст: в большинстве своем это взрослые, пожилые и даже старые люди, им лишь на склоне лет удалось осуществить свои творческие устремления, лелеемые с детства. Многие из них признавались, что только под старость, окончив свой долгий многотрудный путь, смогли посвятить себя любимым занятиям живописью или ваянием. «Наивный» художник Янош Петэ начал заниматься живописью с 65 лет, а Мария Палчо Тобиашне почти до сорока лет не брала в руки кисть и краски. Однако не следует представлять дело



***Йожер Сёреш*. «Верность»**

таким образом, будто творчество для «наивных» художников — нечто вроде хобби, досужего времяпрепровождения. Им, по большей части крестьянам, из которых далеко не каждый владеет обычной грамотой, подобный подход глубоко чужд. Творчество для них — неодолимая внутренняя потребность самовыражения, которую они формулируют предельно ясно: создавать произведения искусства «не на выставку, не для продажи, а только для себя» (Имре Эрши); «что-то толкало меня, заставляло заниматься этим» (Элек Дёри); «живопись для меня — все в жизни» (Юлишка Гашпар). «Все в жизни» — можно ли найти более пронзительные, более точные слова? Для Марии Палчо Тобиашне, жизнь которой внешне складывалась вроде бы благополучно, самым большим несчастьем было то, что она, жена профессионального художника, из чувства собственного бессилия перед его мастерством вынуждена была скрывать свою страсть к живописи. Лишь на склоне лет она начала писать эфемерно-хрупкие танцующие фигуры и автопортреты, с которых взирает на мир широко распахнутыми глазами. На одном из таких портретов, представленных в нашей галерее, она изо-

***Дёрдь Андраш Берецки*. «Олень»**

бразила себя одетой по моде 30-х годов, а между холстом и стеклом натянула настоящую вуаль от шляпки.

Художник Имре Эрши, человек трагической судьбы, всю жизнь проживший на отдаленном хуторе, больше всего страдал от одиночества. И скульптуры свои создавал, чтобы, по его выражению, «отпугнуть одиночество», ну и «для красоты возле дома». Йожеф Сёрёш любил резать скульптуры, похожие на живых людей, в натуральную величину: чтобы с ними «можно было общаться и шутить». Потомственный землепашец, он не случайно создал выразительную, обретающую чуть ли не сакральные черты скульптуру «Молящий о дожде», художественно отразив насущное желание каждого крестьянина.

Если для народного искусства характерно органичное единство утилитарности и красоты и на первый план здесь выступает функциональность вещи, то для «наивных» художников эстетика становится самоцелью. Интересно отметить, что такие «наивные» скульпторы, как Имре Тёке и Имре Эрши, в молодости начинали с создания предметов обихода, украшая их резьбой и мелкой пластикой, однако в зрелые годы отказались от принципа утилитарности, отдав предпочтение эстетической стороне. Плохо это или хорошо?.. Десятилетиями жупелом для нас был принцип «искусства для искусства» как пустой, бесцельный, бездушный. Но разве не может служить целью создание красоты, которая к тому же отражает сокровенный, внутренний мир человека? То наслаждение, с каким мы любуемся творениями «наивных» художников, плененные искренностью их восприятия, говорит само за себя. А в чувстве прекрасного этим людям не откажешь. Тончайшим колористом предстает перед нами Маринка Даллош, запечатлевшая склоненную к Матери-Земле крестьянку в платье из традиционной кубовой набойки (см. 1-ю стр. журнальной обложки). Изучай художница основы искусств, она знала бы, что куполообразный свод в языке изобразительных средств является символом гармонии мироздания. Она же чувствует это интуитивно и дает почувствовать зрителю. «Люблю рисовать портреты. Более всего меня увлекает сочетание красок», — признается Йолан Олах. Представленная в нашей галерее ее «Мадонна» с обликом венгерской крестьянки вызывает не меньшее благоговение, чем канонические изображения святых.

Йожер Сёреш. «Женщина с граблями»

Нетрадиционное, непрофессиональное? Наивное, любительское, примитивное? Конечно же, очень условны и неточны эти определения. Но важно понятие, которое они тщатся определить. Перед нами — Искусство. Вечно живое, отражающее внутренний мир художника и окружающий его мир, а значит, помогающее нам лучше понять душу народа, породившего эти таланты.

У книжной витрины

АНРИ ТРУАЙЯ

Вызов Ольги

Henri Troyat. Le defi d'Olga
Flammarion, 1995

Маститого французского романиста Анри Труайя неизменно привлекают две культуры и две страны: Россия и Франция. Героиня его нового романа — пожилая русская дама, вся жизнь которой прошла в Париже. Ее уговорили опубликовать давно написанные и забытые в ящике стола рассказы. Выход книги в одночасье делает ее знаменитой. Терзаемая ностальгией, Ольга не оставляет надежды вернуться на родину, однако весьма скептически следит за развитием событий в Восточной Европе. В определенном смысле роман автобиографичен и выражает позицию самого А.Труайя. Правда, писатель твердо решил не возвращаться в Россию, реальности он предпочитает «Россию внутри себя», то есть ее историю и литературу.

АЙРИС МЕРДОК

Дилемма Джексона

Iris Murdoch. Jackson's Dilemma
Chatto & Windus, 1996

«Дилемма Джексона» — новый, двадцать шестой роман известной английской писательницы, лауреата Букеровской премии (1978) Айрис Мердок. Книга почти целиком построена как беседа гостей, приглашенных на некую несостоявшуюся свадьбу: в последний момент невеста исчезает, и это событие побуждает каждого вспомнить какое-либо мучительное переживание из своего прошлого. На конкретных примерах писательница пытается представить различные варианты выхода из трудных с нравственной точки зрения ситуаций. При этом Мердок уверена, что в современную пострелигиозную эпоху усугубились слабости и несовершенства человека, но возросла и его ответственность за свои поступки.

ПЭТ БАРКЕР

Призрачная дорога

Pat Barker. The Ghost Road
William Abrahams/Dutton, 1995

Роман английской писательницы Пэт Баркер «Призрачная дорога» удостоен Букеровской премии за 1995 год. Это последняя часть трилогии о первой мировой войне, начатой романами «Восстановление» и «Дверной глазок». Для Пэт Баркер всякая война трагически бессмысленна. Ее герои — солдаты и офицеры, оказавшиеся в госпитале с психическими расстройствами. Их душевные раны тяжелее любых контузий, и, возможно, для некоторых из них единственное средство сохранить разум в нечеловеческих условиях — литературное творчество. Многие персонажи Баркер (в их числе и «поэты первой мировой» Уилфрид Оуэн, Зигфрид Сэссун, Роберт Грейвз) пишут стихи, ведут дневники. Роман также построен как дневник одного из офицеров. Критики высоко оценили антивоенный пафос «Призрачной дороги», а также художественное мастерство ее автора.

ВОЛЬФ БИРМАН

Все стихи

Wolf Biermann. Alle Gedichte
Kiepenheuer & Witsch. 1995

Это новый сборник очень популярного в Германии поэта, автора текстов песен, публициста и переводчика Вольфа Бирмана, лауреата многих престижных литературных премий — премии Гёльдерлина (1989), премии Бюхнера (1991), премии Генриха Гейне (1993) и др. Название «Все стихи», по словам автора, на самом деле подразумевает только те из них, что выдержали его собственный безжалостный отбор. «Хороших» стихотворений, как считает автор, оказалось пятьдесят одно, из них двадцать написаны еще в ГДР, а тридцать — после того как в 1976 году поэт был выдворен из

страны и поселился в Гамбурге. В книгу вошло около десяти ранее не публиковавшихся текстов. Несколько лет назад увидел свет аналогичный сборник «Все песни» Вольфа Бирмана, который с тех пор трижды переиздавался. На осень 1996 года планируется выпуск еще одной книги подобной серии — «Все переводы» Вольфа Бирмана.

ВОЛЬФ БИРМАН

Открытым текстом в суматохе

Wolf Biermann. Klartexte im Getummel
Kiepenheuer & Witsch, 1995

ВОЛЬФ БИРМАН

О деньгах и других болевых точках

Wolf Biermann. Uber das Geld und andere Herzensdinge
Kiepenheuer & Witsch, 1995

Почти одновременно увидели свет две прозаические книги Вольфа Бирмана. В первой из них известный немецкий поэт рассказывает о своей жизни на Западе: с момента высылки из ГДР в 1976 году и до событий 1989-го, за которыми последовало объединение двух Германий. Некоторая остраненность взгляда Бирмана на действительность помогает читателю увидеть жизнь современной Западной Германии в неожиданном свете. В книге «О деньгах и других болевых точках» собраны прозаические размышления Бирмана о Германии, о ее роли и месте в современном мире, о том, как может сложиться судьба объединенной страны в недалеком будущем. По мнению критиков, обе книги убедительно доказывают, что талант Бирмана-публициста ни в чем не уступает таланту Бирмана-поэта.

ЭЛИЗАБЕТ УИЛСОН

Шостакович. Жизнь, о которой помнят

Elisabeth Wilson. Shostakovich: A Life Remembered
Faber & Faber, 1995

Основу книги английского музыковеда Элизабет Уилсон составили воспоминания современников о Д.Д.Шостаковиче. Жизненный и творческий путь великого композитора прослежен необычайно подробно: описаны и главные, и второстепенные события, рассказано о детстве, учебе, семье, друзьях, коллегах, упомянуты сотни людей — музыканты, дирижеры, писатели, ученые, политики, так или иначе вовлеченные в орбиту его судьбы. Многие страницы посвящены анализу творчества Д.Шостаковича, которое рассматривается в контексте развития мировой музыкальной культуры. Солидный 550-страничный том включает в себя также обширный справочно-библиографический и иллюстративный материал.

ДЖУЗЕППЕ БОФФА

От СССР к России. История неоконченного кризиса

Giuseppe Boffa. Dall'Urss alla Russia. Storia di una crisi non finita
Laterza, 1995

Новую книгу итальянского историка Джузеппе Боффы можно рассматривать как продолжение его аналитического исследования «История Советского Союза». Многие россияне, пишет Боффа, связывают начало конца СССР с мартом 1985 года. Он же называет другую дату: 14 октября 1964 года, ибо с окончанием хрущевской «оттепели», по его мнению, СССР потерял последний шанс идти в ногу с Западом и, втянувшись в «холодную войну», достиг стратегического равенства — но колоссальной ценой. В наследие Горбачеву досталась страна сплошных проблем, и их решение ускоряло крах системы тоталитаризма, на которой, однако, держались Союз и его экономика. Следовательно, конец СССР был неизбежен, делает вывод Д.Боффа. Но все же существовала возможность пустить события по менее драматичному пути.

МАРИЯ ЭСТЕР ВАСКЕС

Борхес: триумф и крах

Maria Esther Vazquez. Borges. Esplendor y derrota
Tusquets Editores, 1995

Писательница и журналистка Мария Эстер Васкес долгие годы поддерживала тесные дружеские отношения с великим аргентинцем Хорхе Луисом Борхесом. Ее новая книга о Борхесе — попытка биографического исследования. И хотя таковые, по мнению Васкес, никогда не бывают исчерпывающими, если речь идет о настоящем художнике, книга «Борхес: триумф и крах» удостоилась самых высоких оценок специалистов именно за широту охвата материала и глубину его интерпретации. Жизненный путь Борхеса прослеживается с детских лет и до последних, проведенных в Женеве, дней. Проиллюстрировано издание фотографиями, сделанными известным писателем А.Бьой Касаресом. Работа Васкес отмечена премией «Камильяс» как лучшая биографическая книга года.

ФЕРНАНДО Г.ДЕЛЬГАДО

Посторонний взгляд

Fernando G. Delgado. La Mirada del Otro

Planeta, 1995

Престижную премию испанского издательства «Планета» за 1995 год получил роман известного писателя Фернандо Г.Дельгадо «Посторонний взгляд». Действие происходит в Мадриде конца 30-х годов. Повествование построено в виде дневника светской красавицы, где описываются ее любовные похождения и где реальность нередко подменяется голой фантазией. Дневник не избежал постороннего взгляда: он попадает в руки мужа героини. Читая записки неверной супруги, тот пытается, прибегая к методу психоанализа, понять причины, толкающие ее на измены.

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Мансарда. Настенные рисунки с бернской Лаубегштрассе

Friedrich Durrenmatt. Die Mansarde. Die Wandbilder aus der Berner Laubeggstrasse

Diogenes, 1995

К 75-летию со дня рождения Фридриха Дюрренматта (январь 1996 года) был приурочен выход книги «Мансарда». В ней представлены репродукции 24 его рисунков, украшавших стены мансарды на улице Лаубегштрассе в Берне, где он жил, будучи студентом. Рисунки сопровождает авторский текст. В книгу включено эссе Людмилы Вахтовой «Демоны мансарды — вершина раннего творчества», посвященное анализу «живописного» периода и его значения для дальнейшего творчества писателя и драматурга. «Писать словами или красками? В 1941 году, живя в мансарде родительского дома, студент Дюрренматт, изучавший философию и литературу, еще не ответил для себя на этот вопрос» (Л.Вахтова). Тогда важнее были цвета. И лишь много месяцев спустя Дюрренматт сделал выбор в пользу прозы.

КИНГСЛИ ЭМИС

Усы биографа

Kingsley Amis. The Biographer's Moustashe

Harper Collins, 1996

«Усы биографа» — последний роман известного английского писателя, лауреата Букеровской премии (1986) Кингсли Эмиса, скончавшегося осенью прошлого года в возрасте 73 лет. По мнению критиков, книгу можно оценить как своеобразное подведение итогов — окрашенный глубокой иронией взгляд на собственный творческий путь. Главный герой романа — престарелый полузабытый романист — рассказывает о своей жизни и работе предполагаемому биографу, человеку весьма заурядному, но амбициозному. Язвительный старик откровенно подсмеивается над собственным снобизмом, привычкой выпивать, семейными проблемами, рассуждает о бренности славы и человеческого бытия вообще. При этом он понимает, что даже биографа уже мало интересует его творчество.

ТОНИ ХИЛЛЕРМАН

Поиски Луны

Tony Hillerman. Finding Moon

Harper Collins, 1995

Автор популярных в США детективов, американский писатель Тони Хиллерман в новом романе отошел от своего излюбленного жанра. Действие книги разворачивается в 1975 году. Главный герой, бывший сержант, а ныне журналист по прозвищу Луна без сожаления оставляет рутинную жизнь в Колорадо и улетает в Юго-Восточную Азию на поиски малолетней дочери своего погибшего брата-вертолетчика. Филиппины, охваченный войной Вьетнам и наконец Камбоджа — таков маршрут странствий Луны. В пути он сталкивается с многочисленными опасностями, и эта необычная миссия оборачивается серьезной проверкой на мужество, верность долгу и умение выпутываться из самых сложных ситуаций.

ЭКТОР БЬЯНЧОТТИ

Такая неспешная поступь любви

Hector Bianciotti. Le pas si lent de l'amour, 1995

Grasset, 1995

«Такая неспешная поступь любви» — вторая часть ставшего во Франции бестселлером автобиографического романа известного французского писателя, лауреата нескольких литературных премий Эктора Бьянчотти. В первой книге («О чем ночь рассказывает дню») автор, уроженец Аргентины, описывал свои детские и отроческие годы. Во второй повествуется о том, как он искал место в жизни: странствия по Италии и Испании, попытки обосноваться в Париже, где нищий юноша-эмигрант мечтает о работе в театре и кино, зарождение тяги к литературному труду, установление дружеских и профессиональных связей.

ПИТЕР АКРОЙД
Блейк

Peter Ackroyd. Blake
Sinclair-Stevenson, 1995

Один из самых популярных сегодня писателей Великобритании, лауреат многих литературных премий Питер Акройд известен и как автор прекрасных романов-биографий. Его новая работа из этой серии — жизнеописание великого английского поэта и художника Уильяма Блейка (1757 — 1827). Как считают критики, книга должна привлечь читателей не только подробным изложением далеких от нас событий, в ней Акройд дает увлекательный и глубокий анализ произведений великого англичанина. Блейк показан гармоничной личностью, живущей в согласии с собой, природой и Вселенной. Сопроводительным томом к этой биографии стал сборник поэзии У.Блейка. Его составителем, автором вступления и комментариев выступает также П.Акройд.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА
Маски

Luigi Malerba. Le Maschere
Mondadori, 1995

Прочную позицию в списках бестселлеров Италии занял новый исторический роман известного писателя Луиджи Малербы «Маски». Действие происходит в Риме XVI века. После кончины Льва X на папский престол претендуют два соперника-кардинала, но верховным понтификом становится голландский епископ Адриан VI. Однако и после его избрания борьба не затихает. Тайные козни, интриги, заговоры, кровавые расправы — именно эта сторона жизни далекой эпохи привлекает внимание Л.Малербы. Среди многих достоинств романа особо отмечается широкое использование в нем исторических документов.

ЭЛИЗАБЕТТА РАЗИ
Женские портреты

Elisabetta Rasy. Ritratti di signora
Rizzoli, 1995

Этот триптих Э.Рази посвящен трем итальянкам, чья жизнь была связана с литературой. Героиня первой части («Две страсти») — лауреат Нобелевской премии Грация Деледда (1871 — 1936). Описываемые события происходят в основном в ее родной Сардинии. Во второй части («Только одно слово») под пером Э.Рази оживает облик поэтессы Ады Негри (1870 — 1945) — уроженки Ломбардии. В финальной части («Из зависти, из любви») читатель попадает в Неаполь и Рим — города, где жила и работала известная журналистка Матильда Серао (1856 — 1927). Итальянские читатели с огромным интересом отнеслись к рассказам о своих соотечественницах: книга стала бестселлером.

ГОР ВИДАЛ
Палимпсест

Gore Vidal. Palimpsest
Random House, 1995

Знаменитый американский писатель Гор Видал когда-то поклялся, что никогда не будет писать мемуаров («Я персонажем собственных книг не являюсь!»), но накануне своего 70-летия нарушил клятву, рассказав о первых 39 годах своей бурной жизни. А рассказать Видалу есть о чем: напряженная литературная работа (35 книг, в том числе 23 романа), активная политическая деятельность (в 1982 году Видал баллотировался в Сенат), знакомство с множеством интересных людей (Теннесси Уильямсом, супругами Кеннеди и др.), сотрудничество с кино и театром. Признанный мастер сатиры, «невозмутимо живописующий фарсовую изнанку жизни», как писали о нем, Видал начинает свою книгу заявлением, что самое подходящее название для любых мемуаров — это «Паутина лжи».

ДЭВИД БРУКС
Дом Бальтуса

David Brooks. The House of Balthus
Allen & Unwin, 1995

Австралийский писатель Дэвид Брукс (род. в 1953 г.) получил широкую известность в 1990 году после опубликования двух сборников рассказов — «Книга Сей» и «Овцы и Дива» (критики в один голос сравнивали Брукса с Борхесом). «Дом Бальтуса» — его первый роман. В этой «чарующей, словно сон, истории» рассказывается, как персонажи картин художника Бальтуса сошли с холстов и поселились в старинном замке, перестроенном под жилой дом. Консьержка пристально наблюдает за новыми жильцами — Графиней, Профессором, Терезой и ее юным любовником Мишелем,— но ей видна только внешняя сторона их жизни. И лишь читателю открывается истинная подоплека событий.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

МИШЕЛЬ РИО (MICHEL RIO; род. в 1960 г.) — французский писатель, представитель нового литературного поколения, автор романов «Мерлин» («Merlin», 1989), «Насест попугая» («Le perchoir du perroquet», 1990), «Неверный шаг» («Faux pas», 1991), «Тлакило» («Tlaquilo», премия «Медичи» за 1992 г.), «Северная меланхолия» («Mélancolie Nord», 1993).
Роман «Архипелаг» вышел во Франции в 1987 году («Archipel». Paris, Seuil).

ЙОРГОС СЕФЕРИС (1900 — 1971) — греческий поэт, лауреат Нобелевской премии (1963). Автор многих сборников стихов, в том числе «Поворот» (1931), «Мифосказ» (1935), «Дрозд» (1947), трех поэтических сборников «Тетрадь для упражнений», трех книг «Вахтенный журнал» (1940, 1944, 1955), серии статей о греческой литературе, объединенных в сборнике «Опыты» (1940); переводил на греческий язык Поля Валери, Т.С.Элиота.
«Три тайные поэмы» Й.Сефериса были изданы в Афинах в 1966 г.

ИВ БОНФУА (YVES BONNEFOY, род. в 1923 г.) — французский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор сборников стихов «О движении и неподвижности Дувы» («Du mouvement et de l'immobilité de Douve», 1953), «Начертанный камень» («Pierre écrite», 1965), «В обольщении порога» («Dans la leurre du seuil», 1975), «Начало и конец снега» («Debut et fin de la neige», 1991) и др., книг эссе о поэзии и изобразительных искусствах «Несбыточное» («L'improbable», 1959), «Красное облако» («Le nuage rouge», 1977), «Истина слова» («La verité de parole», 1988) и др., монографий об А.Рембо и А.Джакометти, переводов произведений Шекспира, Китса, Йейтса, Сефериса.
На русском языке вышел сборник Бонфуа «Стихи» (1995), отдельные эссе печатались в периодике.
Эссе «Под октябрьским солнцем», первоначально опубликованное в качестве предисловия к французским переводам «Стихотворений» Й.Сефериса (1963), позднее вошло в книгу «Сон в Мантуе» (1967). Предлагаемый перевод сделан по последнему изданию «Несбыточное. Сон в Мантуе» («L'improbable suivi. Un rêve fait à Mantoue», 1992).

ПИТЕР УСТИНОВ — (Peter Alexander Ustinov; род. в 1921 г.) — английский писатель, драматург, режиссер, киноактер. Внучатый племянник русского художника А.Н.Бенуа. Автор пьес «Ни проблеска надежды» («No Sign of the Dove», 1953), «На полпути к вершине» (1967; была поставлена Московским театром им.Моссовета) и др.; романов «Проигравший» («The Loser», 1961), «Неизвестный солдат и его жена» («Unknown Soldier and His Wife», 1967), «Крамнэгел» («Krumnagel», 1971, пер. опубликован в «ИЛ», 1981, № 8—10), «Уважаемый Я» («Dear Me», 1977; автобиографический роман). Лауреат нескольких премий «Эмми», присуждаемых в США за лучшие телепередачи и программы; лауреат международной премии ЮНИСЕФ за 1978 г. Снялся более чем в 50 фильмах.
Роман «Старик и мистер Смит» был издан в Англии в 1990 году («The Old Man and Mr.Smith». London, Michael O'Mara Books).

РУБЕН ДАРИО (RUBEN DARIO; псевд.; наст.имя Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто (Sarmiento); 1867 — 1916) — никарагуанский поэт, основоположник школы испано-американского модернизма. Автор книг «Рифы» («Abrojos», 1887), «Рифмы» («Rimas», 1887), «Эпистолы и стихи. Первые ноты» («Epistolas y poemas. Primeras notas», 1888), сборников стихов «Лазурь» («Azul», 1888), «Языческая проза» («Prosas profanas», 1896); «Песни жизни и надежды» («Cantos de la vida y esperanza», 1905; стихи из этого сборника печатались в «ИЛ», 1987, № 1), «Бродячая песнь» («El canto errante», 1907), «Стихи об осени и другие стихи» («Poemas de otoño y otros poemas», 1910).
Эссе о Верлене взято из его сборника эссе о современных писателях «Выдающиеся» («Los raros», 1893). Перевод осуществлен по изданию: R.Dario. Obras completas. T.2. Madrid, Editions Afrodicio Aguado SA, 1950.

АНДРЕ МОРУА (ANDRÉ MAUROIS; 1885 — 1967) — французский писатель, член Французской академии (1938), классик жанра биографического романа. Многие произведения А.Моруа переведены на русский язык, в их числе «Превратности любви» («Climats», 1928), «Семейный круг» («Le cercle de famille», 1932), «Жизнь Александра Флеминга» («La vie de sir Alexander Fleming», 1959), «Карьера Дизраели» («La vie de Disraeli», 1927), «Байрон» («Byron», 1930), «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» («Olympio ou la vie de Victor Hugo», 1954), «Три Дюма» («Les trois Dumas», 1957), «Прометей, или Жизнь Бальзака» («Promethée ou la vie de Balzac», 1965) и др.
Эссе А.Моруа «Калибан, который был Ариэлем» («Paul Verlaine: un caliban qui fut un

ariel») взято из книги «От Арагона до Монтерлана» («D'Aragon à Montherlant». Paris, Librairie académique Perrin», 1967).
Публикуемые в номере стихи Поля Верлена взяты из сборников «Мудрость» («Sagesse», 1881), «Давно и недавно» («Jadis et naguère», 1885) и посмертно изданного сборника «Poèmes divers».

ЛАСЛО НЕМЕТ (NÉMETH LÁSZLÓ; 1901 — 1975) — венгерский писатель, драматург, публицист, лауреат премии Кошута и других национальных премий. Автор романов «Человеческая комедия» («Emberi szinjáték, 1929), «Траур» («Gyász», 1935; рус. пер. 1982), «Вина» («Bűn», 1936; рус.пер. 1982), «Неприятие» («Iszony», 1947), «Эстер Эгетэ» («Égető Eszter», 1956; рус.пер. 1974), «Милосердие» («Irgalom», 1965; рус.пер. 1988); пьес «Сечени» («Széchenyi», 1946), «Галилей» («Galilei», 1953), «Смерть Ганди» («Gandhi halála», 1963) и др.; книг публицистических статей и эссе «Революция качества » («A minőség forradalma», 1940), «Спасенные мысли» («Megmentett gondolatok», 1975). Перевел на венгерский язык «Анну Каренину» Л.Н.Толстого и др.
Впервые книга «Венгры и Европа», фрагменты которой журнал публикует в этом номере, вышла в 1935г. Перевод осуществлен по сборнику «Судьбоносные вопросы» («Sorskérdések», Budapest, Magvető és Szépirodalmi, 1989).

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ (ESTERHÁZY PÉTER; род. в 1950 г.) — венгерский прозаик. Начал печататься в середине 70-х годов. Автор книг «Фанчико и Пинта» («Fancsikó és Pinta», 1976; рус.пер. в сборнике «Посвящение», М., 1990), «Производственный роман» («Termelésiregény», 1979), «Дэзи» («Daisy», 1984), «Краткая венгерская порнография» («Kis Magyar Pornografia», 1984), «Книга Грабала» («Hrabal könyve», 1987) и др., сборников рассказов и эссе «Введение в художественную литературу» («Bevezetés a szépirodalomba», 1986), «В папских водах не пиратствуй!» («Pápai vizeken ne kalózkodj!», 1977), «Чучело лебедя» («A kitömött hattyú», 1988). Рассказы и эссе П.Эстерхази печатались в «Иностранной литературе» (1992, № 4; 1995, № 6).
Публикуемое эссе взято из книги «Записки синего чулка» («Egy kékharisnya följegyzéseiből». Budapest, Magvető könyvkiadó, 1994).

■Переводчики:

ЯХНИНА ЮЛИАНА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с французского и скандинавских языков. В ее переводах издавались произведения французских писателей XX века — «Слова» Ж.-П.Сартра (совместно с Л.Зониной), «Здравствуй, грусть» Ф.Саган, «Философский камень» М.Юрсенар, «Изменение» М.Бютора («ИЛ», 1970, № 8—9; совместно с С.Тархановой), «Плот Медузы» Веркора (Библиотека «ИЛ», 1988), «Тошнота» Ж.-П.Сартра («ИЛ», 1989, №7): скандинавских писателей — «Маленький лорд» Ю.Боргена, «Виктория» К.Гамсуна, «Прибой и берега» Э.Юнсона, Я.Сёдерберга, Я.Бергмана и др. Лауреат премии «ИЛ» (1989).

ГАСПАРОВ МИХАИЛ ЛЕОНОВИЧ (род. в 1935 г.) — переводчик, доктор филологических наук, академик Российской академии наук. Автор нескольких книг и многих статей по античной литературе, стихосложению и поэтике. Переводил Пиндара, Овидия, Горация, Светония, Ариосто, басни Эзопа, поэзию вагантов и др. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи немецкого поэта Георга Гейма (1989, № 2). Лауреат премии "*ИЛ*люминатор" (1996).

СВЕТЛИЧНАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА — кандидат филологических наук, специалист по творчеству Сефериса, живет и работает в Харькове, преподает литературу в педагогическом институте.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род в 1956 г.) — литературный критик, переводчик с английского и японского языков. В его переводах публиковались романы Юкио Мисимы «Золотой храм» («ИЛ», 1989, № 5), Кэндзи Маруямы «Сердцебиение» («ИЛ», 1991, № 5), главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше» («ИЛ», 1986, № 3), роман английского писателя Т.Корагессана Бойла «Восток есть Восток» («ИЛ», 1994, № 8, совместно с И.Бернштейн и Л.Мотылевым), Малькольма Брэдбери «Профессор Криминале» («ИЛ», 1995, № 1, совместно с Б.Кузьминским и Н.Ставровской), произведения Ясуси Иноуэ, Кобо Абэ, Такако Такахаси и др.

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводах публиковались стихи испанских поэтов Ф.Гарсиа Лорки, Х.Р. Хименеса, А.Мачадо и др.; польских — А.Мицкевича, Б.Лесьмяна, Л.Стаффа, К.К.Бачинского; французских — П.Верлена, Г.Аполлинера. В «ИЛ» печатались его переводы стихов Сесара Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Канте хондо» (1986, № 7), перевод и вступление к стихам «Поэзия испанских мистиков» (1993, № 11), стихи поэтов Арагона (1995, № 5). Лауреат премии «ИЛ» (1993) и премии "Инолиттл" (1996).

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛИЯ РОДИОНОВНА — филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик. Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводе публиковались проза и пьесы Ф.Гарсиа Лорки («ИЛ», 1982, № 4), эссеистика и афоризмы Р.Гомеса де ла Серны, фрагменты автобиографической книги Сальвадора Дали «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» («ИЛ», 1991, № 12; 1992, № 5-6; 8-9), эссе об Испании Хосе Ортега-и-Гассета (совместно с А.Гелескулом, «ИЛ», 1993, № 4). Лауреат премии «ИЛ» (1991).

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — литературный критик, доктор филологи-

В следующем номере «ИЛ»

Роман «НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ» **Тима О'Брайена** — известного американского писателя, лауреата Национальной премии, ставший событием в литературной жизни США 90-х годов. Жанр его с трудом поддается определению: детективный, политический и психоаналитический роман с напряженной фабулой и неожиданной развязкой.

Швеция и шведская поэзия были едва ли не главной любовью талантливого русского поэта, полиглота **Сергея Петрова**. Читайте его переводы в рубрике «Мастера перевода».

В рубрике «Портрет в зеркалах» — **Бруно Шульц**, легендарный польский провинциал, сумевший средствами прозы и графики воссоздать фантастические будни галицийского захолустья в межвоенную эпоху.

Цветные иллюстрации номера — работы венгерских «наивных» художников:

На 1-й стр. обложки — МАРИНКА ДАЛЛОШ «Женщина в синем платье».
На 2-й стр. обложки — ЙОЛАН ОЛАХ «Мадонна».
На 3-й стр. обложки — МАРИЯ ПАЛЧО ТОБИАШНЕ «Женщина под вуалью».

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 26.06.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,2. Усл. кр.-отт. 23,0. Уч.-изд. л. 27,42 Заказ №1707

Тираж 18 400 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Бесплатно

Неделя в Лондоне!

Компания "Encyclopaedia Britannica" 26 марта 1996 г. начала образовательную программу **"Знакомство с родиной "Британской энциклопедии"**. Провести бесплатно целую неделю в Лондоне, увидеть собственными глазами Трафальгарскую площадь и собор Святого Павла, Букингемский дворец и Вестминстерское аббатство сможет каждый покупатель, который после 26 марта 1996 г. приобрел "Британскую энциклопедию" в 32-х томах (или другие издания компании "Encyclopaedia Britannica" на эквивалентную сумму) и получил при заключении договора специальный Сертификат. Вам будут оплачены оформление визы, авиабилет, проживание в гостинице в центре Лондона, питание, культурная программа. Экскурсии проводятся на русском языке.
Данное предложение действует до 31 декабря 1996 г.

"Британская энциклопедия" - издание 1995 г.

"Самая исчерпывающая энциклопедия в мире".

Книга рекордов Гиннесса

Уникальная структура. Более 65 000 статей 6 000 авторов, около 24 000 иллюстраций. Роскошный кожаный переплет, золотое тиснение, золотой обрез, прочнейшая рисовая бумага.

АОЗТ "Мир Знаний" - эксклюзивный дистрибьютор
продукции компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
107392, Россия, Москва, а/я 14 Тел.: (095) 962-0779, 962-0735
Факс: (095) 962-0197 E-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996, №7, 1—288